

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1957

Генрих Джейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т о м

4

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1957

Перевод с немецкого
В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ

Редакция перевода
А. В. ФЕДОРОВА

Примечания
Н. Я. БЕРКОВСКОГО

**ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ**



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ

1824

Постоянна только переменчивость; устойчива только смерть. Каждое биение сердца ранит нас, и жить — значило бы вечно истекать кровью, если бы не существовало поэзии. Она дает нам то, в чем отказала природа: золотое время, которое не ржавеет, весна, которая не отцветает, безоблачное счастье и вечную молодость.

Берне

Сюртуки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи льстивые, объятья, —
Если б сердце вам при этом!

Если б сердце в грудь вложить вам,
В сердце чувство трепстало б, —
Ах, до смерти мне противна
Ложь любовных ваших жалоб!

Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно ветер вест
И легко усталой груди.

Я хочу подняться в горы,
К елям шумным и могучим,

Где поют ручьи и птицы
И несутся гордо тучи.

До свидания, паркеты,
Гладкие мужчины, дамы,
Я хочу подняться в горы,
Чтоб смеяться там над вами.

Город Геттинген, знаменитый своими колбасами и университетом, принадлежит королю Ганноверскому и располагает девятьсот девяносто девятью очагами, различными церквями, одним родовспомогательным заведением, одною обсерваториею, одним карцером, одною библиотекою и одним городским погребком, где пиво превосходное. Протекающий здесь ручей именуется «Лейпа» и служит летом для купанья; вода в нем очень холодна, и местами он столь широк, что Людери в самом деле пришлось сильно разбежаться, когда он перепрыгнул через ручей. Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиною. По-видимому, он построен очень давно: по крайней мере, помнится, еще пять лет назад, когда я поступил в университет и вскоре затем был исключен, он имел все тот же серый старчески-умный вид и был переполнен педелями, пуделями, диссертациями, *thés dansants*,¹ прачками, компендиумами, жареными голубями, гвельфскими орденами, церемониальными каретами, головками для трубок, гофратами, юстицратами, релегационсратами,² профессорами и всякими чудесами. Некоторые утверждают даже, будто город построен во время переселения народов, а каждая отрасль немецкого племени оставила там по одному необузданному свосму отпрыску, откуда и происходят вапдалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюрингенцы и т. д., каковыи и посейчас слоняются в Геттингене ордами по Вейдской улице, различаясь цветами шапок и трубочных кисточек; они вечно дерутся на полях кровавой брави Разенмюле, Риченкруга и Бовдена, пребывая в правах своих и привычках все еще среди эпохи переселения народов и управляясь

¹ Чайми с тапцами (*франц.*), т. е. танцевальными вечерами с чаем.

² Пародия на титул «легационсрат» — советник посольства; по лат. *legatio* — посольство, *relegatio* — ссылка, изгнание.

частью своими вождями, именуемыми главными петухами, частью древним сводом законов, именуемым *Komment* и заслуживающим места в *legibus barbarorum*.¹

В общем жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между собою. Сословие скотов — преобладающее. Слишком долго пришлось бы перечислять здесь имена всех студентов и всех профессоров, ординарных и не ординарных; к тому же в данный момент не все студенческие имена сохранились в моей памяти, а среди профессоров есть еще и вовсе не имеющие имени. Число геттингенских филистеров должно быть очень велико: их — как песку или, лучше сказать, как грязи на берегу моря; поистине, когда я утром увидел их у двери академического суда, с грязными лицами и белыми счетами, я не мог понять, как это бог натворил столько дряни.

Подробности о городе Геттингене вы с легкостью прочтете в описании последнего, составленном К. Ф. Х. Марксом. Хотя я питаю чувства святейшей признательности к автору, который был моим врачом и сделал мне много добра, я не могу без оговорок рекомендовать его труд и должен поставить ему в упрек недостаточно строгий отпор тому ложному мнению, будто у геттингенцев слишком большие ноги. Мало того — я посвятил много времени основательному опровержению этого мнения, прослушал для этой цели курс сравнительной анатомии, делал в библиотеке выписки из редчайших книг, изучал часами ноги прогуливающихся по Вендской улице дам, и в глубоко ученом труде, где подводятся итоги этим занятиям, говорю: 1) о ногах вообще, 2) о ногах у древних, 3) о ногах слоновых, 4) о ногах геттингенцев, 5) сопоставляю все то, что уже высказано об этих ногах в саду Ульриха, 6) рассматриваю эти ноги — в их взаимном соотношении и при этом случае распространяюсь об икрах, коленях и пр., и, наконец, 7) если найдется бумага достаточного размера, приложу несколько гравюр на меди с изображениями ног геттингенских дам.

Было раннее утро, когда я покинул Геттинген, и ученый *** покоился еще, конечно, в постели и ему снилось, как

¹ Сборниках законов варваров (*лат.*).

всегда, будто он гуляет в прекрасном саду, где на грядках растут сплошь белые, исписанные цитатами, бумажки, ласково поблескивающие на солнце; он же срывает то одну, то другую и осторожно пересаживает их на новые грядки, меж тем как соловьи радуют его старое сердце сладостными трелями.

У Вендских ворот мне попались навстречу два маленьких туземных школьника, и один сказал другому: «Не хочу больше водиться с Теодором, он негодяй — он не знал вчера, как родительный падеж от *mensa*». Какими бы незначительными ни казались эти слова, я должен упомянуть о них; мало того — я начертал бы их на городских воротах вместо девиза; ведь, «как пели папаша, так свистят и детки», и эти слова вполне рисуют узкую, сухую, цитатную гордость высокоученой Георгии-Августы.

В дороге повеяло утренней свежестью, радостно распевали птицы, и постепенно на душе у меня снова стало свежо и радостно. Бодрость пришла кстати. В последнее время я не вылезал из стойла пандектов, римские казуисты словно заткали мой мозг серою паутиною, сердце было как бы зацементировано железными статьями своекорыстных правовых систем, в ушах непрестанно звучало «Трибоциан, Юстициан, Гермогениан и Дуреньяп», и нежную парочку, сидевшую под деревом, я готов был принять за экземпляр *Corpus juris*¹ со сплетенными руками. Дорога оживилась. Потянулись молочницы и погощники ослов со своими серыми питомцами. За Вендою мне навстречу попались Шефер и Дорис. Это — не парочка из идиллии Гесснера, а два ушитанных университетских педеля, зорко наблюдающие по долгу службы, чтобы студенты не дрались на дуэли в Бовдене и чтобы ни одна новая идея, без обязательного многолетнего карантина, не проникла контрабандою в Геттинген при содействии какого-нибудь спекулятивного приват-доцента. Шефер поклонился мне вполне по-товарищески, ибо он тоже писатель и не раз упоминал обо мне в своих полугодичных писаниях; равным образом он часто вызывал меня, а когда не заставал дома, то всегда весьма любезно писал вызов мелом на дверях моей комнаты. Время от времени проезжала однокошная подвода, набитая студентами, покидающими город на

¹ Свода законов (Юстициана) (лат.).

время вакаций, а то и навсегда. В таких университетских городах постоянный прилив и отлив, каждые три года возникает новое поколение студентов — вечный человеческий поток; волна одного семестра отгоняет другую, и только старые профессора стоят непоколебимо и недвижно среди всеобщего движения, подобно пирамидам Египта — но только в этих университетских пирамидах не скрыто никакой премудрости.

Из Миртовой рощи, близ Раушенвассера, выехали верхом двое многообещающих юношей. Женщина, занимающаяся там своим горизонтальным ремеслом, проводила их до самой дороги, похлопала привычною рукою по худым бокам лошадей, громко рассмеялась, когда один из всадников любезно угостил ее плеткою по широкому заду, и двинулась по дороге в Бовден. Юноши же поскакали в Нертен, очень остроумно покрикивая и очень мило распевая россииевскую песенку: «Выпей пива, Лиза дорогая!» Звуки долго еще раздавались вдаль, но нежных певцов я скоро потерял из виду, ибо они яростно прищипывали и стегали своих коней, обладавших, очевидно, медлительным немецким характером. Нигде так не истязают лошадей, как в Геттингене; часто, видя, как хромя кляча, вся в поту, принимает ради корма насущного тяжкие муки от наших раушенвассерских всадников или тащит за собою целый воз студентов, я думал: «Бедная тварь, наверно предки твои отведали в раю запрещенного овса».

В Нертенской харчевне я вновь повстречал обоих юношей. Один угощался селедочным салатом, а другой разговаривал с желтокожею служанкою, Фузией Капиной, по прозвищу Воробей. Он сказал ей несколько учтивостей, и в конце концов они подрались. Чтобы облегчить свою сумку, я вынул уложенные туда сишие штаны, весьма замечательные в историческом отношении, и подарил маленькому кельнеру, по прозвищу Колибри. Буссения, старая трактирщица, вынесла мне меж тем бутерброд и попеняла, что я теперь так редко у нее бываю: она ведь очень меня любит.

За Нертеном солнце поднялось высоко и ярко светило в небе. Оно отнеслось ко мне сочувственно и начало нагревать мне голову, так что созрели все мои мысли. Не следовало, однако, пренебрегать и милым на вывеске порд-

геймским трактирным солнцем; я завернул туда и пошел готовый обед. Все кушанья приготовлены были вкусно и понравились мне гораздо больше безвкусных академических угощений — высохшей трески, без признака соли, с прокишей капустой, — которыми меня потчевали в Геттингене. Успокоив слегка свой желудок, я заметил в той же комнате господина с двумя дамами, собиравшихся в путь. Господин был одет во все зеленое, даже в зеленых очках, бросавших на его медно-красный нос отсвет ярко-зеленой медянки, и походил на Навуходносора в последние годы его жизни, когда царь, согласно преданию, питался, как зверь лесной, одним салатом. Зеленый попросил, чтобы ему рекомендовали гостиницу в Геттингене, и я посоветовал ему справиться у первого попавшегося студента об «Hôtel de Brühbach». Одна из спутниц оказалась его супругой — рослая, обширная особа, с багровым лицом в квадратную милю и с ямочками на щеках, походившими на плевательницы для амуров, с мясистым, отвислым подбородком, который казался неудачным продолжением лица, и с высоко взнесенною грудью, которая, будучи обведена тугими кружевами и многозубчатыми фестончатыми воротниками, была подобна крепости с башенками и бастионами, которая столь же мало, конечно, как все другие крепости, о коих говорит Филипп Македонский, могла противиться ослу, нагруженному золотом. Другая дама, сестра его, являла полную противоположность вышеописанной. Если первая происходила от фараоновых тучных коров, то вторая вела свой род от тощих. Лицо — сплошной рот между двух ушей; безнадежно тощая, как Люнебургская степь, грудь; фигура — вся вываренная, как бесплатный обед для бедных богословов. Обе дамы одновременно спросили меня, останавливаются ли в отеле Брюбах порядочные люди. Я со спокойною совестью ответил утвердительно, и когда очаровательный трилистник отбыл, я послал им еще раз привет из окна. Хозяин «Солнца» хитро ухмылялся, будучи, по-видимому, осведомлен, что в Геттингене отелем Брюбах студенты называют карцер.

За Нордгеймом местность становится гористою, попадаются порою красивые возвышенности. По дороге мне встречались большею частью торговцы, направлявшиеся на Брауншвейгскую ярмарку, попалась также целая толпа женщин; каждая тащила на спине большое, с дом величи-

ной, сооружение, обтянутое белым полотном. Там сидели пленные певчие птицы, непрерывно пищавшие и свистевшие, а женщины, несшие их, весело подпрыгивали и болтали. Мне показалось забавным, как это одни птицы тащат других на рынок.

Была черная ночь, когда я добрался до Остероде. Аппетита я не чувствовал и сейчас же улегся в постель. Устал я, как собака, и спал, как бог. Мне приснилось, что я вернулся в Геттинген, в тамошнюю библиотеку. Стою я в юридическом зале, в углу, перелистывая старые диссертации, и углубился в чтение, как вдруг заметил, к своему удивлению, что наступила ночь и свешивающиеся с потолка хрустальные люстры осветили зал. Часы на ближней церкви только что пробили двенадцать, и тут медленно отворилась дверь и вошла гигантского роста горделивая женщина, в почтительном сопровождении членов и ассистентов юридического факультета. Исполинская женщина, хотя и пожилая, хранила на лице своем черты строгой красоты, каждый взгляд ее обличал в ней дочь Титана, могущественную Фемиду; меч и весы она небрежно держала в одной руке, в другой руке зажат был пергаментный свиток, и два молодых *doctores juris*¹ несли за ней шлейф серого потускневшего платья; справа суетливо прыгал тощий гофрат Рустикус, Ликург Ганновера, и декламировал что-то из своего нового законопроекта; слева же галантно и в отличном расположении духа ковылял ее *cavalierre servente*,² тайный советник юстиции Кюа-циус, отпуская одну за другою юридические остроты, и сам до того искренно смеялся, что даже строгая богиня время от времени с улыбкою склонялась к нему, хлопала его по плечу пергаментным свитком и дружески шептала: «Ах ты, маленький повеса, срезающий деревья сверху вниз!» Все остальные стали подходить ближе, и каждый изыскивал соответствующее замечание, улыбочку, вновь придуманную системочку, гипотезку или другое какое-нибудь порожденье собственной головки. В открытые двери проникло еще много незнакомцев, державшихся наподобие других великих сочленов знаменитого ордена; но большей части угловатые, насторожившиеся госпо-

¹ Доктора права (*лат.*).

² Ухаживатель (*итал.*).

да, тотчас приступавшие, с полным самодовольством, к определениям, разграничениям и словопрениям по поводу отдельных пунктов каждой главы Пандектов. Входили все новые и новые фигуры, старые законоведы в старомодных одеждах, в белых париках с косичками, с давно забытыми лицами, изумляясь тому, что на них, знаменитостей истекшего столетия, взирают без особого внимания; они, как и прочие, каждый на свой лад, присоединялись к общей болтовне, суете и крику, что окружали, все бессвязнее и все шумнее, точно морской прибой, высокую богиню, пока она не потеряла терпения и не воскликнула вдруг с ужасающей, титанической скорбью: «Молчите! Молчите! Я слышу голос дорогого мне Прометея! Злобной властью, безмолвным насилием прикован певинный мученик к скале истязаний, и вся ваша болтовня и все ваши споры не прохладят его ран и не разобьют его цепей!» Так воскликнула богиня, и ручьи слез полились из ее глаз; все сборище взвыло, будто охваченное смертельным ужасом, затрепал потолок зала, книги попадали с полок, и напрасно старик Мюнхгаузен вылез из рамы, чтобы водворить порядок, — кругом бесновались и топотали все яростней и шумней, и я бросился из этого сумасшедшего дома искать спасения в исторический зал, в то благое место, где стоят друг возле друга священные изображения Бельведерского Аполлона и Венеры Медицейской, и упал к ногам богини красоты; в созерцании ее я забыл о диком неистовстве, от которого я убежал, мои восхищенные глаза впивали гармонию и вечную прелесть ее благословенного тела, эллинское спокойствие охватило мою душу, и над головою моей, как благословение неба, зазвучала сладостная лира Феба-Аполлона.

Проснувшись, я долго еще слышал приветливый звон. Стада тянулись на пастбище — это звели их колокольчики. Ласковое золотое солнце светило в окно и освещало картины на стенах моей комнаты. Это были изображения из эпохи освободительной войны, правдиво рассказывавшие о том, как все мы были героями; также — сцены казней из эпохи революции, Людовик XVI на гильотине и снятие других голов, глядя на которые нельзя не благодарить бога, что лежишь спокойно в постели, пьешь вкусный кофе и голова твоя пока что вполне комфортабельно покоится на плечах.

Выпив кофе, одевшись, прочитав надписи на стеклах окон и расплатившись в гостинице, я покинул Остероде.

В городе этом столько-то домов, столько-то жителей и в том числе столько-то душ, как подробно указывается в карманном «Путеводителе по Гарцу» Готшалька. Прежде чем свернуть на большую дорогу, я взобрался на развалины древнего замка Остероде. От него осталась лишь половина высокой, с массивными стенами, башни, словно разъеденной раком. Дорога в Клаусталь шла опять в гору; с одного из ближайших холмов я еще раз взглянул вниз, в долину, откуда Остероде со своими красными крышами представляется среди зеленых елей мшистой розой. Солнце придавало всему какой-то детски милый оттенок. Отсюда, с сохранившейся половины башни, видна ее внушительная задняя сторона.

Пройдя некоторое расстояние, я встретился со страствующим подмастерьем, державшим путь из Брауншвейга и передавшим мне тамошний слух: молодой герцог, на пути в Святую землю, попался будто бы в плен к туркам и может быть освобожден лишь за большой выкуп. Поводом к этой легенде послужило, надо думать, далекое путешествие герцога. Народу все еще свойствен тот традиционно-сказочный склад мыслей, который так прелестно выражен в его «Герцоге Эрнсте». Сообщивший эту новость оказался портновским подмастерьем — миловидный молодой человек, до того тощий, что лучи звезд могли пронизать его, как облачных духов Оссиана — в общем, причудливая чисто народная смесь веселости с меланхолией. Это особенно сказалось в забавно трогательном тоне спетой им чудесной народной песенки: «Как на заборе жук сидел; зумм, зумм!» У нас, немцев, это прекрасно: нет сумасшедшего, которого не мог бы понять другой, еще более свихнувшийся. Только немец может вчувствоваться в эту песню — и притом до смерти хохотать и плакать. Тут я также заметил, как глубоко проникло в жизнь народа слово Гете. Мой тощий спутник время от времени напевал про себя: «Радость, страданье, и мыслям легко!» Такое извращение текста обычно у народа. Также спел он песенку, где «Лотта над Вертера гробом скорбит». Портной расплылся в сентиментальности при словах: «Одиноко плачу я у розы, где светил нам месяц в поздний час! У ручья мои блуждают грезы, что лелеял и покоил

нас». Но вскоре пропикся высокомерием и сообщил мне: «У нас в Касселе в ночлежке для подмастерьев есть пруссаки, он сам сочиняет такие же стихи; приличного шва сделать не может: коли у него в кармане заведется грош, он сейчас же чувствует жажду на два гроша, а когда подвыпьет, небо ему кажется синим камзолом, и он начинает лить слезы, как дождевой желоб, и поет песни с двойной поэзией». Последнее выражение я попросил его объяснить, но портняжка, подпрыгивая на своих козлиных ножках, цокрикивал только: «Двойная поэзия значит двойная поэзия!» Наконец я уяснил себе, что он разумеет стихи с двойными рифмами, именно — стансы. Между тем продолжительный путь и противный ветер очень утомили рыцаря иглы. Правда, время от времени он предпринимал торжественные попытки продолжить путь и похвалялся: «Вот теперь я оседлаю дорогу!», но вслед за тем начинал жаловаться, что натер пузыри на ногах и что мир чересчур обширен, и наконец, дойдя до дерева у дороги, тихо опустился, покачивая нежною головкою, как унылая овечка хвостиком, и скорбно улыбаясь, произносил: «Ну вот, я, несчастная клячонка, опять без сил!»

Горы стали еще круче, еловый лес колыхался внизу, как зеленое море, а сверху, по голубому небу, плыли белые облака. Дикий облик местности как бы умерялся ее однообразием и простотою. Природа, подобно истинному поэту, не любит резких переходов. Облака при всей кажущейся причудливости сохраняют белый или все же гармонирующий с голубым небом и зеленою землею оттенок, так что все краски местности сливаются друг с другом, как тихая музыка, и созерцание природы действует всегда умиротворяюще и успокаивающе. Блаженной памяти Гофман изобразил бы облака пестрыми. Подобно великому поэту, природа также обладает способностью с наименьшими средствами достигать наибольших результатов. В ее распоряжении только солнце, деревья, цветы, вода и любовь. Правда, если этой любви нет в сердце у созерцателя, то все в целом должно представиться ему довольно жалким; в таком случае солнце, оказывается, содержит столько-то миль в диаметре, деревья пригодны для отопления, цветы классифицируются по тычинкам, а вода — мокрая.

Маленький мальчик, собиравший в лесу хворост для своего больного дяди, указал мне на деревню Лербах,

низенькие хижинки которой с серыми крышами растянулись по долине на расстоянии получаса ходьбы. «Там, — сказал он, — живут зобатые дураки и белые негры», — последним именем народ окрестил альбиносов. Мальчик был в особенно добром согласии с деревьями, он приветствовал их как хороших знакомых, и они, казалось, шепотом отвечали на его приветствия. Он насвистывал, как чирик, со всех сторон ему отвечали свистом другие птицы, и, прежде чем я мог заметить, он ускакал босыми ножонками со своей вязанкой хвороста в лесную чащу. «Дети, — подумал я, — моложе нас, помнят еще, как сами они тоже были когда-то деревьями и птичками, и потому способны еще понимать их; а наш брат уже слишком для этого стар, голова у нас чересчур перегружена заботами, юриспруденцией и скверными стихами». При вступлении моем в Клаусталь в памяти моей живо возникло то время, когда все было иначе. В этот милый горный городок, которого и не видать, пока не приблизишься к нему вплотную, я вошел как раз, когда колокол пробил двенадцать и дети весело выбежали из школы. Славные ребята, почти все краснощекие, голубоглазые, с льняными волосами, прыгали и ликовали; они пробудили во мне болезненно радостное воспоминание о той поре, когда я, таким же маленьким мальчиком, не смел до полудня подняться с деревянной скамьи затхлой католической монастырской школы в Дюссельдорфе и должен был немало терпеть латыни, побоев и географии, а потом так же неистово ликовал и веселился, едва только старый францисканский колокол бил, наконец, двенадцать. Мальчики узнали по моей сумке, что я нездешний, и гостеприимно меня приветствовали... Один рассказал мне, что у них только что был урок закона божия, и показал Королевский ганноверский катехизис, по которому их спрашивают о христианской вере. Книжка оказалась прескверно напечатанной, и я боюсь, что уже поэтому догматы веры должны производить на детские умы впечатление чего-то унылоклякспапирного; мне также страшно не понравилось, что таблица умножения, значительно расходящаяся, я полагаю, с учением о св. троице,¹ напечатана в самом кате-

¹ Игра слов: по-немецки таблица умножения — Einmaleins, дословно: единожды один.

хизисе, на последней странице, благодаря чему дети уже в юном возрасте могут впасть в греховные сомнения. В Пруссии мы на этот счет много умнее, и, при свойственном нам усердию к обращению на путь истины тех людей, что так сильны в арифметике, остерегаемся печатать таблицу умножения в конце катехизиса.

Я пообедал в Клаустале в гостинице «Корона». Мне подали по-весеннему зеленый суп с петрушкой, фиалково-синюю капусту, жареную телятину, величиною с Чимборасо в мишиатюре, а также особого рода копченых сельдей, называемых бюкингами, по имени изобретателя их, Вильгельма Бюкинга, умершего в 1447 году и пользовавшегося благодаря своему изобретению таким уважением Карла V, что последний anno ¹ 1556 ездил из Миддельбурга в Бивлид, в Зеландию, с единственной целью взглянуть на могилу этого великого человека. Как великолепно такое блюдо, когда ешь его, обладая притом соответствующими историческими сведениями! Но кофе был испорчен для меня: какой-то молодой человек подсел ко мне со своими рассуждениями и болтал так ужасно, что молоко на столе скисло. Это был молодой купчик о двадцати пяти пестрых жилетах, с таким же количеством золотых печаток, перстней, булавок и т. д. Он походил на обезьяну, которая надела красную куртку и уверяет самое себя: костюм делает человека. Он знал на память множество шарад, также и анекдотов, которые и рассказывал всегда совершенно некстати. Он спросил меня, что нового в Геттингене, и я рассказал ему, что там перед отъездом моим появился декрет академического сената, запрещающий, под угрозой штрафа в три талера, обрезать собакам хвосты, ибо в летнее время, когда бешеные собаки бегают, поджав хвосты между ног, их можно по этому признаку отличить от небешеных, что было бы невыполнимо в случае, если бы у них вовсе не было хвостов. Пообедав, я собрался в путь, намереваясь посетить рудники, сереброплавильни и монетный двор.

В сереброплавильнях я, как это часто бывало со мной в жизни, упустил блеск серебра. На монетном дворе дело пошло лучше, и мне привелось увидеть, как делаются деньги. Правда, дальше этого мне никогда не удавалось

¹ В году (лат.).

пойти. На мою долю неизменно выпадала в таких случаях роль наблюдателя, и думаю, если бы талеры начали падать с неба, я бы получил лишь пробоины в голове, в то время как сыны Израиля с радостью душевной стали бы собирать серебряную манну. С комически смешанным чувством почтения и умиления я рассматривал поворожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из-под чекана, и произнес: «Юный талер! Какие судьбы тебя ожидают! Сколько добра и зла сотворишь ты! Как будешь ты защищать порок и пятнать добродетель, как будут любить тебя и затем проклинать! Каким помощником будешь ты в праздности, сводничестве, лжи и убийстве! Как неустанно будешь ты ходить по рукам, чистым и грязным, на протяжении столетий, пока, наконец, отягченный преступлениями и усталый от грехов, не успокоишься, вместе с приспыми, в лоне Авраама, который расплавит тебя, очистит и преобразит для новой и лучшей жизни!»

Два главных клаустальских рудника — «Доротей» и «Каролина» — показались мне при осмотре столь интересными, что я должен рассказать о них подробно.

В получасе ходьбы от города находятся два больших темных здания. Там вас сразу встречают рудокопы. На них темные, обычно синевато-стального цвета просторные блузы, спускающиеся ниже живота, такого же цвета штаны, кожаные, завязывающиеся сзади передники и зеленые поярковые шапочки без полей, вроде усеченного конуса. В такой же костюм, только без передника, одевают и посетителя, и один из рудокопов — штейгер, засветив свою лампочку, ведет его к темному отверстию, похожему на трубу камина, опускается до уровня груди, дает указания, как держаться на лестницах, и приглашает следовать за ним безбоязненно. Опасного ровно ничего нет, но вначале, когда не имеешь представления о горном деле, это кажется иначе. Своеобразное впечатление создается уже оттого, что надо раздеться и облачиться в мрачную арестантскую одежду. Затем предстоит спускаться вниз на четвереньках, причем темное отверстие так темно, и бог весть, когда кончится лестница. Вскоре замечаешь, однако, что это не единственная ведущая в черную бесконечность лестница, что таких лестниц, по пятнадцать — двадцать ступенек каждая, много и каждая упирается в небольшую

дощатую площадку, где можно остановиться и откуда новая дыра ведет на новую лестницу. Сначала я спустился в «Каролину». Это самая грязная и противная Каролина, какую мне пришлось видеть: ступеньки покрыты мокрой грязью. Так и спускаешься с одной лестницы на другую, а штейгер впереди неизменно уверяет, что это вовсе не опасно, надо только крепко держаться руками за ступеньки, не смотреть вниз, не поддаваться головокружению и ни в каком случае не становиться на боковую площадку, возле которой с жужжанием тянется спусковой канат и откуда две недели тому назад какой-то неосторожный человек полетел вниз и сломал себе, к сожалению, шею. В самом низу бесвязный шум и гул, непрестанно натыкаешься на балки и на канаты, которые движутся, подымая бочки с добытою рудой или подавая кверху рудничную воду. Время от времени приходится проникать в высеченные в стенах ходы, называемые штольнями, где находится руда и где одинокий рудокоп, проводящий там целые дни, с великим трудом откалывает от стен куски руды. Я не добрался до самого низу, где, уверяют некоторые, слышно, как американцы кричат у себя: «Ура, Лафайет!» Между нами говоря, глубина, которой я достиг, показалась мне вполне достаточною: здесь непрерывное жужжание и гудение, жутко движутся машины, журчат подземные ключи, со всех сторон стекает вода, от земли поднимаются пары, и свет рудничной лампочки все бессильнее и бледнее в окружающей ночи. По правде, я был оглушен, еле дышал и с трудом держался на скользких ступеньках. Приступов так называемого страха я не испытал, но, что довольно странно, внизу, в глубине, мне вспоминалась пережитая мною в прошлом году, приблизительно в эту же пору, буря в Северном море, и тут я подумал, что в сущности приятно и уютно, когда корабль этак раскачивается из стороны в сторону: ветры разыгрывают свои трубные мелодии, матросы поднимают веселую возню, и милый, вольный воздух господень любовно обвевает все это. Да, воздух! В погоне за воздухом я взобрался по дюжине лестниц кверху, и мой штейгер провел меня узким и очень длинным, высеченным в горе ходом в рудник «Доротей». Здесь свежее и веселее, лестницы чище, но зато длиннее и круче, чем в «Каролине». На душе у меня стало легче, особенно после того как я снова обнаружил следы живых

людей. В глубине мелькнули блуждающие огоньки: рудокопы с лампочками медленно подымались вверх, говорили: «Счастливо подняться!» и, приветствуемые нами в тех же выражениях, двигались мимо нас, выше; словно какое-то дружески мирное и вместе с тем мучительно загадочное воспоминание, мне западали в душу глубокие и ясные взоры всех этих бледных, спокойно-серьезных, озаренных таинственным отсветом рудничных лампочек юношей и стариков, проработавших целый день в своих темных, уединенных шахтах и теперь тянувшихся к светлому дневному свету, к глазам жен своих и детей.

Мой чичероне оказался честнейшим немцем, исполненным собачьей преданности. С искренней радостью он показал мне штольню, где во время осмотра рудника обедал со всею своею свитою герцог Кембриджский и где все еще стоит длинный деревянный обеденный стол, а также и высокий стул из руды, на котором сидел герцог. «Этот стул останется здесь навеки, как память», — пояснил честный рудокоп и с жаром поведал мне, какие торжества были тогда устроены, как вся штольня разукрашена была огнями, цветами и зеленью, как один из рудокопов играл на цитре и пел, как довольный любезный толстый герцог все пил «за здоровье», и сколько рудокопов, а особенно сам рассказчик, готовы отдать жизнь за милого толстого герцога и за весь Ганноверский дом. Я до глубины души бываю тронут каждый раз, когда наблюдаю такое верно-подданническое чувство в его непосредственных проявлениях. Такое прекрасное чувство! И притом чувство поистине немецкое! Пусть другие народы половчее, и поостроумнее, и позанятнее, но нет народа вернее немцев. Если бы я не знал, что верность стара, как мир, я бы подумал, что она — изобретение немецкого сердца. Немецкая верность! Это не какая-нибудь современная поздравительная завитушка. При ваших дворах, государи германские, должно петь и петь без конца песню о верном Эккарте и злом Бургунде, повелевшем убить его любимых детей и все же не лишившемся верного слуги. Ваш народ — самый верный, и вы заблуждаетесь, полагая, что умный старый верный пес взбесился внезапно и скалит зубы на священные ваши ляжки.

Подобно немецкой верности, луч рудничной лампочки, не слишком ярко вспыхивавшей, тихо и надежно вывел

нас из лабиринта шахт и штолен. Мы поднялись наверх из спертой и мрачной глубины, солнце засветило опять, — «Счастливо подняться!»

Большинство рудокопов живет в Клаустале и прилегающем к нему горном городке Целлерфельде. Я посетил некоторых из этих честных людей, познакомился с их скромною домашней обстановкою, прослушал несколько песен, премило сопровождаемых игрой на цитре, их любимом инструменте, попросил рассказать мне стариц-ные горные сказки, а также прочесть молитвы, обычно произносимые ими сообща перед спуском в темную шахту, и не одну славную молитву прочитал я с ними вместе. Один старый штейгер решил даже, что мне следует остаться здесь и сделаться рудокопом, а когда я все-таки распрощался с ними, он дал мне поручение к своему брату, живущему недалеко от Гослара, и просил поцеловать много раз его милую племянницу.

Какою бы застывшею и неподвижною в своем покое ни казалась жизнь этих людей, все же это подлинная, живая жизнь. Древняя, дрожащая старуха, сидевшая за печкою против большого шкафа, просидела там, может быть, четверть века, и все ее мысли и чувства срослись, наверно, со всеми углами печки, со всеми резными украшениями шкафа. И печь и шкаф — живы, так как человек вдохнул в них часть своей души.

Лишь благодаря такой глубине созерцательной жизни, благодаря «непосредственности» возникла немецкая волшебная сказка, особенность которой состоит в том, что не только животные и растения, но и предметы, по-видимому совершенно неодушевленные, говорят и действуют. Мечтательному и наивному народу, в тиши и уюте его низеньких лесных и горных хижин, открылась внутренняя жизнь этих предметов, которые приобрели свой определенный, только им присущий характер, представляющий очаровательную смесь фантастической прихоти и чисто человеческого склада ума, и вот мы наталкиваемся в сказках на чудесные и вместе с тем совершенно понятные нам вещи: иголка с булавкой уходит из портняжного жилья и сбиваются с дороги в темноте; соломинка и уголек переправляются через ручей и терпят крушение; совок с метлой, стоя на лестнице, затевают спор и драку; зеркало в ответ на вопрос являет прекраснейшую из красавиц;

даже капли крови говорят жутким и темным языком заботы и сострадания. Поэтому же так бесконечно значительна и наша жизнь в детские годы: в то время все для нас одинаково важно, мы все слышим, мы все видим, все впечатления соразмерны, тогда как впоследствии мы проявляем больше преднамеренности, вникаем главным образом в мелочи, с напряжением обменивая чистое золото созерцания на бумажные деньги книжных определений; выигрывая в широте жизни, мы проигрываем в ее глубине. Вот мы взрослые люди с положением, мы часто меняем квартиры, служанка ежедневно приводит в порядок и переставляет по своему усмотрению нашу мебель, очень мало нас интересующую, так как она или новая или сегодня принадлежит Гансу, а завтра Исааку; даже собственное наше платье как чужое — едва ли мы знаем, сколько пуговиц на сюртуке, облакающем наше тело; ведь мы меняем как можно чаще одежду, и ни одна из новых вещей не соответствует личной нашей истории — внутренней и внешней; мы едва в состоянии вспомнить, каков был тот коричневый жилет, над которым в свое время так смеялись, но к широким полосам которого прикасалась так ласково милая рука возлюбленной!

На старухе, сидевшей за печкой, против большого шкафа, было платье из старомодной материи с цветочками — свадебный наряд ее покойной матери. Ее правнук, светловолосый, остроглазый мальчик в костюме рудокопа, сидел у нее в ногах и считал цветы на ее платье; она, пожалуй, рассказала ему немало историй об этом платье, историй серьезных и занимательных; они не так-то скоро забудутся мальчиком и не раз еще встанут в его памяти, когда он, взрослым человеком, будет работать одинокой ночью в штольнях «Каролины», и он, может быть, долгое время после смерти дорогой своей бабушки, сам уже серебряно-волосый и угасший старец, будет рассказывать эти истории в кругу внуков, сидя за печкой, против большого шкафа.

Ночь я провел в той же гостинице «Корона», куда прибыл между тем и гофрат Б. из Геттингена. Я имел удовольствие засвидетельствовать этому старому господину свое почтение. Расписываясь в книге посетителей и перелистывая страницы за июль, я нашел в числе прочих драгоценное имя Адальберта Шамиссо, биографа бессмерт-

ного Шлемиля. Хозяин рассказал мне, что господин этот прибыл в неопишимо дурную погоду и в такую же погоду уехал.

На следующее утро я вынужден был вновь облегчить свою сумку и, выбросив пару находившихся в ней сапог, собрался в путь и направил стопы свои в сторону Гослара. Как я дошел туда — не знаю. Припоминаю только, что карабкался по горам, вверх и вниз, любовался с высоты красивыми видами на зеленые долины; шумели серебристые воды, сладостно щебетали в лесах птицы, стада позванивали колокольчиками, солнце любовно золотило деревья во всем разнообразии их зелени, а полог неба, голубого шелка, был так прозрачен, что взор проникал до самых глубин, в святая святых, где ангелы восседают у ног господа бога, изучая в чертах его лица генералбас. Я же все переживал сновидение минувшей ночи и не в силах был его рассеять. Это была старая сказка о рыцаре, спускающемся в глубокий колодец, где спит прекраснейшая принцесса, зачарованная тяжким сном. Рыцарь был я сам, колодец — мрачный клаустальский рудник; вдруг зажегся яркий свет, из всех боковых щелей повылезали бодрствовавшие там карлики, они стали строить злые гримасы, замахиваться на меня короткими мечами и пронзительно трубить в рог, созывая все новых и новых; широкие головы их ужасающе раскачивались. Только после того как я начал наносить удары по этим головам и потекла кровь, я сообразил, что это были красные, волосатые шишки цветущего чертополоха, которые я сбивал палкою накануне, идя по дороге. Все они тотчас рассеялись, и я проник в роскошный светлый зал. Посередине стояла под белым покрывалом возлюбленная моего сердца, застывшая и неподвижная, как статуя; я поцеловал ее в уста и — клянусь богом живым! — почувствовал благословенное веяние души ее и сладостное дрожание милых губ. Казалось мне, я услышал голос господень: «Да будет свет!» — и ослепительно сверкнул луч вечного света; но в то же мгновение настала опять ночь, и все стремительно слилось в каком-то хаосе в одно сплошное, дико бушующее море. Дико бушующее море! По волнам его в смятении носились призраки умерших, белые саваны их развевались по ветру, а за ними гонялся, щелкая бичом, пестрый арлекин, и арлекин этот был я, но вдруг из темной

глубины выставили уродливые свои головы морские чудовища, они стали протягивать ко мне свои распяленные когти, и я от ужаса проснулся.

Как часто, однако, можно испортить и самую лучшую сказку! Собственно говоря рыцарь, разыскав спящую красавицу, должен вырезать кусок ее драгоценного покрывала, и после того как своею отвагой он разбудит ее от зачарованного сна и она сядет опять на золотом кресле в своем дворце, рыцарь должен подойти к ней и спросить: «Прекрасная моя принцесса, знаешь ты меня?» И она ответит: «Мой отважный рыцарь, я не знаю тебя». Тогда рыцарь показывает ей вырезанный кусок, в точности подходящий к покрывалу, они нежно обнимают друг друга, гремят трубы, и торжественно празднуется свадьба.

В самом деле, я особенно несчастлив: мои любовные сны редко кончаются так прекрасно.

Слово «Гослар» звучит так отраднo, вызывает столько воспоминаний о древней империи, что я надеялся увидеть внушительный и гордый город. Но всегда так бывает, когда увидишь знаменитость вблизи! Я нашел городишко с узкими, по большей части кривыми, как в лабиринте, улицами, которые кое-где пересекает речонка, вероятно Го́за. Все кругом ветхо и затхло, а мостовые ухаби́сты, как берлинские гекса́метры. Только древняя оправа города — остатки стен, башен и зубцов — придает его облику некоторую остроту. В одной из башен, именуемой Замком, стены столь толстые, что в них высечены целые комнаты. Площа́дь перед городом, на которой происходит знаменитое состязание стрелков, представляет собой обширный зеленый луг, а кругом высокие горы. Рынок невелик, посередине его расположен фонтан, изливающийся в большой металлический водоем. При пожарах бьют несколько раз о край его, и получается звук, который далеко бывает слышен. О происхождении водоема ничего не известно. Некоторые утверждают, что однажды дьявол поставил его на рынке. В те времена люди были еще глупы, глуп был и черт, и они обменивались подарками.

Госларская ратуша — просто выкрашенная в белую краску караулка. Соседнее с нею гильдейское здание несколько красивее. Приблизительно на середине между землей и кровлей расставлены изваяния немецких императоров, черные как сажа и частью позолоченные, со скипет-

рами в одной руке и державами — в другой; они похожи на зажаренных университетских педелей. У одного из этих императоров в руке вместо скипетра меч. Я не мог догадаться, что означает эта разница, между тем она, несомненно, имеет значение, так как немцы обладают замечательной привычкой при всяком деле, которое они делают, нечто иметь в виду.

В «Путеводителе» Готшалка я много чего прочитал о древнем соборе и о знаменитом императорском троне в Госларе. Но когда я пожелал осмотреть то и другое, мне сказали: «Собор скрыт, а императорский трон перевезен в Берлин». Мы живем в особо знаменательные времена: тысячаletние соборы срывают, а императорские троны сваливают в чуланы.

Некоторые достопримечательности блаженной памяти собора выставлены теперь в церкви св. Стефана: прекраснейшая живопись по стеклу, несколько скверных картин, в том числе, как говорят, один Лука Кранах, далее — деревянный Христос на кресте и языческий алтарь из неизвестного металла, в форме продолговатого четырехугольного ящика, поддерживаемого четырьмя кариатидами, которые, согнувшись и уперев руки над головами, корчат отчаянно отвратительные рожи. Однако еще безотраднее только что упомянутое стоящее рядом с ними деревянное распятие. Правда, голова Христа, с наступающими волосами и шипами, с лицом, выпачканным кровью, представляет мастерское изображение умирающего человека, но не богорожденного спасителя. Лишь одно физическое страдание вложено резцом в черты этого человека, но не поэзия страдания. Такое изображение подходит более к анатомическому театру, чем к храму...

Я остановился в гостинице неподалеку от рынка, и обед показался бы мне еще вкуснее, если бы не подсел ко мне хозяин со своим длинным ненужным лицом и скучными вопросами; по счастью, вскоре пришло избавление в лице другого путешественника, который тотчас же по прибытии подвергся такому же опросу и в том же порядке: quis? quid? ubi? quibus auxilius? cur? quomodo? quando?¹ Незнакомец оказался человеком старым, усталым и поношенным и, как выяснилось из его разговора, объехал весь

¹ Кто? что? где? каким образом? почему? как? когда? (лат.).

свет, жил особенно долго в Батавии, нажил там много денег и всё опять потерял, а теперь, после тридцатилетнего отсутствия, возвращается в Кведлинбург, свой родной город, «так как, — пояснил он, — у моей семьи там фамильный склеп». Хозяин весьма просвещенно заметил, что для души собственно безразлично, где будет покоиться наше тело. «Вы можете подтвердить это документально?» — спросил приезжий, и вокруг его печальных губ и поблекших глазок хитро собрались тяжелые складки. «Однако, — боязливо-одобрительно добавил он, — этим я не хочу сказать что-либо плохое по адресу чужих могил. Турки хоронят своих мертвецов еще красивее, чем мы, их кладбища — настоящие сады, они сидят там на белых, увенчанных тюрбанами гробницах, в тени кипарисов, поглаживая свои величественные бороды и спокойно покуривая свой турецкий табак из длинных турецких трубок; а у китайцев — прямо-таки приятно посмотреть, как они церемонно пляшут вокруг гробниц своих предков, и молятся, и распивают чай, и играют на скрипках, и премило украшают дорогие могилы всякими золочеными деревянными решеточками, фарфоровыми фигурками, лоскутами шелковой материи, искусственными цветами и разноцветными фонариками — все это очень мило. А далеко еще отсюда до Кведлинбурга?»

Госларское кладбище не очень-то мне понравилось. Тем более мне пришлось по сердцу обворожительная кудрявая головка, которая, когда я входил в город, с улыбкой выглянула из окошка довольно высокого первого этажа. Пообедав, я отправился на поиски приглянувшегося мне окна; но там теперь стояла только вазочка с белыми колокольчиками. Я вскарабкался наверх, взял из вазы эти милые цветы и спокойно прикрепил их к шапке, нимало не смущаясь разинутыми ртами, окаменевшими носами и вытаращенными глазами прохожих, в особенности старух, которые взирали на кражу, совершенную по всем правилам. Когда час спустя я прошелся мимо того же дома, прелестница стояла у окна и, заметив колокольчики на моей шапке, зарделась и откинулась назад. Теперь я еще явственнее рассмотрел красивое личико; это было нежное, тончайшее воплощение свежести летнего вечера, луниного света, соловьиной песни и аромата роз. Позднее, когда окончательно стемнело, она вышла

за дверь на улицу. Вот я подхожу, приближаюсь; она медленно отступает за порог, в темные сени, я беру ее за руку, говорю ей: «Я люблю красивые цветы и поцелуи, и краду то, чего мне не отдают по доброй воле», — с этими словами я быстро поцеловал ее, а когда она попыталась скрыться, успокоительно прошептал: «Завтра я уезжаю и наверное никогда не вернусь». Тут я почувствовал ответное трепетное прикосновение милых губ и пожатие ручек — и, смеясь, поспешил прочь. Да, я не могу не смеяться, вспоминая, что бессознательно повторил волшебную формулу, при помощи которой наши красные и синие мундиры побеждают женские сердца чаще, чем при помощи своей усатой обворожительности: «Завтра я уезжаю и наверное никогда не вернусь!»

Из окна моей комнаты открывался великолепный вид на Раммельсберг. Вечер был чудесный. Ночь стремительно неслась на своем черном коне, и ветер развевал его длинную гриву. Я стоял у окна и глядел на луну. Живет ли в действительности кто-нибудь на луне? Славяне утверждают, что там живет человек по имени Клотар и что он, подливая воду, достигает этим прибыли луны. В детстве я слышал, что луна — плод; когда плод созревает, господь бог снимает его и прячет, вместе с другими такими же полнолуниями, в большой шкаф, находящийся на краю земли, который обшит досками. Когда я стал старше, я заметил, что мир далеко не так узок, что дух человеческий проломил все дощатые преграды и вскрыл врата всех семи сфер небесных исполинским ключом Петровым — идеей бессмертия. Бессмертие! Прекрасная мысль! Кто первый тебя выдумал? Был ли то нюрнбергский обыватель, думавший приятные думы, сидя в теплый летний вечер у порога своего дома в белом ночном колпаке и с белой глиняной трубкой в зубах: недурно, мол, было бы, кабы можно было так и перейти на жительство в вечность, не выпуская трубочки изо рта и не испустив дыханьица. Или то был молодой любовник, осознавший мысль о бессмертии в объятиях возлюбленной — потому осознавший, что он чувствовал эту мысль и не мог иначе чувствовать и осознавать? — Любовь! Бессмертие! Я почувствовал внезапно такой жар з груди, что мне показалось, будто географы передвинули экватор, и он проходит теперь как раз через мое сердце. И чувства любви начали изли-

ваться из моего сердца, страстно изливаться — в необъятную ночь. Сильнее стали благоухать цветы в саду под окном. Запах цветов — это их чувство, и подобно тому как сердце человеческое чувствует с большею силою в ночи, когда оно одиноко и никто его не услышит, так и цветы, по-видимому, стыдливо тая свои чувства, ждут наступления сумерек, чтобы всецело отдаться им и излить их в сладостном благоухании. Излейся же, благоухание моего сердца! За теми горами разищи возлюбленную снов моих! Она легла уже и спит, у ног ее склонили колени ангелы, и ее сонная улыбка — молитва, которую ангелы повторяют за нею; в груди ее — рай и все райские блаженства, и когда она дышит, сердце мое дрожит в отдалении; солнце зашло за шелковыми ресницами ее очей; когда она откроет глаза — наступит день и запоют птицы; стада загремят колокольчиками, и горы засветятся в своих изумрудных одеждах, а я подвину свою котомку и пушусь в путь.

В ночь, проведенную мной в Госларе, случилось со мною нечто в высшей степени необыкновенное. До сих пор я без страха не могу об этом вспомнить. По природе я не труслив, но духов боюсь почти так же, как «Австрийский наблюдатель». Что такое страх? Разум или чувство — его источник? На эту тему я неоднократно спорил с доктором Саулом Ашером, случайно встречаясь с ним в Берлине, в «Café royal», где долгое время обедал. Мы, как он утверждал, испытываем страх перед тем, что путем выводов нашего разума признаем страшным. Только разум, а не чувство является, по его мнению, силою. Я со вкусом ел и пил, а он излагал мне преимущества разума. Заканчивая свою речь, он смотрел обыкновенно на часы и заявлял: «Разум — высшее начало». Разум! Когда я слышу это слово, мне каждый раз представляется доктор Саул Ашер с его абстрактными ногами, в тесном трансцендентально-сером сюртуке, с резкими, холодными как лед, чертами лица, которое могло бы служить чертежом в учебнике геометрии. Человек этот, которому давно уже было за пятьдесят, являл собою олицетворение прямой линии. В своем стремлении к положительному бедняга вытравил, философствуя, из жизни все ее великолепие, все солнечные лучи, всякую веру, все цветы, и ничего ему не осталось в удел, кроме холодной, положительной могилы. Особую

неприязнь питал он к Аполлону Бельведерскому и к христианству. Против христианства он составил даже брошюру, в которой доказывал его неразумность и несостоятельность. Вообще он написал множество книг, в которых разум неизменно заявляет о своем превосходстве, причем бедняга доктор относился ко всему этому вполне серьезно и заслуживал с данной стороны всяческого уважения. Но в том-то и заключается комизм, что он строил дурачки-серьезную мину, не понимая вещей, ясных всякому ребенку — именно потому, что он ребенок. Несколько раз побывал я у разумника-доктора в его собственном доме, где каждый раз встречал хорошеньких девушек: разум ведь не воспрещает чувственности. Когда я как-то вновь пришел навестить его, слуга сказал мне: «Господин доктор только что умер». Я почувствовал при этом не более, чем если бы он сказал: «Господин доктор съехал с квартиры».

Но возвращаюсь к Гослару. «Высшее начало — разум!» — сказал я успокоительно сам себе, ложась в постель. Но это не помогало. Только что я прочел в «Немецких рассказах» Фарнхагена фон Энзе, захваченных мною в Клаустале, ужасающую историю о том, как дух покойной матери почью является к сыну и предупреждает его, что отец хочет его убить. Удивительное изложение этой истории так на меня подействовало, что во время чтения меня пронизала ледяная дрожь. К тому же рассказы о привидениях возбуждают еще большее чувство ужаса в путешествии, когда читаешь их ночью, в городе, в доме, в комнате, где никогда еще не бывал. Какие только ужасы не происходили здесь, на том самом месте, где я лежу? — так думается невольно. К тому же и месяц освещал комнату так двусмысленно, по стенам двигались какие-то непрошенные тени, и, когда я приподнялся в постели, чтобы осмотреться, я увидел...

Нет ничего более жуткого, чем неожиданно увидеть самого себя в зеркале при свете луны. В тот же миг слышались удары тяжело зевающего колокола, и притом такие медленные и протяжные, что двенадцатый удар пробил, казалось мне, спустя полных двенадцать часов, и можно было ожидать, что колокол опять начнет бить двенадцать. В промежутке между предпоследним и последним ударом пробили другие часы, очень быстро, почти яростно звонко, может быть досадуя на медленность своего

соседа. Когда умолкли железные языки, и тот и другой, и во всем доме воцарилась мертвая тишина, мне внезапно показалось, что в коридоре у дверей моей комнаты что-то шаркает и шлепает, будто неровные старческие шаги. Наконец дверь отворилась, и в комнату медленно вошел покойный доктор Саул Ашер. Ледяной озноб прошел по моему телу, я задрожал, как осиновый лист, и едва решился взглянуть на привидение. Доктор был все тот же — тот же трансцендентально-серый сюртук, те же абстрактные ноги, то же математическое лицо; только лицо это стало несколько желтее, чем прежде, да и рот, обычно составлявший два угла в двадцать два с половиной градуса, был сжат, и глазницы очерчены большим радиусом. Покачиваясь и опираясь, как всегда, на камышовую трость, он приблизился ко мне и дружески произнес в обычном медлительном тоне: «Не бойтесь и не думайте, что перед вами призрак. Если вы полагаете, что я призрак, то это обман вашей фантазии. Что такое призрак? Дайте определение. Выведите мне условия возможности призраков. В какой разумной связи с разумом могло бы находиться подобное явление? Разум, говорю я, разум...» И привидение приступило к анализу понятия разума, привело цитату из кантовской «Критики чистого разума» — 2-я часть, 1-й отдел, 2-я книга, 3-я глава, различие между феноменами и ноуменами, сконструировало предположительную систему веры в привидения, сопоставило ряд силлогизмов и закончило логическим выводом: привидений вообще не бывает. Холодный пот выступил на моей спине, зубы стучали, как кастаньеты, от ужаса я кивал головой в знак безусловного согласия при каждой посылке призрака, утверждавшей бессмысленность страха перед привидениями; он же столь рьяно доказывал свою мысль, что раз, по рассеянности, вынул из жилетного кармана вместо золотых часов пригоршню червей и, обнаружив свою ошибку, с поспешностью, в забавном испуге, засунул их обратно. «Разум высшее...» — тут колокол пробил час, и привидение исчезло.

На другое утро я пустился в путь из Гослара, отчасти — просто наудачу, отчасти — с намерением разыскать брата клаустальского рудокопа. Опять прелестная праздничная погода. Я всходил на холмы и горы, смотрел, как солнце пытается разогнать туманы, весело брел по шумящим лесам,

и колокольчики, унесенные мной из Гослара, своим звоном сопровождали мои грезы. Горы стояли в своих белых ночных мантиях, ели стряхивали с себя дремоту, свежий утренний ветер завывал их свешивающиеся зеленые кудри, птички совершали утреннюю молитву, луговая долина блестела, как осыпанный алмазами золотой покров, и пастух брел по ней за своим позванивающим стадом. Собственно говоря, возможно, что я и заблудился. Всегда стараешься идти боковыми дорогами и тропинками, думая скорее достичь цели. На Гарце то же, что и в жизни вообще. Но всегда встречаются добрые души, указывающие нам верный путь; они делают это очень охотно и, кроме того, испытывают особое удовлетворение, когда с самодовольным выражением лица, голосом громким и благосклонным поясняют нам, какой длинный крюк мы сделали, в какие пропасти и болота могли провалиться, и какое счастье, что мы еще вовремя повстречали таких осведомленных людей, как они. С подобным указчиком я и встретился недалеко от Гарцской крепости. Это был упитанный обыватель из Гослара, с лоснящимся, одутловатым, дурацки-умным лицом; вид у него был такой, словно он изобрел эвизиотию. Мы прошли некоторое расстояние вместе, причем он рассказывал мне всевозможные истории о привидениях; истории были бы очень недурны, если бы не сводились к тому, что на деле никаких привидений не было, а белая фигура оказалась браконьером, звуки, похожие на стоны, издавал только что родившийся кабаченок, а шум на чердаке производила домашняя кошка. «Только больной человек, — присовокупил он, — верит в привидения». Что касается его самого, то он болеет редко и лишь порою страдает кожными болезнями, от которых лечит себя просто-напросто слюной. Он обратил также мое внимание на целесообразность и полезность всего в природе. Деревья зелены потому, что зеленый цвет полезен для глаз. Я согласился с ним и добавил, что бог сотворил рогатый скот потому, что говяжий бульон подкрепляет человека; что ослов он сотворил затем, чтобы они служили людям для сравнений, а самого человека он сотворил, чтобы он питался говяжьим бульоном и не был ослом. Спутник мой пришел в восхищение, найдя во мне единомышленника, лицо его расцвело еще радостнее, и, прощаясь со мной, он растрогался.

Пока он шел со мной рядом, вся природа была как бы расколдована, но лишь только он удалился, опять заговорили деревья, зазвенели лучи солнца, заплясали луговые цветы, и голубое небо приняло в объятия зеленую землю. Да, я лучше знаю: бог создал человека, чтобы он изумлялся великолепию мира. Всякий автор, как бы он ни был велик, ищет похвал своему произведению. И в библии — мемуарах бога — определенно сказано, что он создал людей во славу и похвалу себе.

После долгого блуждания по всевозможным направлениям я добрался до жилища брата моего клаустиальского приятеля, переночевал там и пережил следующее прелестное стихотворение:

I

На горе стоит избушка,
В ней живет шахтер седой;
Шумны темные там ели,
Светел месяц золотой.

У окна резное кресло,
Чудо-кресло, не скамья,
Кто сидит в нем, тот счастливец.
И счастливец этот — я!

На скамеечке малютка
У моих уселась ног;
Глазки — звезды голубые,
Ротик — аленький цветок.

Глазки-звездочки раскрыты
Широко, как небосвод,
И лукаво к пухлым губкам
Свой лилейный пальчик жмет.

«Нет, не бойся, мать не видит:
Села с прялкою к окну,
А отец взял в руки цитру
И поет про старину».

И малютка продолжает
Тихо в уши мне шептать.

Много тайн за это время
Довелось мне услышать.

«С той поры, как нету тетки,
Не приходится уж нам
Ездить в Гослар на гулянье,
Вот чудесно было там!

Здесь, на этом горном склоне,
Так тоскливо жить одним,
А зимою мы под снегом,
Как схоронены сидим.

И при том же я трусиха,
Как дитя, впадаю в страх,
Только вспомню злобных духов,
Промышляющих в горах».

Точно слов своих пугаясь,
Прерывает вдруг рассказ,
И обеими руками
Прикрывает звезды глаз.

Все шумнее шелест ели,
Громче треск веретена,
И в звенящих струнах цитры
Оживает старина.

«Не страшись, моя малютка,
Злые духи скрылись прочь,
Божьи ангелы на страже
Над тобою — день и ночь!»

II

Ель протягивает пальцы
И стучится под окном,
Месяц, бледный соглядатай,
Льет сиянье в тихий дом.

Мать с отцом храпят негромко
В ближней спальне за стеной,

Мы же время коротаем
За блаженной болтовней.

«Будто часто ты молился?
Нет, меня не проведешь, —
Неужели от молитвы
На губах такая дрожь?»

Эта дрожь, такая злая,
Страх наводит на меня,
Но в глазах твоих сиянье
Благодатного огня.

Сомневаюсь, чтоб ты верил,
Как священник нас учил,
Чтобы ты отца и сына
И святого духа чтил».

«Ах, дитя мое, ребенком,
У родимой на руках,
Верил я, что правит миром
Бог-отец на небесах.

Тот, кто дивно создал землю,
Человека сотворил,
Кто звездам, луне и солнцу
Их пути определил.

А когда я вырос, крошка,
Много больше я узнал
И, постигнув человека,
В сына верить тоже стал,

В сына божьего, что людям
Дал любовь и чистоту
И, как водится, в награду
Пригвожден был ко кресту.

Я теперь созрел, начитан,
Видел многие края,
И в святого духа верю
Всей душой своею я.

Сотворил чудес он много
И еще творить готов.
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.

Раны лечит, обновляет
Право древней старины:
Все мы, люди, от рожденья
Благородны и равны.

Гонит он туманы злые
И рассеивает гнет,
Что вкушать любовь и радость
День и ночь нам не дает.

Сотни рыцарей отважных,
В броне панцирей и лат,
Служат духу всеблагому,
Волю высшую творят.

Гордо веют их знамена,
И мечи блестят у них, —
Ты хотела бы, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так гляди ж смелей мне в очи,
Поцелуй меня! Взгляни!
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь духа, как они!»

III

За зеленой хвоей ели
Месяц тихо прячет лик,
В нашей комнате мерцает
Догорающий ночник.

Только звезды голубые
Светят ярче в поздний час,
И пылает алый ротик,
И она ведет рассказ:

«Эти крошки — домовые
Поедают нашу снедь,
Накануне полон ящик,
Поутру — пустая клеть.

Эти крошки слижут ночью
Наши сливки с молока,
А остатки выпьет кошка
Из открытого горшка.

Да и кошка наша — ведьма:
Ночью вылезет на двор
И гуляет в дождь и вьюгу
По развалинам средь гор.

Там стоял когда-то замок,
В пышных залах яркий свет,
Дамы, рыцари и свита
Танцевали менуэт.

Но однажды злая фея
Нашптала злобных слов,
И теперь среди развалин
Гнезда филинов и сов.

Впрочем, тетка говорила:
Стоит только слово знать
И его в урочном месте
И в урочный час сказать, —

И опять из тех развалин
Стены гордые взойдут,
Дамы, рыцари и свита
Танцевать опять начнут;

Тот, кто скажет слово, станет
Обладателем всего,
Звуки трубные прославят
Светлость юную его».

Так цветут волшебной сказкой
Алых губок лепестки,

И сверкают в глазках-звездах
Голубые огоньки.

Нижет кудри мне на пальцы
И дает им имена,
И смеется и целует,
И смолкает вдруг она.

И с таким приветом тихим
Смотрит комната на нас;
Этот стол и шкаф как будто
Я уж видел много раз.

Мирно маятник болтает,
Струны цитры на стене
Еле слышно зазвенели,
И сижу я как во сне.

«Вот урочный час и место,
Вот, пора когда сказать.
Ты, малютка, удивисься,
Как я слово мог узнать».

Лишь скажу — и ночь поблекнет,
Не дождавшись до утра,
Зашумят ручьи и ели,
Вздрогнет старая гора.

Из ущелья понесутся
Звуки, полные чудес,
Запестреет, как весною,
Из цветов веселый лес,

Листья, странные, как в сказке,
Небывалые цветы
Полны чар благоуханья
И пьянящей пестроты.

Розы красные, как пламя,
Загорятся здесь и там,
И колонны белых лилий
Вознесутся к небесам.

Звезды крупные, как солнца,
Зашылают пад землей,
В чащи лилий исполинских
Свет вливая голубой.

Мы с тобой, моя малютка,
Всех изменимся сильней;
Окружат нас шелк и бархат,
Вспыхнет золото огней.

Ты принцессой станешь гордой,
Замком делается дом, —
Дамы, рыцари и свита
Пляшут весело кругом.

Все мое — и ты, и замок —
В этом сказочном краю,
Славят трубы и литавры
Светлость юную мою!»

Взошло солнце. Туманы рассеялись, как призраки при третьем крике петуха. Я снова стал взбираться на горы и спускаться с гор, а передо мною плыло прекрасное солнце, освещая все повые и новые красоты. Дух гор был ко мне явно благосклонен; он, верно, знал, что наш брат поэт может порассказать много хорошего, и в это утро он дал мне увидеть свой Гарц, каким его видел, конечно, не всякий. Но и меня увидел Гарц, каким меня немногие видели: на ресницах моих дрожали жемчужины, столь же драгоценные, как те, что переливались среди трав долины. Утренняя роса любви увлажняла мои щеки, шумящие ели понимали меня, разводя свои ветви и качая ими вверх и вниз, подобно немым, выражающим радость движениями рук, а вдали что-то звучало чудесно и таинственно, будто колокол затерянной в лесу церкви. Говорят, это колокольчики стад, издающие в Гарце такие нежные, ясные и чистые звуки.

Судя по положению солнца, был полдень, когда я встретился с таким стадом, и пастух, приветливый светловолосый парень, сказал мне, что высокая гора, у подножия которой я стою, — старый знаменитый по всей земле

Брокен. На много часов пути вокруг этой горы нет жилья, потому я был очень доволен, когда парень предложил мне поест вместе с ним. Мы уселись за *déjeuner dinatoire*,¹ состоявший из сыра и хлеба; овечки подбирали крошки, милые чистенькие телята прыгали вокруг нас, плутовски позванивая своими колокольчиками, и их большие, довольные глаза смеялись, глядя на нас. Мы пировали по-королевски; вообще, хозяин мой показался мне королем, а так как он пока что единственный король, который дал мне хлеба, то я и хочу воспеть его как короля.

Пастушок — король над стадом,
Холм зеленый — гордый трон,
А над головою солнце —
Лучезарней всех корон.

В красных крестиках барашки
Льстиво ластятся к ногам,
А телята-кавалеры
Гордо бродят по лугам.

Средь козлят придворной труппы
Каждый — чудо, не актер,
А коровьи колокольцы,
Флейты птиц — оркестр и хор.

Все поет, играет нежно,
Тих и нежен дальний гул
Водопадов, стройных елей, —
И король слегка вздремнул.

В это время государством
Управляет верный пес,
Чье сердитое рычанье
Ветер по полю разнес,

А король сквозь сон бормочет:
«Что за бремя эта власть!
Хорошо бы к королеве
Поскорей домой попасть!»

¹ Ранний обед или плотный завтрак (*франц.*).

Головой прилечь державной
К ней на грудь хотел бы я!
В нежном взоре королевы
Вся монархия моя!»

Мы дружески простились, и я весело стал взбираться в гору. Скоро я вошел в чащу высоких, до самого неба, елей, к которым питаю всяческое уважение. Дело в том, что этого рода деревьям не так-то легко расти, и в юности им пришлось немало претерпеть. Гора усеяна в этом месте гранитными глыбами, и большинству деревьев приходится оплетать их своими корнями или же разрывать их, с трудом находя почву для своего пропитания. Там и сям громоздятся камни, образуя как бы ворота, а на них стоят деревья, простирая обнаженные корни над каменными воротами и достигая почвы лишь у их подножия, так что кажется, будто они растут в воздухе. И все-таки они достигли громадной высоты, как будто срослись с цепко охваченными камнями, и стоят более прочно, чем их мирные товарищи, выросшие на ровном месте, на безобидной лесной почве. Так держатся и в жизни те великие люди, которые, преодолев первоначальные задержки и препятствия, возмужали и закалились. По ветвям елей карабкались белки, а внизу разгуливали желтые олени. Глядя на это милое, благородное животное, я не могу понять, какое удовольствие находят образованные люди в том, чтобы травить его и убивать. Ведь это животное оказалось милосерднее людей и вскормило томившегося от голода сына святой Женевьевы, Шмерценрейха.

Густую зелень елей чудесно пронизывали золотые лучи солнца. Древесные корни образовали естественную лестницу. Повсюду мягкие мшистые скамьи; ведь камни поросли на фут толщиной красивейшими породами мха, как будто прикрыты подушками светло-зеленого бархата. Нежная прохлада и мечтательный лепет ручьев. Видно, как там и тут пробивается под камнями светло-серебристая вода, орошая обнаженные корни и побеги деревьев. Склоняясь над всем этим, как бы подслушиваешь тайную историю их развития и спокойное биение сердца горы. Кое-где вода с большою силою вырывается из-под камней и корней, образуя небольшие водопады. Здесь хорошо присесть. Кругом такой чудесный шорох и бормотание,

птицы издают отрывочные, томительно призывные звуки, деревья шепчутся тысячью девичьих голосов, и тысячью девичьих глаз смотрят на тебя особенные горные цветы, протягивая широкие, забавно зазубренные листья; веселые солнечные лучи, играя, скользят здесь и там, задумчивые травки рассказывают друг другу зеленые сказки, и все как зачаровано, все кругом становится таинственной, оживает древняя мечта, появляется возлюбленная, — ах, как скоро она исчезает!

Чем выше взбираешься в гору, тем ниже и приземистее делаются ели; кажется, они все больше и больше съеживаются, наконец остаются только кусты черники и красной смородины да горные травы. Тут уже холод чувствительнее. Удивительные группы гранитных глыб лишь здесь становятся особенно заметны, поражая подчас своими размерами. Это, верно, мячи, которыми перебрасываются, играя, злые духи в Вальпургиеву ночь, когда ведьмы приезжают верхом на метлах и навозных вилах и начинается, по рассказам простодушной нянюшки, чудовищное, гнусное игрище, которое можно созерцать на прекрасных иллюстрациях к «Фаусту» маэстро Ретца. Один молодой поэт, проезжая верхом из Берлина в Геттинген мимо Брокена в ночь на первое мая, заметил даже, как несколько литературных дам, усевшись на скалистом выступе, образовали эстетический чайный кружок и с приятностью читали вслух «Вечернюю газету», производили в мировых гениев своих поэтических козлят, прыгавших с бляением у чайного стола, и высказывали в бесповоротной форме свои суждения о различных явлениях немецкой литературы; но, когда они дошли до «Ратклифа» и «Альманзора» и начали отказывать автору в набожности и христианском чувстве, волосы у молодого человека встали дыбом, отчаяние овладело им, — я пришпорил коня и ускакал прочь.

В самом деле, когда взбираешься на вершину Брокена, пельзя удержаться от мысли об увлекательных блоксбергских историях и в особенности о великой, таинственной национальной немецкой трагедии — о докторе Фаусте. Мне все время казалось, что следом за мною взбиралось в гору чье-то лошадиное копыто и кто-то юмористически переводил дыхание. И мне думается, у самого Мефистофеля захватывает дух, когда он взбирается на свою люби-

мую гору. Это в высшей степени утомительная доюга, и я был рад, когда, наконец, увидел долгожданный дом на Брокене.

Дом этот, известный по многим рисункам, всего-навсего одноэтажный и находится на вершине горы; выстроен он в 1800 году графом Штольберг-Вернигероде, и на его же счет содержится в доме гостиница. Стены — поразительной толщины, так как приняты во внимание ветер и зимняя стужа; крыша низкая, посредине ее находится вышка в форме башни. Рядом с домом расположены еще два небольших здания, одно из которых служило в прежнее время приютом для посетителей Брокена.

Вступая в дом на Брокене, я испытал какое-то необыкновенное сказочное чувство. После долгого одинокого пути среди елей и утесов переносишься внезапно в надоблачное жилище; города, горы и леса остаются внизу, а вверху находишь удивительно пестрое общество чужих тебе людей; оно встречает тебя, как водится в таких местах, словно долгожданного сотоварища, — наполовину с любопытством, наполовину равнодушно. Я застал полный дом народу и, как подобает разумному человеку, начал уже подумывать о ночи и о неудобствах соломенного тюфяка; умирающим голосом я потребовал себе чаю, и хозяин брокенской гостиницы был достаточно сообразителен, чтобы понять, что перед ним больной человек, нуждающийся на ночь в порядочной постели. Таковую постель он мне устроил в тесной комнатке, где уже расположился молодой коммерсант, долговязый рвотный порошок в коричневом костюме.

В общей комнате царили шум и оживление. Собрались там студенты различных университетов. Некоторые недавно прибыли и отдыхают, другие готовятся в путь, завязывают свои сумки, записывают свои имена в книгу для посетителей и принимают от служанок букеты брокенских цветов; вот где щиплют за щеки, распевают, прыгают, горланят, задают вопросы, отвечают, — пожелания хорошей погоды, доброго пути, «на здоровье», «с богом!» Некоторые из отбывающих подвыпили и испытывают двойное удовольствие от красивых видов, так как у пьяного все двойится в глазах.

Немного отдохнув, я поднялся на вышку и застал там маленького господина с двумя дамами, молодою и пожи-

люю. Молодая была очень хороша собой. Величественная фигура, на кудрявой голове черная атласная шляпа наподобие шлема, белыми перьями которой играл ветер, стройный стан так плотно охвачен черным шелковым плащом, что обрисовывались благородные формы, а широко открытые чистые глаза спокойно смотрели в широкие чистые дали.

Мальчиком я только и думал, что о сказках да волшебных историях, и всякая красивая дама с страусовыми перьями на голове казалась мне королевою эльфов, а если я замечал, что шлейф ее платья подмочен, я принимал ее за русалку. Теперь я рассуждаю иначе, зная из естественной истории, что эти символические перья получаются от глупейшей птицы, а шлейф дамского платья может подмокнуть самым естественным образом. Если бы здесь, на Брокене, я глазами мальчика посмотрел на эту красивую даму в ее красивой позе, я бы, конечно, подумал: это фея гор, она только что произнесла заклятие, от которого все внизу стало чудесным. Да, в высшей степени чудесным кажется нам все при первом взгляде с Брокена вниз, наш дух со всех сторон воспринимает новые впечатления, и впечатления эти, большею частью разнообразные и даже противоречивые, соединяются в нашей душе в одно большое, пока еще смутное и непонятное чувство. Если нам удастся познать природу этого чувства, то мы проникаем в характер горы. Характер этот — чисто немецкий, как в своих недостатках, так и в достоинствах. Брокен — немец. С немецкой основательностью, ясно и отчетливо, он открывает нам, как в исполинской панораме, многие сотни городов, городков и сел, расположенных по большей части к северу, и кругом, в бесконечной дали, все горы, леса, реки, равнины. Но именно поэтому все кажется резко очерченной, богато расцвеченной географической картой, и ничто не радует глаза собственно красивыми видами; так оно и бывает с нами, немецкими компиляторами: благодаря честности, с которой мы стремимся в точности передать все как есть, мы не в состоянии дать ничего красивого в отдельности. Что-то есть также в этой горе немецки-спокойное, понятливое, терпимое — именно потому, что она может все обозреть так далеко и так ясно. И если такая гора широко открывает свои исполинские глаза, она увидит несколько побольше, чем мы, близорукие карлики,

ползающие по ней. Правда, многие пытаются утверждать, что Брокен — в высшей степени филистер, и Клаудиус пел: «Блоксберг — филистер долговязый». Но это ошибка. Правда, лысая макушка, которую он прикрывает время от времени колпаком тумана, придает ему налет чего-то филистерского; но, как и у всех других великих немцев, это происходит от чистой иронии. Достоверно известно, что Брокен переживает даже свои разгульные, фантастические минуты, например в первую майскую ночь. Тогда он, ликуя, кидает высоко в воздух свой туманный колпак и, подобно нам, прочим, становится романтическим безумцем в совершенно немецком духе.

Я тотчас попытался завязать разговор с красавицей; ведь красота природы наслаждаешься вполне лишь тогда, когда имеешь возможность тут же высказаться. Она не проявила остроумия, но оказалась вдумчивой и внимательной. Манеры поистине благородные. Я разумею не то обычное, натянутое, отрицательное благородство, которое в точности сознает, о чем должно молчать, но то, редко встречающееся, свободное, положительное благородство, которое ясно подсказывает, что можно делать, и дает нам, при полной непринужденности, высшую степень уверенности в обществе. Я обнаружил, к собственному своему удивлению, обширные географические познания, назвал любознательной красавице имена всех раскинувшихся перед нами городов, разыскал их и показал на своей карте, с самым ученым видом разложив ее на каменном столе посреди вышки. Несколько городов мне не удалось найти, так как я искал больше пальцами, чем глазами, которые изучали между тем наружность прелестной дамы, находя на ее лице места много интереснее, чем Ширке и Эленд. Лицо это принадлежало к числу тех, которые никогда не возбуждают страсти, редко очаровывают и всегда нравятся. Я люблю такие лица, они своей улыбкой успокаивают мое мятущееся сердце.

Я не мог догадаться, в каких отношениях находился к своим спутницам маленький господин. Это была тощая и примечательная фигура. Головка, скупо прикрытая седыми волосиками, спускавшимися с низкого лба к зеленоватым стрекозиным глазам, круглый, далеко торчащий нос, а рот и подбородок, напротив, боязливо оттянутые назад, к ушам. Личико это казалось сделанным из той

нежной желтоватой глины, из которой скульпторы лепят свои первые модели; и когда сжимались его узкие губы, на щеках собирались тысячи тончайших полукруглых морщин. Маленький человек не произносил ни слова и лишь время от времени, когда старшая спутница что-то дружески ему нашептывала, улыбался, как мопс, страдающий насморком.

Пожилая дама приходилась матерью младшей и тоже обладала очень благородной внешностью. Глаза ее выражали болезненную, мечтательную задумчивость, около рта легла складка строгой набожности, но, казалось мне, когда-то этот рот был прекрасен и много смеялся, принимал много поцелуев и много раз отвечал на них. Лицо ее походило на Codex palimpsestus,¹ где сквозь свежий текст отцов церкви, вписанный монашескою рукою, просвечивают наполовину стертые любовные стихи древнегреческого поэта. Обе дамы побывали в этом году со своим спутником в Италии и рассказали мне много хорошего про Рим, Флоренцию и Венецию. Мать много говорила о рафаэлевских картинах в соборе св. Петра, дочь больше вспоминала об опере в театре Фениче.

Пока мы беседовали, наступили сумерки; воздух стал еще холоднее, солнце склонилось ниже, и площадка башни наполнилась студентами, мастеровыми и несколькими почтенными горожанами с их супругами и дочерьми, желавшими полюбоваться закатом. Это величественное зрелище настраивает душу на молитвенный лад. Почти четверть часа все стояли в строгом молчании, смотря, как прекрасный огненный шар постепенно опускается на западе; лица были освещены лучами вечерней зари, руки непроизвольно складывались; казалось, мы стоим тихою общиной среди исполинского собора, и пастырь подымлет тело господне, и из органа льются звуки вечного хора Палестрины.

Погруженный в глубокую задумчивость, стою я и вдруг слышу, как кто-то рядом со мною громко произносит: «Как прекрасна, вообще говоря, природа!» Эти слова вырвались из переполненной груди моего товарища по комнате, молодого купца. Я вернулся благодаря этому

¹ Палимпсест — пергамент, на котором по стертой рукописи написана новая.

к своему будничному настроению, оказался в состоянии наговорить дамам много приятного о солнечном закате и спокойно проводил их в их комнату, как будто бы ничего и не произошло. Они разрешили мне побеседовать с ними еще с час. Как и сама земля, разговор наш вертелся вокруг солнца. Мать заявила: солнце, погружаясь в туманы, походило на пылающую темно-красную розу, брошенную галантным небосводом в широко раскинутую белую подвенечную фату его возлюбленной — земли. Дочь улыбнулась и сказала, что частое созерцание подобных явлений природы ослабляет впечатление от них. Мать внесла поправку в этот ложный взгляд, приведя цитату из «Путевых писем» Гете, и спросила меня, читал ли я «Вертера». Кажется, мы говорили также об ангорских кошках, этрусских вазах, турецких шальях, макаронах и о лорде Байроне, причем пожилая дама, очень мило лепеча и вздыхая, продекламировала несколько строк из его произведений, относящихся к закату солнца. Я рекомендовал молодой даме, которая не понимала по-английски и желала познакомиться с этими произведениями, переводы моей прекрасной, высокоодаренной соотечественницы, баронессы Элизы фон Гогенгаузен, причем не преминул, согласно обыкновению своему в разговоре с юными дамами, распространиться о безбожии Байрона, его безлюбности, безутешности и еще бог знает о чем.

Покончив с этим, я вышел еще раз прогуляться по Брокену. Здесь ведь никогда не бывает совсем темно. Туман был негустой, и я мог различить очертания обоих холмов, из которых один зовется «Алтарем ведьм», а другой «Чертовой кафедрой». Я выстрелил из пистолета, но эхо не отозвалось. Вдруг слышу я знакомые голоса и чувствую, как меня обнимают и целуют. Это оказались земляки, покинувшие Геттинген спустя четыре дня после меня и очень изумленные тем, что нашли меня в полном одиночестве на Блоксберге. Тут мы все начали рассказывать, удивляться, строить планы, смеяться и вспоминать, и душою мы опять неслись в нашу ученую Сибирь, где культура стоит на такой высоте, что медведей привязывают в гостиницах, а соболы приветствуют охотника пожеланием доброго вечера.

В большой зале состоялся ужин. Длинный стол, и за ним два ряда голодных студентов. Вначале обычный уни-

верситетский разговор: дуэли, дуэли и опять дуэли. Общество составляли главным образом студенты из Галле, а поэтому вокруг Галле больше всего и вращалась беседа. Окна гофрата Шютца были экзегетически освещены. Потом говорили, что последний прием у кипрского короля сошел блестяще, что он назначил своим наследником незаконного сына и взял в супруги с левой стороны лихтенштейнскую принцессу, уволив в отставку свою государственную содержанку, и растроганные министры в полном составе проливали слезы, согласно заведенному порядку. Нет нужды пояснять, что речь идет о важных особах из пивного братства в Галле. Затем разговор коснулся двух китайцев, которых можно было видеть два года назад в Берлине и которые теперь оказались приват-доцентами по кафедре китайской эстетики в Галле. Пошли остроты. Предположили такой случай: немец показывает себя за деньги в Китае; по этому случаю изготовлен особый анонс, в коем мандарины Чинг Чанг-чунг и Хи Ха-хо удостоверяют, что это настоящий немец, и перечисляют кунштюки немца, состоящие главным образом в умении философствовать, курить табак и проявлять терпение; тут же указано, что не следует в двенадцать часов, когда происходит кормление, приводить с собою собак, так как они имеют обыкновение воровать у бедного немца лучшие куски.

Молодой корпорант, недавно съездивший в Берлин с целью освежиться, много, но весьма односторонне рассказывал об этом городе. Он побывал у Высоцкого и в театрах; о том и о другом судил он ложно: «Поспешна юность на слова...» и т. д. Он толковал о расходах на костюмы, о скандалах в кругу актеров и актрис и т. п. Молодой человек не знал, что в Берлине, где внешность имеет преимущественное значение, о чем свидетельствует известное выражение «все так делают», эта показная сторона должна особенно пышно расцвести на подмостках, и дирекция театров должна проявлять более всего заботы о «цвете бороды, назначенной для такой-то роли», о верности костюмов, проектируемых присяжными историками и изготовляемых портными с научною подготовкою. Это необходимо. Ведь если бы на Марии Стюарт надет был передник времен королевы Анны, банкир Христиан Гумпель вправе был бы жаловаться, что лишился по этой причине всякой иллюзии; и если бы лорд Берли по рас-

сеянности надел штаны Генриха IV, конечно, военная советница фон Штейнцопф, рожденная Либлиентау, весь вечер страдала бы от такого анахронизма. Эта заботливость главной дирекции об иллюзии распространяется, однако, не только на передники и штаны, но и на носящих их персонажей. Так, в будущем роль Отелло должна исполняться настоящим чернокожим, которого профессор Лихтенштейн выписал уже с этой целью из Африки: в «Ненависти к людям и раскаянии» Евлалию должна будет играть действительно погибшая женщина, Петера — действительно глупый мальчишка и Неизвестного — действительный тайный рогоносец, — всех трех, конечно, незачем выписывать из Африки. Если вышеупомянутый молодой человек плохо уяснил себе условия берлинского театра, то еще меньше он обратил внимания на то, что янычарская опера Спонтини с ее трубами, слонами, литаврами и там-тамами служит героическим средством для возбуждения воинственного духа в нашем дремлющем народе, средством, которое рекомендовали еще хитрые государственные мужи Платон и Цицерон. Менее всего молодой человек уразумел дипломатическое значение балета. С трудом удалось мне доказать ему, что в ногах Огэ больше политики, чем в голове Бухгольца, что все его пируэты символизируют дипломатические переговоры, что каждое его движение имеет отношение к политике: так, например, он имеет в виду наш кабинет, когда, страстно пригибаясь вперед, простирает далеко руки; что он намекает на Союзный сейм, вертясь до ста раз на одной ноге и не двигаясь с места; что он имеет в виду мелких государей, когда семенит по сцене, как будто у него связаны ноги; изображает европейское равновесие, качаясь туда и сюда, как пьяный; что он представляет конгресс, изогнув руки и сжав их в плотный клубок и, наконец, что он разумеет нашего непомерно великого друга на Востоке, когда, постепенно поднимаясь в высоту, застывает надолго в таком положении и вдруг пускается в самые устрашающие прыжки. Завеса упала с глаз молодого человека, и он понял теперь, почему танцовщики лучше оплачиваются, чем великие поэты, почему балет служит неистощимой темой для разговоров в дипломатическом корпусе, и почему хорошенькая танцовщица нередко встречает неофициальную поддержку министра, который, конечно,

дни и ночи старается втолковать ей свою политическую системку. Клянусь Аписом, как велико число экзотерических посетителей театра и как мало число эзотерических! Глупая публика сидит и глазает и удивляется прыжкам и пируэтам, изучает анатомию по позам г-жи Лемьер, аплодирует антраша г-жи Рениш, болтает о грации, о гармонии и о бедрах, и никто не замечает, что письменами танца пишется перед ними грядущая судьба немецкого отечества.

Меж тем как разговор касался того и другого, не упущена была и существенная польза, и должное внимание отдано было большим блюдам, добросовестно наполненным мясом, картофелем и т. п. Однако кушанья были плохие; об этом я вскользь заметил своему соседу, но тот, с акцентом, выдающим швейцарца, отвечал совсем невежливо, что нам, немцам, чуждо понятие об истинной свободе, а также — об истинной умеренности. Я пожал плечами и ответил, что истинные княжеские лаксы и изготовители сластей — всюду швейцарцы и так преимущественно и называются и что вообще пынешние герои швейцарской свободы, болтающие публично так много и смело о политике, кажутся мне теми зайцами, которые на ярмарочных площадях стреляют из пистолета, вызывая своей отвагой изумление детей и крестьян, — и все же остаются зайцами.

Сын Альпов не имел, конечно, злых намерений; «это был толстый человек, следовательно — добрый человек», как говорит Сервантес. Но сосед мой с другой стороны, грейфсвальдец, был очень задет таким заявлением; он стал утверждать, что немецкая жизненность и простота еще не угасли, и, угрожающе колотя себя в грудь, осушил громадную кружку белого пива. Швейцарец сказал: «Ну, ну!» Однако чем успокоительнее произносил это швейцарец, тем яростней затевал ссору грейфсвальдец. То был человек из эпохи, когда вши благоденствовали, а парикмахеры боялись умереть с голоду. Его длинные волосы болтались, на нем был рыцарский берет, черный сюртук старонемецкого покроя, грязная рубашка, исполнявшая одновременно обязанности жилетки, и под нею — медальон с клочком волос, принадлежавших белому блохеровскому коню. С виду это был дурак в натуральную величину. Я охотно совершаю моцион за ужином, а потому позволил ему втянуть меня в патристический спор. По его

мнению, Германию следовало разделить на тридцать три округа. Я утверждал, напротив, что их должно быть сорок восемь, ибо в этом случае можно было бы издать более систематический путеводитель по Германии, а ведь жизнь необходимо сочетать с наукой. Мой грейфсвальдский приятель оказался также немецким бардом, и поведал мне, что трудится над национальной героической поэмой для прославления Арминия и его битвы. Я дал ему кое-какие полезные указания для изготовления этой эпопеи, обратив его внимание на то, что он мог бы изобразить весьма ономатопоэтически, водянистыми и шероховатыми стихами, болота и извилистые тропинки Тевтобургского леса, и что было бы особенно патриотично и тонко вложить в уста Вару и прочим римлянам сплошь одни глупости. Надеюсь, этот искусный прием удастся ему, как и другим берлинским поэтам, до такой степени, что получится устрашительнейшая иллюзия.

За нашим столом становилось все шумнее и развязнее, вино вытеснило пиво, задымились пуншевые чаши. Пили, чокались, пели песни. Зазвучал старинный ландфатер и великолепные песни В. Мюллера, Рюккерта, Уланда и др. Раздались прекрасные мелодии Метфесселя. Лучшее всего прозвучали немецкие слова нашего Арндта: «Господь железо сотворил, чтоб нам не быть рабами». А на дворе шумело, как будто и старая гора подпевала нам, и некоторые из друзей, покачиваясь, утверждали даже, что Брокен весело кивает своей лысой головой, а потому наша компата трясется. Бутылки пустели, головы наполнялись. Тот рычал, этот подпевал тонким голосом, третий декламировал из «Вины», четвертый говорил по-латыни, пятый проповедовал умеренность, а шестой, взобравшись на стул, поучал: «Господа, земля — круглый вал, люди — отдельные шпеньки на нем, разбросанные, по-видимому, в беспорядке, но вал вертится, шпеньки цепляются то здесь, то тут и издают звуки — одни часто, другие — редко, получается чудесная, сложная музыка, называемая всемирною историей. Итак, мы начинаем с музыки, переходим к миру и заканчиваем историей; последняя делится на положительную часть и на испанских мух». И так далее — то со смыслом, то бессмысленно.

Некий благодушный мекленбуржец погрузил нос в бокал с пуншем и, блаженно улыбаясь, вдыхал его пары;

он заметил при этом, что чувствует себя, как у стойки театрального буфета в Шверине! Другой держал перед глазами рюмку с вином наподобие зрительного стекла и, казалось, внимательно рассматривал нас сквозь нее, а красное вино лилось по его щекам в открытый рот. Грейфсвальдец, внезапно воодушеваясь, бросился ко мне в объятия и восклицал: «Пойми меня, я люблю, я счастлив, мне отвечают любовью и, клянусь богом, она — образованная девушка: у нее пышные груди, она носит белое платье и играет на фортепьяно». Швейцарец же плакал, нежно целовал мою руку и непрерывно стонал: «О, Бэбели! О, Бэбели!»

Среди этой суматохи, когда начали плясать тарелки и летать стаканы, я увидел сидевших за столом против меня двух юношей, прекрасных и бледных, как мраморные изваяния. Один из них походил больше на Адониса, другой на Аполлона. Вино легким, еле заметным румянцем оживляло их щеки. С выражением безграничной любви смотрели они друг на друга, как будто один мог читать в глазах другого, и в этих глазах что-то блестело, точно несколько капель света попало в них из переполненной пылающей любовью чаши, которую чистый ангел переносит с одной звезды на другую. Они говорили тихо, голосом, дрожащим от тоски и страсти. То были печальные повести, звучащие дивною болью. «Лора тоже умерла!» — сказал один из них, вздохнув, и после некоторого молчания рассказал про девушку в Галле, влюбившуюся в студента. Когда студент покинул Галле, она со всеми перестала разговаривать, мало ела, плакала день и ночь, и все время смотрела на канарейку, подаренную ей когда-то возлюбленным. «Птичка умерла, а вскоре после того умерла и Лора», — так закончил он рассказ, и оба замолчали, вздыхая, как будто сердце у них разрывалось. Наконец один произнес: «Душа моя скорбит! Пойдем вместе в темную ночь! Я хочу впивать дыхание туч и лунные лучи. Товарищ мой по скорби, я люблю тебя, слова твои звучат, как шепот тростника, как шелест потока, они находят отзвук в сердце моем, но душа моя скорбит!»

Юноши поднялись, один из них обвил рукою шею другого, и оба покинули шумный зал. Я последовал за ними и увидел, как они вошли в темную комнату, как один открыл, вместо окна, большой платяной шкаф, как оба

остановились перед ним, страстно протянув руки, и начали говорить поочередно. «Вейние сумеречной ночи, — воскликнул один, — как освежаешь ты холодком мои щеки! Как нежно играешь ты моими развевающимися кудрями! Я стою на вершине облачной горы, подо мною раскинулись в дремоте людские города и блестят голубые воды. Чу! Там внизу, в долине шумят ели! Там над холмами скользят туманные образы, духи отцов. О, если бы я мог вместе с вами мчаться на коне-туче сквозь бурную ночь, над волнами моря, вверх, к звездам! Но — увы! — я полон скорби, душа моя грустит!» Другой юноша точно так же простер свои руки в страстном порыве к платяному шкафу, слезы брызнули из его глаз, и он скорбным голосом произнес, обращаясь к брюкам желтой кожи, которые принимал за луну: «Прекрасна ты, дочь неба! Блаженно нежное спокойствие лица твоего! Ты плывешь, полная прелести! По голубым путям твоим текут на восток звезды. Видя тебя, радуются тучи, и мрачные их очертания озаряются светом! Кто сравнится с тобою в небе, порожденные ночи? В присутствии твоём звезды смущаются от стыда и отводят в сторону вспыхивающие зеленым блеском очи! Куда сойдешь ты со своего пути, когда под утро побледнеет лицо твое? Есть ли у тебя, как у меня, свой покой? ¹ Не живешь ли ты в тени скорбей? Сестры твои — не упали ли они с неба? Их нет больше, радостно совершавших с тобою вместе ночной путь. Да, они упали, прекрасный светоч, и ты часто скрываешься, чтобы скорбеть о них. Но настанет ночь, и ты — и ты уйдешь, покинув свои голубые пути в высоте! Тогда звезды поднимут свои зеленые главы, устыдившиеся когда-то твоего присутствия, и возрадуются. Но теперь ты облечена великолепием твоим и смотришь вниз, из врат небесных. Разорвите вы, ветры, покровы туч, чтобы могла засиять дочь ночи, чтобы засветились поросшие кустами горы, и море покатило бы пенящиеся в блеске валы!»

Хорошо знакомый мне, не слишком тощий приятель — он больше пил, чем ел, хотя проглотил и сегодня вечером, как обыкновенно, порцию говядины, достаточную для насыщения шести гвардейских лейтенантов и одного

¹ Игра слов: Halle (нем.) — покой, зал, но также и город, откуда был родом романтически настроенный студент.

невинного дитяти, — прибежал в великолепном настроении, то есть в совершенно свинском образе; втокнув обоих элегических друзей не слишком-то нежно в шкаф, он загромыхал по направлению к выходной двери и поднял на дворе убийственную возню. Шум в зале делался все бессвязнее и глуше. Юноши стонали и скорбели в шкафу по поводу того, что лежат разбитые у подножия горы; благородное красное вино лилось у них из глотки, они орошали им друг друга, и один говорил другому: «Прощай! Я чувствую, что истекаю кровью. К чему будишь ты меня, воздух весны? Ты ласкаешь меня и говоришь: я освежаю тебя небесною влагою. Но близок час, когда я увяну, близок ураган, который развеет мои листья! Завтра придет путник; придет путник, видевший меня в красе моей, взор его будет искать меня кругом, в поле, и не найдет!..» Но все покрывал знакомый бас, с богохульствами, проклятиями и смехом жаловавшийся перед дверьми, что на всей темной Вендской улице нет ни одного фонаря и что не видно даже, у кого ты вышиб оконные стекла.

Я много могу выпить — скромность не позволяет мне назвать число бутылок, — и я добрался до своей спальни в довольно сносном состоянии. Молодой коммерсант лежал уже в постели, в своем белом, как мел, колпаке и шафранно-желтой куртке из гигиенической фланели. Он еще не спал и пробовал завязать со мной разговор. Он был из Франкфурта-на-Майне, а потому тотчас же завел речь о том, что евреи лишены чувства красоты и благородства и продают английские товары на двадцать пять процентов ниже их фабричной стоимости. Мне захотелось слегка его помистифицировать, и я сказал ему, что я лунатик и заранее прошу у него извинения на случай, если помешаю ему спать. Бедняга сам признался мне на другой день, что всю ночь не спал из-за этого, опасаясь, как бы я, в состоянии сомнамбулизма, не патворил бед с пистолетами, лежавшими у моей постели. Но, в сущности, и мне пришлось немногим лучше — спал я очень плохо. Дикие, жуткие создания фантазии! Клавираусцуг из Дантова «Ада». В конце концов мне пригрезилось, что я присутствую на представлении юридической оперы «Falcidia», текст Ганса, из области наследственного права, музыка Спонтини. Сумасшедший сон! Римский форум был освещен великолепно. Серв.Азиниус Гешенус, восседая в кресле в качестве

претора и горделиво кутаясь в складки тоги, изливался в громовых речитативах; Маркус Туллиус Эльверсус, как *Prima Donna legataria*,¹ во всем обаянии нежной своей женственности, пел полную любовной неги бравурную арию *quicumque civis romanus*;² парумященные, словно кирпичом натертые докладчики рычали, изображая хор песовершеннолетних; приват-доценты, одетые Генями, в трико телесного цвета, исполняли доюстициановский балет и украшали венками двенадцать таблиц; среди грома и молний восстал из-под земли оскорбленный дух римских законов, после чего появились трубы, там-тамы, огненный дождь *cum omni causa*.³

Из этой сутолоки меня извлек хозяин брокенской гостиницы, разбудивший меня, чтобы я мог посмотреть на восход солнца. На башне я застал уже несколько человек, они в ожидании потирали озябшие руки; другие, еще сонные, взбирались наверх. Наконец вчерашняя тихая община оказалась в полном сборе, и молча созерцали мы, как на горизонте поднялся небольшой ярко-красный шар, разлился зимний сумеречный свет, горы как бы поплыли средь белоснежного моря, и виднелись только их верхушки, так что, казалось, стоишь на небольшом холме среди залитой водой равнины и лишь кое-где выступают небольшие участки суши. Чтобы запечатлеть в словах виденное мной и прочувствованное, я набросал следующее стихотворение:

Все светлее на востоке,
Тлеет солнце, разгораясь,
И кругом поплыли горы,
Над туманами качаясь.

Мне надеть бы скороходы,
Чтобы с ветром поравняться,
И над этими горами
К дому милой резво мчаться,

Тихо полог отодвинуть
В изголовье у голубки,

¹ Примадонна по завещаниям (*итал.* и *лат.*).

² Всякий римский гражданин (*лат.*).

³ Со всеми принадлежностями (юридический термин) (*лат.*).

Целовать тихопько лобик
И рубиновые губки.

И в ушко ее чуть слышно
Молвить: «Пусть тебе приснится
Сон, что мы друг друга любим
И что нам не разлучиться».

Между тем желание позавтракать было не менее сильно, и, сказав моим дамам несколько любезных фраз, я поспешил вниз, чтобы выпить кофе в теплой комнате. И пора было: в желудке моем было пусто, как в госларской церкви св. Стефана. Но вместе с аравийским напитком по жилам моим пролился жаркий Восток, повеяло благоуханием восточных роз, зазвучали сладостные соловьиные песни, студенты превратились в верблюдов, служанки брокенского домика с их Конгривовыми взорами — в гуррий, носы филистеров стали минаретами и т. д.

Но книга, лежавшая около меня, не была кораном. Правда, глупостей там было достаточно. Это была так называемая Брокенская книга, куда все путешественники, взбирающиеся на гору, заносят свои имена, а большинство из них — и мысли свои, а за недостатком таковых — свои чувства. Многие даже прибегают к стихотворной форме. Из этой книги видно, что за ужас, когда стадо филистеров в соответствующем случае, как, например, здесь, на Брокене, решается взяться за поэзию. Во дворце принца Паллагонии не найти таких безвкусиц, как в этой книге; на страницах ее в особенности блещут господа акцизные чиновники с их заплесневевшими чувствами, конторские юноши, патетически изливающие свою душу, старонемецкие гимнасты-дилетанты от революции с их общими местами и берлинские школьные учителя с их избитыми выражениями восторга. Г-н Иванушка-Дурачок желает показать, что он тоже писатель. Тут описывается великолепная пышность солнечного восхода, там — жалобы на дурную погоду, на обманутые ожидания, на туман, скрывший все виды. «Поднялся в тумане и спустился в тумане»¹ — вот неизменная острога, повторяемая здесь сотнями людей.

¹ Игра слов: *benebelt* (нем.) — дословно: в тумане, но также — подвыпивши.

Книга отдает вообще запахом сыра, пива и табака; кажется, будто читаешь роман Клаурена.

В то время как я указанным выше образом пил кофе, перелистывая Брокенскую книгу, вошел швейцарец с раскрасневшимися щеками и, полный одушевления, рассказал мне о величественном зрелище, коим он наслаждался на башне, когда чистый, спокойный свет солнца — символ истины — боролся с ночными туманами; это было похоже на битву духов, где великаны в гнев облачают свои длинные мечи, рыцари в панцирях носятся на бешеных конях, из дикой сумятицы вырываются боевые колесницы, развевающиеся знамена и сказочные звериные образы, пока, наконец, все не смешается в безумном неистовстве, не побледнеет, тая, и не исчезнет бесследно. Я прозевал, оказывается, это демагогическое явление природы, и, если бы дошло до следствия, я мог бы клятвою заверить, что ничего не помню, кроме вкуса хорошего жареного кофе. Ах, этот кофе был даже виною и тому, что я забыл о своей красавице, и вот она стоит перед дверьми, вместе с матерью и спутником, намереваясь сесть в коляску. Я едва успел добежать и уверить ее, что сегодня холодно. Казалось, она была недовольна, что я не пришел раньше, но я разгладил хмурые морщины на ее прекрасном лбу, преподнес ей чудесный цветок, сорванный мною накануне с опасностью для жизни на отвесной скале. Мать пожелала узнать название цветка, словно она находила неприличным, чтобы дочь ее прикрепила чужой, незнакомый цветок у себя на груди, а цветок и правда попал на это завидное место, о котором он, конечно, и не мечтал вчера, на своей одинокой высоте. Тут молчаливый спутник внезапно открыл рот, сосчитал тычинки цветка и сказал весьма сухо: «Цветок принадлежит к восьмому классу».

Я сержусь каждый раз, когда вижу, что прелестные божьи цветы делят, как нас, на касты, и притом по внешним признакам — по различию тычинок. Если уж нужны разделения, лучше следовать Теофрасту, предлагавшему делить цветы по признакам духа, а именно по запаху. Что касается меня, то у меня в естественных науках своя система, и, в согласии с нею, я делю все на съедобное и несъедобное.

Таинственная природа цветов не была, впрочем, незнакома пожилой даме, и она невольно призналась, что цветы

очень радуют ее, когда растут в саду или в горшках, но что, напротив, сердце ее дрожит от тихой боли, полной боязливой мечтательности, когда она видит сорванный цветок — ведь это, собственно, труп, и этот цветочный труп, обломанный и нежный, грустно опускает свою увядшую головку, как мертвое дитя. Дама почти испугалась мрачного оттенка собственного замечания, и я счел своим долгом рассеять его несколькими вольтеровскими стихами. Как, однако, пара французских слов способна вернуть нас к подобающему приличному расположению духа! Мы засмеялись, я поцеловал дамам руки, мне милостиво улыбнулись, лошади заржали, и коляска, медленно и тяжело подпрыгивая, покатила под гору.

Тут и студенты стали готовиться в дорогу — сумки были подвязаны, счета, оказавшиеся, сверх всякого ожидания, умеренными, оплачены; радушные служанки, со следами счастливой любви на лицах, принесли, как водится, брокенские букетики, помогли прикрепить их к шапкам и были вознаграждены за это несколькими поцелуями или грошами, и мы все спустились вниз, под гору; одни, в том числе швейцарец и грейфсвальдец, направились по дороге к Ширке, другие, приблизительно человек двадцать, среди них мои земляки и я, — в обществе проводника потянулись по так называемым снежным ямам к Ильзенбургу.

Можно было голову сломить. Студенты из Галле маршируют быстрее австрийского ополчения. Не успел я опомниться, как обнаженная верхушка горы с разбросанными по ней группами камней оказалась позади нас, и мы вступили в еловый лес, такой же, какой я видел вчера. Солнце лило уже свои праздничные лучи, освещая одетых с забавной пестротой буршей, бодро шагавших через заросли, то пропадавших в них, то снова появлявшихся; они переходили болотистые места по деревянным поперечинам, цепляясь на крутых спусках за висячие корни, распевали в ликующем тоне и были столь же весело приветствуемы щебечущими лесными птицами, шумящими елями, невидимо журчащими ручьями и отзвуками эхо. Когда встречаются веселая юность и прекрасная природа, они радуются друг другу взаимно.

Чем ниже мы спускались, тем ласковее журчали подземные воды; просвечивали они, лишь кое-где, под кам-

нями и зарослями, как будто осторожно высматривали, можно ли выйти на свет; наконец небольшой ручей с решимостью пробился из-под земли. Тут обнаруживается обычное явление: смельчак начинает, и робкая толпа, охваченная, к собственному изумлению, духом мужества, спешит к нему присоединиться. Множество других источников забурлило теперь из своих скрытых недр, соединилось с пробившимися вперед, и скоро они образовали немалый ручей, сбегаящий с горы в долину бесчисленными водопадами и причудливыми излучинами. Это — Ильза, прелестная, милая Ильза. Она течет по благословенной долине Ильзеталь, где по обе стороны все выше и выше вздымаются горы, заросшие до самого подножия по большей части буками, дубами и обыкновенным лиственным кустарником; елей и других хвойных деревьев больше нет. Ведь в «Нижнем Гарце», как именуется восточный склон Брокена, преобладают лиственные породы, в противоположность западному склону, который называется «Верхним Гарцем». Последний действительно гораздо выше, а это более благоприятствует росту хвойных деревьев.

Невозможно описать, как радостно, непринужденно и грациозно низвергается Ильза с причудливых утесов, встречаемых ею на пути, так что в одном месте вода неистово взлетает кверху или разбегается в пене, в другом — льется чистою дугообразною струею, как из полных кувшинов, сквозь трещины камней, а внизу перебегает по мелким камням, как резвая девушка. Да, предание говорит правду: Ильза — принцесса, которая, смеясь и цветя, сбегает с горы. Как блестит при свете солнца ее белая пенная одежда! Как развеваются по ветру серебряные ленты на ее груди! Как искрятся и горят ее алмазы! Высокие буки стоят возле, точно серьезные родители, которые со скрытой улыбкой любят резвость милого ребенка; белые березы качаются, как тетушки, радуясь и вместе с тем опасаясь за слишком смелые прыжки; гордый дуб посматривает, как брюзга-дядюшка, которому придется за все это платить; птички в воздухе ликующие приветствуют ее, цветы по берегам нежно шепчут: «Возьми нас с собою, возьми с собою, милая сестричка!» Но веселая девушка неудержимо несется дальше и вдруг хватает мечтающего поэта: на меня льется цветочный дождь звенящих лучей и лучистых звуков, я теряю голову от этого сплош-

ного великолепия и слышу только сладостные, как флейта, звуки:

Зовусь я принцессой Ильзой
И в Ильзенштейне живу.
Пойдем со мной в мой замок
К блаженству наяву.

Я лоб тебе омою
Прозрачную волной,
Ты боль свою забудешь
Унылый друг больной!

В объятьях рук моих белых,
На белой груди моей
Ты будешь лежать и грезить
О сказках прошлых дней.

Обниму тебя, зацелую,
Как мной зацелован был
Мой император Генрих,
Что вечным сном почил.

Не встать из мертвых мертвым,
И только живые живут;
А я цветка прекрасней,
И сердце бьется — вот тут.

Вот тут смеется сердце,
Звенит дворец средь огней,
Танцуют с принцессами принцы,
Ликует толпа пажей.

Шуршат атласные шлейфы,
И шпоры звенят у ног,
И карлики бьют в литавры,
И свищут, и трубят в рог.

Усни, как спал мой Генрих,
В объятьях нежных рук;
Ему я прикрыла уши,
Как грянул трубный звук.

Неизъяснимо чувство бесконечного блаженства, когда мир явлений сливается с нашим внутренним миром и

в пленительных арабесках сплетаются зеленые деревья, мысли, пение птиц, грусть, голубое небо, воспоминания и запах трав. Женщинам более всего знакомо это чувство, а потому, может быть, и блуждает столь прелестно-недоверчивая улыбка вокруг их губ, когда мы с гордостью ученых педантов похваляемся своими логическими подвигами — как правильно поделено у нас все на объективное и субъективное, как головы наши снабжены по-аптечному тысячами выдвигаемых ящичков: в одном — разум, в другом — рассудок, в третьем — острота, в четвертом — скверная острота, а в пятом — и вовсе ничего, то есть идея.

Продолжая путь свой словно во сне, я почти не заметил, как мы прошли долину Ильзы и поднялись опять в гору. Подъем был крутой и трудный, у многих из нас захватывало дыхание. Но, подобно покойному родичу нашему, похороненному в Мельне, мы заранее представляли себе спуск с горы и были довольны. Наконец мы достигли Ильзенштейна.

Это — громадный гранитный утес, широко и смело поднимающийся из глубины. С трех сторон его окружают высокие, покрытые лесом горы, но четвертая, северная сторона, открыта, и отсюда видны расположенный внизу Ильзенбург и Ильза, далеко бегущая по низинам. На верхушке утеса, имеющей форму башни, стоит высокий железный крест, а кроме того, в случае нужды, там поместятся еще две пары человеческих ног.

Подобно тому, как природа разукрасила Ильзенштейн фантастическою прелестью, дав ему такое местоположение и форму, народное предание тоже озарило его своими розовыми лучами. Готшалк сообщает: «Рассказывают, что здесь был зачарованный замок, в котором жила богатая, прекрасная принцесса Ильза, до сей поры купающаяся каждое утро в Ильзе, и кому посчастливится увидеть ее в это время, того отведет она к утесу, где ее замок, и вознаградит по-королевски». Другие передают прелестный рассказ о любви Ильзы и рыцаря Вестенберга, воспетой столь романтически одним из самых известных наших поэтов в «Вечерней газете». А еще другие рассказывают, будто бы древнесаксонский император Генрих проводил истинно королевские часы с Ильзою, прекрасною феею вод, в ее зачарованном замке на утесе. Однако писатель новейшего времени, его высокородие господин Ниман,

составивший путеводитель по Гарцу, в коем он с похвальным усердием дает точные цифровые данные о высоте гор, отклонениях магнитной стрелки, задолженности городов и т. п., утверждает: «Все, что рассказывают о прекрасной принцессе Ильзе, принадлежит к области сказок». Так говорят все эти люди, кому никогда не являлась такая принцесса, но мы, пользующиеся особым благоволением красавиц, знаем все лучше. Знал это и император Генрих. Недаром древнесаксонские императоры так привязаны были к своему родному Гарцу. Стоит лишь перелистать очаровательную «Люнебургскую хронику», где чудесные простодушные гравюры на дереве изображают этих старых добрых государей, восседающих в своих доспехах на закованных в броню боевых конях, со священной императорскою короною на бесценной голове, со скипетром и мечом в мощных руках, и на их славных усатых лицах ясно можно прочесть, как часто они тосковали по милым сердцу принцессам Гарца и по приветливому шелесту гарцских лесов, когда сами находились на чужбине, может быть в обильной лимонами и ядами Италии, куда постоянно влекло их и их преемников желание именоваться римскими императорами — истинно немецкая страсть к титулам, погубившая и императоров и империю.

Но я советую всякому, кто стоит на вершине Ильзентейпа, не думать ни об императорах, ни об империи, ни о прекрасной Ильзе, а только о своих ногах. Дело в том, что, когда я стоял там, погруженный в мысли, я услышал внезапно подземную музыку зачарованного замка и увидел, как горы кругом меня опрокинулись вершинами книзу, красные черепичные крыши Ильзентурга заплясали и зеленые деревья начали носиться в голубом воздухе, так что все позеленело и поголубело у меня перед глазами; охваченный головокружением, я несомненно упал бы в пропасть, если бы, спасаясь, не ухватился крепко за железный крест. Никто не поставит мне, конечно, в упрек, что я в столь бедственном положении так поступил.

«Путешествие по Гарцу» — отрывок и отрывком останется. Пестрые нити, столь красиво вплетенные и предназначенные слиться в одно гармоническое целое, перере-

заются внезапно, как бы ножницами непреклонной парки. Может быть, я в будущих своих песнях продолжу мою пряжу и во всей полноте скажу о том, о чем теперь скупо умолчал. В конце концов, не все ли равно, когда и где что-либо высказано, раз оно вообще сказано? Пусть отдельные произведения остаются отрывками, лишь бы они вместе составили одно целое. В таком случае будут пополнены те или иные недочеты, устранены неровности и смягчены излишние резкости. Быть может, так бы вышло с первыми же страницами «Путешествия по Гарцу», и они производили бы менее кислое впечатление, если бы читатель потом узнал, что нерасположение, которое я, в общем, питаю к Геттингену, хоть оно еще и больше того, что было мною высказано, все же далеко не столь велико, как уважение, внушаемое мне отдельными тамошними личностями. И к чему бы мне умалчивать? Я в особенности имею здесь в виду того дорогого мне человека, который давно принял во мне дружеское участие, внушил мне уже тогда искреннюю любовь к занятиям историей, впоследствии укрепил во мне интерес к этим занятиям и тем направил дух мой на более спокойные пути, дал благотворный исход моей жизненной энергии и вообще уготовал для меня те исторические утешения, без которых я никогда бы не вынес мучительных переживаний нынешнего дня. Я говорю о Георге Сарториусе, великом историке и человеке, чей глаз — яркая звезда в наше темное время и чье радушное сердце открыто для чужих страданий и радостей, для забот короля и нищего, для последних вздохов погибающих народов и их богов.

Я не могу также не указать, что Верхний Гарц — та часть Гарца, которую я описал, вплоть до начала долины Ильзы, далеко не представляет столь радостного зрелища, как романтически-живописный Нижний Гарц, и дикой красотой своей, своими сумрачными елями образует с последним резкий контраст. Равным образом, три долины, образуемые в Нижнем Гарце реками Ильзою, Бодою и Зелькою, восхитительно отличаются друг от друга, если олицетворить характер каждой из них. Это — три женских образа, и не так-то легко решить, который из них прекраснее.

О милой, прелестной Ильзе, о том, как мило и ласково она меня принимала, я рассказал уже в прозе и стихах.

Сумрачная красавица Бода приняла меня не столь мило- стиво; и когда я впервые увидел ее среди темного, как кузница, Рюбеланда, она казалась не в духе и закуталась в свой серебристо-серый дождевой плащ. Но она быстро в порыве любви сбросила его, когда я достиг вершины Ростраппы, лицо ее засветилось мне навстречу ярким солнечным блеском, все ее черты выразили величайшую нежность, и из скованной утесами груди вырвался как бы вздох страсти вместе с замирающими звуками скорби. Менее нежной, но более веселой мне показалась красавица Зелька, прекрасная и любезная дама, благородная простота и ясное спокойствие которой не дают места сентиментальной фамильярности; но она все же своей полу- скрытой улыбкой выдает шаловливый нрав; последнему и приписываю я то обстоятельство, что в долине Зельки меня постиг ряд мелких неудач: пытаюсь перепрыгнуть через ручей, я шлепнулся прямо в середину его, затем, когда я переменял намокшую обувь на туфли, одна из них пропала, порыв ветра сорвал с меня шапку, лесные колючки изранили мне ноги, и так далее, к сожалению. Но все эти проделки я прощаю прекрасной даме, ибо она прекрасна. И теперь в моем воображении она стоит во всей своей тихой прелести и, кажется мне, говорит: «Если я и смеюсь, то все же без злого умысла, и я прошу вас, воспойте меня». Величественная Бода также возникает в моем воспоминании, и темный взор ее говорит: «Ты подобен мне в гордости и страдании, и я хочу, чтобы ты полюбил меня». Прибежала и милая красавица Ильза, очаровывающая и лицом, и станом, и движениями; она совершенно похожа на то прелестное существо, что наполняет блаженством мои грезы, и смотрит на меня так же, как та, с непреодолимым равно- душием и вместе с тем так проникновенно, так бессмертно, так прозрачно правдиво... Ну что же, я — Парис, передо мною три богини, и я вручаю яблоко прекрасной Ильзе.

Сегодня первое мая; морем жизни изливается над зем- лею весна, деревья — в белой пене первого цвета; широко стелется всюду теплый, туманный блеск; в городе радостно блестят стекла окон, на крышах опять вьют гнезда во- робьи, по улицам идут люди и удивляются, что воздух нынче такой пьянящий и что у них так чудесно на сердце;

пестро одетые крестьянки с низовьев Эльбы предлагают букеты фиалок; дети-сироты в синих блузках, с милыми незаконнорожденными личиками, проходят через Юнгфернштиг и радуются так, будто им суждено сегодня найти отца; нищий на мосту смотрит таким довольным взором, точно он выиграл в лотерею главный выигрыш; даже черного, еще не повешенного маклера, спящего там с мошенническим, мануфактурно-торговым лицом, солнце дарит своими бесконечно терпимыми лучами, — я пойду из города за ворота.

Сегодня первое мая, и я думаю о тебе, прекрасная Ильза — или назвать мне тебя Агнесой? — ведь имя это нравится мне больше всего, — я думаю о тебе, и мне хотелось бы вновь смотреть, как ты, сияя, сбегашь с горы. Но больше всего хотелось бы мне стоять внизу, в долине, и принять тебя в свои объятия... Прекрасный день! Повсюду зеленый цвет, цвет надежды. Повсюду, как прелестные чудеса, распускаются цветы, и опять собирается расцвести мое сердце. Это сердце тоже цветок, и притом чудесный. Оно — не скромная фиалка, не смеющаяся роза, не чистая лилия или другой подобный им цветочек, радующий своей чинной прелестью сердце девушки и красующийся на красивой груди, увядающий сегодня, завтра расцветающий вновь. Сердце это более походит на тяжелый, причудливый цветок лесов Бразилии, который, по преданию, расцветает только раз в столетие. Помню, мальчиком я видел такой цветок. Ночью мы услышали выстрел, как из пистолета, а наутро соседские дети рассказали мне, что это распустилось внезапно с таким треском их алоэ. Они провели меня в сад, и здесь я, к своему изумлению, увидел, что приземистое жесткое растение, с причудливо широкими остро зазубренными листьями, о которые легко можно оцарапаться, теперь высоко поднялось, и над ним, как золотая корона, распустился великолепный цветок. Мы, дети, не могли дотянуться до него, чтобы посмотреть, и ухмыляющийся старый Христиан, который любил нас, устроил вокруг цветка деревянный помост, мы взбирались на него, как кошки, и с любопытством любовались открытой чашей цветка, откуда с неслыханным великолепием струились, вместе с желтыми лучистыми нитями, какие-то дикие, незнакомые ароматы.

Да, Агнеса, не часто и не легко расцветает это сердце; помнится, оно цвело только раз, и это было, верно, давно, пожалуй, не менее чем сто лет назад. Думается мне, как великолепно ни распустился тогда цветок, он должен был зачахнуть от недостатка света и тепла, если и не был уничтожен мрачной зимней бурей. Но теперь что-то волнуется и растет в моей груди, и если ты услышишь вдруг выстрел — не бойся, девушка, я не застрелился, это любовь моя разорвала свою оболочку и взметнулась ввысь в лучистых песнях, в вечных дифирамбах, в полноте радостной гармонии.

А если моя высокая любовь слишком высока для тебя, девушка, устройся удобнее, взойди на деревянный помост и смотри с высоты его на мое цветущее сердце.

Еще рано, солнце не совершило половины своего пути, а сердце мое благоухает уже так сильно, что в голове туманится, и я перестаю понимать, где кончается ирония и начинается рай; воздушное пространство я населяю вздохами и сам хотел бы растечься в благостных атомах, в предвечности божества; что же будет, когда наступит ночь и звезды появятся на небе, — «у тех несчастных звезд узнаешь скоро ты...»

Сегодня первое мая, сегодня последний грязный лавочник вправе стать сентиментальным, неужели же ты запретишь это поэту?

**ЧАСТЬ
ВТОРАЯ**



СЕВЕРНОЕ МОРЕ

1826

*«Биографические памятники» Фарнхагена фон Энзе,
часть I, стр. 1—2.*

(Писано на острове Нордерней.)

... Туземцы большею частью ужасающе бедны и живут рыбною ловлею, которая начинается только в следующем месяце, октябре, при бурной погоде. Многие из этих островитян служат также матросами на иностранных купеческих кораблях и годами отсутствуют, не давая о себе никаких вестей своим близким. Нередко они находят смерть в море. Я застал на острове несколько бедных женщин, у которых погибли таким образом все мужчины в их семье, что случается нередко, так как отец обыкновенно пускается в море на одном корабле со своими сыновьями.

Мореплавание представляет для этих людей большой соблазн, и все-таки, думается мне, лучше всего они чувствуют себя дома. Если даже они попадают на своих кораблях в те южные страны, где солнце светит пышнее, а луна — романтичнее, то все тамошние цветы не в силах все же заткнуть пробойну в их сердце, и в благоухающей стране весны они тоскуют по своему песчаному острову, по своим маленьким хижинам, по пылающему очагу, у которого, закутавшись в шерстяные куртки, сидят их родные и пьют чай, только названием отличающийся от кипяченой морской воды, и болтают на таком языке, что трудно уразуметь, как они сами его понимают.

Так прочно и полно этих людей соединяет не столько глубокое и таинственное чувство любви, сколько привычка, жизнь в тесной связи друг с другом, согласная

с природой непосредственность в общении между собою. Одинаковый уровень духовного развития или, вернее, неразвитости, отсюда и одинаковые потребности и одинаковые стремления; одинаковый опыт и образ мыслей, отсюда и легкая возможность понимать друг друга; и вот они мирно сидят у огня в маленьких хижинах, теснее сдвигаются, когда становится холодней, по глазам узнают, что думает другой, читают по губам слова, прежде чем они выговорены; в памяти их хранятся все общие жизненные отношения, и одним звуком, одною гримасой, одним бессловесным движением они вызывают в своей среде столько смеху, слез или торжественного пастроения, сколько нам с трудом удается возбудить путем долгих словоизлияний, объяснений и вдохновенных рассуждений. Ведь по существу мы живем в духовном одиночестве, каждый из нас благодаря особым приемам воспитания или случайному подбору материала для чтения получил своеобразный склад характера; каждый из нас под своей духовной маской мыслит, чувствует и действует иначе, чем другие, а потому и возникает столько недоразумений и даже в просторных домах так трудна совместная жизнь, и повсюду нам тесно, везде мы чужие и повсюду на чужбине.

В таком состоянии одинаковости мыслей и чувств, какое мы находим у обитателей нашего острова, жили часто целые народы и целые эпохи. Римско-христианская церковь в средние века стремилась, быть может, к установлению такого положения в общинах всей Европы и распространила свою опеку на все житейские отношения, на все силы и явления, на всю физическую и нравственную природу человека. Нельзя отрицать, что в итоге получилось много спокойного счастья, жизнь расцвела в тепле и уюте, и искусства, подобно выращенным в тиши цветам, явили такое великолепие, что мы и до сих пор изумляемся им и, при всей нашей стремительности в познании, не в силах следовать их образцам. Но дух имеет свои вечные права, он не дает сковать себя канонами, убаюкать колокольным звоном; дух сломил свою тюрьму, разорвал железные помочи, на которых церковь водила его как мать; опьяненный свободой, пронесся он по всей земле, достиг высочайших горных вершин, возликовал в избытке сил, снова стал припоминать давнишние сомнения, размышлять о чудесах современности и считать

звезды ночные. Мы еще не сочли звезд, не разгадали чудес, старинные сомнения возникли с могучею силой в нашей душе — счастливее ли мы, чем прежде? Мы знаем, что не легко ответить утвердительно на этот вопрос, когда он касается масс; но знаем также, что счастье, которым мы обязаны обману, не настоящее счастье, и что в отдельные отрывочные моменты состояния, близкого к божескому, на высших ступенях духовного нашего достоинства, мы способны обрести большее счастье, чем в долгие годы прозябания на почве тупой и слепой веры.

Во всяком случае это владычество церкви было игом наихудшего свойства. Кто поручится нам за добрые намерения, о которых я только что говорил? Кто может доказать, что не примешивались к ним подчас и дурные намерения? Рим все время стремился к владычеству, и когда пали его легионы, он разослал по провинциям свои догматы. Рим, как гигантский паук, уселся в центре латинского мира и заткал его своей бесконечной паутиной. Поколения народов жили под ним умиротворенной жизнью, принимая за близкое небо то, что было на деле лишь римской паутиной; только стремившийся ввысь дух; прозревая сквозь эту паутину, чувствовал себя стесненным и жалким, и когда он пытался прорваться, лукавый ткач улавливал его и высасывал кровь из его отважного сердца, и кровь эта — не слишком ли дорогая цена за призрачное счастье бессмысленной толпы? Дни духовного рабства миновали; старчески дряхлый, сидит старый паук-крестовик среди развалившихся колонн Колизея и все еще тклет свою старую паутину, но она уже не крепкая, а гнилая, и в ней запутываются только бабочки и летучие мыши, а не северные орлы.

... Смешно, право: когда я с таким доброжелательством начинаю распространяться о намерениях римской церкви, меня внезапно охватывает привычное протестантское рвение, приписывающее ей постоянно все самое дурное; и именно это раздвоение моей собственной мысли являет для меня образ разорванности современного мышления. Мы ненавидим сегодня то, чем вчера восхищались, а завтра, может быть, равнодушно посмеемся над всем этим.

С известной точки зрения все одинаково велико и одинаково мелко, и я вспоминаю о великих европейских пере-

воротах, наблюдая мелкую жизнь наших бедных островитян. И они стоят на пороге нового времени, и старинные их единомыслие и простота нарушены процветанием здешних морских купаний, так как они ежедневно подмечают у своих гостей кое-что новое, несовместимое с их стародавним бытом. Когда по вечерам они стоят перед освещенными окнами кургауза и наблюдают поведение мужчин и дам, многозначительные взгляды, гримасы вожделения, похотливые танцы, самодовольное обжорство, азартную игру и т. д., это не остается для них без скверных последствий, не уравниваемых той денежной выгодой, которую им приносят морские купанья. Денег этих недостаточно для вновь возникающих потребностей, а в итоге — глубокое расстройство внутренней жизни, скверные соблазны, тяжелая скорбь. Мальчиком я всегда чувствовал жгучее вожделение, когда мимо меня проносили открытыми прекрасно испеченные ароматные торты, предназначенные не для меня; впоследствии то же чувство мучило меня при виде обнаженных по моде красивых дам; и мне думается, что бедным островитянам, находящимся еще в пору детства, часто представляются случаи для подобных ощущений, и было бы лучше, если бы обладатели прекрасных тортов и женщин несколько больше прикрывали их. Обилие открытых напоказ лакомств, которыми эти люди могут тешить только свои глаза, должно сильно возбуждать их аппетит, и если бедных островитянок в период беременности страстно влечет ко всяким печеным сладостям и в конце концов они даже производят на свет детей, похожих на курортных приезжих, то это объясняется просто. Здесь я отнюдь не намекаю на какие-либо безнравственные связи. Добродетель островитянок в полной мере ограждена их безобразием и особенно свойственным им рыбным запахом, которого я по крайней мере не выносил. В самом факте появления на свет младенцев с физиономиями курортных гостей я бы скорее признал психологический феномен и объяснил бы его теми материалистически-мистическими законами, которые так хорошо устанавливает Гете в своем «Избирательном средстве».

Поразительно, как много загадочных явлений природы объясняется этими законами. Когда в прошлом году буря прибила меня к другому восточно-фризскому острову, я увидел там в одной из рыбацких хижин сквер-

ную гравюру с надписью: «La tentation du vieillard»,¹ изображающую старика, смущенного среди своих занятий появлением женщины, которая вынырнула из облака, обнаженная до самых бедер; и странно, у дочери рыбака было такое же похотливое монсообразное лицо, как у женщины на картине. Приведу другой пример: в доме одного менялы, жена которого, управляя делом, всегда заботливо рассматривала чеканку монет, я заметил, что лица детей представляют поразительное сходство с величайшими монархами Европы, и когда все дети собирались вместе и затевали споры, казалось, что видишь маленький конгресс.

Вот почему изображение на монете — предмет не безразличный для политики. Так как люди столь искренно любят деньги и несомненно любовно созерцают их, дети часто воспринимают черты того государя, который вычеканен на монете, и на бедного государя падает подозрение в том, что он — отец своих подданных. Бурбоны имеют все основания расплавлять наполеондоры, они не желают видеть среди французов столько наполеоновских лиц. Пруссия дальше всех ушла в монетной политике: там, путем умелого примешивания меди, добиваются того, что щеки короля на вновь отчеканенной монете тотчас же становятся красными, и с некоторых пор вид у прусских детей гораздо здоровее, чем прежде, так что испытываешь истинную радость, созерцая их цветущие зильбергрошевые рожицы.

Указывая на опасность, грозящую нравственности островитян, я не упомянул о духовном оплоте, охраняющем от нее, — об их церкви. Каков вид церкви — не могу в точности сообщить, так как не был еще там. Бог свидетель, я добрый христианин и даже часто собираюсь посетить дом господень, но роковым образом всегда встречаю к этому препятствия; находится обыкновенно болтун, задерживающий меня в пути, и если я, наконец, достигаю дверей храма, мной вдруг овладевает шутовское расположение духа, и тогда я почитаю за грех входить внутрь. В прошлое воскресенье со мной произошло нечто подобное: мне вспомнилось перед церковными воротами то место из гетевского «Фауста», где Фауст, проходя с Мефистофелем мимо креста, спрашивает его:

¹ «Искушение старца» (франц.).

Что так спешишь, Мефисто? Крест смутил?
Ты потупляешь взоры не на шутку.

И Мефистофель отвечает:

Я поддаюсь, конечно, предрассудку, —
Но все равно: мне этот вид не мил.

Стихи эти, насколько мне известно, не напечатаны ни в одном из изданий «Фауста», и только покойный гофрат Мориц, ознакомившийся с ними по рукописи Гете, сообщает их в своем «Филиппе Рейзере», забытом уже романе, содержащем историю самого автора, или, скорее, историю нескольких сот талеров, коих автор не имел, в силу чего вся его жизнь стала цепью лишений и отречений, между тем как желания его были в высшей степени скромны, — например желание отправиться в Веймар и поступить в услужение к автору «Вертера» на каких бы то ни было условиях, лишь бы жить вблизи того, кто из всех людей на земле произвел самое сильное впечатление на его душу.

Удивительно! Уже и тогда Гете вызывал такое воодушевление, и все-таки только «наше третье, подрастающее поколение» в состоянии уразуметь его истинное величие.

Но это поколение дало также людей, в сердцах которых сочтется лишь загнившая вода и которые готовы поэтому заглушить в сердцах других людей все источники живой крови; людей с иссякнувшей способностью к наслаждению, клеветующих на жизнь и стремящихся отравить другим людям все великолепие мира. Изображая его как соблазн, созданный лукавым для нашего искушения, наподобие того, как хитрая хозяйка оставляет, уходя из дому, открытую сахарницу с пересчитанными кусками сахара, чтобы испытать воздержанность служанки, эти люди собрали вокруг себя добродетельную чернь и призывают ее к крестовому походу против великого язычника и против его нагих богов, которых они охотно заменили бы своими замаскированными глупыми чертями.

Замаскирование — высшая их цель, божественная пагота их ужасает, и у сатира всегда есть причины надеть штаны и настаивать на том, чтобы и Аполлон надел штаны. Тогда люди называют его нравственным человеком, не подозревая, что в клауруновской улыбке закутанного сатира больше непристойности, чем во всей паготе Вольфганга-Аполлона, и что как раз в те времена, когда

человечество носило широчайшие штаны, на которые шло по шестьдесят локтей материи, нравы были не чище нынешних.

Однако не поставят ли мне дамы в упрек, что я говорю «штаны» вместо «панталоны»? О, эти тонкости дамского чувства! В конце концов одни евнухи будут иметь право писать для них, и духовные их слуги на Западе должны будут хранить ту же невинность, что телесные — на Востоке.

Здесь я припоминаю одно место из «Дневника Бертольда».

«Если поразмыслить как следует, то ведь все мы ходим голые в наших одеждах», — сказал доктор М. даме, поставившей ему в упрек несколько грубое выражение».

Ганноверское дворянство очень недовольно Гете и утверждает, что он распространяет неверие, а это легко может привести к ложным политическим убеждениям, между тем как следует возратить народ посредством старой веры к старинной скромности и умеренности. В последнее время мне также пришлось выслушать много споров на тему: Гете ли выше Шиллера, или наоборот? Недавно я стоял за стулом одной дамы — у нее явно, даже если смотреть на нее сзади, видны были ее шестьдесят четыре предка — и слушал оживленные дебаты на эту тему между нею и двумя ганноверскими дворянчиками, которых предки изображены уже на дендёрском зодиаке, причем один из дворянчиков, длинный, тощий, наполненный ртутью юноша, похожий на барометр, восхвалял шиллеровскую добродетель и чистоту, а другой, столь же долговязый, прошепелявил несколько стихов из «Достоинства женщин» и улыбался при этом так сладко, как осел, погрузивший голову в бочку с сиропом и с наслаждением облизывающийся. Оба юноши подкрепляли свои утверждения неизменным убедительным припевом: «Он выше. Он выше, право. Он выше, честью уверяю вас, он выше». Дама была столь добра, что привлекла и меня к участию в эстетической беседе, и спросила: «Доктор, что вы думаете о Гете?» Я скрестил руки на груди, набожно склонил голову и проговорил: «Ла илла илл алла, вамохамед расуль алла!»

Дама, сама того не зная, задала самый хитрый вопрос. Нельзя же спросить человека прямо: что ты думаешь

о небе и земле? Как ты смотришь на человека и жизнь человеческую? Разумное ты создание или дурачок? Однако все эти щекотливые вопросы содержатся в незамысловатых словах: «Что вы думаете о Гете?» Ведь, имея перед глазами творения Гете, мы можем быстро сравнить любое суждение человека о нем с нашим собственным и получим таким образом определенную меру для оценки всех мыслей и чувств этого человека; так, сам того не зная, он произнес над собой приговор. Но подобно тому как Гете, будучи общим достоянием, доступным рассмотрению всякого, становится для нас лучшим средством познать людей, так, в свою очередь, и мы можем лучше всего познать Гете при помощи его суждений о всех нам доступных предметах, о которых высказались уже замечательнейшие люди. В этом отношении я охотнее всего сослался бы на «Путешествие по Италии» Гете; все мы знакомы с Италией по личным впечатлениям или же с чужих слов и замечаем при этом, что каждый глядит на нее по-своему: один — мрачными глазами Архенгольца, усматривающего только плохое, другой — восхищенным взором Коринны, видящей повсюду только самое лучшее, тогда как Гете своим ясным эллинским взором видит все, темное и светлое, никогда не окрашивает предметы в цвет собственного настроения и изображает страну и ее людей в их истинном образе — в настоящих красках, как они созданы богом.

В этом заслуга Гете, которую признаёт только позднейшее время, ибо все мы, люди большей частью больные, слишком глубоко погружены в наши болезненные, разрушенные, романтические чувствования, вычитанные у всех стран и веков, и не можем видеть непосредственно, как здоров, целостен и пластичен Гете в своих произведениях. Он и сам так же мало замечает это: в наивном неведении своих могучих сил он удивляется, когда ему приписывают «предметное мышление» и, желая дать нам в автобиографии критическое пособие для суждения о своих творениях, он не дает никакого мерила для оценки по существу, а только сообщает новые факты, по которым можно судить о нем; это вполне естественно, — ведь ни одна птица не взлетит выше самой себя.

Позднейшие поколения откроют в Гете, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить,

многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. Творения духа вечны и постоянны, критика же есть нечто изменчивое, она исходит из взглядов своего времени, имеет значение только для современников, и если сама не имеет художественной ценности, какую, например, имеет критика Шлегеля, то не переживает своего времени. Каждая эпоха, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза и видит в старинных созданиях человеческого духа много нового. Шубарт видит теперь в «Илиаде» нечто иное, и гораздо большее, чем все александрийцы; зато впадают когда-нибудь критики, которые открывают в Гете много больше, чем Шубарт.

Однако я все-таки заболтался о Гете! Но подобные отступления весьма естественны, когда шум моря непрерывно звучит в ушах, как на этом острове, и настраивает наш дух по своей прихоти.

Дует сильный северо-восточный ветер, и ведьмы замышляют опять много злого. Здесь ведь есть удивительные сказания о ведьмах, умеющих заклинать бури. Вообще на всех северных морях очень распространены суеверия. Моряки утверждают, что некоторые острова находятся под тайной властью особых ведьм, и злой воле последних приписываются всевозможные неприятные случаи с проходящими мимо кораблями. Когда я в прошлом году проводил некоторое время в плавании, штурман нашего корабля рассказал мне, что ведьмы особенно сильны на острове Уайте и стараются задержать до ночной поры каждый проходящий мимо острова корабль, чтобы затем прибить его к скалам или к самому острову. Тогда бывает слышно, как ведьмы носятся по воздуху вокруг корабля с таким воем, что «хлопотуну» стоит большого труда противостоять им. На вопрос мой, кто такой хлопотун, рассказчик серьезно ответил: «Это добрый, невидимый покровитель — защитник кораблей, он оберегает честных и порядочных моряков от несчастий, сам повсюду за всем наблюдает и заботится о порядке и благополучном плавании». Бравый штурман уверил меня, заговорив в несколько более таинственном тоне, что я и сам могу услышать хлопотуна в трюме, где он старается еще лучше разместить грузы, отчего и раздается скрип бочек и ящичков, когда море беспокойно, и по временам трещат балки и доски; часто хлопотун постукивает

и в борт судна, — это считается знаком для плотника, предупреждающим о необходимости спешно починить поврежденное место; охотнее всего, однако, он усаживается на брамселе в знак того, что дует или близится благоприятный ветер. На мой вопрос: можно ли его видеть, я получил ответ: «Нет, видеть его нельзя, да никто и не хотел бы увидеть его, так как он показывается лишь тогда, когда нет уже никакого спасения». Правда, мой славный штурман еще не переживал такого случая, но знал, по его словам, от других, что в таких случаях слышно, как хлопотун, сидя на брамселе, переговаривается с подвластными ему духами; а когда буря становится слишком сильной и кораблекрушение уже неизбежно, он усаживается у руля, показываясь тогда впервые; он исчезает, сломав руль, а те, кто видел его в этот страшный миг, сейчас же вслед за тем находят смерть в волнах.

Капитан корабля, вместе со мною слушавший рассказ, улыбался так тонко, как я не мог и ожидать, судя по его суровому, ветрам и непогоде открытому лицу, а потом сообщил мне, что пятьдесят, а тем более сто лет тому назад вера в хлопотуна была так сильна, что за столом всегда ставили для него прибор и на его тарелку клали лучшие куски каждого блюда, что даже и теперь поступают так на иных кораблях.

Я здесь часто гуляю по берегу и вспоминаю о подобных морских сказках. Наиболее увлекательна, конечно, история Летучего Голландца, которого видят в бурю, когда он пронесется мимо с распушенными парусами; иногда он спускает лодку, чтобы передать письма на встречные корабли; этих писем нельзя передать по назначению, так как они адресованы давно умершим лицам. Иной раз мне вспоминается старая прелестная сказка о юном рыбаке, который подслушал на берегу ночной хоровод русалок и обошел потом со своей скрипкой весь свет, чаруя и восхищая всех мелодиями русалочьего вальса. Эту легенду мне однажды рассказал добрый друг, когда мы в концерте в Берлине слушали игру такого же мальчика-чародея — Феликса Мендельсона-Бартольди.

Своеобразную прелесть представляет поездка вокруг острова. Но только погода при этом должна быть хорошая, облака должны иметь необычные очертания, и кроме

того нужно лежать на палубе лицом кверху, созерцая небо и храня, конечно, в сердце своем клочок неба. Волны бормочут тогда всякие чудесные вещи, всякие слова, вокруг которых порхают милые сердцу воспоминания, всякие имена, звучащие в душе сладостными предчувствиями... «Эвелина»! Идут встречные корабли, и вы приветствуете друг друга, словно можете встречаться ежедневно. Только ночью немного жутко встречаться на море с чужими кораблями: воображаешь, что лучшие твои друзья, которых ты не видел целые годы, в молчании плывут мимо тебя, и ты навеки теряешь их.

Я люблю море как свою душу.

Часто даже мне кажется, что море собственно и есть моя душа; как в море есть невидимые подводные растения, всплывающие на поверхность лишь в миг цветения и вновь тонущие, когда отцветут, так и из глубины души моей всплывают порою чудесные цветущие образы и благоухают, и светятся, и опять исчезают... «Эвелина»!

Рассказывают, что близ этого острова, в том месте, где теперь только плещут волны, были некогда прекрасные деревни и города, но море внезапно поглотило все это, и в ясную погоду моряки видят блестящие верхушки потонувших колоколен, а кое-кто слышал ранним воскресным утром и тихий благовест. Все это правда, ведь море — душа моя.

Светлый мир здесь погребен когда-то,
И встают обломки, как цветы,
Золотыми искрами заката
Отражаясь в зеркале мечты.

(В. Мюллер)

Пробываясь, слышу я затем замирающий благовест и пение святых голосов — «Эвелина»!

Когда гуляешь по берегу, проходящие мимо суда представляют очаровательное зрелище. Поднимая свои ослепительно белые паруса, они напоминают проплывающих стройных лебедей: Это особенно красиво, когда солнце заходит позади такого корабля, словно окруженного исполинским ореолом.

Охота на берегу, говорят, доставляет также большое удовольствие. Что касается меня, я не особенно ценю это занятие. Расположение ко всему благородному, прекрас-

ному и доброму часто прививается человеку воспитанием; но страсть к охоте кроется в крови. Если предки уже в незапамятные времена стреляли диких коз, то и внук находит удовольствие в этом наследственном занятии. Мои же предки не принадлежали к охотникам, скорее за ними охотились, и кровь моя возмущается против того, чтобы стрелять в потомков их бывших товарищей по несчастью. Мало того — я по опыту знаю, что мне легче отмерить шаги и выстрелить затем в охотника, который желает возвращения тех времен, когда и люди служили целью высоких охот. Слава богу, времена эти прошли! Если такому охотнику вздумается поохотиться за людьми, он должен платить им за это, как, например, было с тем скороходом, которого я видел два года назад в Геттингене. Бедняга набегался в душный, жаркий воскресный день и уже порядком устал, когда несколько ганноверских молодых дворян, изучавших гуманитарные науки, предложили ему пару талеров с тем, чтобы он еще раз пробежал тот же путь обратно; и человек побежал, смертельно бледный, в красной куртке, а за ним вплотную, в клубах пыли, галопировали откормленные благородные юноши на своих высоких конях, чьи копыта задевали порою загнанного, задыхающегося человека, а ведь это был человек!

Ради опыта — и чтобы лучше закалить свою кровь — я отправился вчера на охоту. Я выстрелил в чаек, летавших кругом чересчур уверенно, хоть они и не могли знать наверняка, что я плохо стреляю. Я не думал в них попасть и хотел только их предупредить, чтобы в другой раз они остерегались людей с ружьями; но выстрел оказался неудачным, и я имел несчастье застрелить молодую чайку. Хорошо, что птица оказалась не старой. Что бы иначе было с бедными маленькими чайками? Не оперившись, в песчаном гнезде, в дюнах, они должны были бы погибнуть с голоду без матери. Я предчувствовал заранее, что со мною на охоте случится неудача: ведь заяц перебежал мне дорогу.

Совсем особенное настроение овладевает мною, когда я в сумерках брожу один по берегу — за мною плоские дюны, передо мною колышется безграничное море, тогда мною небо, как исполинский хрустальный купол, — тогда я кажусь сам себе маленьким, как муравей, и все-таки душа моя ширится так беспредельно. Высокая простота

окружающей меня здесь природы и смиряет и возвышает меня, и притом в более сильной степени, чем какая-либо другая возвышенная обстановка. Никогда ни один собор не был для меня достаточно велик; моя душа, возносясь в древней титанической молитве, стремилась выше готических колонн и всегда пыталась пробиться сквозь своды. На вершине Ростраппы смелые группы исполинских скал сильно подействовали на меня при первом взгляде; но впечатление было непродолжительное, душа моя была захвачена врасплох, но не покорена, и огромные каменные массы стали на глазах моих все уменьшаться; а под конец они показались мне ничтожными обломками разрушенного гигантского дворца, где, может быть, и поместилась бы с удобством моя душа.

Пусть это кажется смешным, но я не скрою, что дисгармония между телом и душой как-то мучает меня; здесь у моря, среди великолепной природы, она становится мне порой особенно ясной, и я часто раздумываю о метемпсихозе. Кто постиг величественную иронию божью, вызывающую обыкновенно всякого рода противоречия между душой и телом? Кто может знать, в каком портном живет душа Платона, в каком школьном учителе — душа Цезаря? Кто знает, не помещается ли душа Григория VII в теле турецкого султана и не чувствует ли он себя лучше под ласками тысячи женских ручек, чем некогда в пурпурной мантии безбрачия? И, наоборот, сколько душ правоверных мусульман времен Али обитает теперь, может быть, в наших антиэллинских кабинетах? Души двух разбойников, распятых рядом со спасителем, сидят теперь, может быть, в толстых консисторских животах и пламенно ратуют во имя правоверных учений. Душа Чингисхана обитает, может быть, в рецензенте, который ежедневно, сам того не зная, крошит саблей души верно-подданных башкиров и калмыков в критическом журнале. Кто знает! Кто знает! Душа Пифагора переселилась, может быть, в бедного кандидата, проваливающегося на экзамене из-за неумения доказать пифагорову теорему, а в господах экзаменаторах пребывают души тех быков, которых Пифагор принес некогда в жертву вечным богам, радуясь открытию своей теоремы. Индусы не так глупы, как полагают наши миссионеры, они почитают животных, думая, что в них обитают человеческие души;

если они учреждают госпитали для больных обезьян, вроде наших академий, то возможно ведь, что в обезьянах живут души великих ученых, а у нас между тем совершенно очевидно, что у некоторых больших ученых — обезьяньи души.

Если бы кто-нибудь, обладающий знанием всего прошедшего, мог взглянуть сверху на дела человеческие! Когда я ночью брожу у моря, прислушиваясь к пению волн, и во мне пробуждаются всякие предчувствия и воспоминания, мне чудится, что когда-то я так заглянул сверху вниз и от головокружительного испуга упал на землю; чудится мне также, будто глаза мои обладали такой телескопической остротой зрения, что я созерцал звезды в натуральную величину в их небесном течении и был ослеплен всем этим блестящим круговоротом; словно из тысячелетней глубины приходят тогда ко мне всевозможные мысли, мысли древней мудрости, но они так туманны, что мне не понять их значения. Знаю только, что все наши многоумные познания, стремления, достижения представляются какому-нибудь высшему духу столь же малыми и ничтожными, каким мне казался тот паук, которого я часто наблюдал в геттингенской библиотеке. Он сидел на фолианте всемирной истории и усердно занимался пряжей, он так философски-уверенно смотрел на окружающее и был вполне проникнут геттингенским ученым самомнением; он, казалось, гордился своими математическими познаниями, своей искусной тканью, своими уединенными размышлениями и все-таки ничего не знал о чудесах, заключенных в книге, на которой он родился и провел всю свою жизнь и на которой умрет, если доктор Л. не сгонит его, подкравшись. А кто такой этот подкрадывающийся доктор Л.? Может быть, душа его когда-нибудь обитала в таком же пауке, и теперь он сторожит фолианты, на которых некогда сидел, и, если он их и читает, то не постигает их истинного содержания.

Что происходило когда-то на той земле, где я теперь брожу? Некий купавшийся здесь проректор утверждал, что тут совершались некогда служения Герте или, лучше сказать, Форсете, о чем так загадочно говорит Тацит. Только не ошиблись ли повествователи, со слов которых Тацит ведет рассказ, и не приняли ли они купальную каретку за священную колесницу богини?

В 1819 году, когда в Бонне, в одном и том же семестре, я слушал четыре курса, трактовавшие главным образом о германских древностях самых ранних времен, а именно: 1) историю немецкого языка у Шлегеля, который почти три месяца подряд развивал самые причудливые гипотезы о происхождении немцев; 2) Германию Тацита у Арндта, искавшего в древнегерманских лесах те добродетели, которых он не досчитывался в современных германских салонах; 3) германское государственное право у Гюльмана, исторические взгляды которого еще наименее смутны, и 4) древнюю историю Германии у Радлова, добравшегося в конце семестра только до эпохи Сезостриса, — в те времена предание о древней Герте должно было больше интересоваться меня, чем теперь. Я ни в каком случае не допускал ее резиденции на Рюгене и полагал, что ее местопребывание — скорее всего на одном из Восточно-Фризских островов. Молодому ученому нравится собственная гипотеза. Но я ни в каком случае не поверил бы тогда, что буду некогда бродить по берегу Северного моря, не размышляя с патриотическим воодушевлением о старой богине. А это действительно так вышло, и я думаю здесь о совершенно иных, молодых богинях, в особенности когда прохожу по берегу мимо того места, навещающего трепет, где только что, подобно русалкам, плавали самые красивые женщины. Дело в том, что ни мужчины, ни дамы не купаются здесь под каким-либо прикрытием, а прямо идут в море. Потому-то и места для купания обоих полов устроены отдельно друг от друга, но не слишком отдалены, и обладатель хорошего бинокля многое может видеть на этом свете. Существует предание, что новый Актеон увидел таким образом одну купающуюся Диану, и — удивительное дело! — не он, а муж красавицы приобрел по этой причине рога.

Купальные каретки, дрожки Северного моря, только подкатываются здесь к воде и представляют четырехугольный деревянный остов, обтянутый жестким полотном. Теперь, на зимний сезон, они размещены в зале кургауза и, наверное, ведут между собой разговоры столь же деревянные и туго накрахмаленные, как и высшее общество, еще недавно там находившееся.

Говоря «высшее общество», я здесь не имею в виду добрых граждан восточной Фрисландии — народ столь же

плоский и трезвый, как земля, на которой он обитает, народ, не умеющий ни петь, ни свистеть, но обладающий талантом лучшим, нежели пускание трелей и подсвистывание, — талантом, облагораживающим человека и возвышающим его над теми пустыми, холопскими душами, которые считают благородными только себя. Я разумею талант свободы. Когда сердце бьется за свободу, каждый его удар так же почтенен, как удар, посвящающий в рыцари, и это знают свободные фризы, заслуживающие свое прозвище; исключая эпоху вождей, аристократия в восточной Фрисландии никогда не властвовала, там жило очень немного дворянских семейств, и влияние ганноверского дворянства, распространяющееся теперь по стране через административные и военные круги, составляет огорчение не одному свободолюбивому фрисландскому сердцу, и повсюду заметно предпочтение бывлой прусской власти.

Впрочем, я не могу вполне согласиться с всеобщими германскими жалобами на спесь ганноверского дворянства. Менее всего поводов к таким жалобам дают ганноверские офицеры. Правда, подобно тому как на Мадагаскаре только дворяне имеют право быть мящиками, ганноверское дворянство обладало прежде таким же преимуществом, ибо одни дворяне могли получать офицерские чины. Но с тех пор, как в немецком легионе отличилось и достигло офицерского звания столько простых граждан, скверное обычное право утратило свою силу. Да, весь состав немецкого легиона много содействовал смягчению старых предрассудков, люди эти побывали в дальних концах света, а на свете увидишь многое, особенно в Англии; они многому научились, и приятно послушать, как они рассказывают о Португалии, Испании, Сицилии, Ионических островах, Ирландии и других далеких странах, где сражались, и где каждый из них «многих людей города посетил и обычаи видел», так что, кажется, слушаешь Одиссею, у которой, к сожалению, не будет своего Гомера. К тому же среди офицеров этого корпуса сохранилась немалая доля английского свободомыслия, которое находится в более резком противоречии со старинным ганноверским укладом, чем принято думать в остальной Германии, где примеру Англии мы обычно приписываем слишком уж большое влияние на Ганновер.

В этом Ганновере ничего другого и не видишь, кроме родословных деревьев с привязанными к ним лошадьми. От множества деревьев страна остается во мраке, и, при всем обилии лошадей, не двигается вперед. Нет, сквозь эту ганноверскую дворянскую чашу никогда не проникал солнечный луч британской свободы, и ни одного британского свободного звука не слышно было в яростном ржании ганноверских коней.

Всеобщие жалобы на ганноверскую дворянскую спесь касаются главным образом прелестной молодежи, принадлежащей к известным семействам, которые правят Ганновером или считают, что они косвенно правят им. Но и эти благородные юноши скоро освободились бы от подобных недостатков или, лучше сказать, от своих дурных привычек, если бы они тоже потолкались немного по свету или получили бы лучшее воспитание. Правда, их посылают в Геттинген, но там они держатся своим кружком и говорят только о своих собаках, лошадях и предках, редко слушают лекцию по новейшей истории, а если и слышат что-нибудь в этом роде, то мысли их отвлечены в то время созерцанием «графского стола», который, являясь эмблемой Геттингена, предназначен лишь для высокородных студентов. Право же, путем лучшего воспитания ганноверской дворянской молодежи можно было бы избежать многих жалоб. Но молодые становятся такими же, как старики. То же ложное мнение, будто они — цвет земли, в то время как мы, остальные, — лишь трава; та же глупость — пытаться прикрыть собственное ничтожество заслугами предков; то же неведение насчет сомнительности этих заслуг — ведь очень немногие из них помнят, что государи лишь изредка удостоивали дворянства своих верных и честных слуг, и очень часто — сводников, льстецов и тому подобных фаворитов-мошенников. Лишь очень немногие из них, гордящихся своими предками, могут точно указать, что сделали их предки, и ссылаются лишь на то, что их имя упоминается в «Турпирной книге» Рюкснера, и даже если они и могут доказать, что предки их в качестве рыцарей-крестоносцев были при взятии Иерусалима, то пусть, прежде чем делать из этого выводы в свою пользу, они докажут также, что рыцари эти честно сражались, что под их железными на ножниками не было подкладки из желтого страха и что

под красным крестом их билось сердце честного человека. Если бы не существовало «Илиады» и остался лишь список героев, бывших под Троею, и если бы носители их имен сохранились в лице потомков, — как чванились бы своей родословной потомки Терсита! О чистоте крови я даже и говорить не хочу: философы и конюхи держутся на этот счет совершенно особых мнений.

Упреки мои, как я уже заметил, касаются главным образом плохого воспитания ганноверского дворянства и внушаемого ему с ранних лет ложного мнения насчет важности некоторых форм, достигаемых дрессировкою. О, как часто я не в силах был удержаться от смеха, замечая, какое значение придается этим формам! Как будто так трудно изучить это искусство представлять и представляться, эти улыбки без слов, эти слова без мыслей и все эти дворянские фокусы, которым добрый мещанин изумляется, как чуду морскому, и которыми, однако, любой французский танцмейстер владеет лучше, чем немецкий дворянин, с трудом постигающий их в Лютении, где обламывают даже и медведей, а затем с немецкой основательностью и тяжеловесностью преподающий их дома своим потомкам. Это напоминает мне басню о медведе, который плясал на ярмарках, потом убежал от вожатого, вернулся в лес к собратьям и стал хвастать — какое трудное искусство танцы и как далеко пошел он в этом деле, и действительно бедные звери не могли не дивиться тем образцам искусства, которые он им показал. Эта нация — как называет их Вертер — составляла высшее общество, блиставшее здесь в этом году и в воде и на берегу, и все это были сплошь милые-премилые люди, и все они отлично играли.

Были здесь и владетельные особы, и я должен признать, что в своих притязаниях они были скромнее, чем более мелкое дворянство. Но я оставляю открытым вопрос, проистекает ли эта скромность из сердечных качеств высоких особ, или же она вызвана их официальным положением. То, что я говорю, относится только к медиатизированным немецким государям. С этими людьми недавно поступили весьма несправедливо, отняв у них власть, на которую они имеют такие же права, как и более крупные государи, если только не быть того мнения, что все неспособное удержаться собственными силами

не имеет права на существование. Но для раздробленной на мелкие части Германии благоденствием явилось то обстоятельство, что все это множество миниатюрных деспотов принуждено было отказаться от власти. Страшно подумать, сколько таких особ мы, немцы, должны кормить. Если даже все эти медиатизированные уже не держат в руке скипетра, то все же они держат ложку, нож и вилку, и едят отнюдь не овес, да и овес обошелся бы недешево. Я думаю, Америка когда-нибудь облегчит нам немного это монархическое бремя. Рано или поздно президенты тамошних республик превратятся в государей, тогда этим господам понадобятся супруги, обладающие наследственным лоском, и они будут рады, если мы предоставим им наших принцесс и на каждые шесть взятых принцесс дадим семью бесплатно, а затем и князьки наши смогут пристроиться к их дочерям, — ведь медиатизированные князья поступили политично, выговорив себе по крайней мере право родового равенства; они ценят свои родословные столь же высоко, как арабы — родословные своих коней, и по тем же побуждениям: они знают, что Германия всегда была большим конским заводом государей, который должен снабжать все соседние царствующие дома необходимыми им матками и производителями.

На всех купаньях освящено привычкою давнее право, в силу которого уехавшие подвергаются со стороны оставшихся довольно резкой критике, и я, оставшись здесь последним, в полной мере воспользовался этим правом.

Но теперь на острове так пустынно, что я кажусь себе Наполеоном на острове святой Елены. Разница та, что я нашел себе развлечение, которого у него там не было. А именно — я занимаюсь здесь самой личностью великого императора. Один молодой англичанин снабдил меня вышедшей только что книгой Мейтленда. Этот моряк рассказывает, каким образом и при каких обстоятельствах Наполеон сдался ему и как он держал себя на «Беллерофоне», пока, по приказу английского правительства, не был водворен на «Нортемберленде». Из книги ясно как день, что император, с романтическим доверием к британскому великодушью и желая дать, наконец, миру отдохнуть, обратился к англичанам скорее как гость, чем как пленник. Это было ошибкой, которой не совершил бы никто другой

и всего менее Веллингтон. Но история назовет эту ошибку столь прекрасной, столь возвышенной, столь величественной, что для нее необходимо было больше душевного величия, чем мы способны проявить во всех наших доблестных делах.

Причина, по которой капитан Мейтленд теперь выпустил в свет книгу, заключается, по-видимому, только в нравственной потребности самоочищения, свойственной всякому честному человеку, замешанному волей злого рока в двусмысленное дело. Самая же книга составляет неоценимый вклад в историю пленения Наполеона, и история эта, являясь последним актом его жизни, чудесным образом разрешает все загадки, заключенные в предыдущих актах, и, как подобает истинной трагедии, потрясает души, очищает их и примиряет. Различие в характере четырех главных повествователей, излагающих историю этого плена, выражаясь, в частности, в стиле и общем взгляде на вещи, уясняется вполне лишь при их сопоставлении.

Мейтленд, холодный, как буря, английский моряк, излагает события непредубежденно и точно, как будто заносит явления природы в судовой журнал; Ласказ, энтузиаст камергер, в каждой написанной им строчке падает к ногам императора, не как русский раб, а как свободный француз, неволью склоняющий колени в изумлении перед неслышанным величием героя и сиянием славы; О'Мира, врач, хотя и родившийся в Ирландии, но истый англичанин и в качестве такового некогда враг императора, признавший теперь державные права несчастья, пишет свободно, без прикрас, в соответствии с фактами, почти в лапидарном стиле; и напротив, не стилем, а стилетом представляется колкая, пронзительная манера французского врача Антомарки, уроженца Италии, сознательно упивающегося гневом и поэзией своей родины.

Оба народа, бритты и французы, выставили с каждой стороны по два человека обыкновенного ума, не подкупленных властью, и эти судьи судили императора и вынесли приговор: вечная жизнь, вечное ему изумленье, вечное сожаление!

Много великих людей прошло уже по этой земле, здесь и там остались светозарные их следы, и в священные часы они, как туманные образы, являются нашей душе; но

равный им по величию человек видит своих предшественников еще явственнее; по отдельным искрам их земных святающихся следов он познает их скрытые дела, по единственному сохранившемуся слову постигает все тайники их сердца; и так, в таинственном содружестве, живут великие люди всех времен; через даль тысячелетий подают они друг другу знаки и многозначительно глядят друг на друга; взоры их встречаются на могилах погибших поколений, разделивших их, и они понимают друг друга и любят друг друга. Для нас же, малых, неспособных к такому тесному общению с великими людьми прошлого, следы и туманные образы которых мы лишь изредка созерцаем, — для нас в высшей степени ценно узнать о великом человеке столько, чтобы мы без труда могли с жизненной ясностью воспринять душою его образ и тем самым расширить пределы нашей души. Таков Наполеон Бонапарт. Мы знаем о нем, о жизни его и делах больше, чем о других великих людях этой земли, и ежедневно узнаём больше и больше. Мы видим, как засыпанное изваяние божества постепенно очищается от земли, и с каждой отброшенной лопатой мусора растет наше радостное изумление перед соразмерностью и великолепием благородных форм, выходящих наружу; а те молнии, которые мечут враги, стремясь разрушить великий образ, лишь озаряют его еще более ярким блеском. Нечто подобное получается от суждений г-жи де Сталь, которая при всей своей резкости высказывает в конце концов лишь то, что император не был как все люди и что дух его не поддается измерению обычными мериллами.

Такой именно дух имеет в виду Кант, говоря, что мы можем представить себе ум не дискурсивный, как наш, а интуитивный, который идет от синтетически общего, от созерцания целого, как такового, к частному, то есть от целого к частям. И действительно, то, что мы познаем путем медленных аналитических размышлений и ряда долгих последовательных заключений, этот дух созерцал и глубоко постигал в один момент. Отсюда и талант его — понимать современность, настоящее, сообразоваться с его духом и постоянно пользоваться им, никогда его не оскорбляя.

Но так как дух времени был не чисто революционный, а слагался из совокупности двух течений — революцион-

ного и контрреволюционного, то Наполеон никогда не действовал ни вполне революционно, ни вполне контрреволюционно, но всегда в духе обоих течений, обоих начал, обоих стремлений, которые объединились в нем; и притом он действовал всегда естественно, просто, величаво, без судорожной резкости, с мягким спокойствием. Поэтому он не вел в отношении отдельных лиц интриг, и удары его всегда были основаны на искусстве понимать массы и руководить ими. К запутанным, долгим интригам склонны мелкие, аналитические умы, умы же целостные, интуитивные, напротив, каким-то удивительно гениальным образом умеют соединять все средства, предоставляемые им в настоящем, так, чтобы быстро их использовать в своих целях. Первые часто терпят неудачу, ибо никакая человеческая мудрость не в состоянии предусмотреть всех случайностей жизни, а жизненные отношения никогда не бывают в течение долгого времени устойчивы; последним же — людям интуиции — планы их удаются с особой легкостью, так как им необходимо только правильно учесть настоящее и действовать затем так быстро, чтобы движение волн житейских не успело произвести какого-нибудь внезапного, непредвиденного изменения.

Счастливое совпадение — Наполеон жил как раз во времена, особенно восприимчивые к истории, к исследованию ее и отображению. Мемуарам современников мы поэтому и обязаны тем, что лишь немногие частности о Наполеоне останутся нам неизвестны, и число исторических книг, изображающих его в большей или меньшей связи с остальным миром, растет с каждым днем. Вот почему известие о предстоящем выходе подобной книги, принадлежащей перу Вальтер Скотта, заставляет ждать ее с живейшим любопытством.

Все почитатели Скотта должны трепетать за него: ведь такая книга легко может стать русским походом для той славы, которую он с трудом приобрел рядом исторических романов, тронувших все сердца Европы более темой, нежели поэтической силою. Тема эта — не одни сплошные элегические жалобы по поводу народной прелести Шотландии, постепенно вытесняемой чужими нравами, чужим владычеством и образом мыслей, а великая скорбь о потере национальных особенностей, гибнущих во всеобщности новой культуры, скорбь, сжимающая теперь

сердца всех народов. Ведь национальные воспоминания заложены в груди человеческой глубже, чем думают обыкновенно. Дерзните только выкопать из земли старинные статуи, и в одну ночь расцветет и старинная любовь с ее цветами. Я выражаюсь не фигурально, а имею в виду факт: когда Беллок несколько лет тому назад выкопал из земли в Мексике древнеязыческую каменную статую, он на следующий день увидел, что за ночь она украсилась цветами; а ведь Испания огнем и мечом истребила древнюю веру мексиканцев и в продолжение трех столетий разрыхляла и глубоко вспахивала их умы и заседала их христианством. Такие цветы цветут и в произведениях Вальтер Скотта; сами по себе произведения эти пробуждают старые чувства; как некогда в Гренаде мужчины и женщины с воплями отчаяния бросались из домов, когда на улицах раздавалась песня о въезде в город мавританского короля, вследствие чего запретили петь ее под страхом смертной казни, так и тон, преобладающий в творениях Скотта, болезненно потряс весь мир. Тон этот находит отзвук в сердцах нашего дворянства, на глазах которого рушатся его замки и гербы; звучит он в сердце горожанина, скромный патриархальный уют которого вытесняется все захватывающей удручающей современностью; отдается он в католических соборах, откуда сбежала вера, и в раввинских синагогах, откуда бегут даже верующие; он звучит по всей земле, до банановых рощ Индостана, где вздыхающий брамин предвидит смерть своих богов, разрушение своего древнего мирового уклада и полную победу англичан.

Этот тон, сильнейший из всех тонов, на какие способна исполинская арфа шотландского барда, не подходит, однако, к песне об императоре Наполеоне, новом человеке, человеке нового времени, человеке, в котором так блистательно отражается новое время, что мы почти ослеплены им и уже не в состоянии помнить об угасшем прошлом, о его поблекшем великолепии. Следует, по-видимому, ожидать, что Скотт, сообразно со своею склонностью, выставит на первый план вышеуказанный элемент устойчивости в характере Наполеона, контрреволюционную сторону его духа, тогда как другие писатели признают в нем лишь революционное начало. С этой последней стороны его изобразил бы Байрон, который во всех своих

устремлениях составлял противоположность Скотту и в отличие от него не только не оплакивает падение старых форм, но чувствует себя неприятно стесненным даже и теми, которые еще устояли; он готов уничтожить их своим революционным смехом и скрежетом зубным и, негодуя, отравляет ядом своих мелодий священнейшие цветы жизни и, подобно безумному арлекину, вонзает себе в сердце кинжал, чтобы хлынувшею оттуда черной кровью обрызгать, забавы ради, кавалеров и дам.

Право, в этот миг я живо чувствую, что я не принадлежу к тем, кто молится на Байрона или, вернее сказать, повторяет его богохульства, кровь моя не так уж черна от сплина, горечь моя истекает из желчных орешков моих чернил, и если во мне есть яд, то он — только противоядие, — противоядие от змей, которые столь угрожающе притаились в развалинах старых соборов и замков. Из всех великих писателей именно Байрон, когда я читаю его, действует на меня наиболее мучительно, меж тем как Скотт, напротив, каждым своим произведением радует сердце, успокаивает и укрепляет. Меня радуют даже и подражания ему, как, например, у В. Алексиса, Брониковского и Купера; первый из них в ироническом «Валладморе» ближе всех подходит к своему образцу и отличается также в позднейших произведениях таким богатством образов и мысли, что, при своей поэтической самобытности, прибегающей только к формам Скотта, мог бы, я думаю, рядом исторических повестей воскресить в нашей душе драгоценнейшие моменты немецкой истории.

Но истинному гению невозможно указать определенные пути, они — вне всякого критического расчета, и пусть высказанное мной предубеждение против вальтер-скоттовской истории императора Наполеона останется только невинной игрой мысли. Слово «предубеждение» имеет здесь самый общий смысл. Одно можно сказать определенно: книга будет читаться от восхода до заката, и мы, немцы, переведем ее.

Мы перевели и Сегюра. Не правда ли, это — красивая эпическая поэма? Мы, немцы, тоже сочиняем эпические поэмы, но герои их существуют только в нашем воображении. Напротив, герои французской эпопеи — действительные герои, совершившие большие подвиги и претерпевшие большие страдания, чем мы в состоянии приду-

мать на наших чердачках. А ведь у нас много фантазии, у французов же — мало. Может быть, господь бог пришел французам на помощь иным путем, и им стоит только рассказать, что они видели и сделали за последние тридцать лет, и вот уже у них, оказывается, есть столь жизненно правдивая литература, какой не создал еще ни один народ, ни одна эпоха. Эти мемуары государственных людей, солдат и благородных женщин, ежедневно появляющиеся во Франции, образуют цикл сказаний, которых хватит потомству для размышлений и песен, и в центре их высится, подобно гигантскому дереву, жизнь великого императора. Сегюровская история русского похода — это песнь, французская народная песнь, принадлежащая к тому же циклу сказаний, по тону своему и материалу подобная и равная эпическим произведениям всех времен. Героический эпос, вызванный к жизни из недр Франции магическими словами «свобода и равенство», прошел, как в триумфальном шествии, по всей земле, в упоении славою и по следам самого бога славы, устрашая и возвеличивая; он завершается, наконец, буйным воинственным танцем на ледяных полях Севера, но лед подламывается, и сыны огня и свободы погибают от стужи и от рук рабов.

Такое описание или пророчество о гибели героического мира составляет основной тон и содержание эпических поэм всех народов. На скалах Эллары и других индийских священных гротов такая же эпическая катастрофа изображена гигантскими иероглифами, ключ к которым находится в «Махабхарате»; Север сказал о гибели богов в словах не менее каменных — в своей «Эдде»; тот же трагический конец воспевается и в «Песне о Нибелунгах», и последняя ее часть имеет особенное сходство с сегюровским описанием пожара Москвы; песня о Роланде и Ронсевальской битве, слова которой забыты, но которая сама не умерла и еще недавно возвращена была к жизни одним из крупнейших отечественных поэтов, Иммерманом, есть не что иное, как та же древняя поэма рока; а песнь об Илионе прекраснее всего возвеличивает старую тему, и все же она не величавей и не мучительней французской народной песни, в которой Сегюр прославил гибель своего героического мира. Да, это истинная эпопея: героическая молодежь Франции — прекрасный герой,

преждевременно погибающий, подобный тому, про кого мы читали в песнях о гибели Бальдура, Зигфрида, Роланда и Ахилла, точно так же павших жертвой несчастья и измены; героев, которыми мы восхищались в «Илиаде», мы вновь находим в песне Сегюра, мы видим, как они совещаются, ссорятся, дерутся, словно некогда перед Скейскими воротами; и если куртка короля Неаполитанского слишком уж по-современному пестра, то боевая его отвага и его пыл столь же велики, как у Пелида; Гектором, по кротости и мужеству, нам представляется принц Евгений; благородный рыцарь Ней сражается как Аякс; Бертье — Нестор без мудрости; в Даву, Дарю, Коленкуре и т. д. живут души Менелая, Одиссея, Диомеда. Одному только императору нет равного, в его голове — Олимп всей поэмы; и если по внешнему царственному величию я сравню его с Агамемноном, то это потому, что его, как и большую часть его чудесных боевых сподвижников, ожидала трагическая судьба, и потому, что его Орест еще жив.

Подобно творениям Скотта, сегюровская эпопея пленяет наше сердце своим тоном. Но тон этот не пробуждает любви к безвозвратно минувшему; это тон, на который настраивает современность, тон, вдохновляющий нас в борьбе за современность.

Мы, немцы, в самом деле, настоящие Петеры Шлемили. Мы и в последнее время много видели, много вынесли, например — воинские постой и дворянскую спесь; мы проливали благороднейшую нашу кровь, например для Англии, которая и теперь еще должна выплачивать ежегодно различные суммы прежним владельцам оторванных немецких рук и ног; в малых делах мы так много сделали, что, если подсчитать все, получатся величайшие подвиги, например в Тироле; и мы многое потеряли, например нашу тень — титул славной священной Римской империи, и все-таки, при всех наших потерях, лишениях, несчастьях и подвигах, литература наша не создала ни одного памятника славы, вроде тех, что, наподобие вечных трофеев, ежедневно воздвигаются у наших соседей. Наши лейпцигские ярмарки мало выиграли от битвы при Лейпциге. Я слышал, что один готский обыватель собирается воспеть ее в эпической форме; но так как он еще не знает, принадлежит ли он к 100 000 душ, которые достанутся Гильд-

бурггаузену, или к 150 000, которые достанутся Мейнингену, или к 160 000, которые достанутся Альтенбургу, то он и не может начать своей поэмы, иначе ему пришлось бы начать так: «Воспой, о бессмертная душа, гильдбурггаузенская душа, мейнингенская душа или также и альтенбургская душа — все равно — воспой спасение греховной Германии». Эта торговля душами в самом сердце Германии и ее кровавая раздробленность подавляют всякое гордое чувство, а тем более гордое слово; лучшие наши подвиги становятся смешными, потому что глупо кончаются, и пока мы хмуро укутываемся в пурпурный плащ, окрашенный кровью наших героев, является политический шут и нахлобучивает нам на голову колпак с погремушками.

Именно для того, чтобы понять скудость и ничтожество нашей безделушечной жизни, нужно сравнить литературы наших соседей по ту сторону Рейна и Ламанша с нашей безделушечной литературой. Так как я лишь в дальнейшем предполагаю поговорить обстоятельнее об этом предмете, — о литературном убожестве Германии, то предлагаю здесь забавное возмещение, включая в текст нижеследующие «Ксении», вылившиеся из-под пера моего высокого соратника Иммермана. Единомышленники будут мне, конечно, благодарны за сообщение этих стихов, и — за немногими исключениями, отмеченными мною звездочкой, — я готов стоять за них как за выражение моих собственных убеждений.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТОР

Полно ныть, и ухмыляться, и лукавить; дай ответ —
Векерлин когда родился и Ганс Сакс покинул свет?

«Люди смертны», — заявляет человек важным тоном.
Это, друг, не слишком ново и известно уж давно нам.

Шкуркой ссохшеюся критик мажет обувь, всем на диво;
Чтоб лилися слезы, жрет он лук поэзии ретиво.

Дай хоть Лютеру пощаду, комментатор неудачный,
Эта рыба нам вкуснее без твоей приправы смачной.

ДРАМАТУРГИ

1

* «Кончил я писать трагедии, мщу я публике сурово!»
Друг, ругайся, сколько хочешь, но держи теперь уж слово.

2

* Смолкни, колкая сатира, и оставь его в покое:
Он командует стихами, этот ротмистр, в конном строе.

3

Будь девицей Мельпомена, простодушною красоткой,
Вот бы муж ей был примерный, тихий, ласковый и кроткий.

4

За грехи бывлые строго Коцебу карает рок:
Эким чудищем он бродит, без чулок и без сапог!

И старинное преданье возникает в полной силе —
Что вселяются в животных души тех, кто прежде жили.

ВОСТОЧНЫЕ ПОЭТЫ

Кто воркует вслед Саади, нынче в крупном авантаже,
А по мне, Восток ли, Запад, — если фальшь, то фальшь
все та же.

Прежде пел при лунном свете соловей, seu ¹ филомела;
Нынче трель Буль-буль выводит — ту же трель,
по сути дела.

Ты, поэт маститый, песней мне напомнил Крысолова:
«На Восток!» — и за тобою мелкота бежать готова.

Чтят они коров индусских по особенным условиям:
Им Олимп готов отныне — хоть в любом хлеву коровьем.

От плодов в садах Шираза, повсеместно знаменитых,
Через край они хватили — и газеллами тошнит их.

¹ Или (лат.).

* КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Посмотрите — толстый пастор: он в церковном облачении
И всюю трезвонит, дабы тем снискать себе почтенье.

И текут к нему глухие, и слепые, и хромые,
И в особенности дамы в непрестанной истерии.

Белой мазью не излечишь и вреда не принесешь,
Ты в любой из книжных лавок эту мазь теперь найдешь.

Если дальше будет то же и почет попам продлится,
В лоно церкви мне придется поскорее возвратиться.

Буду папе я покорен, буду чтить в нем *praesens Numen*
Здесь же мнит себя за *numen* всякий поп, любое *lumen*.¹

ORBIS PICTUS²

Всем бы вам одну лишь шею, вам, высокие светила,
Вам, жрецы, и лицедеи, и поэты — злая сила!

Утром в церкви созерцал я комедийную игру,
С тем, чтоб проповедь в театре слушать позже, ввечеру.

Сам господь, по мне, теряет очень много потому,
Что жрецы его малюют по подобию своему.

Если нравлюсь я вам, люди, то я словно покалечен,
Если злю вас, хорошо мне это действует на печень.

«Как владеет языком он!» Да, нельзя не засмеяться,
Глядя, как его, беднягу, заставляет он ломаться.

Много я стерпеть способен, но одно — для сердца рана:
Нервный неженка в обличье гениального болвана.

¹ *Praesens Numen* — воплощенное божество; *lumen* — светоч или (в данном случае) свеча (*лат.*).

² Описание, изображение земли (*лат.*).



ИДЕИ.
КНИГА ЛЕ ГРАН

1826

Трона нашего оплот,
Первенствующий в народе
Эриндуров славный род
Устоит, на зло природе.

В. Мюльнер «Вина».

Эвелина, прими эти страницы в знак дружбы и любви автора.

ГЛАВА I

Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.

Старая пьеса.

Madame, знаете ли вы эту старую пьесу? Это совершенно необыкновенная пьеса, только слишком уж меланхолическая. Когда-то я играл в ней главную роль, и все дамы плакали, лишь одна-единственная не плакала, ни единой слезы не пролила она, и в этом именно и заключалась соль пьесы, настоящая катастрофа.

О, эта единственная слеза! До сих пор мучит она меня в моих воспоминаниях; сатана, когда желает погубить мою душу, напевает мне на ухо песню об этой непролитой слезе, ужасную песню с еще более ужасной мелодией — ах, только в аду можно слышать эту мелодию!..

.....
Как живут в раю, вы можете себе представить, madame, тем более что вы замужем. Там забавляются самым

великолепным образом, там к услугам вашим всевозможные удовольствия, там живут среди сплошной радости и веселья, как господь бог во Франции. Едят с утра до вечера, и кухня не хуже, чем у Ягора, жареные гуси летают с соусниками в клювах и чувствуют себя польщенными, если их скушают; лоснящиеся от масла торты растут на свободе, как подсолнухи, всюду ручки бульона и шампанского, всюду деревья с развевающимися салфетками; там едят, вытирают рот и опять едят, не расстраивая себе желудка, поют псалмы, или забавляются и резвятся с прелестными, нежными ангелочками, или же ходят гулять по зеленому аллилуйному лугу; а широкие белые одежды сидят так удобно, и ничто не нарушает чувства блаженства — ни скорбь, ни дурное настроение; и даже если кто-нибудь наступит случайно другому на мозоль и воскликнет «excusez!»,¹ то этот другой лишь улыбнется просветленно и скажет: «Поступь твоя не причиняет боли, брат мой, даже, au contraire,² сердце мое исполняется еще большим небесным блаженством».

Но об аде, madame, вы не имеете никакого понятия. Из всех чертей знаком вам, может быть, самый мелкий, Вельзевульчик Амур, благовоспитанный крупье преисподней, а самую преисподнюю вы знаете только из «Дон-Жуана», и она вам еще кажется недостаточно жаркою для этого совратителя женщин, подающего столь дурной пример, хотя наши досточтимые театральные дирекции пускают при этих случаях в ход столько световых эффектов, огненного дождя, пороху и кашифоли, сколько может пожелать для преисподней добрый христианин.

Между тем в аду гораздо хуже, чем полагают наши театральные директора, — иначе бы они не ставили столько скверных пьес; в аду адски жарко, и когда я однажды побывал в нем во время каникул, там было невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, madame. Мы получаем оттуда мало официальных сообщений. Что бедные души в преисподней целыми днями обязаны перечитывать все скверные проповеди, какие печатаются здесь, наверху, — это клевета. Так уж плохо дело в аду не обстоит, таких утонченных мук никогда

¹ Извините (франц.).

² Напротив (франц.).

не выдумать сатане. Но дантовское изображение ада, напротив, слишком мягко, в общем — чересчур поэтично. Ад показался мне какой-то большой мещанской кухней, с бесконечно длинной плитой, на которой установлены были в три ряда чугунные котлы, и в них сидели и жарились осужденные. В одном ряду сидели грешники-христиане, и — кто бы этому поверил! — число их было не так уж мало, и черти с особым усердием разводили под ними огонь. В другом ряду сидели евреи, беспрерывно кричавшие; черти время от времени дразнили их; и было особенно забавно, когда толстый ростовщик, отдуваясь, стал жаловаться на чрезмерную жару, а один из чертенят вылил ему на голову несколько ведер холодной воды, чтобы тот увидел, что крещение — благодать, истинно освежающая. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут удостоиться блаженства и должны вечно гореть. Я слышал, как один из них, которому дюжий черт подложил новых угольев, закричал из глубины котла недовольным голосом: «Пощади меня, я был Сократ, мудрейший из смертных, я учил правде и справедливости и пожертвовал жизнью во имя добродетели!» Но глухой дюжий черт, не прерывая работы, проворчал: «Э, что там! Все язычники должны жариться, и для одного человека мы не станем делать исключения!» Уверяю вас, madame, жара была ужасающая, крики, вздохи, стоны, кваканье, хныканье, визги — и среди всех этих ужасных звуков ясно раздавалась роковая мелодия песни о непролитой слезе.

ГЛАВА II

Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.

Старая пьеса.

Madame! Старая пьеса — трагедия, хотя героя в ней не убивают, и сам он себя не убивает. Глаза героини прекрасны, ах, так прекрасны, — madame, вы чувствуете запах фиалки? — так прекрасны и, однако, так остро отточены, что, подобно стеклянным кинжалам, вонзились

мне в сердце и, конечно, прошли насквозь, и все же эти предательские убийственные глаза не умертвили меня. Голос героини также прекрасен, — madame, вы не слышали, как сейчас щелкнул соловей? — прекрасный, бархатный голос, сладостное сплетение самых солнечных тонов, и душа моя была им захвачена, она стала задыхаться и мучиться. Мне самому — с вами теперь говорит граф Гангский, и действие происходит в Венеции — мне в то время наскучили уже такие муки, и я подумывал положить конец игре еще в первом акте и выстрелом сорвать с себя дурацкий колпак вместе с головой, и отправился в галантерейный магазин на Via Burstah, где на выставке увидел пару прекрасных пистолетов в ящике — я еще хорошо помню все это, — рядом было разложено много интересных игрушек из перламутра и золота, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными надписями, табакерки с красивыми картинками, изображавшими, например, божественную историю о Сусанне, лебединую песнь Леды, похищение сабинянок, Лукрецию, толстую добродетельную особу с обнаженной грудью, куда она и вонзает слишком поздно кинжал, блаженной памяти Бетман, la belle Ferronnière¹ — сплошь соблазнительные лица, но я все-таки купил пистолеты, почти не торгуясь, потом купил пулю, потом пороху, потом отправился в погребок синьора Унбейдена и велел подать себе устриц и стакан рейнвейну.

Есть я не мог, а пить еще менее. Горячие слезы капали в стакан, а в стакане я видел милую родину, голубой священный Ганг, вечно светящиеся Гималаи, исполинские банановые леса, где по тенистым тропам, тянувшимся вдаль, спокойно шествовали умные слоны и пилигримы в белых одеждах, причудливо-мечтательные цветы глядели на меня, словно звали куда-то, золотые чудесные птицы щебетали в диком ликовании, мерцающие лучи солнца и бессмысленно-радостные голоса смеющихся обезьян нежно поддразнивали меня, из далеких пагод доносились молитвы жрецов, и среди этих звуков слышался жалобно-томный голос делийской султанши — в своих усталых коврах покоях бурно носилась она с одного конца в другой, разорвала свои серебряные

¹ Прекрасная Ферроньер (франц.).

покрывала, опрокинула наземь черную рабыню с павлиньим опахалом, плакала, шумела, кричала — но я не мог понять ее, погребок синьора Унбешейдена находился в трех тысячах милях от делийского гарема, к тому же прекрасная султанша умерла уже три тысячи лет тому назад, — и я жадно пил вино, светлое, радостное вино, и все-таки на душе моей становилось все темнее и печальнее — я был приговорен к смерти.

Когда я поднялся по лестнице из погребка, то услышал звуки зауспокойного перезвона по случаю предстоявшей казни; человеческая толпа двигалась мимо меня; я же остановился на углу Strada San Giovanni и произнес следующий монолог:

В старинных сказках — замки золотые,
Под звуки арф красавицы там пляшут,
Сверкают яркие одежды слуг,
Благоухают мирт, жасмин и розы,
Но стоит слово вымолвить одно, —
И вмиг исчезнет все великолепье,
Останутся развалины в пыли
И карканье болотных птиц в трясине.
Так я одним, всего одним лишь словом
Цветущий мир расколдовал в мгновенье,
И он безжизнен, холоден и вял,
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян
И в руки вложен скипетр величавый,
А губы вянут блеклой желтизной —
Забыли их, как щеки, нарумянить,
И мыши нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь.

Всюду вообще принято, madame, произносить монолог перед тем как застрелиться. Большинство пользуется при этом случае гамлетовским «быть или не быть». Это хороший монолог, и я бы тоже охотно процитировал его тут, но никто сам себе не враг, и если кто-нибудь, подобно мне, сам писал трагедии, где встречаются такие речи под занавес жизни, как, например, бессмертный «Альманзор», то весьма естественно, что своим собственным словам

отдаешь предпочтение, хотя бы и перед шекспировскими. Во всяком случае, такие речи — обыкновение весьма полезное; благодаря им выигрывается по крайней мере время. — И вышло так, что я несколько задержался на углу Strada San Giovanni, и пока стоял там, обреченный, приговоренный к смерти, я увидел внезапно ее!

Она была в голубом шелковом платье и в ярко-розовой шляпе, глаза ее взглянули на меня так нежно, торжествуя над смертью и даруя жизнь. Madame, вы, конечно, знаете из римской истории, что весталки в древнем Риме, встретив на своем пути преступника, ведомого на смертную казнь, имели право помиловать его, и бедняга оставался в живых... Одним своим взглядом она спасла меня от смерти, и я стоял перед ней, словно возрожденный к жизни, словно ослепленный солнечным сиянием ее красоты, и она прошла дальше — и оставила меня в живых.

ГЛАВА III

И она оставила меня в живых, и я живу, а это — главное.

Пусть другим достается счастье — знать, что возлюбленная украшает их могилу цветами и орошает ее слезами верности. О, женщины! Ненавидьте меня, смейтесь над мной, отвергайте меня, но не отнимайте у меня жизни! Жизнь так забавно сладостна; и в мире все так очаровательно перепутано; это сон опьяненного вином бога, который украдкою, à la française,¹ удалился с пирушки богов и прилег уснуть на одинокой звезде; он и сам не знает, что вызывает к жизни все свои сны, и сновидения его то пестро безумны, то гармонически разумны — «Илиада», Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор, французская революция, Гегель, пароходы и т. д. — все это отдельные счастливые мысли в творческом сновидении бога; но это продлится недолго, бог проснется, протрет заспанные глаза и улыбнется — и мир наш рассеется в ничто, он никогда даже не существовал.

¹ На французский лад (*франц.*).

Как бы то ни было, я живу. Если даже я только тень чьего-то сновидения, то все-таки это лучше холодного, черного, пустого небытия смерти. Жизнь — высшее из благ, худшее из зол — смерть. Пусть гвардейские лейтенанты в Берлине издеваются и называют трусостью то, что принц Гомбургский в ужасе отшатывается при виде своей разверстой могилы, — у Генриха Клейста было столько же мужества, сколько у его затянутых коллег с выпяченной грудью, и, к сожалению, он это доказал. Но все сильные люди любят жизнь. Эгмонт Гете неохотно расстаётся «с милой привычкою к существованию и деятельности». Эдвин Иммермана тянется к жизни «как ребенок к материнской груди», и хотя ему и тяжело жить чужой милостью, все же он умоляет о пощаде:

Ведь жизнь, дыханье — высшее из благ.

Когда Одиссей в подземном царстве встречает Ахилла во главе мертвых героев и превозносит доблесть его среди живых и почести, доставшиеся ему среди мертвых, Ахилл отвечает:

В смерти тебе не утешить меня, Одиссей благородный,
Лучше простым мне поденщиком в поле усердно работать,
Лучше нуждаться, лишенному крова и предков наследства,
Чем повелителем быть над несчастной толпою умерших.

Когда майор Дюван вызвал на дуэль великого Израэля Лёве и сказал ему: «Если вы не согласны стреляться, господин Лёве, то вы — собака», этот последний отвечал: «Я предпочитаю быть живою собакою, чем мертвым львом!». ¹ И он был прав. Я достаточно дрался на дуэлях, madame, чтобы иметь право сказать: «Слава богу, я жив!» В жилах моих кипит красная жизнь, под моими ногами трепещет земля, я, пламенея любовью, обнимаю деревья и мраморные изваяния, и они оживают в моих объятиях. Каждая женщина для меня — целый мир, доставшийся мне в дар, я утопаю в мелодиях ее лица, и один-единственный взгляд моих глаз может дать мне больше счастья, чем другим все их органы, вместе взятые, на протяжении всей их жизни. Каждый миг для меня бесконечность; я не меряю времени брабантским или укороченным гам-

¹ Игра слов: Löwe (нем.) — фамилия, означающая — лев.

бургским локтем и не требую от священника обещаний будущей жизни, ибо и в этой жизни могу пережить до-вольно, живя в прошедшем жизнью предков, отвоевывая себе вечность в царстве минувшего.

И я живу! Биение великого пульса природы отдается в моей груди, и когда я ликую, тысячекратное эхо отвечает мне. Я слышу пение тысячи соловьев. Весна послала их разбудить землю от утренней дремоты, и земля трепещет от блаженства, цветы ее — гимны, которые она шлет в восторге навстречу солнцу, — солнце движется слишком медленно, мне хочется бичом ускорить бег его огненных копей. Но когда оно, шипя, опускается в море, и на небо восходит необъятная ночь, открывая свое необъятное, тоски исполненное око, о, тогда меня пронизывает истинный восторг, веяние вечера припадает к моему бурно бьющемуся сердцу, подобно ласковой девушке, звезды кивают мне, и я возношусь и рею над маленькой землей и маленькими мыслями человеческими.

ГЛАВА IV

Но настанет некогда день, и пламя в моих жилах погаснет, в груди моей поселится зима, ее белые хлопья скудно прикроют мне голову, ее туманы застелют мой взор. В осыпавшихся могилах лежат мои друзья, один остался я, как одинокий колос, забытый жнецом, выросло новое поколение с новыми желаниями и новыми мыслями; полный изумления, прислушиваюсь я к новым именам и новым песням, старые имена забыты, и сам я забыт, чтимый еще, может быть, немногими, многими осмеиваемый и не любимый никем. И вот подбегают ко мне краснощекие мальчишки, вкладывают в мои дрожащие руки старую арфу и, смеясь, говорят: «Долго ты молчал, ленивый старик, спой нам опять песню о грезах твоей юности».

Я опять берусь за арфу, и пробуждаются старые радости и скорби, туманы рассеиваются, слезы выступают опять на мертвых моих глазах, в груди вновь рождается весна, сладостные звуки грусти дрожат на струнах арфы, опять я вижу голубую реку, и мраморные дворцы, и прекрасные лица женщин и девушек и пою песню о цветах Бренты.

Это будет моя последняя песня, звезды будут смотреть на меня, как в ночи моей юности, влюбленное сияние месяца опять будет целовать мои щеки, призрачные хоры умерших соловьев зазвучат вдали, глаза мои сомкнутся в дремоте, душа отзвучит, как струны арфы, — благоухают цветы Бренты!

Дерево осенит мой могильный камень. Я хотел бы, чтобы это была пальма, но пальмы не растут на севере. Вероятно, это будет липа, и летним вечером под нею будут сидеть и нежничать влюбленные; чижик, качающийся на ветвях, замолчал, притаившись, и липа моя ласково шумит над головами счастливцев, а они так счастливы, что им некогда даже прочесть надпись на белой надгробной плите. Но если потом влюбленный потеряет свою девушку, он вернется к знакомой липе и вздохнет и заплачет, и будет долго и часто рассматривать надгробную плиту и прочтет на ней надпись: «Он любил цветы Бренты».

ГЛАВА V

Madame! Я солгал вам. Я не граф Гангский. Никогда в жизни не видал я ни священной реки, ни цветов лотоса, отражающихся в ее благочестивых водах. Никогда не лежал я, грезя, под индийскими пальмами, никогда не склонялся в молитве перед усыпанным алмазами богом Джагернаута, который, однако, легко мог помочь мне. Я бывал в Индии не более, чем жареная индейка, съеденная мной вчера за обедом. Но я родом из Индостана, и потому чувствую себя так привольно в обширных лесах, воспетых Вальмики; героические страдания божественного Рамы трогают мое сердце знакомою скорбью, из цветущих песен Калидасы расцветают сладостные воспоминания, и когда несколько лет назад одна любезная дама в Берлине показала мне прекрасные картины, вывезенные из Индии ее отцом, который долго был там губернатором, — тонко очерченные, хранящие священное спокойствие лица показались мне такими знакомыми, и я как бы созерцал галерею собственных предков.

Франц Бопп, — вы, madame, конечно, читали его «Наля» и «Систему спряжения санскритского глагола» —

сообщил мне некоторые сведения о моих предках, и я теперь знаю точно, что я произошел из головы Браммы, а не из мозолей, подозреваю даже, что вся «Махабхарата» с ее 200 000 стихов есть лишь аллегорическое любовное письмо, писанное моим прапрадедом моей прапрабабушке. О, они очень любили друг друга, души их целовались, они целовались глазами, они были один поцелуй...

Очарованный соловей сидит на красном коралловом дереве посреди Тихого океана и поет песню о любви моих предков, жемчужины с любопытством выглядывают из своих раковин, чудесные водяные цветы вздрагивают от грусти, умные морские улитки с пестрыми фарфоровыми башенками на спине подползают ближе, стыдливо алеют морские розы, желтые колючие морские звезды, тысячецветные стеклянные медузы движутся, тянутся — все это кишит и внемлет.

Однако, madame, эта соловьиная песня слишком длинна для того, чтобы воспроизвести ее здесь, она необъятна, как мир; одно посвящение Ананге, богу любви, так просто, как все романы Вальтер Скотта, вместе взятые; к ней относится то место из Аристофана, которое в немецком переводе гласит:

Тютио, тютио, тютинкс,
Тототото, тототото, тототинкс.

(Перевод Фосса.)

Нет, я не родился в Индии: я увидел свет на берегах той прекрасной реки, где на зеленых горных склонах растет само безумие, а осенью его собирают, выжимают, наливают в бочки и отправляют за границу. Правда, вчера за столом я слышал, как некто произнес глупость, которая anno 1811¹ еще была заключена в виноградине, росшей, как я сам видел, на Иоганнисберге. Но немало этого безумия потребляется и в самой стране, и люди там такие же, как везде: они рождаются, едят, пьют, спят, смеются, плачут, клевещут, беспокойно заботятся о продолжении своего рода, стараются казаться не тем, что они есть, и делать то, к чему неспособны, бредятся не прежде, чем у них вырастут бороды, и часто обрастают бородою

¹ В 1811 году (лат.).

прежде, чем войдут в разум, и когда входят в разум, то вновь опьяняются белым и красным безумием.

Mon Dieu! ¹ Если бы во мне было столько веры, чтобы двигать горами, Иоганнисберг был бы той горою, которую я заставил бы всюду следовать за собой. Но так как вера моя не столь сильна, то мне должна помочь фантазия, и она переносит меня самого к прекрасному Рейну.

О, там прекрасная страна, полная прелести и солнечного сияния! В голубой воде отражаются гористые берега с развалинами замков, лесами и старинными городами. Там летним вечером сидят перед дверьми своих домов горожане, пьют из больших кружек и дружески болтают о том, что вино, слава богу, будет удачное, что суды должны быть непременно гласными, а Мария-Антуанетта гильотинирована ни за что ни про что, что акциз сильно удорожил табак, что все люди равны и что Геррес — молодец.

Я никогда не интересовался подобными разговорами, предпочитал сидеть с девушками у сводчатых окон и смеялся, когда они смеялись, позволял хлестать себя цветами по лицу и притворялся сердитым до тех пор, пока они не поверят мне свои тайны или не расскажут какие-нибудь другие важные истории. Прекрасная Гертруда до безумия радовалась, когда я подсаживался к ней; девушка эта была — как пылающая роза, и когда она однажды бросилась мне на шею, мне казалось, она горит и испарится благоуханиями в моих объятиях. Прекрасная Катерина растворялась в звенящей нежности, когда говорила со мной, и глаза ее синели так чисто и глубоко, как никогда не бывает у людей и у животных, лишь изредка — у цветов; и как приятно было смотреться в них, думая при этом о стольких отрадных вещах. А прекрасная Гедвига меня любила; когда я подходил к ней, она опускала голову, так что черные локоны падали на покрасневшее лицо, и блестящие глаза светились, точно звезды на темном небе. Ее стыдливые уста не произносили ни слова, и я тоже ничего не мог ей сказать. Я покашливал, а она дрожала. Несколько раз она просила меня, через сестру свою, не взбираться так быстро на горы и не купаться в Рейне, когда я разгорячен от бега или от

¹ Мой бог! (франц.).

выпивки. Я подслушал однажды ее благоговейную молитву перед статуэткой богородицы, стоявшею в золотых блестях, с зажженными перед ней свечами, в нише в сенях; я слышал ясно, как она просила богородицу запретить ему взбираться на горы, пить и купаться. Я бы непременно влюбился в эту прекрасную девушку, если бы она была ко мне равнодушнее; но я был равнодушен к ней, так как знал, что она меня любит. Madame, кто ищет моей влюбленности, должен третировать меня en canaille. ¹

Прекрасная Иоганна была кузиной трех сестер, и я охотно к ней подсаживался. Она знала чудеснейшие легенды, и когда своей белой рукою указывала в окно на горы, где происходило все то, о чем она рассказывала, и чувствовал себя зачарованным, — старинные рыцари явственно поднимались из развалин замков и рубили друг на друге железные одежды; Лорелея опять стояла на вершине горы и пела там, наверху, свою сладостно-губительную песнь, Рейн шумел так осмысленно, спокойно, но вместе с тем так дразняще-жутко, а прекрасная Иоганна смотрела на меня так особенно, так таинственно, так загадочно-приветливо, как будто сама она принадлежала к сказочному миру, о котором рассказывала. Это была стройная, бледная девушка, смертельно больная, она была задумчива, глаза ее были ясны, как сама истина, губы скромно сжаты, черты лица заключали в себе историю чего-то большого, но это была история священная, — может быть, легенда любви? Я не знаю, и никогда не решался ее спросить. Когда я долго смотрел на нее, я становился спокоен и весел, тихий воскресный день вставал, казалось, в моем сердце, и ангелы совершали там богослужение.

В такие прекрасные часы я рассказывал ей истории из времен моего детства, и она всегда внимательно слушала, и — не странно ли! — когда я не мог вспомнить имен, она напоминала мне их. Когда я в таких случаях удивленно спрашивал, откуда известны ей имена, она с улыбкой отвечала, что узнала их от птиц, вивших гнезда над ее окном, и пыталась даже уверить меня, что это те самые птицы, которых я в детстве покупал на карманные

¹ Пренебрежительно (*франц.*).

деньги у злых деревенских мальчишек и выпускал потом на свободу. Однако мне думается, она знала все потому, что была такая бледная, и действительно она скоро умерла. Она знала и то, когда умрет, и пожелала, чтобы накануне я покинул Андернах. На прощание она подала мне обе руки — то были бледные, милые руки, чистые, как тело господне, — и сказала: «Ты — добрый, а когда станешь злым, вспомни вновь о маленькой мертвой Веронике».

Неужели и это имя открыли ей болтливые птицы? В часы воспоминаний я часто ломал себе голову и не мог вспомнить этого милого имени.

Теперь, когда я снова знаю его, мне кажется, что в памяти моей опять расцвело раннее детство, и я снова — ребенок и играю с другими детьми на Замковой площади в Дюссельдорфе на Рейне.

ГЛАВА VI

Да, madame, здесь я родился, и со всей решительностью отмечаю это обстоятельство на случай, если после смерти моей семь городов — Шильда, Крвинкель, Польквидц, Бохум, Дюлькен, Геттинген и Шеппенштедт — будут спорить о чести называться моей родиной. Дюссельдорф — город на Рейне, и там живет шестнадцать тысяч человек, и кроме того многие сотни тысяч людей лежат там в могилах. А среди них есть и такие, о которых мать моя говорит, что лучше было бы им остаться в живых, например, мой дед и мой дядя, старик фон Гельдерн и молодой фон Гельдерн, оба знаменитые врачи, спасшие от смерти стольких людей и все-таки не сумевшие избежать смерти. И набожная Урсула, носившая меня в детстве на руках, тоже погребена там, и на могиле ее растет розовый куст — она так любила при жизни запах роз, и сердце ее источало только благоухание роз и доброту. И старый, умный каноник тоже погребен там. Господи, как он был жалок, когда я в последний раз видел его! Он состоял только из духа и пластырей, и все-таки занимался наукою дни и ночи, как будто беспокоился о том, что черви не найдут достаточного количества идей у него в голове. И маленький Вильгельм лежит там, и в этом виноват я. Мы оба учились

в школе францисканского монастыря и были с ним товарищи; однажды мы играли с ним в том самом месте, где меж каменных стен течет Дюссель, и я сказал: «Вильгельм, вытащи кошечку, она упала в воду», — и он весело вскочил на доску, перекинутую через ручей, вытащил кошечку из воды, но сам упал туда, и когда его вытащили, он был мокрый и мертвый. А кошечка жила еще долго.

Город Дюссельдорф очень красив и, когда вспоминаешь о нем на чужбине, будучи к тому же его уроженцем, как-то чудно становится на душе. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой. И когда я говорю «пойти домой», то думаю о Болькерштрассе и о доме, где я родился. Этот дом некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни в каком случае не продавала его. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько чаевых получит от знатных англичанок в зеленых вуалях та служанка, что будет показывать им комнату, где я появился на свет, и курятник, куда меня запирали отец, когда я тайком поедал виноград, а также коричневые двери, на которых мать учила меня писать мелом буквы — ах, боже! Madame, если я стану знаменитым писателем, то бедной матери моей это стоило достаточных усилий.

Но теперь слава моя дремлет еще в мраморолоннях Каррары, макулатурные лавры, которыми увенчано мое чело, не распространили еще своего аромата по всему свету, и если теперь знатные англичанки в зеленых вуалях являются в Дюссельдорф, то они оставляют пока без внимания знаменитый дом, а направляются к рыночной площади и осматривают стоящую посреди ее колоссальную черную конную статую. Она должна изображать курфюрста Яна-Вильгельма. На нем черный панцирь, низко свешивающийся парик с косичкой. Мальчиком я слышал легенду о том, что художник, отливавший статую, с ужасом заметил во время отливки, что металла для нее не хватает; тогда сбежались горожане и принесли ему свои серебряные ложки, чтобы закончить отливку, — и вот я часами стоял перед конной статуей и ломал себе голову: сколько могло бы в ней быть серебряных ложек и сколько пирожков с яблоками можно было бы закупить на это серебро. Пирожки с яблоками составляли в то время предмет моей страсти, теперь же это — любовь,

истина, свобода и раковый суп, — и как раз недалеко от статуи курфюрста, на углу у театра, стоял обычно парень уродливого сложения, с кривыми ногами, в белом переднике, с корзинкою на ремне, полной сладостно дымящихся пирожков, которые он умел расхваливать таким дискантом, что невозможно было устоять: «Пирожки с яблоками, совершенно свежие, только что из печки, пахнут так нежно». Право же, когда в позднейшие годы искустель являлся на моем пути, он говорил именно таким заманчивым дискантом, и я не оставался бы у сеньоры Джульетты двенадцать часов подряд, если бы она не усвоила этого сладостного, ароматического яблочно-пирожного тона. И право же, никогда бы меня не соблазнили так пирожки с яблоками, если бы кривоногий Герман не прикрывал их столь таинственно своим белым передником. Ах, эти передники, которые... по они окончательно сбивают меня, ведь я говорил о кошной статуе, в теле которой столько серебряных ложек и вовсе нет супу и которая изображает курфюрста Яна-Вильгельма.

Это, говорят, был славный человек, большой любитель искусства, да и сам очень искусный. Он основал картинную галерею в Дюссельдорфе, а в тамошней обсерватории еще показывают деревянный кубок весьма тонкой работы, вырезанный им самим в свободные часы — их было у него двадцать четыре в сутки.

В то время государи не были такими мучениками, как теперь, и корона прочно держалась на их головах, а на ночь они надевали еще поверх нее колпак и спали спокойно, у ног их спокойно спали народы и, просыпаясь по утрам, говорили: «С добрым утром, отец!», на что те отвечали: «С добрым утром, милые дети!»

Но внезапно все изменилось; когда в одно прекрасное утро мы проснулись в Дюссельдорфе и хотели молвить: «С добрым утром, отец», — оказалось, что отец уехал, и по всему городу царила тупая подавленность, во всем чувствовалось погребальное настроение, люди молча пробирались на рынок и читали длинную бумагу, прибитую на дверях ратуши. Погода была пасмурная, но тощий портной Килиан стоял в своей нанковой куртке, которую носил обычно лишь дома; синие шерстяные чулки спустились вниз настолько, что печально выглядывали голые ножки, и узкие губы его дрожали, пока он бормотал про

себя содержание прибитого к двери листка. Старый пфальцкий инвалид читал несколько громче, и при некоторых словах светлая слеза скатывалась на его седые почтенные усы. Я стоял рядом, плакал вместе с ним и спрашивал его: «Почему мы плачем?» И он ответил: «Курфюрст изволит благодарить». Затем он стал читать дальше и при словах «за выказанную верноподданническую преданность» и «освобождаем вас от ваших обязанностей» заплакал еще сильнее. Странно видеть, когда внезапно начинает плакать такой старый мужчина в поношенной военной форме и с покрытым шрамами солдатским лицом. Пока мы читали, на ратуше был убран герб курфюрста, все приняло такой устрашающе пустынный облик, казалось, будто ожидается солнечное затмение, господа городские советники ходили с таким отставным видом и таким медленным шагом, даже всемогущий уличный надзиратель похож был на человека, которому нечего приказывать, и стоял так равнодушно-мирно, несмотря на то, что сумасшедший Алоизий стал опять на одну ногу и с дурацкою гримасою гнусавил имена французских генералов, а пьяный хромой Гумперц валялся в канаве и пел: «*Ça ira, ça ira!*»¹

А я пошел домой, я плакал и сокрушался: «Курфюрст изволит благодарить». Мать успокаивала меня, но я-то знал, в чем дело, и ничего не хотел слушать, и с плачем улегся в постель, и во сне увидел, что пришел конец свету, прекрасные цветущие сады и зеленые луга убраны были с земли и скатаны, как ковры, уличный надзиратель взобрался по высокой лесенке и снял с неба солнце, а портной Килиан стоял тут же и говорил про себя: «Надо сходить домой и одеться получше, ведь я умер, и уже сегодня должны быть мои похороны», — и делалось все темнее и темнее, скудно мерцали вверху звезды, но и они попадали, как осенью желтые листья; понемногу исчезли люди, и я, бедный ребенок, боязливо блуждал взад и вперед. Наконец я остановился у ивового плетня перед каким-то опустевшим крестьянским двором и увидел человека, рывшего землю лопатой; рядом с ним стояла безобразная злая женщина, державшая в фартуке что-то вроде отрубленной человеческой головы, — это была луна; женщина с бояз-

¹ Дело пойдет (*франц.*).

ливой озабоченностью уложила луну в отрытую яму, а за мною стоял пфальцский инвалид и, всхлипывая, читал по складам: «Курфюрст изволит благодарить».

Когда я проснулся, солнце опять светило в окно, как обыкновенно, на улице бил барабан; когда я вошел в комнату — пожелать доброго утра отцу, сидевшему в белом пудермантеле, я услышал, как юркий парикмахер, причесывая его, во всех подробностях рассказывает ему о том, что сегодня в ратуше будут присягать новому великому герцогу Иоахиму и что он происходит из самого лучшего рода и женился на сестре императора Наполеона; да он и в самом деле очень представительен, а его прекрасные черные волосы все в локонах; и в ближайшее время должен состояться его въезд, и, несомненно, он очень понравится всем женщинам. Меж тем барабанный бой на улице продолжался. Я вышел из дому и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий народ — дитя Славы, с пением и музыкою прошедший весь мир, радостно-серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, сверкающие штыки вольтижеров, полных веселья и *point d'honneur*,¹ и увидел исполинского, расшитого серебром тамбур-мажора, который мог вскинуть свою булаву с позолоченной головкой до второго этажа, а глаза и до третьего, где сидели тоже красивые девушки. Я радовался, что у нас будет постоя, — мать не радовалась — и я поспешил на рыночную площадь. Теперь там все было совершенно иначе. Казалось, мир заново перекрашен: на ратуше висел новый герб, железная решетка балкона была завешена бархатным ковром, на часах стояли французские гренадеры, старые господа городские советники натянули на себя новые физиономии, надели свои праздничные камзолы, посматривали друг на друга по-французски и говорили *bonjour*;² из всех окон глазели дамы; любопытные горожане и блестящие солдаты наполняли площадь, а я с другими мальчиками взобрался на высокого курфюрстского коня и оттуда смотрел вниз на пеструю людскую сутолоку.

Соседский Питер и длинный Курц чуть не сломали при этом случае шею, и это было бы хорошо, так как один

¹ Чувства чести (*франц.*).

² Добрый день, здравствуйте (*франц.*).

из них потом убежал от родителей, пошел в солдаты, дезертировал и был расстрелян в Майнце, а другой занялся потом географическими исследованиями чужих карманов, стал вследствие этого деятельным членом одной казенной исправительной прядильни, разорвал железные узы, приковывавшие его к этому заведению и к отечеству, счастливо перебрался через пролив и умер в Лондоне от чересчур узкого галстука, который сам затянулся вокруг шеи, когда королевский чиновник вышиб у него из-под ног доску.

Длинный Курц сообщил нам, что уроков сегодня не будет по случаю присяги. Долго она заставила себя ждать. Наконец балкон ратуши наполнился и заестрел господами, знаменами, трубами, и господин бургомистр в своем знаменитом красном сюртуке произнес речь несколько растянутую, точно резина или вязаный ночной колпак, в который бросили камень — только отнюдь не философский камень, причем некоторые обороты его речи я явственно расслышал, например что нас хотят осчастливить. При этих словах зазвучали трубы, склонились знамена, ударили барабаны и раздались крики: «Виват!» И я, тоже крича «виват!», крепко держался за старого курфюрста. Да и следовало, так как у меня порядком кружилась голова, мне казалось уже, что люди стоят на головах и мир перевернулся; голова курфюрста в парике с косичкой кивала и шептала: «Держись крепче за меня!», и только пушечные залпы, раздававшиеся с вала, отрезвили меня. Я медленно слез с курфюрстова коня.

Возвращаясь домой, я опять увидел, как сумасшедший Алоизий танцевал на одной ноге, бормоча имена французских генералов, и как хромой Гумперц валялся пьяный в канаве и рычал: «Ça îga, ça îga», и я сказал матери: «Нас хотят осчастливить, и потому сегодня нет уроков».

ГЛАВА VII

На другой день мир уже пришел в порядок, уроки шли так же, как прежде, и вновь, как прежде, началось заучивание наизусть римских царей, исторических дат,

nomina на im, ¹ verba irregularia, ² греческий, еврейский, география, немецкий язык, устный счет, — боже, до сих пор голова идет у меня кругом. Все это надо было выучить наизусть. И кое-что из этого впоследствии мне пригодилось. Ведь если бы я не знал наизусть имен римских царей, то потом мне было бы совершенно безразлично, доказал ли Нибур или не доказал, что они в действительности никогда не существовали. А если бы я не знал хронологических дат, — как бы я впоследствии ориентировался в обширном Берлине, где дома похожи друг на друга, как две капли воды или как два гренадера один на другого, и где нельзя найти своих знакомых, если не помнишь номера дома; с каждым из своих знакомых я связывал в уме какое-либо историческое событие, дата которого совпадала с номером его дома, так что я легко мог его вспомнить, припоминая дату события; поэтому и обратно — при виде знакомых мне всегда приходило на ум историческое событие. Так, например, встречаясь со своим портным, я тотчас же вспоминал о Марафонской битве; если встречался мне расфранченный банкир Христиан Гумпель, я начинал думать о разрушении Иерусалима; когда я видел моего обремененного долгами приятеля португальца, то припоминал бегство Магомета; видя университетского судью, известного своей строгостью и справедливостью, я думал о смерти Амана; видя Вадцека, думал о Клеопатре. Ах, боже правый, бедняга теперь умер, уже и все слезы высохли, и можно сказать вместе с Гамлетом: «Это всего-навсего была старая баба, каких у нас еще будет много!» Как сказано, хронологические даты весьма необходимы. Я знаю людей, которые, имея в голове лишь две-три исторические даты, умели найти при их помощи в Берлине нужные дома и теперь стали ординарными профессорами. Но мне в школе пришлось помучиться с обилием пифр! Со счетом, в собственном смысле, дело шло еще хуже. Лучшее всего я понимал вычитание, где существует очень практичное основное правило: «Четыре из трех вычестъ нельзя, нужно занять единицу», — но я советую всем занимать в таких случаях на несколько грошей больше; ведь никогда нельзя знать...

¹ Существительных, оканчивающихся на im (лат.).

² Неправильных глаголов (лат.).

Что касается латинского, то вы понятия не имеете, *madame*, до чего это запутанная наука. У римлян, наверное, не осталось бы времени для завоевания мира, если бы им сначала пришлось изучать латынь. Эти счастливцы еще в колыбели знали, какие имена существительные в винительном падеже оканчиваются на *im*. Я же, напротив, должен был учить эти имена наизусть в поте лица своего; но все же хорошо, что я их знаю. Ведь если бы, например, 20 июля 1825 года, когда я в публичном собрании в зале Геттингенского университета защищал диссертацию на латинском языке — *madame*, стоило труда послушать ее — если бы я сказал *sinapem* вместо *sinapim*, то, может быть, присутствовавшие фуксы заметили бы это, и я навлек бы на себя вечный позор. *Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis* — слова эти, имеющие такое значение в мире, имеют его потому, что, принадлежа к определенному классу, все же составляют исключение; вот почему я очень уважаю их, и то обстоятельство, что они у меня постоянно наготове, — на случай, если внезапно понадобятся, — доставляет мне в скорбные часы моей жизни большое удовлетворение и утешение. Но, *madame, verba irregularia*, — они отличаются от *verba regularibus*¹ тем, что за них секут еще больше, — ужасающе трудны. В мрачном сводчатом коридоре францисканского монастыря, недалеко от классной комнаты, висело большое распятие серого дерева — мрачный образ, до сих пор посещающий меня иной раз в моих ночных сповиданиях и печально взирающий на меня своими неподвижными, кровавыми глазами, — перед этим образом я часто стоял и молился: «О несчастный бог, тоже претерпевший муки, если только есть у тебя какая-нибудь возможность, постарайся, чтобы я удержал в памяти *verba irregularia*».

О греческом я и говорить не хочу, а то я уж слишком буду сердиться. Средневековые монахи были не совсем уж неправы, утверждая, что греческий язык — изобретение дьявола. Богу известны страдания, которые я из-за него претерпел. С древнееврейским дело шло лучше, так как я всегда чувствовал большое расположение к евреям, хоть они и посеяли мое доброе имя; но все

¹ Правильных глаголов (*лат.*).

же я не мог достигнуть в древнееврейском таких успехов, как мои карманные часы, которые часто находились в близких отношениях с ростовщиками и приобрели вследствие того кое-какие иудейские обыкновения — например, по субботам они не шли; они также научились священному языку и впоследствии занимались его грамматическими формами; я часто слышал с изумлением в бессонные ночи, как они непрерывно трещали: каталь, катальта, катальти — киттель, китгальта, китгальти — покат, покадети — пикат — пик — пик.

Между тем в немецком языке я смыслил гораздо больше, а он не так уж легок для детей. Ведь мы, бедные немцы, достаточно измученные постояями, воинскими повинностями, подушной податью и тысячами других поборов, мы обзавелись еще Аделунгом и изводим друг друга винительным и дательным. В значительной степени научил меня немецкому языку старый ректор Шальмейер, добрый старик священник, еще в моем детстве принявший во мне участие. Но кое-чему в том же роде я научился и от профессора Шрамма, человека, который написал книгу о вечном мире и на уроках у которого школьники больше всего дрались.

Написав все это в один прием и предавшись различным воспоминаниям, я незаметно заболтался о старых школьных историях, и теперь, madame, пользуясь случаем объяснить, что не моя вина, если я слишком плохо изучил географию и впоследствии не мог найти свое место на земле. Ведь в то время французы сдвинули все границы, что ни день, то страны окрашивались на карте в новую краску, синие стали вдруг зелеными, а некоторые сделались даже кроваво-красными; души, количество которых значилось в учебниках, так перепутались и перемешались, что сам черт их не узнал бы; продукты местного производства также изменились: цикорий и сахарная свекла стали расти там, где раньше видели только зайцев и гоняющихся за ними молодых дворян; изменились и характеры народов: немцы стали держаться непринужденнее, французы оставили свои комплименты, англичане уже не швыряли денег в окно, венецианцы оказались недостаточно хитрыми, многие государи оказались в чине, старые короли получили новые мундиры, повые королевства поклись и находили сбыт, как свежие

булки, другие же владыки, наоборот, были изгнаны вон из своих владений и принуждены были добывать себе хлеб иным путем, а потому некоторые из них заблаговременно занялись ремеслами, например изготовлением сургуча, и — madame, я заканчиваю, наконец, этот период, у меня захватывает дыхание — коротко говоря, в такие времена не далеко уйдешь в географию.

В этом отношении естественная история лучше, там не бывает таких перемен, и есть там гравюры, в точности изображающие обезьян, кенгуру, зебр, носорогов и т. д. Так как изображения эти остались у меня в памяти, то в дальнейшем часто случалось, что некоторые люди с первого же взгляда казались мне старыми знакомыми.

С мифологией дело также шло хорошо. Как мне нравилось это собрание богов, столь весело правивших в голлом виде вселенною! Не думаю, чтобы в древнем Риме какой-нибудь школьник лучше меня изучил наизусть основные части своего катехизиса, например любовные похождения Венеры. Говоря откровенно, раз уж мы вынуждены были так основательно знакомиться со старыми богами, надо было бы нам и сохранить их, и нет нам особой выгоды от нашего новоримского троебожия или, тем более, от нашего иудейского поклонения одному идолу. Быть может, та мифология и не была по существу так безнравственна, как о ней прокричали, — ведь, например, весьма пристойная мысль Гомера — дать многолюбимой Венере супруга.

Но лучше всего обстояли мои дела во французском классе аббата д'Онуа, француза-эмигранта, написавшего множество грамматик, носившего рыжий парик и резво прыгавшего при изложении своего «*Art poétique*»¹ и своей «*Histoire allemande*».² Во всей гимназии он был единственным преподавателем немецкой истории. Однако и во французском языке есть свои трудности, и для изучения его необходимы частые постоп, много барабанного боя, много *apprendre par coeur*³ и прежде всего нельзя быть *bête allemande*.⁴ Дело не обошлось без кислых слов, и я помню еще так же хорошо, как если бы это случилось

¹ «Поэтического искусства» (франц.).

² «Германской истории» (франц.).

³ Учить наизусть (франц.).

⁴ Немецкой скотиной (франц.).

вчера, что претерпел много неприятностей от la religion.¹ Раз шесть, пожалуй, спрашивали меня: «Henri,² как по-французски вера?» И раз шесть, и все более слезливо, я отвечал: «Le crédit».³ На седьмой раз взбешенный экзаменатор, побагровев, закричал: «La religion» — и посыпались удары, а товарищи мои смеялись. Madame, с той поры всякий раз, как только я слышу слово religion, спина моя бледнеет от страха, а щеки краснеют от стыда. И, признаться, le crédit больше принес мне в жизни пользы, чем la religion. В эту минуту я вспоминаю, что должен еще пять талеров хозяину трактира «Лев» в Боломье, и, право же, я готов принять на себя обязательство еще дополнительного долга в пять талеров хозяину «Льва», если мне не придется больше никогда в этой жизни слышать слова la religion.

Parbleu,⁴ madame, я далеко пошел во французском языке! Мне знаком не только patois,⁵ но и принятый у дворян язык французских бонн. Еще недавно в одном важном обществе я понял почти половину разговора двух немецких графинь, из коих каждая насчитывала свыше шестидесяти четырех лет и стольких же предков. Да что! — в Café Royal⁶ в Берлине я слышал однажды, как monsieur Ганс-Михель Мартенс беседовал по-французски, и я уразумел каждое слово, хотя во всей речи не было ничего разумного. Надо только знать дух языка, а его лучше всего изучать по барабанному бою. Parbleu! Как я благодарен французскому барабанщику, который так долго квартировал у нас и был похож на черта, а сердцем был ангельски добр и так отлично барабанил!

Это была маленькая подвижная фигурка, с грозными черными усами, из-под которых упрямо высывались красные губы, а огненные глаза так и стреляли во все стороны.

Я, маленький мальчик, виснул на нем, как репейник, и помогал ему чистить яркие пуговицы и белить мелом жилет — мосье Ле Гран желал нравиться, — я следовал

¹ Религия (*франц.*).

² Генрих (*франц.*).

³ Кредит, доверие (*франц.*).

⁴ Черт возьми! (*франц.*).

⁵ Простонародный язык, говор (*франц.*).

⁶ Кафе «Руаяль».

за ним на караул, на сборы, на парады. Это был сплошной блеск оружия и веселья — *les jours de fête sont passés!* ¹ Мосье Ле Гран знал лишь несколько ломаных слов по-немецки, только основные выражения — хлеб, поцелуй, честь, — но умел очень хорошо объясняться при помощи барабана: например, когда я не понимал, что значит слово «*liberté*», ² он барабанил Марсельезу, и я понимал его. Когда я не знал значения слова «*égalité*», ³ он барабанил марш «*Ça ira, ça ira — les aristocrates à la lanterne!*», ⁴ и я понимал его. Когда я не знал, что значит «*la bêtise*», ⁵ он барабанил Дессауский марш, который мы, немцы, как подтверждает и Гете, барабанили в Шампани, и я понимал его. Как-то он захотел объяснить мне слово «*l'Allemagne*» ⁶ и стал барабанить ту простенькую стародавнюю мелодию, которую часто слышишь в ярмарочные дни, как аккомпанемент танцующим собакам, а именно дум-дум-дум; ⁷ я рассердился, но понял его.

Подобным же образом учил он меня новейшей истории. Правда, я не понимал слов, произносимых им, но так как, разговаривая, он непрестанно барабанил, я знал, что он хочет сказать. В сущности, это лучшая учебная методка. История взятия Бастилии, Тюильри и т. д. становится вполне понятной лишь тогда, когда знаешь, как при этих обстоятельствах барабанили. В наших школьных учебниках читаем только: «Их сиятельства бароны и графы и их знатные супруги были обезглавлены; их светлости герцоги и принцы и их высочайшие супруги были обезглавлены; его величество король и августейшая его супруга были обезглавлены», — но когда слышишь, как барабаният красный марш гильотины, то особенно ясно понимаешь все это и узнаешь, как и почему. *Madame*, это удивительный марш! Он пронизал меня дрожью до мозга костей, когда я впервые услышал его; и я был рад, что забыл его, — становясь старше, забываешь такие вещи; ведь молодому человеку приходится теперь запоминать

¹ Прошли праздничные дни (*франц.*).

² Свобода (*франц.*).

³ Равенство (*франц.*).

⁴ «Дело пойдет, дело пойдет—аристократов на фонарь!» (*франц.*).

⁵ Глупость (*франц.*).

⁶ Германия (*франц.*).

⁷ Созвучно с *dum*, что значит — глупо (*нем.*).

много другого: вист, бостон, родословные таблицы, решения союзного совета, драматургию, литургию, хронику, и, право, сколько я ни тер себе лоб, я долгое время не мог вспомнить эту могучую мелодию. Но вообразите, madame, сижу я недавно за столом среди целого зверинца графов, принцев, принцесс, камергеров, гофмаршалов, гофшенков, обергофмейстерин, хранителей придворного се-ребра, гофегермейстерин и — как еще называется эта знатная челядь? — а челядь, им подвластная, сновала за их стульями и совала им под самый нос полные тарелки; я же, обойденный и никем не замечаемый, праздно сидел, вовсе не работая челюстями, скатывая хлебные шарики, и от скуки барабанил пальцем по столу, и к ужасу моему стал барабанить вдруг красный, давно забытый марш гильотины.

Что же произошло? Madame, эти люди ни на что не обращают внимания во время еды и не знают, что другие люди, когда им нечего есть, начинают вдруг барабанить, притом барабанить особенные марши, давно, казалось бы, забытые.

Есть ли игра на барабанах прирожденный талант или же я с юных лет развил в себе эту способность, — но только она теперь заложена в моем теле, в руках и ногах и часто проявляется произвольно. Да, произвольно. Сидел я однажды в Берлине на лекции тайного советника Шмальца, человека, спасшего государство своею книгою об опасности черных и красных мантий. Вы помните, madame, из истории Павзания, что когда-то столь же опасный заговор раскрыт был благодаря крику осла; знаете также из Ливия или же из всеобщей истории Беккера, что гуси спасли Капитолий, а из Саллюстия вы совершенно достоверно знаете, что благодаря болтовне одной шлюхи, госпожи Фульвии, обнаружился ужасный заговор Катилины. Но вернусь к вышеупомянутому барану. У тайного советника Шмальца я слушал международное право; был скучный летний вечер, я сидел на скамье и слушал все невнимательнее — дремота овладевала мною, — вдруг я был разбужен стуком моих собственных ног, которые бодрствовали и, вероятно, слышали, как излагалось нечто, прямо противоположное международному праву, и как поносились конституционные теории; и ноги мои, прозревающие маленькими мозолями дела мирские лучше, чем тайный советник своими большими, как у Юноны,

глазами,¹ эти бедные, пемые ноги, не будучи в силах выразить словами свое скромное мнение, пожелали высказать его при помощи топота и забарабанили так громко, что я чуть было не попал в беду.

Проклятые, неразумные ноги! Они сыграли со мною подобную же шутку, когда я как-то раз сидел в Геттингене на лекции профессора Заальфельда и этот последний, со свойственным ему неуклюжим проворством, подпрыгивал на кафедре и горячился, стараясь получше обругать императора Наполеона... Нет, бедные мои ноги, я не могу поставить вам в упрек, что вы тогда барабанили, я не стал бы упрекать вас и в том случае, если бы вы, в немой вашей наивности, высказались еще определеннее при помощи пинков. Как могу я, ученик Ле Грана, слушать, когда бранят императора? Императора! Императора! Великого императора!

Когда я думаю о великом императоре, в памяти моей вновь встает, весь в золоте и зелени, летний день, возникает вся в цвету длинная липовая аллея, на густых ветвях сидят, распевая, соловьи, шумит каскад, на круглых клумбах растут цветы, мечтательно покачивая своими прелестными головками, — а я был с ними в чудесном общении: нарумянившиеся тюльпаны кланялись мне спесиво-снисходительно, болезненно-нервные лилии кивали с нежною грустью, пьяно-красные розы смеялись уже издали, встречая меня, ночные фиалки вздыхали — с миртами и лаврами я не водил еще тогда знакомства, так как они не привлекали ярким цветом, но с резедою, с которою у меня теперь нелады, я был особенно близок. Я говорю о дворцовом саде в Дюссельдорфе, где я часто лежал на траве и благоговейно слушал, как мосье Ле Гран рассказывал мне о военных подвигах великого императора и отбивал при этом на барабане марши, которые исполнялись во время этих подвигов, так что я живо все видел и слышал. Я видел переход через Симплон — император впереди, а за ним карабкаются вверх brave гренадеры, спугнутые птицы поднимают крик, и вдали гремят глетчеры; я видел императора со знаменем в руках на мосту Лоди, я видел императора в сером плаще при Ма-

¹ Игра слов и созвучий: мозоли по-немецки *Nühneraugen* (буквально — куриные глаза), а глаза Юноны — *Junoaugen*.

ренго, я видел императора на коне в сражении у пирамид — сплошь мамелюки и пороховой дым, я видел императора в битве при Аустерлице — у! как свистели пули на ледяной равнине! — я видел, я слышал битву при Иене — дум-дум-дум! — я видел, я слышал битву при Эйлау, при Ваграме... Нет, я едва мог все это выдержать! Мосье Ле Гран барабанил так, что едва не лопалась моя собственная барабанная перепонка.

ГЛАВА VIII

Но что было со мной, когда я увидел его самого, собственными стократ блаженными глазами, его самого, — осанна! — императора!

Это произошло в аллее дворцового сада в Дюссельдорфе. Пробираясь сквозь глазающую толпу, я думал о подвигах и сражениях, о которых барабанил мне мосье Ле Гран, сердце мое отбивало тревогу, и все же в это самое время я помнил о распоряжении полиции, запрещающей, под угрозой штрафа в пять талеров, ездить верхом посредине аллеи. А император со своею свитою ехал верхом прямо посредине аллеи, деревья в трепете наклонились вперед, когда он проезжал, солнечные лучи с дрожью боязливого любопытства просвечивали сквозь зелень, а вверху, в синем небе, явственно плыла золотая звезда. На императоре был простой зеленый мундир и маленькая всемирно-историческая шляпа. Он ехал на белой лошадке, и она выступала с таким гордым спокойствием, так уверенно, так безупречно, что будь я тогда прусским кронпринцем, я бы позавидовал этой лошадке. Небрежно, почти свесившись, сидел император, одной рукой высоко держа повод, а другою благодушно похлопывая по шее лошадки. Это была солнечно-мраморная рука, могучая рука, одна из тех двух рук, которые смирили многоголовое чудовище анархии и прекратили войну народов, — и ею он благодушно хлопал по шее лошади. И лицо его было того цвета, который встречается у мраморных статуй, греческих и римских, черты его отличались тою же благородной соразмерностью, как у древних, и на лице этом было написано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме

меня». Улыбка, согревающая и успокаивающая каждое сердце, играла на его губах, и все же все знали, что достаточно этим губам свистнуть — *et la Prusse n'existait plus*; ¹ достаточно этим губам свистнуть — и вся поповская компания отзвонит навсегда; достаточно этим губам свистнуть — и вся священная Римская империя затапцует. И губы эти улыбались, и глаза улыбались тоже. Глаза эти были ясны, как небо, они могли читать в сердцах людей, они быстро проникали во все дела мира сего, которые мы познаем лишь в их постепенности, видя только их расцветенные тени. Лоб не отличался такой ясностью: на нем бродили отсветы будущих битв, и порою что-то вздрагивало на этом лбу — то были творческие мысли, великие мысли-скороходы; с их помощью дух императора незримо пробегал по вселенной, и, думается мне, каждая из этих мыслей дала бы любому немецкому писателю достаточно материала на всю его жизнь.

Император спокойно ехал посредине аллеи, ни один полицейский не препятствовал ему, за ним, на фыркающих конях, гордо ехала, в золоте и украшениях, свита, трещали барабаны, звучали трубы, рядом со мной вертелся сумасшедший Алоизий и гнусавил имена его генералов, недалеко рычал пьяный Гумперц, а народ кричал тысячью голосов: «Да здравствует император!»

ГЛАВА IX

Император умер. На пустынном острове Атлантического океана — его одинокая могила, и он, которому тесна была земля, лежит спокойно под небольшим холмом, где пять плакучих ив горестно свешивают свои зеленые кудри и скромный ручеек протекает с жалобно-тоскливым журчанием. На надгробной плите его нет надписи, но Клио бесстрастным резцом своим начертала на ней незримые слова, которые, подобно хорам духов, будут звучать сквозь тысячелетия.

Британия! Ты владычица морей. Но в морях не хватит воды, чтобы смыть позор, который завещал тебе, умирая,

¹ Пруссии больше не стало бы (*франц.*).

великий усопший. Не твой легкомысленный сэр Гудсон, — нет, сама ты оказалась сицилианским сбиром, которого наняли заговорщики-короли, стремясь тайком отомстить сыну народа за то, что когда-то было открыто совершено народом над одним из них. А он был твоим гостем и сидел у твоего очага.

До позднейших времен будут французские дети петь и рассказывать о страшном гостеприимстве «Беллерофона», и если эти песни, полные насмешки и слез, донесутся через Ламанш, то покраснеют щеки всех честных британцев. А когда-нибудь эта песня донесется туда, и не станет Британии, во прах будет повержен гордый народ, вестминстерские гробницы будут обращены в развалины, и забыт будет царственный прах, в них почивающий. Остров св. Елены станет гробом господним, куда народы Востока и Запада будут совершать паломничества на кораблях, пестро разукрашенных флагами, закаляя сердца величественными воспоминаниями о мирском спасителе мира, претерпевшего муки при Гудсоне Лоу, как писано это в евангелии Ласказа, О'Мира и Антомарки.

Странно! Трех величайших врагов императора уже постиг ужасный жребий: Лондондерри перерезал себе горло, Людовик XVIII сгнил на своем троне, и профессор Заальфельд — все еще профессор в Геттингене.

ГЛАВА X

Был ясный холодный осенний день, когда молодой человек, похожий по наружности на студента, медленно проходил по аллее дюссельдорфского дворцового сада, то отбрасывая ногой, как бы из детской прихоти, шуршащие листья, устилавшие землю, то горестно глядя на оголенные деревья с немногими золотыми листьями, еще уцелевшими на них. Подымая на них взор, он вспоминал слова Главка:

Листьям древесным в лесу поколенья подобны людские:
Ветер к земле прибывает листья, но другие рождает
Вновь зеленеющий лес, лишь весна опять наступает;
Так же и с родом людским — те растут, а иные поbleкли.

Прежде молодой человек смотрел на те же деревья с совершенно другими мыслями; он был тогда мальчиком и искал птичьих гнезд или майских жуков, которые очень забавляли его тем, что весело гудели, радуясь красоте природы и довольствуясь зеленым сочным листиком с капелькой росы, теплым солнечным лучом и сладким запахом трав. В то время сердце мальчика было столь же беззаботно, как и эти порхающие зверьки. Но теперь сердце его состарилось, слабые лучи солнца погасли в нем, все цветы умерли, и даже поблекла в нем прекрасная мечта любви, в бедном сердце ничего не осталось, кроме мужества и тоски, и — что всего большее — то было мое сердце.

В тот самый день я вернулся в мой старый, родной город, но мне не хотелось там ночевать, я стремился в Гедесберг, чтобы сесть у ног моей подруги и поговорить с нею о маленькой Веронике. Я посетил дорогие могилы. Из всех моих друзей и знакомых я нашел в живых только дядю и тетку. Если я и встречал на улице знакомые лица, то меня уже никто не узнавал; сам город глядел на меня чужими глазами; многие дома за это время оказались перекрашенными, из окон выглядывали незнакомые лица, вокруг старых дымовых труб порхали дряхлые воробьи, все было так мертво и вместе так свежо, как салат, растущий на кладбище; где прежде разговаривали по-французски, слышался теперь прусский говор, и успел здесь обосноваться даже маленький прусский двор, люди приобрели придворные титулы: бывшая куаферша моей матери стала придворною куафершею, завелись придворные портные, придворные сапожники, придворные истребительницы клопов, придворные винные лавки, весь город оказался придворным лазаретом для помешанных на всем придворном. Только старый курфюрст узнал меня; он стоял на том же месте, но словно похудел. Стоя посередине рыночной площади, он наблюдал все современное запустение, а от такого зрелища не разжириешь. Я был как во сне, мне вспоминались сказки о зачарованных городах и, чтобы не проснуться слишком рано, я поспешил к воротам. Во дворцовом саду я не досчитался нескольких деревьев, другие были искалечены, а четыре больших тополя, представлявшие мне прежде зелеными великанами, стали маленькими. Несколько хорошеньких девушек прогуливались по саду, пестро разодетые,

будто ходячие тюльпаны. С этими тюльпанами я был знаком, когда они были еще маленькими луковками. Ах! Это были соседские дочки, с которыми я играл когда-то в «Принцессу на башне». Зато прекрасные девы, которых я знал цветущими розами, предстали мне теперь поблекшими, и не в один горделивый лоб, восхищавший прежде мое сердце, врезаны были теперь косою Сатурна глубокие морщины. Только теперь и — увы! — слишком поздно я открыл, что должны были означать взгляды, которые они бросали тогда уже мужавшему мальчику; за это время я и на чужбине наблюдал в прекрасных глазах такое же выражение. Глубоко растрогал меня смиренный поклон человека, которого я помнил богатым и знатным и который теперь стал нищим! Заметно вообще, что люди, начиная опускаться, падают, как бы по закону Ньютона, все быстрее, — ужасающе быстро. Но кто вовсе не показался мне изменившимся, так это маленький барон. Он так же весело, как прежде, прыгал по дворцовому саду, придерживая левой рукой полу сюртука, а в другой руке держал тоненькую тросточку, которой помахивал во все стороны; все то же приветливое личико, розовый румянец которого сосредоточился на носу, та же старая полукруглая шляпенка, та же старая косичка, только теперь из нее выглядывало несколько седых волосков вместо прежних черных. Но, несмотря на его веселый вид, я все же знал, что бедный барон претерпел в последнее время много горя, личико его пыталось скрыть это обстоятельство, но седые волосики в косичке выдавали его. Сама косичка охотно бы утаила это — она болталась как-то скорбно-весело.

Я не чувствовал усталости, но мне захотелось еще раз присесть на деревянную скамью, где я вырезал когда-то имя любимой девушки. Я едва отыскал его, столько новых имен было там вырезано. Ах! Однажды я заснул на этой скамье, и мне снились любовь и счастье. «Сны — что пена морская». Вспомнились мне и старые детские игры и старые милые сказки. Но фальшивая новая игра и скверная новая сказка врывались в эти воспоминания; то была история двух сердец, нарушивших взаимную верность и дошедших в самой неверности до того, что они изменили и господу богу. Это отвратительная история, и если уж не найдется ничего получше, можно поплакать и пад ней.

О боже! Когда-то мир был так хорош, и птицы пели тебе вечную хвалу, и маленькая Вероника смотрела на меня своим тихим взором. Мы сидели перед мраморной статуей на замковой площади: с одной стороны старый, заброшенный замок, где живут духи и где по почам бродит дама в черном шелковом платье, без головы, с длинным шуршащим шлейфом; с другой стороны — высокое белое здание, в верхних комнатах которого чудесно сияют в золотых рамках пестрые картины, а в нижнем этаже стоят многие тысячи тяжелых книг; я и маленькая Вероника с любопытством рассматривали их, когда благочестивая Урсула поднимала нас к большим окнам. Позже, став большим мальчиком, я каждый день взбирался там на самые верхние ступеньки, доставал книги с самых верхних полок и читал так много, что перестал бояться чего бы то ни было, во всяком случае — дамы без головы, и сделался таким умным, что позабыл все старые игры, и сказки, и картины, и маленькую Веронику, и даже ее имя.

Но вот я, сидя на старой скамейке дворцового сада и уносясь мечтами в прошлое, услышал вдруг позади себя смешанный говор человеческих голосов, сокрушавшихся о судьбе бедных французов, которые во время русского похода взяты были в плен и усланы в Сибирь, где их задержали на несколько долгих лет, несмотря на заключение мира, и лишь теперь они возвращались на родину. Подняв глаза, я действительно увидал этих сирот славы; сквозь прорехи их изодранных мундиров проступала неприкрытая нищета, лица у них были изможденные, глубоко впавшие глаза их глядели жалобно, и все же они, увечные, усталые, по большей части хромые, сохранили в своих рядах подобие воинского равнения, и — не странно ли! — барабанщик с барабаном ковылял впереди; внутренне содрогаясь, вспомнил я легенду о солдатах, которые пали в бою днем, а ночью встают с поля сражения и, во главе с барабанщиком, направляются на родину. О них поется в старой народной песне:

Он барабанил выступление,
И вот — встают с полей сражения
И к городу, вперед!
Траллеры, траллерей, траллера!
Здесь милая живет.

Рядами высохшие кости
Стоят, как камни на погосте,
А он — всех впереди.
Траллеры, траллерей, траллера!
Пр шел я — погляди!

Казалось, право, будто бедный французский барабанщик вышел, наполовину истлевший, из могилы — это была лишь крохотная тень в грязной, изодранной серой шинели, мертвенно желтое лицо с большими усами, печально повисшими над бледным ртом, глаза походили на истлевшие угли, в которых едва лишь мерцает несколько искорок, и все-таки по одной только такой искорке я узнал мосье Ле Грана.

Он узнал меня тоже и усадил на траву. Вот мы опять расположились рядом, как прежде, когда он с помощью барабана учил меня французскому языку и новейшей истории. Барабан был все тот же, хорошо мне знакомый, и я не мог надивиться, каким образом спас он его от русской алчности. Он и теперь барабанил, как прежде, но при этом ничего не говорил. Однако, если губы его были зловеще сжаты, тем больше говорили его глаза, победно светившиеся, когда он отбивал старые марши. Тополи рядом с нами задрожали, когда он забарабанил вновь красный марш гильотины. Также пробарабанил он и про давние бои за свободу, про давние сражения, про подвиги императора, и казалось, что его барабан — живое существо, радующееся возможности выразить внутренний восторг. Я опять услышал гром пушек, свист пуль, шум битвы, опять увидел отважную перед лицом смерти гвардию, опять увидел веющие знамена, опять увидел императора на коне. Но понемногу к радостной дробе стал примешиваться какой-то унылый тон, с барабана понеслись звуки, в которых самое неистовое ликование жутко слилось с ужасающей скорбью, это был победный и в то же время похоронный марш. Глаза Ле Грана широко раскрылись, словно глаза привидения, и я увидел в них только одно — безбрежное белое ледяное поле, устланное трупами: то была битва под Москвою.

Я бы никогда не подумал, что старый жесткий барабан способен издавать такие горестные звуки, какие извлекал теперь из него мосье Ле Гран. Это были выбарабанен-

ные слезы, они звучали все тише, и, как печальное эхо, из груди Ле Грана вырывались глубокие вздохи. Он становился все бледнее и прозрачнее, его тощие руки дрожали от озноба, он сидел как во сне и только рассекал воздух своими палочками, как бы прислушиваясь к голосам издалека; наконец он посмотрел на меня глубоким, бездонно глубоким, умоляющим взором — я понял его, — и голова его опустилась на барабан.

Мосье Ле Гран не барабанил уже больше в этой жизни. И барабан его не издал больше ни одного звука, ему не суждено было рабски отбивать зóрю среди врагов свободы. Я очень хорошо понял последний, молящий взгляд Ле Грана и, вынув шпагу из моей трости, проткнул барабан.

ГЛАВА XI

*Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!*¹

Но жизнь в сущности так ужасающе серьезна, что была бы невыносима без этого смешения патетического и комического. Это известно нашим поэтам. Самые страшные картины человеческого безумия Аристофан показывает нам лишь в веселом зеркале своей шутки; великую муку мыслителя, сознающего собственное ничтожество, Гете решается высказать лишь в простонародных стихах кукольного театра, а смертную жалобу на юдоль мира сего Шекспир вкладывает в уста шуту, опасливо потряхивая погремучками его колпака.

Все они научились этому от великого праотца поэзии, который в своей тысячеактной мировой трагедии сумел достигнуть высшей степени юмора, как мы ежедневно убеждаемся в том: после ухода героев на сцене появляются клоуны и арлекины со своими шутовскими дубинками и колотушками, после кровавых революционных сцен и императорских деяний вперевалку приплетаются толстые Бурбоны, со своими старыми, отжившими остротами и изящно-легитимными каламбурами, и грациозно семенит туда же древняя знать со своею голодной улыбкой, а за ними шествуют благочестивые рясы со светильни-

¹ От великого до смешного только шаг, мадам! (*франц.*).

Madame! В том яйце, которое высиживала Леда, уже была заключена вся Троянская война, и вы никогда бы не поняли знаменитых слез Приама, если бы я не рассказал вам сначала о древних лебединых яйцах. Поэтому не жалуйтесь на мои отступления. Во всех предыдущих главах нет строки, которая не имела бы отношения к делу. Я пишу сжато, избегаю всего лишнего, часто даже опускаю необходимое, например, я еще ни разу не цитировал,¹ — имею в виду не духов, а писателей, — а ведь цитирование старых и новых трудов — главное удовольствие для молодого автора, и такая пара основательных ученых цитат сразу украшает всего человека. Только не подумайте, madame, что я недостаточно знаком с заглавиями книг. Кроме того, мне известен прием великих людей, умеющих выковыривать изюминки из булок и цитаты из записи лекций, а также я знаю, откуда Бартель добывает сусло. На случай нужды, я мог бы призвать известное количество цитат у моих ученых друзей. Мой друг Г. в Берлине, — так сказать, маленький Ротшильд в отношении цитат и охотно одолжит мне несколько миллионов их, а если у него и не окажется достаточного запаса, то он без труда добудет их у некоторых других космополитических банкиров мудрости. Но пока мне незачем прибегать к займам, я человек вполне обеспеченный и могу расходовать свои десять тысяч цитат в год, мало того — я изобрел даже способ сбывать фальшивые цитаты за настоящие; если бы какой-нибудь великий и богатый ученый, например Михаэль Бер, пожелал купить у меня этот секрет, я охотно уступил бы его за девятнадцать тысяч галеров наличными, можно было бы и поторговаться. Другого своего открытия я, в интересах литературы, не стану утаивать и намерен сообщить его бесплатно.

Дело в том, что я считаю правильным цитировать неизвестных авторов с указанием номера их дома.

Эти «хорошие люди и плохие музыканты», — так говорится об оркестре в комедии «Понсе де Леон», — эти ни-

¹ Игра слов: по-немецки citieren означает и «цитировать» и «вызывать».

кому не известные авторы все же хоть сами имеют экземплярчик своей давно забытой книжки, и нужно знать номер их дома для того, чтобы найти ее. Если бы, например, я вздумал привести цитату из «Песенника для ремесленных подмастерьев» Шпитты, где бы вы, милая madame, нашли ее? Но вот я процитирую:

«См. Песенник для подмастерьев, составленный Ф. Шпиттой, Люнебург, Люнерштрассе, № 2, справа за углом», — тут вы можете, madame, если, по-вашему, это стоит труда, разыскать книжку. Но это не стоит труда.

Впрочем, вы не можете себе представить, madame, с какой легкостью я могу приводить цитаты. Я всегда найду случай показать мою глубокую ученость. Говоря, например, о еде, я сообщаю в примечании, что греки, римляне и иудеи тоже ели, перечисляю великолепные блюда, которые готовила кухарка Лукулла — увы, зачем я родился на полторы тысячи лет позже! — отмечаю также, что общественные трапезы у греков назывались так-то и так-то и что спартанцы питались скверным черным супом. Хорошо все-таки, что тогда меня еще не было на свете, — я не могу представить себе ничего ужаснее, чем если бы я, несчастный, оказался спартанцем. Ведь суп — мое любимое блюдо. Madame, я предполагаю в скором времени отправиться в Лондон, но если правда, что там нельзя достать супа, то тоска скоро погонит меня обратно к горшкам моей родины с их мясным бульоном. Насчет еды у древних евреев я мог бы распространиться очень подробно и дойти до еврейской кухни новейшего времени. При этом случае я процитирую весь Штейнвег. Я мог бы также отметить, насколько гуманно изъясняются многие берлинские ученые о еде евреев, затем я перешел бы к другим достоинствам и преимуществам евреев — к изобретениям, которыми мы им обязаны, например к векселям, к христианству... Но нет, последнего изобретения мы не поставим им в слишком уж большую заслугу, так как мы, собственно, еще очень мало применяем его на деле — я полагаю, что оно менее оправдало расчеты самих евреев, чем изобретение векселей. По поводу евреев я мог бы привести цитату также из Тацита: по его словам, евреи поклонялись в своих храмах ослу, а если заговорить об ослах, какое обширное поле открывается для цитат! Сколько замечательного можно сказать об античных ослах,

в противоположность современным! Как разумны были первые, и — ах! — как глупы последние! Как толково рассуждает, например, Валаамова ослица.

См. Пятикнижие кн. ...

Только у меня, madame, как раз сейчас нет этой книги под рукой, и я оставляю место незаполненным. Зато в отношении тупости новейших ослов я привожу цитату.

См.

Нет, я и здесь оставляю пробел, иначе и меня тоже процитируют, а именно, injurarium.¹ Ведь новейшие ослы большие ослы.

Ослы старого времени, стоявшие на высоком уровне культуры, — vid. Gesneri. De antiqua honestate asinorum² (In comment. Götting, t. II, p. 32), — перевернулись бы в могиле, если бы услышали, как выражаются об их потомках. Когда-то слово «осел» было почетным титулом: оно соответствовало, примерно, нынешним «гофрату», «барону», «доктору философии». Иаков сравнивает с ослом своего сына Исахара, Гомер сравнивает с ним своего героя Аякса, а в наше время с ним сравнивают господина фон...! Madame, по поводу таких ослов я мог бы углубиться в дебри истории литературы, я мог бы процитировать всех великих мужей, некогда влюблявшихся, например Абелярдуса, Пикуса Мирандулануса, Борбониуса, Куртезиуса, Ангелуса Полициануса, Раймундуса Луллуса и Генрикуса Гейнеуса. По поводу любви я мог бы цитировать также всех великих людей, не куривших табаку, например Цицерона, Юстиниана, Гете, Гуго, себя — случайно все мы пятеро, так или иначе, юристы. Мабильон не мог даже выносить вида чужой трубки; в своем «Itinere germanise»³ он жалуется, говоря о немецких гостиницах: «Quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor».⁴ С другой стороны, некоторым великим людям приписывается особенная страсть к курению. Рафаил Торус сочинил гимн табаку. Madame, вы, может быть, еще не знаете, что anno 1628 Исаак Эльзевериус

¹ За оскорбление (лат.).

² См. Геснер. О древней честности ослов (лат.).

³ «Германское путешествие» (лат.).

⁴ Ему была противна вонь крепкого табака (лат.).

отпечатал его в Лейдене in quarto, ¹ а Людовикус Киншот написал к нему предисловие в стихах. Гривиус также воспел табак в особом сонете, великий Боксгорниус также любил табак. Бейль в своем «Dict. hist. et critiq.» ² сообщает, что, как рассказывали ему, великий Боксгорниус надевал во время курения широкую шляпу с дыркой на полях спереди, куда он часто засовывал трубку, чтобы она не мешала ему заниматься. Кстати, упомянув о великом Боксгорниусе, я мог бы цитировать всех великих ученых, которым приходилось струсить и обратиться в бегство. Но я укажу только на Йог. Георга Мартиуса «De fuga literatorum etc. etc. etc.» ³ Изучая историю, мы замечаем, madame, что все великие люди один раз в жизни обращались в бегство: Лот, Тарквиний, Моисей, Юпитер, г-жа де Сталь, Навуходоносор, Бениовский, Магомет, вся прусская армия, Григорий VII, рабби Ицхак Абарбанель, Руссо. Я мог бы назвать еще много имен, например тех, кто на бирже занесен на черную доску.

Вы видите, madame, у меня довольно основательности и глубины, и только систематизация еще не вполне дается мне. В качестве истого немца я должен был бы начать эту книгу с объяснения заглавия, как искони водится в священной Римской империи. Правда, Фидий не написал предисловия к своему Юпитеру, равным образом на теле Венеры Медицейской не найдено никаких цитат — я осмотрел ее со всех сторон; но древние греки были греками, наш же брат — честный немец и не способен до конца отречься от немецкой природы, а потому я, хотя и с опозданием, принужден высказаться о заглавии своей книги.

Итак, madame, я говорю:

1. Об идеях.

А. Об идеях вообще:

а) о разумных идеях,

б) о неразумных идеях,

α) об обыкновенных идеях,

β) об идеях в зеленом кожаном переплете.

Последние тоже разделяются на... но обо всем этом в свое время.

¹ В четвертую долю листа (4°) (лат.).

² «Исторический и критический словарь» (франц.).

³ «О бегстве литераторов и пр., и пр., и пр.» (лат.).

ГЛАВА XIV

Madame, имеете ли вы вообще понятие об идее? Что такое идея? «В этом сюртуке есть несколько хороших идей», — сказал мой портной, рассматривая с серьезным и одобрительным видом мой парадный сюртук, заведенный мной во дни берлинского щегольства, который теперь нужно было переделать в почтенный халат. Прачка моя жаловалась, что пастор С. вбил в голову ее дочери идеи, она поглупела от этого и ничего слушать не хочет. Кучер Паттенсен ворчит при всяком случае: «Вот так идея! Вот так идея!» Вчера, когда я спросил его, что он разумеет под словом «идея», он рассердился и сердито проворчал: «Да ну, идея — это идея! Идея — это всякая чепуха, которую воображают себе». С тем же значением употреблено это слово в качестве заглавия книги гофратом Гереном в Геттингене.

Кучер Паттенсен — человек, который и темной ночью найдет дорогу среди обширной Люнебургской степи, надворный советник Герен — человек, который тоже инстинктом мудрости отыскивает старинные пути караванов на Востоке и вот уже много лет бродит по ним так же уверенно и терпеливо, как какой-нибудь древний верблюд; на таких людей можно положиться, за такими людьми можно спокойно идти вслед, а потому я и дал настоящей книге название «Идеи».

Заглавие книги имеет, в силу изложенного, так же мало значения, как и титул¹ самого автора, он выбран автором не из ученого высокомерия и менее всего может быть объяснен тщеславием. Примите, madame, самое меланхолическое уверение в том, что я не тщеславен. Замечание это необходимо, как вы увидите после. Я не тщеславен... И если бы целый лавровый лес вырос на моей голове и целое море фимиама излилось в мое юное сердце, я бы не стал тщеславным. Мои друзья и прочие соотечественники и современники добросовестно об этом позаботились. Вы знаете, madame, что старые женщины сплевывают обыкновенно в сторону своих питомцев, когда этих последних хвалят за красоту, для того чтобы похвала не повредила прелестным малюткам. И вы знаете,

¹ Игра слов: *Titel* (нем.) означает и «заглавие» и «титул».

madame, что, когда триумфатор возвращался в Рим с Марсова поля, увенчанный славой и одетый в пурпур, на золотой колеснице, запряженной белыми конями, возвышаясь подобно богу над торжественной свитой ликторов, музыкантов, танцовщиков, жрецов, рабов, слонов, трофееносцев, консулов, сенаторов и солдат, то чернь следовала позади и распевала насмешливые песни, и вы знаете, madame, что в дорогой нашей Германии много старых баб и много черни.

Как сказано, madame, идеи, о которых здесь идет речь, столь же далеки от платоновских, сколь Афины от Геттингена, и поэтому вы не ждите от книжки больше, чем от самого автора. Право же, мне, да и друзьям моим, непонятно, каким образом автор мог возбудить когда-либо подобные надежды. Графиня Юлия, желая объяснить в чем дело, уверяет, что если вышеозначенный автор и скажет иной раз что-либо действительно остроумное и оригинальное, то это лишь притворство с его стороны, а по существу он столь же глуп, как и другие. Это неправда, я не притворяюсь, я говорю то, что срывается у меня с языка, пишу в полной невинности и простоте все, что приходит мне в голову, и я не виноват, если получается что-либо дельное. Но так уж повелось, что в писательстве я счастливее, чем в Альтонской лотерее, — а хотелось бы, чтобы было наоборот, — и вот из-под пера моего вырывается то удар в самое сердце, то умственная кварта, и на это — воля бога, ибо он, отказывающий в светлых мыслях и литературной славе благочестивейшим певцам Иеговы и назидательнейшим поэтам для того, чтобы их не захвалили прочие земные твари и чтобы они оттого не забыли о небесах, где ангелы уже готовят им жилище, — он обыкновенно тем щедрее благословляет выдающимися мыслями и славой мпрской нас, светских, грешных, еретических сочинителей, для коих небо все равно что заколочено, он делает это по своей божественной милости и состраданию, дабы несчастная душа, все же созданная им, не оказалась лишенной всего и получила хотя бы здесь, внизу, на земле, долю блаженства, в котором отказано там, наверху.

См. Гете и авторов трактатцев.

Итак, вы видите, madame, что вам можно читать мои сочинения, они свидетельствуют о милосердии и сострада-

нии божем, я пишу в слепом уповании на его всемогущество, в этом отношении я — истинно христианский писатель и словами Губитца скажу, что, начав этот период, еще не знаю, чем его закончу и что, собственно, следует мне сказать, а потому всецело полагаюсь на господа бога. Да и как бы я мог писать без такой благочестивой уверенности? В комнате у меня стоит рассыльный из типографии Ланггофа и дожидается рукописи; слово, едва успевшее родиться, отправляется еще неостывшим и влажным в печатный станок, и предмет моих сегодняшних мыслей и чувств может завтра в полдень оказаться уже макулатурой.

Легко вам, madame, напоминать мне Горациево «*nonim ptematur in annum*».¹ Правило это, как и другие ему подобные, может быть хорошо в теории, но на практике никуда не годится. Когда Гораций подал автору свой знаменитый совет — девять лет держать свои произведения в ящике стола, он должен был тогда же сообщить рецепт, как прожить девять лет без пищи. Гораций, придумывая это правило, сидел, может быть, за столом у Мецената и ел индеек с трюфелями, пудинг из фазанов с соусом из дичи, жаворонковые ребрышки с тельтовской репкой, павлиньи языки, индийские птичьи гнезда и бог знает что еще, и все это — бесплатно. А мы, несчастные, родившиеся слишком поздно, живем в другие времена, у наших меценатов совершенно иные принципы, они полагают, что поэты и кизил созревают лучше всего, если поваляются некоторое время на соломе, они полагают, что собаки не годятся для охоты за образами и мыслями, если они слишком жирно откормлены, ах! Если они и покормят иной раз несчастного пса, то он оказывается неподходящим, менее всего заслуживающим подачки, например какой-нибудь таксой, лижущей руки, или крошечной болонкой, умеющей пристроиться к благоухающим коленям хозяйки, или же терпеливым пуделем, изучившим хлебное ремесло и умеющим таскать поноски, таяцевать и играть на барабане... В то время, как я это пишу, за мной стоит мой маленький моис и лает — молчи, Ами, я не имел в виду тебя, ведь ты любишь меня и следуешь за своим хозяином в нужде и в опасности, ты умер бы на

¹ Пусть написанное пролежит у тебя девять лет (*лат.*).

его могиле с такой же преданностью, как и любая другая немецкая собака, которая, будучи изгнана на чужбину, лежит перед воротами Германии, терпит голод и визжит... Простите, madame, что я отклонился, желая дать удовлетворение моей бедной собаке, я возвращаюсь к Горациеву правилу и к неприменимости его в девятнадцатом столетии, когда поэты не могут обойтись без стипендии для своей музыки. Ma foi, ¹ madame, я не мог бы выдержать и двадцать четыре часа, не то что девять лет, желудок мой не интересуется бессмертием; обдумав все, я решил быть только наполовину бессмертным, но вполне сытым, и если Вольтер готов был уступить триста лет своей вечной посмертной славы за хорошее пищеварение, то я предлагаю вдвое больше за самую пищу. Ах, какая прекрасная, цветущая еда бывает в этом мире! Философ Панглссс прав — это лучший из миров! Но в этом лучшем из миров надо иметь деньги, деньги в кармане, а не рукописи в ящике стола. Хозяин гостиницы «Английский король», господин Марр, сам тоже писатель и знаком с Горациевым правилом, но, если бы я захотел выполнять последнее, не думаю, чтобы он девять лет стал кормить меня.

Впрочем, к чему бы мне и выполнять его? У меня так много тем для сочинений, что не приходится долго думать. Пока сердце мое полно любовью, а головы моих ближних — глупостью, у меня не будет недостатка в материале. А сердце мое всегда будет любить, пока существуют женщины; если оно охладеет к одной, то сейчас же воспыхает к другой; подобно тому как во Франции никогда не умирает король, так и в сердце моем никогда не умирает королева, а потому: *la reine est morte, vive la reine!* ² Точно так же не умрет никогда глупость моих ближних. Мудрость существует лишь одна, и она имеет определенные границы, но зато можно насчитать тысячи видов безграничной глупости. Ученый казуист и пастырь духовный Шупп говорит даже: «На свете больше дураков, чем людей».

См. Назидательные сочинения Шуппиуса, стр. 1121.

Если принять во внимание, что великий Шуппиус жил в Гамбурге, то нельзя усмотреть преувеличения в его

¹ Право, ей-богу! (*франц.*).

² Королева умерла, да здравствует королева! (*франц.*).

статистических сведениях. Я живу там же и, могу сказать, испытываю изрядное удовольствие при мысли, что все эти дураки, которых я здесь вижу, пригодны для моих произведений, все это — чистый гонорар, наличные деньги. В настоящее время я благоденствую. Господь милостив ко мне, дураки уродились в этом году особенно удачно, и я, как хороший хозяин, потребляю только немногих, а самых доходных отбираю и сохраняю впрок. Меня часто можно встретить на гулянье, веселым и радостным. Как богатый купец, который, потирая от удовольствия руки, прохаживается между ящиками, бочками и тюками в своем складе, хожу и я среди моей публики. Вы все мои! Вы все мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы любите ваши деньги, а этим много сказано. Я от души посмеялся, когда услышал недавно, что один из моих дураков выразил беспокойство по поводу того, чем я буду жить в дальнейшем, — ведь сам он столь капитальный дурак, что я мог бы жить им одним, как капиталом. Но иные дураки для меня не только наличные деньги — я уже предназначил для определенной цели те наличные деньги, которые я выработаю из них пером. Так, например, из одного плотно набитого, толстого миллионера я устрою себе плотно набитое кресло, известное у французов под названием *chaise percée*.¹ За его толстую миллионершу я куплю себе лошадь. И вот, когда я встречаю этого толстяка — верблюд скорее пройдет в царство небесное, чем этот человек сквозь игольное ушко, — когда я встречаю толстяка, прогуливающегося вперевалку, у меня делается удивительное настроение: хоть я и вовсе незнаком с ним, я невольно приветствую его, и он отвечает таким сердечным, таким располагающим к себе поклоном, что мне хочется тут же воспользоваться его добротой, и лишь обилие нарядной публики, прохаживающейся мимо, меня смущает. Супруга его далеко не урод. Правда, у нее один-единственный глаз, но тем он зеленее, нос ее — как башня, обращенная к Дамаску, грудь ее пространна, как море, и на ней развеваются всевозможные ленты, подобно флагам судов, вошедших в это море, — при одном взгляде на все это уже подступает морская болезнь, — спина ее даже красива и закруглена слоем жира, как... —

¹ Кресло с отверстием (*франц.*).

образ для сравнения помещается несколько ниже, — а над фиалково-лиловою завесой, прикрывающей этот «образ для сравнения», несомненно, трудились всю свою жизнь тысячи шелковичных червячков. Вы видите, madame, какого коня я себе заведу! Когда я на прогулке встречаюсь с этой дамой, сердце мое бьется сильнее, как будто я уже могу вспрыгнуть на коня, я помахиваю хлыстом, шевелю пальцами, щелкаю языком, делаю ногами всякого рода движения, как при верховой езде — гоп, гоп! — и милая дама смотрит на меня так задушевно, с таким искренним сочувствием, она ржет своим глазом, раздувает ноздри, кокетничает своим крупом, делает курбеты, пускается внезапно мелкою рысью, а я стою, скрестив руки, благо-склонно смотрю ей вслед и соображаю, пускать ли ее под уздцы или на трензеле, надеть ли на нее английское или польское седло и т. д. Те, кто видит, как я стою, недоумевают, что так притягивает меня к этой женщине. Сплетники пытались уже вызвать беспокойство в ее супруге и намекали, что я смотрю на его супружескую половину глазами ловеласа. Но, говорят, этот почтенный, мягкокожий господин chaise percée ответил, что считает меня невинным, даже слегка робким молодым человеком, который не без смущения взирает на него, как бы чувствуя потребность приблизиться, но не может преодолеть глупую застенчивость. Мой благородный конь полагал, что я обладаю свободным, непринужденным, рыцарским характером, а моя предупредительная вежливость означает лишь желание быть когда-либо приглашенным к их обеду.

Вы видите, madame, я могу пустить в дело всякого человека, и адрес-календарь составляет, собственно, мой домашний инвентарь. По той же причине я не могу никогда обанкротиться, ибо даже своими кредиторами я воспользовался бы как источником дохода. Кроме того, как уже сказано, я живу экономно, чертовски экономно. Например, в то время, как я пишу эти строки, я сижу в неприветливой, мрачной комнате на Дюстерштрассе, — но охотно мирюсь с этим. Я мог бы, если бы захотел, сидеть в роскошном саду, не хуже чем мои друзья и приятели, стоит мне только пустить в дело моих пьяниц-клиентов. К этим последним, madame, принадлежат неудачливые шарикмахеры, опустившиеся сводники, трактирщики,

которым самим есть нечего, всякий сброд, который знает дорогу ко мне и за деньги, даваемые на водку, рассказывает мне *chronique scandaleuse*¹ своего квартала. Madame, вы удивляетесь тому, что я раз навсегда не выброшу эту публику за дверь? Да что вы, madame? Эти люди — мои цветы. Когда-нибудь я опишу их в прекрасной книге и на полученный гонорар приобрету себе сад, а они, со своими красными, желтыми, синими, пестро-пятнистыми лицами, уже и теперь представляются мне цветами в моем саду. Какое мне дело до того, что чужие носы утверждают, будто от этих цветов разит водкой, табаком, сыром и пороком? Мой собственный нос, дымоход моей головы, по которому фантазия моя разгуливает вверх и вниз, точно трубочист, утверждает противное — он ощущает лишь аромат роз, жасмина, фиалок, гвоздики. О, с какою приятностью я буду когда-нибудь сидеть в моем саду, прислушиваясь в утренний час к пению птиц, грея на солнце кости, вдыхая свежий аромат зелени и вспоминая, при виде цветов, весь старый сброд!

Но пока что я сижу еще в своей темной комнате на темной Дюстерштрассе и довольствуюсь тем, что собираюсь повесить посреди комнаты величайшего обскуранта всей страны. «*Mais est-ce que vous verrez plus clair alors?*»² Очевидно, madame, — только не поймите меня ложно, — я повешу не его самого, а только хрустальную лампу, которую куплю себе на гонорар, заработанный на нем. Все же я полагаю, что было бы еще лучше, и по всей стране стало бы вдруг светло, если бы повесить обскурантов *in natura*.³ Но если нельзя этих людей повесить, то следует заклеить их. Я опять выражаюсь фигурально, я клеймлю *in effigie*.⁴ Правда, господин фон Вейс — он бел⁵ и непорочен, как лилия, — дал себя уверить, что я рассказывал в Берлине, будто он действительно заклеимен; этот дурак заставил власти осмотреть его и письменно засвидетельствовать, что на его спине не вытеснено никакого герба, и это отрицательное удостоверение насчет герба он счел за диплом, открывающий ему доступ в луч-

¹ Хроника скандалов (*франц.*).

² Но разве вы от этого будете лучше видеть? (*франц.*).

³ В натуре (*лат.*).

⁴ В изображении (*лат.*).

⁵ Игра слов: weiß (вейс) — белый (*нем.*).

шее общество, и удивился, когда его все-таки оттуда вышвырнули; теперь он призывает громы и молнии на мою бедную голову и хочет застрелить меня при первой же встрече из заряженного пистолета. И что вы думаете, madame, как я поступлю? Madame, на этого дурака, то есть на гонорар, который я на нем заработаю моим пером, я куплю себе добрый бочонок рюдесгеймского рейнвейна. Я упоминаю об этом, чтобы вы не подумали, будто моя веселость при встречах на улице с господином фон Вейсом объясняется злорадством. Право же, я вижу в нем только свое любимое рюдесгеймское, и всякий раз, как взгляну на него, на душе у меня становится блаженно и приятно, и я невольно напеваю: «На Рейне, на Рейне растут наши лозы», «Волшебный образ так красив», «О, белая дама!» Мое рюдесгеймское глядит в таких случаях весьма кисло, можно подумать, что оно состоит из одного яда и желчи, но я уверяю вас, madame, это настоящее вино; если даже на нем не выжжено удостоверительного герба, знаток все же сумеет оценить его, я с наслаждением раскупорю этот бочонок, а если в нем начнется чрезмерное брожение и он будет грозить опасным взрывом, то, согласно требованиям закона, придется сковать его железными обручами.

Как видите, madame, обо мне заботиться нечего. Я могу спокойно смотреть на все в этом мире. Господь благословил меня земными благами, и если он не наполнил непосредственно моего погреба вином, то все же он позволяет мне трудиться в своем винограднике; мне надо только собрать виноград, раздавить, выжать, разлить в чаны — и светлый божий дар готов; и если дураки не влетают мне в рот зажаренными, а попадают обыкновенно навстречу в сыром и невкусном виде, то я все-таки умею вертеть их на вертеле, тушить и посыпать перцем до тех пор, пока они не станут мягкими и съедобными. Вы будете довольны, madame, когда я как-нибудь устрою пиршество. Вы одобрите, madame, мою кухню. Вы признаете, что я умею угощать своих сатрапов так же пышно, как некогда великий Агасфер, владевший ста двадцатью семью провинциями от Индии до Мавритании. Я нарежу целые гекатомбы дураков. Великий филошнапс, который, подражая Юпитеру, пытается в образе быка снискать расположение Европы, пойдет на говяжье жаркое; жалкий

автор жалких трагедий, который на подмостках, изображавших жалкое персидское царство, показал нам жалкого Александра, отлично послужит для моего стола в качестве свиной головы, и, как полагается, будет кислосладко улыбаться, держа во рту ломтик лимона, а искусная кухарка изукрасит эту голову лавровыми листьями; певец коралловых губ, лебединых шей, вздрагивающих снежных холмиков, ляжечек, милочек, милашечек, поцелуйчиков и ассессорчиков, а именно Х. Клаурен, или, как называют его на Фридрихштрассе благочестивые бернардинки, «отец Клаурен, наш Клаурен», доставит мне все те блюда, которые он так преотменно, с фантазией лакомой кухарки, описывает в своих ежегодных карманных непотребниках, и, кроме того, он даст нам особое блюдо с сельдерейчиком, «при виде которого сердечко запрыгает от любви»; умная тощая придворная дама, у которой лишь голова годится в дело, доставит апалогичное блюдо, именно — спаржу; не будет недостатка и в геттингенской колбасе, в гамбургской копченой говядине, в померанских гусиных полотках, бычачьих языках, тушеных телячьих мозгах, бычачьих головах, треске и всяческих сортах желе, берлинских пышках, венских тортах, варенье...

Madame, я мысленно уже испортил себе желудок! Черт бы побрал такие пиры! Мне столько не вынести. У меня пищеварение неважное. Свиная голова действует на меня так же, как и на всю немецкую публику — после нее я должен поесть салата Вилибальда Алексиса: он прочищает. О, отвратительная свиная голова под соусом, еще более отвратительным, который не имеет ни греческого, ни персидского вкуса, а вкус чая с зеленым мылом!

Подать сюда моего толстого миллионера!

ГЛАВА XV

Madame, я замечаю легкую тень неудовольствия на вашем прекрасном челе, и вы как будто спрашиваете: справедливо ли так расправляться с дураками, насаживать их на вертел, рубить на куски, шпиговать и даже колоть многих из тех, кого я не могу употребить в

пищу и кто служит только добычей для острых клювов пересемшников, меж тем как вдовы и сироты их плачут и стонут...

Madame, c'est la guerre! ¹ Я открою вам теперь, в чем секрет: хотя я сам и не из числа разумников, но примкнул к этой партии — вот уже 5588 лет, как мы воюем с дураками. Дураки полагают, что мы обошли их, они утверждают, что на весь мир отпущена лишь определенная доза разума, и всю эту дозу захватили, бог знает каким путем, разумники, и — вопиющее дело — иной раз один-единственный человек присвоит столько разума, что сограждане его и вся страна погружены в невежество. Вот скрытая причина войны, и это поистине война на уничтожение. Разумники держатся, как им и надлежит, весьма спокойно, умеренно и разумно, они сидят, прочно окопавшись, за своими староаристотелевскими томами, располагая большим количеством пушек и снарядов, — ведь они же сами выдумали порох — и время от времени бросают начиненные доказательствами бомбы в лагерь врагов. К сожалению, последние чрезмерно многочисленны, они поднимают страшный крик и каждый день творят зверства; ведь право же, всякая глупость — зверство для разумных! Их военные хитрости часто отличаются незаурядным лукавством. Некоторые вожди этой великой армии остерегаются признать истинные причины войны. Они слышали, что некий известный фальшивец, зашедший в фальши так далеко, что под конец он даже написал фальшивые мемуары, именно Фуше, выразился как-то: «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées», ² и вот они говорят много слов, чтобы скрыть полное отсутствие мыслей: держат длинные речи, пишут толстые книги, и, если их послушать, — превозносят единый источник блаженства, а именно разум, и если посмотреть, — занимаются математикой, логикой, статистикой, усовершенствованием машин, гражданским чувством, стойловым откармливанием и т. д., и подобно тому, как обезьяна оказывается тем смешнее, чем больше она походит на человека, так дураки эти тем смешнее, чем больше они приносятся разумными. Другие вожди великой армии

¹ Сударыня, это война! (*франц.*).

² Слова созданы для того, чтобы скрывать наши мысли (*франц.*).

откровеннее, они признают, что им выпала ничтожная доля разума, что им, пожалуй, и вовсе ничего не досталось, но в то же время утверждают, что разум — вещь несладкая и в сущности ничего не стоит. Может быть, это и правда, но, к несчастью, у них самих не хватает разума даже настолько, чтобы доказать это. Поэтому они пускаются на всевозможные уловки, открывают в себе новые силы, объявляя, что эти силы столь же действительны, как разум, а в некоторых крайних случаях еще действительнее, например характер, вера, вдохновение и т. д., и утешаются этими суррогатами разума, этим цикорным разумом. Меня, бедного, они ненавидят с совершенно исключительной силой, утверждая, что я по природе принадлежу к их лагерю, что я отщепенец, перебежчик, порвавший священнейшие узы, что я даже шпион и тайно выведал их дурацкие дела с тем, чтобы отдать их потом на осмеяние своим новым союзникам, что я до того глуп, что не вижу даже, как эти последние смеются надо мной, ни в коем случае не признавая меня своим, и вот в этом дураки совершенно правы.

Это верно, те не признают меня своим и втайне часто хихикают по моему адресу. Мне это хорошо известно, хотя я и делаю вид, что не замечаю. Но сердце мое обливается кровью, и когда я остаюсь один, слезы текут у меня из глаз. Я прекрасно знаю — мое положение неестественное: все, что я делаю, кажется разумникам глупостью, а дуракам — злодейством. Они ненавидят меня, и я чувствую справедливость изречения: «Камень тяжел, песок тоже бремя, но гнев дурака тяжелее, чем то и другое». И у них есть основание ненавидеть меня. Это чистейшая правда: я разорвал священнейшие узы, по законам божеским и человеческим мне надлежало бы жить и умереть среди дураков. И — ах! — как хорошо было бы мне среди них! И теперь еще, если бы я пожелал вернуться, они бы приняли меня с распростертыми объятиями. Они смотрели бы мне в глаза, стараясь угадать, что мне приятно. Они ежедневно приглашали бы меня к обеду, а по вечерам возили бы с собою в свои чайные кружки и клубы, я мог бы играть с ними в вист, курить, вести разговоры о политике, и если бы стал при этом зевать, я услышал бы за моей спиной: «Какой прекрасный характер! Какая верующая душа!» Разрешите мне, madame, пролить слезу

умиления, — ах, и я бы пил с ними пунш до тех пор, пока не наступит истинное вдохновение; тогда они в кресле относили бы меня домой, очень беспокоясь, как бы я не простудился; этот подавал бы мне туфли, тот — шелковый халат, третий — белый ночной колпак; они сделали бы меня экстраординарным профессором или председателем какого-нибудь миссионерского общества, или оберкалькулятором, или директором римских раскопок; ведь я человек, который пригодился бы во всевозможных специальностях, ибо я прекрасно отличаю латинские склонения от спряжений и не так легко, как другие, принимаю сапог прусского почтальона за этрусскую вазу. Мой характер, моя вера, мое вдохновение в часы молитвы могли бы оказать действие весьма полезное — для меня самого, а мой выдающийся поэтический талант сослужил бы мне хорошую службу в дни рождений и бракосочетаний высоких персон, и было бы вовсе недурно, если бы я в большой национальной эпопее воспел всех тех героев, о которых достоверно известно, что из истлевших их трупов повывлезли черви, выдающие себя за их потомков.

Иные, хоть и не родились дураками и одарены были некогда разумом, ради этих выгод перешли на сторону дураков и живут среди них истинно райской жизнью; глупости, которые сначала все же стоили им известного напряжения, стали теперь их второй натурой, мало того — на них уже можно смотреть не как на лицемеров, а как на истинно верующих. Один из таких, в чьей голове еще не наступило полное солнечное затмение, очень любит меня и недавно, когда мы остались наедине, запер двери и сказал мне серьезным тоном: «О глупец, изображающий из себя мудреца и не имеющий ума даже настолько, сколько есть его у рекрута во чреве матери! Разве ты не знаешь, что великие мира сего в нашей стране возвышают только тех, кто сам унижается и признает их кровь чище своей? А ты портишь отношения с людьми благочестивыми. Разве так уж трудно блаженно закатывать глаза, прятать в рукава сюртука смиренно скрещенные руки, низко клонить голову, подобно агнцу божию, и лепетать заученные наизусть тексты из библии? Поверь мне, ни одна светлость не вознаградит тебя за твое безбожие, проповедники любви будут тебя ненавидеть, клеветать на тебя и пре-

следовать, и ты не сделаешь карьеры ни на небесах, ни на земле!»

Ах, все это правда! Но что же мне делать с моей несчастной страстью к разуму! Я люблю его, хотя он и не осчастливил меня взаимностью. Я всем жертвую для него, а он ничего не дает мне. Я не могу от него отступить. И подобно тому, как иудейский царь Соломон воспел некогда в Песне Песней христианскую церковь, притом в образе черной, пылающей страстью девы, для того, чтобы его иудеи ничего не заметили, так и я в бесчисленных песнях воспел нечто противоположное — разум, и притом в образе белой, холодной девы, которая то влечет меня, то отталкивает, то улыбается мне, то гневается и, наконец, даже поворачивается ко мне спиной. Вот эта тайна моей несчастной любви, которой я никому не открываю, дает вам, madame, меру для оценки моей глупости. Вы видите, что она совершенно необычна и величаво возносится над обычными человеческими глупостями. Прочтите моего «Ратклифа», моего «Альманзора», мое «Лирическое интермеццо». Благоразумие, благоразумие, сплошное благоразумие! — и вы ужаснетесь перед высотой моего неразумия. Вместе с Агуром, сыном Иаке, я могу сказать: «Я всех безумнее, и нет во мне разума человеческого». Высоко над землею поднимается дубовый лес, высоко над дубовым лесом парит орел, высоко над орлом плывут облака, высоко над облаками блещут звезды. Madame, не захватывает ли у вас дух? Eh bien, ¹ высоко над звездами проносятся ангелы, высоко над ангелами возносится... нет, madame, выше не поднимается уже моя глупость. Она и без того достигла достаточной высоты. Голова кружится от такого величия. Оно делает из меня гиганта в сапогах-скороходах. В обеденный час у меня такое чувство, как будто я могу съесть всех слонов Индостана и потом поковырять в зубах колокольней Страсбургского собора; под вечер я становлюсь столь сентиментальным, что готов выпить весь Млечный Путь, не помышляя о том, что маленькие неподвижные звезды его застрянут непереваренными в желудке; а ночью разыгрывается настоящий спектакль, в голове моей собирается конгресс всех современных и древних народов, появляются асси-

¹ Ну вот! (франц.).

рияне, египтяне, мидяне, персы, евреи, филистимляне, франкфуртцы, вавилоняне, карфагеняне, берлинцы, римляне, спартанцы, турки, полудурки. Madame, слишком долго было бы описывать все эти народы, прочтите лучше Геродота, Ливия, немецкие газеты, Курция, Корнелия Непота, «Друга общества». А я пока позавтракаю, сегодня утром что-то невесело пишется, и я замечаю, что господь бог оставляет меня. Боюсь даже, madame, что вы заметили это прежде меня, да, я вижу, что истинная помощь божия сегодня и вовсе отсутствовала. Madame, я начну новую главу и расскажу вам, как я после смерти Ле Грана приехал в Годесберг.

ГЛАВА XVI

Присхав в Годесберг, я вновь уселся у ног моей прекрасной подруги, рядом со мной прилег ее коричневый пес, и оба мы стали смотреть ей в глаза.

Боже милостивый! В этих глазах отражалось все величие земли, да и сверх того и все небо. Глядя в эти глаза, я мог бы умереть от блаженства, и если бы я умер в тот миг, душа моя устремилась бы прямо в эти глаза. О, я не в силах описать эти глаза! Я должен вызвать из сумасшедшего дома какого-нибудь поэта, помешавшегося от любви, чтобы он из глубины своего безумия вызвал образ, с которым я мог бы сравнить ее глаза. Между нами говоря, я и сам достаточно помешан, чтобы не нуждаться в таком помощнике. «God d—n!¹ — сказал один англичанин, — когда она так спокойно окидывает вас взглядом с ног до головы, медные пуговицы фрака расплавляются, и сердце тоже». «F—e!² — сказал француз, — у нее глаза крупнейшего калибра, если она стрельнет своим тридцатифунтовым взглядом, готово! — всякий влюбится». Случившийся тут же рыжеволосый адвокат из Майнца сказал: «Ее глаза похожи на две чашки черного кофе». Он хотел сказать нечто очень сладкое, ибо клал всегда невероятно много сахара в кофе. Скверные сравнения!

¹ God damn! — проклятие (англ.).

² Fichre — черт возьми; эх, черт! (франц.).

Я и коричневый пес недвижно лежали у ног красавицы, смотрели и прислушивались. Рядом с нею — старый, седовласый воин рыцарственного вида, с поперечными шрамами на морщинистом лбу. Они говорили о семи горах, освещаемых прекрасной вечерней зарей, и о голубом Рейне, протекавшем невдалеке, величавом и спокойном. Какое было нам дело до семи гор, до вечерней зари, до голубого Рейна, до лодок с белыми парусами, плывших по реке, до музыки, раздававшейся с одной из лодок, и до глупого студента, распевавшего так сладостно и нежно, — я и пес, мы смотрели в глаза подруги и любовались ее лицом, которое сияло бледно-розовым светом, подобно месяцу среди темных туч, в ореоле черных кос и кудрей. У нее были величавые, греческие черты лица, смело закругленные губы, овечьи скорбью, блаженством и детской резвостью, и когда она начинала говорить, слова вырывались как бы из глубины, почти со вздохом, и все же они с торопливым нетерпением следовали друг за другом, и когда она начинала говорить, речь лилась из прекрасных уст, как теплый и светлый цветочный дождь, — о, тогда вечерняя заря нисходила на мою душу, с игривым звоном проносились в ней воспоминания детства, и яснее всего, как звук колокольчика, звучал во мне голос маленькой Вероники; схватив прекрасную руку подруги, я прижал ее к моим глазам, пока не умолк в душе звон, и тут я вскочил и засмеялся, пес залаял, лоб старого генерала нахмурился еще строже, а я опять сел, схватил прекрасную руку, поцеловал ее — и заговорил и начал рассказывать о маленькой Веронике.

ГЛАВА XVII

Madame, вам угодно, чтобы я описал маленькую Веронику. Но я не хочу. Вы, madame, не обязаны читать дальше, если не желаете, а я, со своей стороны, вправе писать только то, что хочу. Теперь я опишу прекрасную руку, которую я целовал в предыдущей главе.

Однако прежде всего я должен сознаться, что не был достоин целовать эту руку. Это была прекрасная рука,

такая нежная, прозрачная, блестящая, милая, благоухающая, кроткая, очаровательная — право, я должен послать в аптеку купить на двенадцать гробшей эпитетов.

На среднем пальце надето было кольцо с жемчужиной — я никогда не видел жемчужины, игравшей роль более плачевную; на безымянном — кольцо с голубой камеей — я часами изучал по ней археологию; на указательном — брильянт — это был талисман; смотря на него, я был счастлив, так как там, где был он, был и палец со своими четырьмя товарищами, и всеми пятью пальцами она часто била меня по губам. С той поры как я подвергся таким манипуляциям, я непоколебимо и твердо уверовал в магнетизм. Но она ударила не сильно, и всякий удар я заслуживал какой-нибудь своей безбожной выходкой; ударив меня, она тут же испытывала раскаяние, брала пирожное, разламывала его пополам, одну часть давала мне, другую — коричневому псу и, улыбаясь, говорила: «Оба вы неверующие и не удостоитесь блаженства, и надо вас кормить на этом свете пирожными, так как за райским столом вам не приготовлено места». В известной-то мере она была права, я был тогда очень неверующим, читал Томаса Пэна, «*Le système de la nature*»,¹ «Вестфальский указатель» и Шлейермахера, старался отрастить себе бороду и набраться ума и хотел поступить в рационалисты. Но разум отказывался служить, когда нежная рука касалась моего лба, сладкие грезы овладевали мной, мне казалось, я слышу вновь благочестивые песенки в честь девы Марии, и я начинал думать о маленькой Веронике.

Madame, едва ли вы можете себе представить, как хороша была маленькая Вероника, когда она лежала в своем маленьком гробе. Горящие свечи, уставленные кругом, бросали отсвет на ее бледное, улыбающееся личико, на красные шелковые розы и на шуршащие золотые блестки, которыми разукрашены были ее головка и белая рубашка — благочестивая Урсула привела меня вечером в эту тихую комнату, и когда я увидел маленькую покойницу на столе, среди свечей и цветов, я подумал сначала, что это красивое восковое изображение какой-нибудь святой; но скоро

¹ «Систему природы» (франц.).

я узнал милые черты и спросил со смехом, отчего маленькая Вероника так спокойна. Урсула ответила: «Оттого что она умерла».

И когда она сказала: «оттого что она умерла»... но я не хочу рассказывать сегодня эту историю, она слишком затянулась бы, мне пришлось бы говорить сначала о хромой сороке, которая ковыляла по замковой площади и которой было триста лет, и я бы мог действительно впасть в меланхолию. Мне внезапно захотелось рассказать другую историю, веселую и вполне уместную здесь, ибо это и есть, собственно, та история, которую я хотел изложить в настоящей книге.

ГЛАВА XVIII

В груди рыцаря воцарились ночь и скорбь. Кинжалы клеветы метко поразили его, и когда он шел через площадь св. Марка, ему казалось, что сердце его порвется и истечет кровью. Ноги его подкашивались от усталости, — весь день травили благородного зверя, а это был жаркий летний день, — пот орошал чело рыцаря, и, садясь в гондолу, он глубоко вздохнул. Он сидел в черной каюте гондолы, не в силах думать, и бездумно качали его ласковые волны, неся по хорошо знакомому пути в устье Brentы, и он, высадившись у хорошо знакомого дворца, услышал: «Синьора Лаура в саду».

Она стояла, прислонившись к статуе Лаокоона, в конце террасы, у куста ярких роз, недалеко от плакучих ив, грустно склоненных над рекой. Так стояла она, улыбаясь, — кроткий образ любви, овеянный благоуханием роз. Рыцарь как будто проснулся от тяжелого сна и преобразился внезапно — он весь был нежность и страсть. «Синьора Лаура, — сказал он, — я несчастен, гоним ненавистью, нуждою и ложью...» Тут он остановился и прошептал: «Но я люблю вас...» Слезы радости выступили на его глазах, и он пылающими устами воскликнул: «Будь моею и люби меня!»

Таинственная, темная завеса спустилась над этим часом, никто из смертных не знает, что ответила синьора Лаура, и если спросить об этом ее ангела-хранителя

в небесах, он прикроет свое лицо, вздохнет и промолчит.

Долго еще стоял одинокий рыцарь у статуи Лаокоона, лицо его было все так же измучено и бледно, он бессознательно обрывал лепестки роз с розового куста, измял даже молодые бутоны — куст никогда после этого не цвел, — вдали жалобно насвистывал безумный соловей, плакучие ивы беспокойно шептались, глухо журчали прохладные волны Бренты, спустилась ночь, зажглись месяц и звезды — и одна прекрасная звезда, всех прекраснее, упала с неба.

ГЛАВА XIX

*Vous pleurez, madame?*¹

О, пусть еще долго светят миру своими лучами глаза, проливающие теперь эти прекрасные слезы, и пусть в час кончины их прикроет горячая, любящая рука. Мягкая подушка, *madame*, тоже хорошая вещь в час кончины, и да будет она у вас в тот час, и когда усталая прекрасная голова опустится на нее и черные пряди волос разовьются над побледневшим лицом, — о, пусть бог вознаградит вас тогда за слезы, пролитые за меня: ведь я сам — тот рыцарь, о котором вы плакали, я сам — тот страждущий рыцарь любви, рыцарь упавшей звезды.

Vous pleurez, madame?

О, я знаю эти слезы! К чему притворяться дольше? Вы, *madame*, сами ведь та прекрасная дама, которая уже в Годесберге так мило плакала, когда я рассказывал печальную сказку моей жизни. Как жемчуг по розам, катились прекрасные слезы по прекрасным щекам... Пес молчал, смолк вечерний благовест со стороны Кенигсвинтера, Рейн журчал все тише и тише, ночь прикрыла землю своим черным плащом, а я сидел у ваших ног, *madame*, и смотрел вверх, на звездное небо. Вначале я принимал ваши глаза также за две звезды... Но как можно сравнивать со звездами такие прекрасные глаза! Эти

¹ Вы плачете? (*франц.*).

холодные светила неба не могут плакать о несчастье человека, столь несчастного, что сам он больше плакать не может.

А у меня были еще особые причины сразу узреть эти глаза — в этих глазах жила душа маленькой Вероники.

Я подсчитал, madame, вы родились в тот самый день, когда умерла маленькая Вероника. Иоганна в Андернахе предсказала мне, что я вновь найду в Годесберге маленькую Веронику, — и я сразу узнал вас. Плохо было задумано — умереть как раз тогда, когда только что начинались наши игры. С тех пор как благочестивая Урсула сказала мне: «оттого что она умерла», — я в полном одиночестве стал бродить по большой картинной галерее, но картины нравились мне уже не так, как прежде — казалось, они внезапно потускнели, лишь одна сохранила краски и блеск, — вы знаете, madame, о какой картине я говорю.

Это султан и султанша делийские.

Помните, madame, как часто мы часами стояли перед ней, и благочестивая Урсула ухмылялась так чудно, когда люди замечали, что лица на этой картине имеют такое сходство с нашими лицами? Madame, я нахожу, что вы очень удачно изображены были на той картине, и непонятно, каким образом художник мог уловить все подробности, вплоть до платья, которое тогда было на вас надето. Говорят, он был помешан, и ему пригрелся ваш образ. Или, может быть, душа его обитала в той большой священной обезьяне, которая служила вам тогда в качестве жокея? Если так, он должен помнить еще о серебряном покрывале, которое он испортил, залив его красным вином. Я был доволен, что вы перестали его носить, — оно не особенно шло к вам, да и вообще европейский костюм больше идет женщинам, чем индийский. Правда, красивые женщины красивы во всяком наряде. Помните, madame, как один галантный брамин — он был похож на Ганесу, бога со слоновым хоботом, разъезжающего верхом на мыши, — сказал вам однажды комплимент: «Божественная Манека, спускаясь из золотого замка Индры к кающемуся королю Висвамитре, была, конечно, не прекраснее, чем вы, madame!»

Вы этого уже не помните? А ведь не прошло, пожалуй, и трех тысяч лет с тех пор как сказаны эти слова, а кра-

сивые женщины обыкновенно не так скоро забывают нежно-льстивые речи.

Мужчинам же индийское платье идет больше, чем европейское. О, мои розовые, изукрашенные лотосами делийские панталоны! Если бы вы были на мне, когда я стоял перед синьорой Лаурой и умолял ее о любви, — предыдущая глава была бы совсем иной! Но — увы! — на мне были тогда желтые, соломенного цвета панталоны, сотканые трезвым китайцем в Напкине, — погибель моя была выткана в них, — и я стал несчастным.

Нередко бывает так, что сидит в маленькой немецкой кофейне молодой человек и спокойно пьет кофе из своей чашки, а между тем в необъятном далеком Китае растет и расцветает, прядется и ткется его погибель и, несмотря на высокую китайскую стену, находит себе путь к молодому человеку, который принимает ее за пару нанковых штанов, беззаботно надевает их и становится несчастным. И в тесной груди человека, madame, может быть заключено очень много несчастья, заключено так, что бедняга сам долго не замечает этого и пребывает в хорошем расположении духа, весело пляшет, и насвистывает, и напевает — лалараллала, лалараллала, лаларал-ла-ла-ла!

ГЛАВА XX

Она была мила, и он любил ее; но он не был мил, и она не любила его.

Старая пьеса.

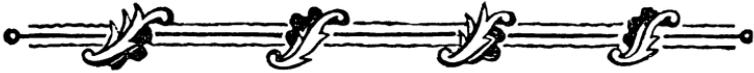
И вы из-за этой глупой истории хотели застрелиться? Madame, когда человек хочет застрелиться, он всегда найдет к тому достаточные основания. Можете быть уверены. Но известны ли ему самому эти основания — вот вопрос. До последнего мгновения разыгрываем мы сами с собой комедию. Мы маскируем даже свое несчастье, и, умирая от раны в груди, жалуемся на зубную боль.

Madame, вы, конечно, знаете средство от зубной боли? Но у меня была зубная боль в сердце. Это самая скверная боль, и в этом случае хорошо помогает свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бертольдом Шварцем.

Словно червь, точило несчастье мое сердце — бедный китаец тут неповинен, это несчастье я с собой принес на свет. Оно покоилось вместе со мною в колыбели, и мать, укачивая меня, укачивала и мое несчастье; когда она напевала мне колыбельные песни, вместе со мною засыпало и оно, и просыпалось, едва я открывал глаза. Когда я вырос, выросло и несчастье, оно сделалось, наконец, очень большим и разбило мое...

Поговорим лучше о других вещах — о брачном венце, о маскарадах, о веселье и свадебных торжествах... лалараллала, лалараллала, лаларал-ла-ла-ла.

**ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ**



ИТАЛИЯ

1828

Гафиз с Гуттенем мне милы;
Оба с рясами цветными
Воевали до могилы;
Я готов идти за ними.

Гете.

I. ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ

Благородную душу вы никогда не принимаете в расчет; и тут разбивается вся ваша мудрость (*открывает ящик письменного стола, вынимает два пистоleta, один из них кладет на стол, другой заряжает*).

Л. Роберт. «Сила обстоятельств».

ГЛАВА I

Я самый вежливый человек в мире. Я немало горжусь тем, что никогда не был груб на этом свете, где столько несносных шалопаев, которые подсаживаются к вам и повествуют о своих страданиях или даже декламируют свои стихи; с истинно христианским терпением я всегда спокойно выслушивал эту жалкую дрянь, ни одной гримасой не обнаруживая, как тоскует моя душа. Подобно кающемуся брамину, отдающему свое тело в жертву насекомым, дабы и эти создания божьи могли насытиться, я часто по целым дням имел дело с последним отребьем человеческого рода и спокойно его выслушивал, и внутренние вздохи мои слышал только он, награждающий добродетель.

Но и житейская мудрость повелевает нам быть вежливыми и не молчать угрюмо или, тем более, не возражать

раздраженно, когда какой-нибудь рыхлый коммерции советник или худой бакалейщик подсаживается к нам и начинает общеевропейский разговор словами: «Сегодня прекрасная погода». Нельзя знать, при каких обстоятельствах придется нам вновь встретиться с этим филистером, и он, пожалуй, больно отомстит за то, что мы не ответили вежливо: «Да, погода очень хорошая». Может даже случиться, любезный читатель, что ты окажешься в Касселе за табльдотом рядом с означенным филистером, притом по левую его руку, и именно перед ним будет стоять блюдо с жареными карпами, и он будет весело раздавать их; и вот, если у него есть старинный зуб против тебя, он станет передавать тарелки неизменно направо, по кругу, так что на твою долю не останется и крохотного кусочка от хвоста. Ибо — увы! — ты окажешься тринадцатым за столом, а это всегда опасно, если сидишь налево от раздающего, а тарелки передаются вправо. Не получить же вовсе карпов — большое горе, пожалуй, самое большое после потери национальной кокарды. Филистер же, причинивший тебе это горе, еще вдобавок и посмеется над тобою и предложит тебе лавровых листьев, оставшихся в коричневом соусе. Увы! — к чему человеку все лавры, если нет при них карпов? А филистер прищуривает глазки, хихикает и лепечет: «Сегодня прекрасная погода».

Ах, милый мой, случиться может и так, что ты будешь лежать на каком-нибудь кладбище рядом с этим самым филистером, услышишь в день Страшного суда звуки трубы и скажешь соседу: «Любезный друг, будьте добры, подайте мне руку, чтобы я мог подняться, я отлежал себе левую ногу, провалявшись чертовски долго!» Вот тут-то ты и увидишь вдруг хорошо тебе знакомую филистерскую улыбку и услышишь язвительный голос: «Сегодня прекрасная погода».

ГЛАВА II

«Сегодня пре-е-е-красная погода».

Если бы ты, любезный читатель, услышал тот тон, ту неподражаемую басовую фистулу, которой произнесены были эти слова, и увидел бы притом говорившего — архипрозаическое лицо казначея вдовьей кассы, хитрющие

глазки, вздернутый кверху ухарский, вынюхивающий нос, ты сразу признал бы, что этот цветок расцвел не на каком-нибудь обыкновенном песке и что звуки эти сродни языку Шарлоттенбурга, где говорят по-берлински лучше, чем в самом Берлине.

Я — самый вежливый человек в мире, охотно ем жареных карпов, верую временами и в воскресение мертвых, и я ответил: «Действительно, погода очень хорошая».

Прицепившись ко мне таким образом, сын Шпрее стал наступать еще энергичнее, и я никак не мог отделаться от его вопросов, на которые сам же он и отвечал, а в особенности от параллелей, которые он проводил между Берлином и Мюнхеном, этими новыми Афинами, которые он разделявал в пух и прах.

Я взял, однако, новые Афины под свою защиту, имея обыкновение всегда хвалить то место, где нахожусь в данное время. Ты охотно простишь мне, любезный читатель, что я проделал это за счет Берлина, если я, между нами, сознаюсь, что делаю я это большею частью только из политики: я знаю — стóит мне только начать хвалить моих берлинцев, как приходит конец моей доброй славе среди них; они пожимают плечами и шепчутся между собой: «Совсем измельчал человек, даже нас хвалит». Нет города, где бы меньше было местного патриотизма, чем в Берлине. Тысячи жалких сочинителей уже воспели Берлин в прозе и стихах, и ни один петух не прокричал о том в Берлине, и ни одной курицы не сварили им за это; и они, как прежде, так и поныне, слывят «Под липами» за жалких поэтов. С другой стороны, столь же мало обращали там внимания на какого-нибудь лжепоэта, когда он обрушивался на Берлин в своих парабазах. Но пусть бы кто осмелился написать что-либо оскорбительное по адресу Польквитца, Инсбрука, Шильды, Познапи, Кривинкеля и других столиц! Как заговорил бы там местный патриотизм! Причина заключается в том, что Берлин вовсе не город, Берлин — лишь место, где собирается множество людей, и среди них немало умных, которым все равно, где они находятся; они-то и составляют интеллигенцию Берлина. Проезжий чужестранец видит только втиснутые в линию однообразные дома, длинные, широкие улицы, проложенные по шнурку и почти всегда по усмотрению отдельного лица и не дающие никакого предста-

вления об образе мыслей массы. Только счастливцев может разгадать кое-что в области частных убеждений обывателей, созерцая длинные ряды домов, старающихся, подобно самим людям, держаться дальше друг от друга и окаменевших во взаимной неприязни. Лишь однажды, в лунную ночь, когда я, в несколько поздний час, возвращался от Лютера и Вегенера, я заметил, как это черствое состояние перешло в кроткую меланхолию, как дома, столь враждебно стоявшие друг против друга, теперь, словно добрые христиане, обменивались умиленными взглядами, и, готовые упасть, устремлялись примиренно друг к другу в объятия, так что я, несчастный, идя посередине улицы, боялся быть раздавленным. Иным эта боязнь покажется смешною, да и сам я над собой смеялся, когда на следующую утро проходил по тем же улицам, глядя на все трезвыми глазами, а дома прозаически зевали, стоя друг против друга. Действительно, требуется несколько бутылок поэзии, чтобы увидеть в Берлине что-либо кроме неодушевленных домов да берлинцев. Здесь трудно увидеть дýхов. В городе так мало древностей, и он такой новый, и все же новизна эта уже состарилась, поблекла, отжила. Дело в том, что возник он, как отмечено, не по мысли массы, а главным образом по воле отдельных личностей. Великий Фриц, конечно, еще лучший среди этих немногих; все, что он застал, было лишь прочным фундаментом; только от него город воспринял свой особый характер, и если бы по смерти его больше ничего не строилось, то остался бы исторический памятник духу этого удивительного прозаического героя, с истинно немецкой храбростью развившего в себе утонченное безвкушие и цветущую свободу мысли, всю мелочность и всю деловитость эпохи. Таким памятником представляется нам, например, Потсдам; по его пустынным улицам мы бродим, как среди посмертных творений философа из Сан-Суси, он принадлежит к его *œuvres posthumes*; ¹ хотя Потсдам и оказался лишь каменною макулатурою, хотя в нем много смешного, все же мы смотрим на него с настоящим интересом и время от времени подавляем в себе желание посмеяться, как бы боясь получить по спине удар камышовой трости старого Фрица. Но в Бер-

¹ Посмертным произведениям (*франц.*).

лине мы этого никогда не боимся; мы чувствуем, что старый Фриц и его камышовая трость уже не имеют здесь никакой силы; ведь иначе из старых, просвещенных окон здорового города Разума не высывалось бы столько болезненных обскурантских лиц, и среди старых, скептических философских домов не торчало бы столько глупых суеверных зданий. Я не хочу быть неправильно понятым и решительно заявляю, что отнюдь не имею в виду новую Вердерскую церковь, этот готический собор в обновленном стиле, лишь для иронии воздвигнутый среди современных зданий с целью аллегорического пояснения того, какую пошлостью и нелепостью было бы восстановление старых, давно отживших учреждений средневековья среди новообразований нашего времени.

Все вышесказанное относится только к внешнему виду Берлина, и если сравнить с ним в этом смысле Мюнхен, то с полным правом можно утверждать, что последний составляет полную противоположность Берлину. Ведь Мюнхен — город, созданный самим народом, и притом целым рядом поколений, дух которых до сих пор еще отражается в постройках, так что в Мюнхене, как в макбетовской стене с ведьмами, можно наблюдать ряд духов в хронологическом порядке, начиная с багрово-красного духа средневековья, появляющегося в латах из готических дверей какого-нибудь храма, и кончая просвещенно светлым духом нашего времени, протягивающим нам зеркало, в коем каждый из нас с удовольствием узнает себя. В такой последовательности заключается элемент примирения; варварство не возмущает нас более, безвкусица не оскорбляет, раз они представляются нам началом и неизбежными ступенями в одном ряду. Мы настраиваемся на серьезный лад, но не сердимся при виде варварского собора, который все еще возвышается над городом, напоминая прибор для стаскивания сапог, и дает в своих стенах приют теням и призракам средневековья. Столь же мало вызывают наше негодование и даже забавно трогают нас замки позднейшего периода, похожие на косички к парикам, неуклюжее, в немецком духе, подражание противоестественно гладким французским образцам — все эти пышные здания, полные безвкусицы, с нелепыми завитками снаружи, а внутри еще более изукрашенные кричаще-пестрыми аллегориями, золочеными арабес-

ками, лепкой и картинами, на которых изображены почившие высокие особы: кавалеры с красными, пьяно-трезвыми лицами в обрамлении париков, напоминающих нагудренные львиные гривы, дамы с тугими прическами, в стальных корсетах, стягивающих их сердца, и в необъятных фижмах, придающих им еще большую прозаическую полноту. Как сказано, зрелище это не раздражает нас, оно обостряет живое чувство современности и ее светлых сторон, и когда мы смотрим на творения нового времени, возвышающиеся рядом со старыми, то, кажется, с головы нашей сняли тяжелый парик и сердце освободилось от стальных оков. Я имею здесь в виду радостно-светлые храмы искусства и благородные дворцы, в смелом изобилии возникающие из духа великого мастера — Кленце.

ГЛАВА III

Однако называть весь этот город новыми Афинами, между нами говоря, немного смешно, и мне стоит большого труда отстаивать его в этом звании. Это я особенно почувствовал в беседе с берлинским филистером, который, хотя и разговаривал со мной уже некоторое время, был все же настолько невежлив, что отрицал в новых Афинах наличие какой бы то ни было аттической соли.

— Подобные вещи, — кричал он громко, — встречаются только в Берлине! Только там есть и остроумие и ирония. Здесь найдется хорошее белое пиво, но, право, нет иронии.

— Иронии у нас нет, — воскликнула Наннерль, стройная кельнерша, пробежавшая в эту минуту мимо нас. — Но зато все другие сорта пива имеются.

Меня очень огорчило, что Наннерль сочла иронию за особый сорт пива, быть может за лучшее штеттинское, и для того чтобы она в дальнейшем по крайней мере не делала подобных промахов, я стал поучать ее следующим образом: «Прелестная Наннерль, ирония — не пиво, а изобретение берлинцев, умнейших людей на свете, которые, рассердившись на то, что родились слишком поздно и поэтому не смогли выдумать порох, постарались сделать другое открытие, столь же важное, и притом полезное

именно для тех, кто не выдумал пороха. В прежние времена, милое дитя, когда кто-нибудь совершал глупость, — что можно было сделать? Совершившееся не могло стать несовершившимся, и люди говорили: «Этот парень болван». Это было неприятно. В Берлине, где люди самые умные и где проделывается больше всего глупостей, эта неприятность чувствовалась всего острее. Правительство пыталось принять серьезные меры против этого: лишь самые крупные глупости разрешалось печатать, более мелкие допускались только в разговорах, причем такая льгота распространялась лишь на профессоров и крупных государственных чиновников, а люди помельче могли высказывать свои глупости лишь тайком; но все эти меры ни сколько не помогли, подавляемые глупости с тем большей силой выступали наружу при исключительных обстоятельствах; они стали даже пользоваться тайным покровительством сверху, они открыто поднимались снизу на поверхность; бедствие приняло немалые размеры; но вот, наконец, изобрели средство, которое действует с обратной силой и благодаря которому всякая глупость может считаться как бы не совершенною или может даже превратиться в мудрость. Средство это совершенно простое, и заключается оно в заявлении, что глупость совершена или сказана в ироническом смысле. Так-то, милое дитя, все в этом мире движется вперед: глупость становится пронией, неудачная лесть становится сатирою, природная грубость становится искусною критикою, истинное безумие — юмором, невежество — блестящим остроумием, а ты станешь в конце концов Аспазиею новых Афин».

Я сказал бы еще больше, но хорошенькая Наннерль, которую я держал все время за кончик передника, с силой вырвалась от меня, потому что со всех сторон стали слишком уж бурно требовать: «Пива! Пива!» А берлинец показался мне воплощенной пронией, когда заметил, с каким энтузиазмом принимались высокие пенящиеся бокалы. Указывая на группу любителей пива, которые от всего сердца наслаждались хмелевым нектаром и спорили о его достоинствах, он произнес с улыбкой: «И это афиняне?»

Замечания, которые последовали за этими словами, причинили мне изрядное огорчение, так как я питаю

немалое пристрастие к нашим новым Афишам; поэтому я постарался всячески объяснить торопливому хулителю, что мы лишь недавно пришли к мысли создать из себя новые Афины, что мы лишь юные начинатели, и наши великие умы, да и вся наша образованная публика, еще не приучились показываться другим вблизи. «Все это пока в периоде возникновения, и мы еще не все в сборе. Лишь низшие специальности, — добавил я, — представлены у нас; вы, любезный друг, заметили, вероятно, что у нас нет недостатка, например, в совах, сикофаптах и Фрипах. Не хватает нам только высшего персонала, и некоторые припущены играть одновременно несколько ролей. Например, наш поэт, воспевающий нежную, в греческом духе, любовь к мальчикам, должен был усвоить и аристофановскую грубость; но он все может, он обладает всеми данными для того, чтобы быть великим поэтом, кроме, пожалуй, фантазии и остроумия, и будь у него много денег, он был бы богат. Но недостаток в количестве мы восполняем качеством. У нас только один великий скульптор, но зато это «Лев». У нас только один великий оратор, но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь по поводу добавочного акциза на солод в Аттике. Если мы до сих пор не отравили Сократа, то, право, не из-за недостатка яда. И если нет у нас еще демоса в собственном смысле, целого сословия демагогов, то мы можем предоставить к услугам вашим один прекрасный экземпляр этой породы, демагога по профессии, который один стбит целой кучи болтунов, горлодеров, трусов и прочего сброда — а вот и он сам!»

Я не могу преодолеть искушение изобразить подробнее фигуру, представшую перед нами. Я оставляю открытым вопрос, вправе ли эта фигура утверждать, будто голова ее имеет в себе что-либо человеческое и что поэтому она юридически вправе выдавать себя за человека. Я бы принял эту голову скорее за обезьянью; лишь из вежливости я согласен признать ее человеческою. Голову эту покрывала суконная шапка, фасоном схожая со шлемом Мамбрина, а жесткие черные волосы спадали длинными прядями на лоб с пробором спереди à l'enfant.¹ На эту переднюю часть головы, выдававшую себя за лицо, бо-

¹ Как у ребенка (франц.).

гиня пошлости наложила свою печать, притом с такою силою, что находившийся там пос оказался почти расплюснутым; опущенные вниз глаза, казалось, напрасно искали носа и были этим крайне опечалены; дурно пахнущая улыбка играла вокруг рта, который был чрезвычайно обольстителен и благодаря некоему поразительному сходству мог вдохновить нашего греческого лжепоэта на нежнейшие газеллы. Одежда состояла из старонемецкого кафтана, правда несколько видоизмененного сообразно с настоятельнейшими требованиями новоевропейской цивилизации, но покроем все еще напоминавшего тот, который был на Армии в Тевтобургском лесу, и первобытный фасон которого сохранен был каким-то патриотическим союзом портных с тою же таинственною преемственностью, с какою сохранялись некогда готические формы в архитектуре мистическим цехом каменщиков. Добела вымытая тряпка, являвшая глубоко знаменательный контраст с открытой старонемецкой шеей, прикрывала воротник этого удивительного сюртука; из длинных рукавов торчали длинные грязные руки, между рук помещалось скучное долговязое тело, под которым болтались две забавные короткие ноги; вся фигура представляла горестно-смешную пародию на Аполлона Бельведерского.

— И это новоафинский демагог? — спросил берлинец, насмешливо улыбаясь. — Господи ты боже, да это мой земляк! Я едва верю собственным глазам — да, это тот, который... нет, возможно ли?

— О слепые берлинцы, — сказал я не без пыла, — вы отвергаете своих отечественных гениев и побиваете камнями своих пророков! А нам всякий пригодится!

— Но на что же вам пужна эта несчастная муха?

— Он на все пригоден там, где требуются прыжки, пролазничество, чувствительность, обжорство, благочестие, много древненемецкого, мало латыни и полное незнание греческого. Он в самом деле очень хорошо прыгает через палку, составляет таблицы всевозможных прыжков и списки всевозможных различий старонемецких стихов. К тому же он является представителем патриотизма, не будучи ни в малейшей мере опасным. Ибо известно очень хорошо, что от старонемецких демагогов, в среде

которых он когда-то случайно обретался, он вовремя отстранился, когда дело их стало несколько опасным и больше уже не соответствовало христианским наклонностям его мягкого сердца. Но с той поры как опасность прошла, как мученики пострадали за свои убеждения и сами почти все отказались от них, так что пламеннейшие наши цирюльники снимали свои немецкие сюртуки, — с той поры и начался настоящий расцвет нашего осторожного спасителя отечества; он один сохранил костюм демагога и связанные с ним обороты речи; он все еще перевозит херуска Арминия и госпожу Туснельду, как будто он — их белокурый внук. Он все еще хранит свою германско-патриотическую ненависть к романскому вавилонству, к изобретению мыла, к языческо-греческой грамматике Тирша, к Квинтилию Вару, к перчаткам и ко всем людям, обладающим приличным носом; так и остался он ходячим памятником минувшего времени и, подобно последнему могикану, пребывает в качестве единственного представителя целого могучего племени, он — последний демагог. Итак, вы видите, что в новых Афинах, где еще очень ощущается недостаток в демагогах, он может нам пригодиться; в его лице мы имеем прекрасного демагога, к тому же столь ручного, что он облизывает любую плевательницу, жрет из рук орехи, каштаны, сыр, сосиски, вообще все, что дадут; а так как он единственный в своем роде, то у нас есть еще особое преимущество: впоследствии, когда он подохнет, мы набьем его чучело и в качестве последнего демагога сохраним для потомства с кожей и с волосами. Но, пожалуйста, не говорите об этом профессору Лихтенштейну в Берлине, иначе он затребует его в свой зоологический музей, что может послужить поводом к войне между Пруссией и Баварией, ибо мы ни в каком случае не отдадим его. Уже англичане нацелились на него и предлагают за него две тысячи семьсот семьдесят семь гиней, уже австрийцы хотели обменять на него жирафа, но наше правительство, говорят, заявило, что мы ни за какую цену не продадим последнего демагога, он составит когда-нибудь гордость нашего кабинета естественной истории и украшение нашего города.

Берлинец слушал, казалось, несколько рассеянно; более привлекательные предметы обратили на себя его

внимание, и он, наконец, остановил меня следующими словами:

— Покорнейше прошу позволения прервать вас. Скажите, что это за собака там бежит?

— Это другая собака.

— Ах, нет, вы меня не поняли, я говорю про ту большую мохнатую белую собаку без хвоста.

— Дорогой мой, это собака нового Алкивиада.

— Но, — заметил берлинец, — скажите мне, где же сам новый Алкивиад?

— Признаться откровенно, — отвечал я, — вакансия эта еще не занята, пока у нас есть только собака.

ГЛАВА IV

Место, где происходил этот разговор, называется Богенгаузен, или Нейбурггаузен, или вилла Гомпеш, или сад Монжелá, или Малый замок, да и незачем называть его по имени, когда собираешься съездить туда из Мюнхена; кучер поймет вас по характерному подмигиванию человека, одержимого жаждою, по особым кивкам головы, говорящим о предвкушаемом блаженстве, и по другим подобным отличительным гримасам. Тысяча выражений у араба для его меча, у француза для любви, у англичанина для виселицы, у немца для выпивки, а у нового афинянина даже и для места, где он пьет. Пиво в названном месте действительно очень хорошее, оно не лучше даже и в Пританее, *vulgo*¹ именуемом Боккеллер, оно великолепно в особенности, если пьешь его на ступенчатой террасе, с которой открывается вид на Тирольские Альпы. Я часто сиживал там прошлой зимой и любовался покрытыми снегом горами, которые блестели в лучах солнца и казались вылитыми из чистого серебра.

В то время и в душе моей была зима, мысли и чувства как будто занесло снегом, сердце увяло и очерствело, а к этому присоединились еще несносная политика, скорбь по милой умершей малютке, старое раздражение и на-

¹ В просторечии (*лат.*).

сморг. Кроме того, я пил много пива, так как меня уверяли, что оно очищает кровь. Но самые лучшие сорта аттического пива не шли мне на пользу, ибо в Англии я привык уже к портеру.

Наступил, наконец, день, когда все совершенно изменилось. Солнце выглянуло на небе и напоило землю, дряхлое дитя, своим лучистым молоком; горы трепетали от восторга и в избылии лили свои снежные слезы; трещали и ломались ледяные покровы озер, земля раскрыла свои синие глаза, из груди ее пробилась ласковые цветы и звенящие роци — зеленые соловьиные дворцы, вся природа улыбалась, и эта улыбка называлась весной. Тут и во мне началась новая весна; в сердце зацвели новые цветы, свободные чувства пробудились, как розы, с ними и тайное томление — как юная фиалка; среди всего этого, правда, было немало и негодной крапивы. Надежда убрала могилы моих желаний свежелою зеленью, вернулись и поэтические мелодии, подобно перелетным птицам, прозимовавшим на теплом юге и вновь отыскавшим свое покинутое гнездо на севере, и покинутое северное сердце зазвучало и зацвело опять, как прежде, — не знаю только, как это произошло. Темнокудрое ли или белокурое, солнце пробудило в моем сердце новую весну и поцелуем возвратило к жизни все дремавшие в этом сердце цветы и улыбкою вновь приманило туда соловьев? Родственная ли мне природа нашла вдруг отзвук в моей груди и радостно отразила в пей весенний свой блеск? Не знаю, но думаю, что эти новые чары посетили мое сердце на террасе в Богенгаузене, в виду Тирольских Альп. Когда я сидел там, погруженный в свои мысли, мне часто казалось, словно я вижу дивно прекрасный лик юноши, притаившегося за горами, и мне хотелось иметь крылья, чтобы полететь в страну, где он находится, — в Италию. Часто чувствовал я также, как меня обвеивает благоухание лимонов и апельсинов, несущееся из-за гор, лаская, и маня, и призывая меня в Италию. Однажды даже, золотой сумеречной порой, я увидел на вершине одной из гор совершенно ясно во весь рост его, молодого бога весны; цветы и лавры венчали радостное чело, и своими смеющимися глазами и своими цветущими устами он звал меня: «Я люблю тебя, приди ко мне в Италию!»

ГЛАВА V

Неудивительно поэтому, что в моем взгляде отражалось томление, когда я, в отчаянии от бесконечного филистерского разговора, смотрел на прекрасные тирольские горы и глубоко вздыхал. Но мой берлинский филистер принял и этот взгляд и эти вздохи за новый повод к разговору и стал тоже вздыхать: «Ах, ах, и я хотел бы быть сейчас в Константинополе. Ах! Увидеть Константинополь было всегда единственным желанием моей жизни, а теперь русские, наверно, вошли уже — ах! — в Константинополь! Бывали ль вы в Петербурге?» Я ответил отрицательно и попросил рассказать о нем. Но оказалось, что не сам он, а его зять, советник апелляционного суда, был там прошлым летом, и это, по его словам, совсем особенный город. «Бывали ль вы в Копенгагене?» После того как я и на этот вопрос ответил отрицательно и попросил описать город, он хитро улыбнулся, покачал с весьма довольным видом головкой и стал чествовать меня, что я не могу составить себе никакого понятия о Копенгагене, не побывав там. «Этого в ближайшее время не случится, — возразил я, — я хочу предпринять теперь другое путешествие, которое задумал уже весною: я еду в Италию».

Услыхав эти слова, собеседник мой вдруг вскочил со стула, три раза повернулся на одной ноге и запел: «Тирили! Тирили! Тирили!»

Это было для меня последним толчком. Завтра еду — решил я тут же. Не стану больше медлить, мне хочется как можно скорее увидеть страну, которая способна привести даже самого сухого филистера в такой экстаз, что он при одном упоминании о ней поет перепелом. Пока я укладывал дома свой чемодан, в ушах моих непрерывно звучало это «тирили», и брат мой, Максимилиан Гейне, сопровождавший меня на другой день до Тироля, не мог понять, почему я всю дорогу не проронил ни одного разумного слова и непрестанно тириликал.

ГЛАВА VI

Тирили! Тирили! Я живу! Я чувствую сладостную боль бытия, я чувствую все восторги и муки мира, я стражду ради спасения всего рода человеческого, я искупаю его грехи, но я и вкушаю от них.

И не только с людьми, но и с растениями я чувствую заодно; тысячами зеленых языков рассказывают они мне прелестнейшие истории; они знают, что я чужд человеческой гордости и говорю со скромнейшими полевыми цветами так же охотно, как с высочайшими елями! Ах, я ведь знаю, что бывает с такими елями! Из глубины долины вознеслись они к самым небесам, поднялись выше самых дерзких утесов. Но сколько длится это великолепие? Самое большее несколько жалких столетий, а потом они валяются от старческой дряхлости и сгнивают на земле. А по ночам появляются из расселин утесов злобные совы и еще издеваются над ними: «Вот, вы, могучие ели, хотели сравняться с горами и теперь валяетесь, сломанные, на земле, а горы все еще стоят непоколебимо».

Орел, сидящий на своей одинокой любимой скале, должен испытывать чувство сострадания, слушая эти насмешки. Он начинает думать о своей собственной судьбе. И он не знает, как низко он будет некогда лежать. Но звезды мерцают так успокоительно, лесные воды шумят так умиротворяюще, и его собственная душа так гордо возносится над всеми малодушными мыслями, что он скоро забывает о них. А как только взойдет солнце, он опять чувствует себя как прежде, и взлетает к этому солнцу, и, достигнув достаточной высоты, поет ему о своих радостях и муках. Его собратья — животные, в особенности же люди, полагают, что орел не может петь, но не знают того, что он поет лишь тогда, когда покидает их пределы, и что он, в гордости своей, хочет, чтобы его слышало одно только солнце. И он прав: кому-нибудь из его пернатых сородичей там, внизу, может взбрести в голову прорецензировать его пение. Я по опыту знаю, какова подобная критика: курица становится на одну ногу и кудахчет, что певец лишен чувства; индюк клохчет, что певцу недостает истинной серьезности; голубь воркует о том, что он не знает настоящей любви; гусь гогочет, что у него нет научной подготовки; каплун лопочет, что он безнравствен; снигирь свистит, что он,

к сожалению, не религиозен; воробей чирикает, что он недостаточно плодовит; удоны, сороки, филины — все это каркает, крикает, кричит... Только соловей не вступает в хор критиков, ему нет дела ни до кого в мире. Пурпурная роза — о ней только мысли его, о ней его единственная песнь; полный страсти, порхает он вокруг пурпурной розы и, полный вдохновения, стремится к возлюбленным шипам ее, и обливается кровью, и поет.

ГЛАВА VII

Есть в немецком отечестве один орел, чья солнечная песнь звучит с такою силою, что ее слышно и здесь, внизу, и даже соловьи прислушиваются к ней, забывая о своей мелодической скорби. Это ты, Карл Иммерман, и о тебе я часто думал в стране, которую ты так прекрасно воспел! Как мог бы я, проезжая Тироль, не вспомнить о «Трагедии»?

Правда, я видел все в другом освещении; но все же я дивлюсь поэту, который из глубины своего чувства воссоздает с такой близостью к действительности то, чего он никогда сам не видел. Более всего меня позабавило, что «Тирольская трагедия» запрещена в Тироле. Я вспомнил слова, которые писал мне друг мой Мозер, сообщая о том, что запрещена вторая часть «Путевых картин»: «Правительству не было надобности запрещать книгу, ее и так стали бы читать».

В Инсбруке, в гостинице «Золотой орел», где жил Андреас Гофер и где в каждом углу лепятся его изображения и воспоминания о нем, я спросил хозяина, господина Нидеркирхнера, не может ли он рассказать мне подробнее о хозяине трактира «На песке». Старик стал изливаться в красноречии и поведал мне, хитро подмигивая, что теперь вся эта история напечатана, но на книгу наложен тайный запрет, и, отведя меня в темную каморку, где он хранит свои реликвии из времен тирольской войны, он снял грязную синюю обертку с истрепанной зеленой книжки, в которой я, к изумлению своему, признал иммермановскую «Тирольскую трагедию». Я сообщил ему, не без краски гордости в лице, что человек, написав-

ший книгу, мой друг. Господин Нидеркирхнер пожелал узнать о нем как можно больше, и я сказал ему, что это человек заслуженный, крепкого телосложения, весьма честный и весьма искусный по части писания, так что немного найдется ему равных. Только господин Нидеркирхнер никак не мог поверить, что он пруссак, и воскликнул, соболезнующе улыбаясь: «Ах, да что вы!» Никакими словами нельзя было его убедить, что Иммерман не тиролец и не участвовал в тирольской войне. «Откуда мог он иначе все это узнать?»

Удивительны причуды народа! Он требует своей истории в изложении поэта, а не историка. Он требует не точного отчета о голых фактах, а растворения их в той изначальной поэзии, из которой они возникли. Это знают поэты, и не без тайного злорадства они по своему произволу перерабатывают народные предания, едва ли не с тем, чтобы посмеяться над сухой спесью историков и пергаментных государственных архивариусов. Немало позабавило меня, когда в лавках на последней ярмарке я увидел историю Велизария в ярко раскрашенных картинках, притом не по Прокопию, а в точности по трагедии Шенка. «Так искажается история, — воскликнул мой ученый друг, сопровождавший меня, — ведь там нет ничего о мести оскорбленной супруги, о захваченном в плен сыне, о любящей дочери и о прочих сердечных измышлениях пынешнего времени!» Но разве же это недостаток, в самом деле? И неужели надо тотчас привлекать поэтов к суду за такие подлоги? Нет, ибо я отвергаю обвинительный акт. История не фальсифицируется поэтами. Они передают смысл ее совершенно правдиво, хотя бы и прибегая к образам и событиям, вымышленным ими самими. Существуют народы, история которых изложена исключительно в такой поэтической форме, например индусы. И тем не менее такие поэмы, как «Махабхарата», передают смысл индийской истории гораздо правильнее, чем все составители компендиумов, со всеми их хронологическими датами. Равным образом я мог бы утверждать, что романы Вальтер Скотта передают дух английской истории гораздо вернее, чем Юм; по крайней мере Сарториус вполне прав, когда он, в своих дополнениях к Шпиттлеру, относит эти романы к числу источников по истории Англии.

С поэтами происходит то же, что со спящими, которые во сне как бы маскируют внутреннее чувство, возникшее в их душе под влиянием действительных внешних причин, и подменяют в сновидениях эти причины другими, также внешними, но равносильными в том смысле, что они вызывают точно такое же чувство. Так и в иммермановской «Трагедии» многие внешние обстоятельства вымышлены в достаточной степени произвольно, но сам герой, являющийся ее эмоциональным центром, создан грезой поэта в соответствии с истиной, и если этот образ, плод мечты, сам представлен мечтателем, то и это не противоречит действительности. Барон Гормайр, компетентнейший судья в таком вопросе, недавно, когда я имел удовольствие с ним говорить, обратил мое внимание на это обстоятельство. Мистический элемент чувства, суеверная религиозность, эпический характер героя схвачены Иммерманом вполне правильно. Он воссоздал совершенно верно образ того верного голубя, который со сверкающим мечом в клюве, как сама воинствующая любовь, носился с такой героической отвагой над горами Тироля, пока пули Мантуи не пронизали его верное сердце.

Но что более всего служит к чести поэта, так это столь же правдивое изображение противника, из которого он не сделал некоего яростного Гесслера, чтобы еще более превознести своего Гофера; как этот последний подобен голубю с мечом, так первый — орлу с оливковой ветвью.

ГЛАВА VIII

В гостинице господина Нидеркирхнера в Инсбруке висят в столовой рядом друг с другом и в добром согласии портреты Андреаса Гофера, Наполеона Бонапарта и Людовика Баварского.

Сам город Инсбрук имеет вид нежилой и слабоумный. Быть может, он несколько умнее и уютнее зимою, когда высокие горы, которыми он окружен, покрыты снегом, когда грохочут лавины и повсюду сверкает и трещит лед.

Вершины этих гор я увидел закутанными в облака, словно в серые тюрбаны. Видна и Мартинова стена, место действия очаровательного предания об императоре.

Вообще, память о рыцарственном Максе до сих пор не отцвела и не отзвучала в Тироле.

В придворной церкви стоят столь часто упоминаемые статуи государей и государынь из австрийского дома и их предков, и среди них имеются и такие, которые, конечно, и по сей день не поймут, за что они удостоились такой чести. Они стоят во весь свой могучий рост, отлитые из чугуна, вокруг гробницы Максимилиана. Но так как церковь маленькая и своды низкие, кажется, что находишься в ярмарочном балагане с черными восковыми фигурами. На пьедесталах большинства из них можно прочесть имена высоких особ, представленных статуями. Когда я рассматривал их, в церковь вошли англичане: тощий господин с ошеломленным лицом, с заложенными в проймы белого жилета большими пальцами рук и с переплетенным в кожу «Guide des voyageurs»¹ в зубах; за ним — долговязая подруга его жизни, уже немолодая, слегка поблекшая, но все еще довольно красивая дама; за ними — красная портерная физиономия, с белыми, как пудра, бакенбардами, напыщенно выступавшая в столь же красном сюртуке, а его негнущиеся руки нагружены были перчатками миледи, ее альпийскими цветами и мопсом.

Это трио направилось прямо к алтарю, где сын Альбиона стал объяснять своей супруге статуи по своему «Guide des voyageurs», в котором со всей точностью говорилось: «Первая статуя — король Хлодвиг Французский, вторая — король Артур Английский, третья — Рудольф Габсбургский» и т. д. Но вследствие того, что бедный англичанин начал обход с конца, а не с начала, как предполагал «Guide des voyageurs», то произошла забавнейшая путаница, которая оказывалась еще комичнее, когда он останавливался перед какой-нибудь женской статуей, изображавшей, по его мнению, мужчину, и наоборот, так что он не мог понять, почему Рудольф Габсбургский представлен в женском одеянии, а королева Мария — в железных штанах и с длинной бородой. Я, готовый всегда прийти на помощь своими познаниями, заметил мимоходом, что этого требовала, вероятно, тогдашняя мода, а может быть, таково было особое желание высоких особ — быть отлитыми в таком именно виде и ни в каком

¹ «Путеводителем» (франц.).

случае не иначе. Так, и нынешнему императору может захотеться, чтобы его отлили в фижмах или даже в пеленках — кто бы мог на это что-нибудь возразить?

Мопс критически залаял, лакей вытаращил глаза, его господин высморкался, а миледи произнесла: «A fine exhibition, very fine indeed!»¹

ГЛАВА IX

Бриксен — второй большой город в Тироле, куда я завернул. Он находится в долине, и когда я подъехал, его застилала туман и вечерние тени. Сумеречная тишина, меланхолический перезвон колоколов; овцы сменяли к стойлам, люди — к церквям; всюду за сердце хватающий запах безобразных икон и сухого сена.

«В Бриксене иезуиты», — прочел я незадолго до того в «Гесперусе». Я озирался на всех улицах, ища их, но не увидел никого похожего на иезуита, разве одного толстого мужчину в треуголке духовного образца и в черном сюртуке поповского покроя, старом и поношенном, составлявшем разительный контраст с блистательно новыми черными панталонами.

«Он не может быть иезуитом», — подумал я, так как всегда представлял себе иезуитов худощавыми. Да и существуют ли еще иезуиты? Иногда мне кажется, что существование иезуитов — лишь химера, что только страх перед ними создает в нашем воображении эти призраки, а самая опасность давно миновала, и все усердные противники иезуитов напоминают мне людей, которые все еще ходят с раскрытыми дождевыми зонтиками после того, как дождь давно уже прошел. Мало того, иногда мне кажется, что дьявол, дворянство² и иезуиты существуют лишь постольку, поскольку мы верим в них. Относительно дьявола мы можем утверждать это безусловно, так как до сих пор его видели только верующие. Также и относительно дворянства мы придем через некоторое время к заключению, что *bonne société*² перестанет

¹ «Прекрасная, превосходная выставка!» (англ.).

² Хорошее общество (франц.).

быть *bonne société*, едва только добрый буржуа перестанет быть столь добр, чтобы признавать *bonne société*. Но иезуиты? Они по крайней мере уже не носят старых панталон. Старые иезуиты лежат в могилах со своими старыми панталонами, вожделениями, мировыми планами, кознями, тонкостями, оговорками и ядами, и тот, кто на наших глазах крадется по земле в блистательных новых панталонах, — не столько дух их, сколько призрак, глупый, жалкий призрак, изо дня в день свидетельствующий на словах и на деле о том, как мало он страшен; право, это напоминает нам историю одного призрака, являвшегося в Тюрингенском лесу; этот призрак однажды избавил от страха тех, кто испытывал перед ним страх, сняв на виду у всех свой череп с плеч и показав каждому, что он внутри полый и пустой.

Я не могу не упомянуть здесь, что нашел случай подробнее рассмотреть толстого мужчину в блистательных новых панталонах и убедиться, что он вовсе не иезуит, а самая обыкновенная божья тварь. А именно — я встретил его в столовой своей гостиницы, где он ужинал в обществе худощавого, долговязого человека, именовавшегося превосходительством и столь похожего на старого холостяка — деревенского дворянина из шекспировской пьесы, — что, казалось, природа совершила плагиат. Чтобы чем-то еще приправить свою трапезу, оба осаждали служанку любезностями, которые, казалось, были весьма противны этой прехорошенькой девушке, и она насильно вырывалась от них, когда один начинал похлопывать ее сзади, а другой пытался даже обнять. При этом они отпускали грубейшие сальности, которые, как они знали, девушка вынуждена была выслушивать: она оставалась в комнате, чтобы прислуживать гостям и чтобы накрыть стол для меня. Но когда непристойности стали наконец нестерпимыми, молодая девушка вдруг оставила все, бросилась к двери и вернулась в комнату только через несколько минут с маленьким ребенком на руках; она не выпускала его из рук во все время работы в столовой, хотя это и очень затрудняло ее. Оба собутыльника, духовное лицо и дворянин, не отваживались уже ни на одну оскорбительную выходку против девушки, которая прислуживала им теперь без всякого недружелюбия, но с какою-то особою серьезностью; их разговор принял другой оборот,

оба пустились в обычную болтовню о большом заговоре против трона и алтаря, пришли к соглашению о необходимости строгих мер и много раз пожимали друг другу руки в знак священного союза.

ГЛАВА X

Для истории Тироля труды Иосифа фон Гормайра незаменимы; для новейшей же истории сам он является лучшим, иногда единственным источником. Он для Тироля то же, что Иоганнес фон Мюллер для Швейцарии; параллель между этими двумя историками напрашивается сама собою. Они как бы соседи по комнатам; оба с юности своей одинаково воодушевлены родными Альпами, оба — усердные, пытливые, оба — с историческим складом ума и уклоном чувства; Иоганнес фон Мюллер настроен более эпически и погружен духом в историю минувшего; Иосиф фон Гормайр чувствует более страстно, более увлечен современностью, бескорыстно рискует жизнью ради того, что ему дорого.

«Война тирольских крестьян в 1809 году» Бартольди — книга, написанная живо и хорошо, и если и есть в ней недостатки, то они были неизбежны, потому что автор, как свойственно душам благородным, явно отдавал предпочтении гонимой партии и потому, что пороховой дым еще окутывал события, которые он описывал.

Многие замечательные происшествия того времени вовсе не записаны и живут лишь в памяти народа, который теперь неохотно говорит о них, так как при этом припоминаются многие несбывшиеся надежды. Ведь бедные тирольцы приобрели теперь разнообразный опыт, и если сейчас спросить их, добились ли они, в награду за свою верность, всего того, что им было обещано в тяжелую пору, они добродушно пожимают плечами и наивно говорят: «Может быть, все это было обещано не совсем всерьез, забот и дум у императора хватает, и кое-что ему трудно вспомнить».

Утешьтесь, бедняги! Вы не единственные, кому было кое-что обещано. Ведь часто же случается на больших галерах, что во время сильной бури, когда корабль нахо-

дится в опасности, обращаются к помощи черных невольников, скученных внизу, в темном трюме. В таких случаях разбивают их железные цепи и обещают свято и непреложно, что им будет дарована свобода, если они своими усилиями спасут корабль. Глупые чернокожие, ликуя, взбираются наверх, на свет дневной, — ура! — спешат к насосам, качают изо всех сил, помогают, где только можно, лазают, прыгают, рубят мачты, наматывают канаты, короче говоря, — работают до тех пор, пока не минует опасность. Затем, само собой разумеется, их отводят обратно вниз, в трюм, опять приковывают наилучшим образом, и в темной юдоли своей они делают демагогические заключения об обещаниях торговцев душами, которые, избегнув опасности, заботятся лишь о том, чтобы наменить побольше новых душ.

O navis, referent in mare te novi
Fluctus? etc. ¹

Мой старый учитель, объясняя эту оду Горация, где римское государство сравнивается с кораблем, постоянно сопровождал свои комментарии различными политическими соображениями, которые должен был прервать вскоре после того как произошло сражение под Лейпцигом и весь класс разбежался.

Мой старый учитель знал все заранее. Когда пришло первое известие об этой битве, он покачал седой головой. Теперь я понимаю, что это значило. Вскоре были получены более подробные сообщения, и тайком показывались рисунки, где пестро и назидательно изображено было, как высочайшие полководцы преклоняли колена на поле сражения и благодарили бога.

«Да, им следовало поблагодарить бога, — говорил мой учитель, улыбаясь, как он обычно улыбался, комментируя Саллюстия, — император Наполеон так часто колотил их, что в конце концов и они могли от него этому научиться».

Затем появились союзники и с ними скверные освободительные стихи, Арминий и Туснельда, «ура», «Женский союз» и отечественные желуди, и вечное хвастовство лейпцигской битвой, и так без конца.

¹ О корабль, унесут в море опять тебя волны? и т. д. (лат.).

«С ними происходит, — заметил мой учитель, — то же, что с фиванцами, когда они разбили, наконец, при Левктрах непобедимых спартанцев и начали беспрестанно похваляться своею победою, так что Антисфен сказал про них: «Они поступают как дети, которые не могут прийти в себя от радости, ибвив своего школьного учителя! Милые дети, было бы лучше, если бы поколотили нас самих».

Вскоре после того старик умер. На его могиле растет прусская трава, и пасутся там благородные кони наших подновленных рыцарей.

ГЛАВА XI

Тиролец красив, весел, честен, храбр и непостижимо ограничен. Это здоровая человеческая раса, — должно быть потому, что они слишком глупы, чтобы болеть. Я бы назвал их благородной расой, так как они очень разборчивы в пище и чистоплотны в быту; но они совершенно лишены чувства собственного достоинства. Тиролец отличается особого рода юмористической, смешливой угодливостью, которая носит почти ироническую окраску, но в основе глубоко искренна. Тиролецкие женщины здороваются с тобою так предупредительно и приветливо, мужчины так крепко жмут тебе руку, и жесты их полны такой выразительной сердечности, что можно бы подумать, они смотрят на тебя как на близкого родственника или по крайней мере как на равного; но это далеко не так — они никогда не упускают из виду, что они только простые люди, ты же — важный господин, который, конечно, доволен, когда простые люди без застенчивости вступают с ним в общение. И в этом они совершенно правильно руководствуются природным инстинктом; самые закоренелые аристократы рады случаю снизойти, ибо именно тогда они и чувствуют, как высоко стоят. На родине тиролец проявляют эту угодливость безвозмездно, на чужбине же они стараются на ней что-нибудь заработать. Они торгуют своею личностью, своею национальностью. Эти пестро одетые продавцы одеял, эти бравые тиролецкие парии, странствующие по свету

в своих национальных костюмах, охотно позволяют подшутить над собой, но ты при этом должен что-нибудь у них купить. Известные сестры Райнер, побывавшие в Англии, понимали это еще лучше; кроме того, у них был еще и хороший советник, хорошо знавший дух английской знати. Отсюда и хороший прием в центре европейской аристократии, *in the west-end of the town*.¹ Когда прошлым летом в блестящих концертных залах лондонского фешенебельного общества я увидел, как на эстраду входили тирольские певцы, одетые в родные национальные костюмы, и услышал те песни, которые в Тирольских Альпах так наивно и скромно поются и находят столь нежные отзвуки даже в наших северонемецких сердцах, вся душа моя возмутилась; снисходительные улыбки аристократических губ жалили меня, как змеи; мне казалось, что целомудрие немецкой речи оскорблено самым грубым образом и что самые сладостные таинства немецкого чувства подверглись профанации перед чуждой чернью. Я не мог вместе с другими рукоплескать такому бесстыдному торгу самым сокровенным; один швейцарец, покинувший зал под влиянием такого же чувства, заметил совершенно справедливо: «Мы, швейцарцы, тоже отдаем многое за деньги — наш лучший сыр и нашу лучшую кровь, но мы с трудом переносим звук альпийского рожка на чужбине, а тем менее способны сами трубить в него за деньги».

ГЛАВА XII

Тироль очень красив, но и самые красивые виды не могут восхищать нас при хмурой погоде и таком же расположении духа. У меня расположение духа всегда следует за погодой, а так как тогда шел дождь, то и у меня на душе было ненастье. Только по временам я решался высунуть голову из экипажа и видел тогда высокие, до небес, горы; они строго взирали на меня и кивали своими исполинскими головами и длинными облачными бородами, желая мне доброго пути. То тут, то там примечал я синевшую вдали горку, которая, казалось, стано-

¹ В западной части города (англ.).

вилась на дыпочки и с любопытством заглядывала через плечи других гор, вероятно стараясь увидеть меня. При этом всюду громыхали лесные ручьи, свергаясь, как безумные, с высоты и стекаясь вниз, в долинах, в темные водовороты. Люди устроились в своих милых чистеньких домиках, рассеянных по отрогам, на самых крутых склонах, вплоть до верхушек гор, — в милых чистеньких домиках, обыкновенно украшенных длинной, вроде балкона, галереей, которая в свою очередь украшена бельем, образками святых, цветочными горшками и девичьими личиками. Домики эти окрашены очень мило, большей частью в белое и зеленое, как будто одеты в народный тирольский костюм — зеленые помочи поверх белой рубашки. При взгляде на такой домик, одиноко стоявший под дождем, сердце мое порывалось выпрыгнуть к этим людям, которые, конечно, сидят там внутри, совершенно сухие и довольные. Там, внутри, думалось мне, живется, наверное, хорошо и уютно, и старая бабушка рассказывает самые таинственные истории. Но экипаж неумолимо катился дальше, и я часто оглядывался назад — посмотреть на голубоватые столбы дыма над маленькими трубами домов, а дождь лил все сильнее как снаружи, так и в моей душе, и капли его чуть не выступали у меня на глазах.

Сердце мое часто вздымалось в груди и, несмотря на дурную погоду, взбиралось вверх, к людям, которые обитают на самой вершине, которые едва ли хоть раз в жизни спускались с гор и мало знают о том, что происходит здесь, внизу. От этого они не становятся ни менее благочестивы, ни менее счастливы. О политике они ничего не знают, кроме того, что император носит белый мундир и красные штаны, — так рассказывал им старый дядюшка, который сам слышал это в Инсбруке от черного Зепперля, побывавшего в Вене. Когда же к ним взобрались патриоты и красноречиво стали внушать им, что теперь у них будет государь в синем мундире и белых штанах, они схватились за ружья, перецеловали жен и детей, спустились с гор и пошли на смерть за белый мундир и любимые старые красные штаны.

В сущности ведь все равно, за что умереть, только бы умереть за что-нибудь дорогое, и такая кончина, испол-

непная тепла и веры, лучше, чем холодная жизнь без веры. Уже одни песни о такой кончине, звучные рифмы и светлые слова согревают наше сердце, когда его начинают омрачать сырой туман и назойливые заботы.

Много таких песен прозвучало в моем сердце, когда я переваливал через тирольские горы. Приветливые еловые леса оживили своим шумом в памяти моей много забытых слов любви. Особенно в те минуты, когда большие голубые горные озера с таким непостижимым томлением смотрели мне в глаза, я вспоминал опять о тех двух детях, что так любили друг друга и умерли вместе. Это очень старая история, никто уж теперь не верит в нее, да и сам я знаю о ней по нескольким стихам:

Было двое детей королевских,
Но сойтись не могли никогда,
Хоть так сильно друг друга любили:
Глубока была слишком вода.

Эти слова сами собою зазвучали во мне опять, когда у одного из голубых озер я увидел на том берегу маленького мальчика, а на этом — маленькую девочку, — оба были в причудливых пестрых национальных костюмах, в зеленых, с лентами, остроконечных шапочках, и раскланивались друг с другом через озеро.

Но сойтись не могли никогда...
Глубока была слишком вода.

ГЛАВА XIII

В Южном Тироле погода прояснилась; почувствовалась близость итальянского солнца, горы стали теплее и блестящее, я увидел виноградники, лепившиеся по склонам, и мог все чаще высовываться из экипажа. Но когда я высовывался, то со мной вместе высовывалось сердце, и с сердцем — вся любовь его, его печаль и его глупость. Часто случалось, что бедное сердце накалялось на шипы, заглядываясь на розовые кусты, цветущие вдоль дороги, а розы Тироля далеко не безобразны. Проезжая через Штейнах и оглядывая рынок, где у Иммермана действует хозяин трактира «На песке» Гофер со своими товарищами,

я нашел, что рынок этот чересчур мал для скопища повстанцев, но достаточно велик, чтобы там влюбиться. Тут всего два-три белых домика; из маленького окошка выглядывала маленькая хозяйка «На песке», целилась и стреляла своими большими глазами; если бы экипаж не промчался мимо и если бы у нее хватило времени зарядить еще раз, я наверно был бы застрелен. Я закричал: «Кучер, пожалуйста, побыстрее, с такой красоткой Эльзи шутки плохи, того и гляди она тебе пожар устроит». В качестве обстоятельного путешественника я должен отметить, что хотя сама хозяйка в Штерцинге и оказалась старою женщиною, зато у нее две молодецкие дочки, которые своим видом способны благодетельно обогреть сердце, если уж оно высунулось. Но тебя я забыть не могу, прекраснейшая из всех красавиц — пряха на итальянской границе! Если бы ты дала мне, как Ариадна Тезею, нить от клубка твоего, чтобы провести меня через лабиринт этой жизни, то Минотавр был бы теперь побежден, я любил бы тебя и целовал бы и не покинул бы никогда!

«Хорошая примета, когда женщины улыбаются», — сказал один китайский писатель; того же мнения был и один немецкий писатель, когда он проезжал через Южный Тироль, там, где начинается Италия, мимо горы, у подножия которой на невысокой каменной плотине стоял один из домиков, так мило глядевших на нас своими приветливыми галереями и наивною росписью. По одну сторону его стояло большое деревянное распятие; оно служило опорой для молодой виноградной лозы, и как-то жутко-весело было смотреть, как жизнь цепляется за смерть, как сочные зеленые лозы обвивают окровавленное тело и пригвожденные руки и ноги спасителя. По другую сторону домика находилась круглая голубятня; пернатое население ее реяло вокруг, а один особенно грациозный белый голубь сидел на красной верхушке крыши, которая, подобно скромному каменному венцу над нишей, где таится статуя святой, возвышалась над головой прекрасной пряхи. Она сидела на маленьком балконе и прядла, но не на немецкий лад — не самопрялкой, а тем стародавним способом, при котором обвитую льном прялку держат под мышкой, а спряденная нить спускается на свободно висящем веретене. Так прядли царские дочери в Греции, так прядут еще и доныне парки и все итальянки.

Она пряла и улыбалась, голубь неподвижно сидел над ее головой, а над домом, позади, вздымались высокие горы; солнце освещало их снежные вершины, и они казались суровой стражей великанов со сверкающими шлемами на головах.

Она пряла и улыбалась и, мне кажется, крепко запряла мое сердце, пока экипаж несколько медленнее катился мимо, — ведь по другую сторону дороги бушевал широким потоком Эйзах. Милые черты не выходили у меня из памяти весь день; всюду видел я прелестное лицо, изваянное, казалось, греческим скульптором из аромата белой розы, такое благоуханно-нежное, такое блаженно-благородное, какое, может быть, снилось ему когда-то в юности, в цветущую весеннюю ночь. Глаза ее, впрочем, не могли бы быть поняты им. Но я увидел и понял их, эти романтические звезды, так волшебно освещавшие античную красоту. Весь день преследовали меня эти глаза, и в следующую ночь они мне приснились. Она сидела, как тогда, и улыбалась, голуби реяли кругом, как ангелы любви, белый голубь над ее головой таинственно пошевеливал крыльями, за нею все величавей и величавей поднимались стражи в шлемах, перед нею все яростнее и неистовее катился поток, виноградные лозы обвивали в судорожном страхе деревянное распятие, оно болезненно колыхалось, раскрывало страждущие глаза и истекало кровью, — а она пряла и улыбалась, и на нитях ее прялки, подобно пляшущему веретену, висело мое собственное сердце.

ГЛАВА XIV

По мере того как солнце все прекраснее и величественнее расцветало в небе, одевая золотыми покровами горы и замки, на сердце у меня становилось все жарче и светлее; снова грудь моя полна была цветами; они пробивались наружу, разрастались высоко над головой, и сквозь цветы моего сердца вновь просвечивала небесная улыбка прекрасной пряжи. Погруженный в такие грезы, сам — воплощенная греза, я приехал в Италию, и так как в до-

роге я слегка забыл, куда еду, то почти испугался, когда на меня взглянули разом все эти большие итальянские глаза, когда пестрая, суетливая итальянская жизнь во плоти устремилась мне навстречу, такая горячая и шумная.

А произошло это в городе Триенте, куда я прибыл в один прекрасный воскресный день ближе к вечеру, когда жара спадает, а итальянцы встают и прогуливаются взад и вперед по улицам. Город, старый и сломленный годами, расположен в широком кольце цветущих зеленых гор, которые, подобно вечно юным богам, взирают сверху на тленные дела людские. Сломленная годами и вся истлевшая, стоит возле него высокая крепость, некогда господствовавшая над городом, — причудливая постройка причудливой эпохи с вышками, выступами, зубцами и полукруглой башней, где уютятся только совы да австрийские инвалиды. Архитектура самого города так же причудлива, и удивление охватывает при первом взгляде на эти древние дома с их поблекшими фресками, с раскрошившимися статуями святых, башенками, закрытыми балконами, решетчатыми окошками и выступающими вперед фронтонами, покоящимися на серых, старчески дряблых колоннах, которые и сами пуждаются в опоре. Зрелище было бы слишком уж грустное, если бы природа не освежила новою жизнью эти отжившие камни, если бы сладкие виноградные лозы не обвивали эти разрушающиеся колонны тесно и нежно, как юность обвивает старость, и если бы еще более сладостные девичьи лица не выглядывали из сумрачных сводчатых окон, посмеиваясь над приезжим немцем, который, как блуждающий луна-тик, пробирается среди цветущих развалин.

Я и в самом деле был как во сне, — как во сне, когда хочется вспомнить что-то, что уже однажды снилось. Я смотрел то на дома, то на людей; порою я готов был подумать, что видел эти дома когда-то, в их лучшие дни; тогда их красивая роспись еще сверкала красками, золотые украшения на карнизах окон еще не были так черны, и мраморная мадонна с младенцем на руках еще не успела расстаться со своею дивно красивой головой, которую так плебейски обломало наше иконоборческое время. И лица старых женщин были так знакомы мне: казалось, они вырезаны из тех староитальянских картин, которые

я видел когда-то мальчиком в Дюссельдорфской галерее. Да и старики итальянцы казались мне давно забытыми знакомцами и своими серьезными глазами смотрели на меня как бы из глубины тысячелетия. Даже в бойких молодых девушках было что-то, как бы умершее тысячу лет тому назад и все-таки вновь вернувшееся к цветущей жизни, так что меня почти охватывал страх, сладостный страх, подобный тому, который я однажды ощутил, когда в полночной тишине прижал свои губы к губам Марии, дивно прекрасной женщины, не имевшей ни одного недостатка, кроме только того, что она была мертва. Но потом я смеялся над собой, и мне начинало казаться, что весь город — не что иное, как красивая повесть, которую я читал когда-то, которую я сам и сочинил, а теперь я каким-то волшебством втянут в мир моей повести и пугаюсь образов собственной фантазии. Может быть, думалось мне, все это действительно только сон, и я от всего сердца заплатил бы талер за одну только оплеуху, чтобы лишь узнать, бодрствую я или сплю.

Немного не хватало, чтобы даже и за более дешевую цену получить желаемое, когда на углу рынка я споткнулся о толстую торговку фруктами. Она, впрочем, удовлетворилась тем, что бросила мне в лицо несколько самых настоящих фиг,¹ благодаря чему я убедился, что пребываю в самой настоящей действительности, посреди рыночной площади Триента, возле большого фонтана, медные дельфины и тритоны которого извергали приятно освежающие серебристые струи. Слева стоял старый дворец; стены его были расписаны пестрыми аллегорическими фигурами, а на его террасе муштровали для будущих подвигов серых австрийских солдат. Справа стоял домик в прихотливом готическо-ломбардском вкусе, внутри его сладкий, порхающе-легкий девический голос разливался такими бойкими и веселыми трелями, что дряхлые стены дрожали не то от удовольствия, не то от собственной неустойчивости; между тем сверху, из стрельчатого окошка, высывалась черная с лабиринтообразными завитками комедиантская шевелюра, из-под которой выступало

¹ Игра слов: Ohrfeige — оплеуха, Feigen an die Ohren (нем.) буквально — фиго в уши.

худощавое резко очерченное лицо с одной лишь нарумяненной левой щекой, отчего оно было похоже на пышку, поджаренную только с одной стороны. Прямо же передо мной находился древний-древний собор, не большой, не мрачный, напоминающий веселого старца на склоне лет, приветливого и радужного.

ГЛАВА XV

Раздвинув зеленый шелковый занавес, прикрывавший вход в собор, и вступив в храм, я почувствовал телесную и душевную свежесть от приятно веявшей внутри прохлады и от умиротворяюще магического света, который лился на молящихся из пестро расписанных окон. Тут были по большей части женщины, стоявшие длинными рядами в коленопреклоненных позах на низеньких молитвенных скамеечках. Они молились, тихо шевеля губами, и непрестанно обмахивались большими зелеными веерами, так что слышен был только непрерывный таинственный шепот, видны были только движущиеся веера и колышущиеся вуали. Резкий скрип моих сапог прервал не одну прекрасную молитву, и большие католические глаза поглядывали на меня полулюбопытно, полублагосклонно, должно быть советуя мне тоже простереться ниц и предаться душевной сесте.

Право, такой собор с его сумрачным освещением и веющей прохладой — приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Об этом не имеют никакого понятия в нашей протестантской северной Германии, где церкви построены не так комфортабельно, а свет так нагло врывается в нераскрашенные рационалистические окна и где даже прохладные проповеди плохо спасают от жары. Что бы ни говорили, а католицизм — хорошая религия в летнее время. Хорошо лежать на скамьях такого старого собора; наслаждаешься прохладой молитвенного настроения, священной *dolce far niente*,¹ молишься, грезишь и мысленно грешешь; мадонны так всепрощающе кивают из своих ниш, они,

¹ Приятной праздностью (*итал.*).

чувствуя по-женски, прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши греховные мысли; в довершение всего, в каждом углу стоит коричневая исповедальная будочка, где можно освободиться от грехов.

В одной из таких будочек сидел молодой монах с сосредоточенной физиономией, но лицо дамы, каившейся ему в грехах, было скрыто от меня отчасти белой вуалью, отчасти же боковой перегородкой исповедальни. Однако поверх перегородки видна была рука, приковавшая меня к себе. Я не мог наглядеться на эту руку; голубоватые жилки и благородный блеск белых пальцев были мне так поразительно знакомы, и душа моя привела в движение всю силу своей фантазии, пытаясь воссоздать лицо, относящееся к этой руке. То была прекрасная рука, совсем не похожая на руки молодых девушек, этих полуягнят, полуроз, у которых растительно-животные ручки чужды всякой мысли, — нет, в ней было, напротив, что-то одухотворенное, что-то исторически обаятельное, как в руках красивых людей, очень образованных или много страдавших. Было также в ней что-то трогательно невинное, так что, казалось, этой руке незачем каяться, да и не хочется ей слушать, в чем кается ее обладательница, а потому она и ждет в стороне, пока та покончит со своими делами. Но дела затянулись надолго; у дамы, по-видимому, было что рассказать о своих грехах. Я не мог более ждать; душа моя запечатлела невидимый прощальный поцелуй на прекрасной руке, которая в тот же миг вздрогнула, притом так особенно, как вздрагивала каждый раз рука покойной Марии, когда я ее касался. «Боже мой, — подумал я, — что делает в Триенте умершая Мария?» — и поспешил прочь из церкви.

ГЛАВА XVI

Когда я возвращался рыночной площадью, вышеупомянутая торговка фруктами приветствовала меня весьма дружески и фамильярно, словно мы были старые знакомые. «Все равно, — подумал я, — как бы ни завязать знакомство, только бы познакомиться друг с другом».

Две-три брошенные в лицо фи́ги не всегда, правда, оказываются лучшей рекомендацией, но оба мы, и я и торговка, смотрели теперь друг на друга так приветливо, словно обменялись самыми солидными рекомендательными письмами. Притом женщина эта отнюдь не обладала дурной внешностью. Она, правда, была в том возрасте, когда время отмечает отработанные нами годы роковыми черточками на лбу, но зато она была тем массивнее, возмещающая недостаток молодости прибавкою в весе. К тому же лицо ее все еще хранило следы былой красоты; на нем, как на старинных горшках, было написано: «Быть любимым и любить — значит счастье заслужить». Но что придавало ей замечательную прелесть, — так это прическа, завитые локоны, напудренные до ослепительной белизны, обильно удобренные помадою и идилически перевитые белыми колокольчиками. Я разглядывал женщину с таким же вниманием, как антикварий разглядывает выкопанные из земли мраморные торсы; я мог бы и больше прочесть в этих живых человеческих развалинах; мог бы проследить по ним стадии итальянской цивилизации — этрусскую, римскую, готическую, ломбардскую, вплоть до современной, припудренной; ее цивилизованная внешность, так расходившаяся с ее профессией и страстным темпераментом, возбудила во мне большой интерес. Не менее заинтересовали меня и предметы ее торговли — свежий миндаль, который я никогда еще не видел в его природной зеленой оболочке, и ароматные свежие винные ягоды, разложенные большими грудями, как у нас груши. Большие корзины со свежими лимонами и апельсинами также привели меня в восхищение. И — очаровательное зрелище! — рядом в пустой корзинке лежал прехорошенький мальчик с маленьким колокольчиком в руках; пока бил большой соборный колокол, он, между ударами его, позванивал в свой маленький колокольчик и при этом смотрел в голубое небо, так блаженно-бездумно улыбаясь, что и мной овладело самое шаловливое детское настроение, и я, как ребенок, остановился перед приветливыми корзинами, начал лакомиться и вступил в беседу с торговкой.

По ломаному итальянскому говору она приняла меня сначала за англичанина, но я признался ей, что я всего

только немец. Она тотчас же поставила мне ряд вопросов географического, экономического, гортологического и климатического характера насчет Германии и удивилась, когда я признался ей и в том, что у нас не растут лимоны, что мы, изготовляя пунш, принуждены сильно выжимать те лимоны, которые в небольшом количестве получаем из Италии, и с отчаяния подливаем в него тем больше рому. «Ах, милая, — сказал я ей, — у нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться; под лучами такого желтого, фланелевого солнца у нас не могут поспевать фрукты, на вид они жалки и зелены; между нами говоря, единственный зрелый плод у нас — печеные яблоки. Что касается фиг, то мы получаем их, так же как лимоны и апельсины, из чужих стран, и благодаря долгому пути они становятся плоски и мучнисты; только самый скверный сорт мы можем получить в свежем виде из первых рук, и притом он столь горек, что получающий его начинает вдобавок процесс об оскорблении действием. Миндалины у нас бывают только припухшие. Короче говоря, у нас недостаток во всех благородных плодах — есть у нас только крыжовник, груша, орехи, сливы и прочий сброд».

ГЛАВА XVII

В самом деле, я был рад, что тотчас по приезде в Италию завязал хорошее знакомство, и если бы сила чувств не влекла меня к югу, я остался бы в Триенте подле доброй торговки с ее вкусными винными ягодами и миндалем, подле маленького звонаря и — чтобы уж сказать всю правду — подле прекрасных девушек, толпами пробежавших мимо. Не знаю, согласятся ли другие путешественники с эпитетом «прекрасные», но мне триентинки понравились особенно. Это был как раз тот тип, который я люблю: я люблю эти бледные элегические лица, на которых так любовно-страстно светятся большие черные глаза; люблю и смуглый цвет этих гордых шей, которые еще любил и зацеловал до загара сам Феб. Я люблю даже эти чуточку перезрелые затылки с пурпуровыми точками,

точно их клевали жадные птицы. Но больше всего я люблю эту гениальную поступь, эту немую музыку тела, формы, сохраняющие в движении чудеснейший ритм, роскошные, гибкие, божественно-сладострастные, то до смерти ленивые, то вдруг воздушно-величавые и всегда высокопоэтические. Я люблю все это, как люблю самое поэзию; и эти мелодически движущиеся фигуры, эта чудесная человеческая симфония, роковавшая на моем пути, все это нашло отклики в моем сердце и затронуло в нем родственные струны.

Теперь не стало уже волшебной мощи первого впечатления, сказочного обаяния совершенно чуждого зрелища; теперь дух мой спокойно, как критик, читающий поэму, уже восхищенно вдумчивым взором созерцал эти женские образы. А подобное созерцание открывает столько печального, — и все богатство прошедшей жизни, и бедность в настоящем, и сохранившуюся гордость. Дочери Триента и теперь бы охотно наряжались так, как во времена Собора, когда город пестрел бархатом и шелками; но Собор свершил немного, бархат поистерся, шелк посеялся, и бедным детям ничего не осталось, кроме жалкой мишуры, которую они тщательно берегут в будни и в которую наряжаются только по воскресеньям. У иных даже нет и этих остатков былой роскоши, и они должны довольствоваться всевозможными грубыми и дешевыми изделиями нашей эпохи. Вот почему и встречаются трогательные контрасты между телом и платьем: тонко очерченный рот призван, кажется, царственно повелевать, а на него насмешливо бросает сверху тень жалкая кисейная шляпка с помятыми бумажными цветами, гордая грудь колыхается под жабо из грубых поддельных фабричных кружев, а остроумнейшие бедра облекает глупейший ситец. О скорбь! Имя твое — это Ситец, и притом коричневый в полоску ситец! Ибо — увь! — ничто не вызывало во мне более скорбного состояния, чем вид триентинки, формами и цветом лица подобной мраморной богине и прикрывающей эти антично благородные формы платьем из коричневого в полоску ситца; казалось, каменная Ниоба вдруг развеселилась, переоделась в наше модное мещанское платье и шагает нищенско гордо и величаво неуклюже по улицам Триента.

ГЛАВА XVIII

Когда я вернулся в «Locanda della Grande Europa»,¹ где заказал себе хороший pranzo,² на душе у меня было так грустно, что я не мог есть, а этим много сказано. Я уселся у двери соседней bottega,³ освежился шербетом и обратился к самому себе:

«Капризное сердце! Вот ты теперь в Италии — почему же ты не тириликаешь? Может быть, вместе с тобою в Италию пробрались и твои старые немецкие скорби, глубоко затаившиеся в тебе, и теперь они радуются, и их-то дружное ликование вызывает в груди ту романтическую боль, что так странно колет внутри, и дрожит, и шипит? Да почему бы и не порадоваться иной раз старинным скорбям? Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания, в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших миленьких кирпичных домиках, под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми зубчатыми елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков в голубом небе Италии мечтается сладостнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мешанские рожи и скучно позевывают сверху! Оставайтесь же в груди мозей, скорби! Нигде вам не найти лучшего пристанища! Вы мне дороги и милы, никто лучше меня не сумеет холить и беречь вас и, признаюсь вам, вы доставляете мне удовольствие. И вообще — что такое удовольствие? Удовольствие — не что иное, как в высшей степени приятная скорбь».

Этот монолог мелодраматически сопровождали звуки музыки, на которые я сперва, должно быть, не обратил внимания, хоть они и быстро собрали у входа в кофейню толпу слушателей. То было удивительное трио: двое мужчин и молодая девушка, игравшая на арфе. Один из мужчин, одетый по-зимнему в белый байковый сюртук, был коренастый малый, с широким красным разбойничьим лицом; оно пылало в раме черных волос и черной бороды, подобно угрожающей комете; между ног его зажат был громадный контрабас, по которому он так яростно водил

¹ Гостиницу «Великая Европа» (итал.).

² Обед (итал.).

³ Кофейни (итал.).

смычком, словно повалил наземь в Абрुцках бедного путешественника и торопился смычком перерезать ему горло; другой был длинный тощий старик, дряхлый скелет которого болтался в изношенном черном сюртуке, а белые как снег волосы представляли очень жалкий контраст с его комическими куплетами и шутовскими прыжками. Грустно, когда старый человек, под гнетом нужды, принужден продавать за деньги уважение, на которое он имеет право в силу своего возраста, и корчит из себя фигляра; насколько же грустнее, когда он продлевает это в присутствии или даже в обществе своего ребенка! А девушка была дочерью старого «буффо» и аккомпанировала на своей арфе самым недостойным выходкам старика отца, а иногда отставляла арфу в сторону и начинала петь с ним комический дуэт; он представлял старого влюбленного щеголя, она же — его молодую, бойкую любовницу. При всем том девушка не вышла, казалось, из детского возраста, более того — похоже было, что из ребенка, еще не вступившего в девическую пору, сразу сделали женщину, и женщину отнюдь не добродетельную. Отсюда вялая блеклость и дрожь недовольства на красивом лице, гордые черты которого как будто встречали насмешкой всякий намек на сострадание; отсюда скрытая печаль в глазах, так вызывающе сверкавших из-под своих черных триумфальных арок; отсюда тон глубокого страдания, составлявший такой жуткий контраст с улыбкой прекрасных губ, с которых он слетал; отсюда болезненность этой слишком нежной фигуры, закутанной как можно плотнее в коротенькое бледно-фиолетовое шелковое платье. А на поношенной соломенной шляпе развевались ярко-пестрые атласные ленты, грудь же была весьма символически украшена раскрытым розовым бутонем, который, казалось, не расцвел естественным путем, а скорее был насильно расправлен в своей зеленой оболочке. В то же время несчастная девушка — эта весна, уже оваянная пагубным дыханием смерти, — была неописуемо привлекательна, грациозна, и это давало себя знать в каждом ее взгляде, в каждом движении, в каждом звуке и сказывалось даже тогда, когда, устремляясь вперед всем своим тельцем, она насмешливо-сладоострастно подтанцовывала навстречу отцу, который столь же непристойным образом, выпятив живот, ковылял

к ней. Чем наглее были ее движения, тем больше сострадания она внушала мне; когда же из груди ее вылетали нежные и чарующие звуки песни, как бы с мольбой о прощении, змееныши в моей груди начинали ликовать и кусать себе хвосты от удовольствия. И роза, казалось мне, смотрела на меня как бы умоляюще; раз я видел даже, как она задрожала, побледнела, но в тот же миг еще радостнее зазвенели в высоте девичьи трели, старик заблеял еще влюбленнее, а красная кометообразная рожа стала истязать свой контрабас с такой яростью, что тот начал издавать чудовищно причудливые звуки, и слушатели загоготали еще бешенее.

ГЛАВА XIX

Это была музыкальная пьеса в чисто итальянском вкусе, из какой-нибудь оперы-буфф, того удивительного жанра, который дает самый полный простор юмору, и где этот юмор может проявиться со всей своей скачущей веселостью, безумною чувствительностью, смеющейся печалью и смертельной воодушевленностью, жадно влюбленной в жизнь. Это был тот подлинный стиль Россини, который с особой прелестью нашел свое выражение в «Севильском цирюльнике».

Хулители итальянской музыки, отказывающие в признании и этому ее жанру, не избегнут когда-нибудь заслуженного возмездия в аду и осуждены, может быть, не слышать целую вечность ничего, кроме фуг Себастиана Баха. Жаль мне многих моих коллег, например Релльштаба, которого также не минует это проклятие, если он перед смертью не обратится к Россини. Россини, *divino maestro*,¹ солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру! Прости моим бедным соотечественникам, поносящим тебя на писчей и пропускной бумаге! Я же восхищаюсь твоими золотыми тонами, звездами твоих мелодий, твоими искрящимися мотыльковыми грезами, так любовно порхающими надо мной и целующими сердце мое устами граций. *Divino maestro*, прости моим

¹ Рождественный маэстро (*итал.*).

бедным соотечественникам, которые не видят твоей глубины, — ты прикрыл ее розами и потому кажешься недостаточно глубокомысленным и основательным, ибо ты порхаешь так легко, с таким божественным размахом крыл! Правда, чтобы любить нынешнюю итальянскую музыку и любовно понимать ее, надо иметь перед глазами самый народ, его небо, его характер, выражения лиц, его страдания и радости, всю его историю, от Ромула, основавшего священное римское царство, до позднейшего времени, когда оно пало при Ромуле-Августу II. Бедной поработанной Италии запрещено говорить, и она может лишь музыкой поведать чувства своего сердца. Все свое негодование против чужеземного владычества, свое воодушевление свободой, свое бешенство от сознания собственного бессилия, свою скорбь при мысли о прошлом величии и, рядом с этим, свои слабые надежды, свое ожидание, свою страстную жажду помощи, — все это она облекает в мелодии, выражающие все — от причудливого опьянения жизнью до элегической мягкости, и в пантомимы, переходящие от лстивых ласк к грозному затаенному бешенству.

Таков эзотерический смысл оперы-буфф. Экзотерическая стража, в присутствии которой эта опера поется и представляется, отнюдь не подозревает, каково значение этих веселых любовных историй, любовных горестей и шалостей, в которых итальянец скрывает свои убийственные освободительные замыслы, подобно тому как Гармодий и Аристокитон скрывали свой кинжал в миртовом венке. «Все это просто дурачество», — говорит экзотерическая стража, и хорошо, что она ничего не замечает. В противном случае импрессарио вместе с примадонной и премьером скоро очутился бы на подмостках, именуемых крепостью; была бы учреждена следственная комиссия, все опасные для государства трели и революционные колоратуры были бы занесены в протокол, было бы арестовано множество арлекинов, замешанных в дальнейших ответвлениях преступного заговора, а с ними вместе также и Тарталья, Бригелла и даже старый осторожный Панталоне; бумаги доктора из Болоньи были бы опечатаны, сам он был бы оставлен под сильнейшим подозрением, а у Коломбины глаза распухли бы от слез по поводу такого семейного несчастья. Но я думаю,

подобное несчастье не разразится над этими добрыми людьми, так как итальянские демагоги хитрее бедных немцев, которые, затеяв то же самое, замаскировались черными дураками, надели черные дурацкие колпаки, но вид имели столь унылый, столь обращали на себя внимание, становились в столь грозные позы и, совершая свои основательные дурацкие прыжки, называемые ими гимнастическими упражнениями, корчили столь серьезные физиономии, что правительства, наконец, заметили их и принуждены были упрятать их в тюрьмы.

ГЛАВА XX

Маленькая арфистка уловила, вероятно, что я, пока она пела и играла, часто посматривал на розу, приколотую к ее груди, и, когда я бросил на оловянную тарелку, в которую она собирала свой гонорар, монету не слишком уж мелкую, она хитро улыбнулась и таинственно спросила, не желаю ли я получить розу.

Но ведь я — самый вежливый человек на свете, и ни за что на свете я не хотел бы обидеть розу, будь то даже роза, потерявшая уже часть своего аромата. Если даже, думал я, она уже не так благоухающе свежа и не пахнет добродетелью, как роза Сарона, какое мне до этого дело, мне, у которого к тому же отчаянный насморк! Ведь одни только люди принимают это так близко к сердцу. Мотылек же не спрашивает у цветка: целовал ли тебя кто-нибудь другой? И цветок не спрашивает: порхал ли ты около другого цветка? К тому же наступила ночь, а ночью, подумал я, все цветы серы, и самая грешная роза не хуже самой добродетельной петрушки. Словом, без долгих колебаний, я сказал маленькой арфистке: *Si, signora.*¹

Только не подумай ничего дурного, любезный читатель. В то время уже стемнело, звезды смотрели мне в сердце так ясно и благочестиво. В самом же сердце трепетало воспоминание о мертвой Марии. Я думал опять о той ночи, когда стоял у постели, где лежало прекрасное

¹ Да, синьора (*итал.*).

бледное тело с кроткими тихими губами. Я думал опять о том особенном взгляде, который бросила на меня старуха, сторожившая у гроба и передавшая мне на несколько часов свои обязанности. Я думал опять о ночной фиалке: она стояла в вазе на столе и благоухала так странно. И мною опять овладело странное сомнение: правда ли то был порыв ветра, и от него погасла лампа? Правда ли, в комнате не было никого третьего?

ГЛАВА XXI

Скоро я лег в постель, заснул и утонул в нелепых сновидениях. А именно, я увидел себя во сне как бы возвратившимся на несколько часов назад; я только что приехал в Триент; я поражался так же, как тогда, даже больше прежнего, ибо по улицам вместо людей прогуливались цветы.

Бродили пылающие гвоздики, сладострастно обмахивавшиеся веерами, кокетливые бальзамины, гиацинты с красивыми пустыми головками-колокольчиками, а за ними — толпа усатых нарциссов и неуклюжих рыцарских шпор. На углу ссорились две маргаритки. Из окошка старого дома болезненной внешности выглядывал левкой, весь в крапинках, разукрашенный с нелепою пестротой, а позади его раздавался мило благоухающий голос фиалки. На балконе большого палаццо на рыночной площади собралось все дворянство, вся знать, а именно — те лилии, которые не работают, не прядут и все же мнят себя столь же великолепными, как царь Соломон во всей славе своей. Показалось мне, что я увидел там и толстую торговку фруктами; но когда я присмотрелся внимательно, то она оказалась зазимовавшим лютиком, который тотчас же накинулся на меня на берлинском наречии: «Что вам здесь нужно, незрелый вы цветок, кислый вы огурец? Этаким заурадный цветок с одной тычинкой! Вот, сейчас я вас полью!» В страхе я поспешил в собор и чуть не наскочил на старую прихрамывающую иван-да-марью, за которой несла молитвенник маргаритка. В соборе было опять-таки очень приятно: длинными рядами там сидели разноцветные тюльпаны и набожно клонили головы.

В исповедальне сидела черная редька, а перед нею стоял на коленях цветок, лицо которого не было видно. Но он благоухал так знакомо жутко, что я опять почему-то вспомнил о ночной фиалке, стоявшей в комнате, где лежала мертвая Мария.

Когда я вышел из собора, мне повстречалась похоронная процессия, исключительно из роз в черных вуалях, с белыми платочками, а на катафалке — увы! — лежала преждевременно распустившаяся роза, которую впервые я увидел на груди у маленькой арфистки. Теперь она была еще привлекательнее, но бледна как мел, — белый труп розы. У маленькой часовни гроб сняли, послышались плач и рыдания; под конец вышел старый полевой мак и стал читать длинную отходную проповедь, в которой было много болтовни о добродетелях покойной, о земной юдоли, о лучшем мире, о любви, надежде и вере, все это протяжно-певуче, в нос, — водянистая речь, такая длинная и скучная, что я от нее проснулся.

ГЛАВА XXII

Мой веттурино запряг своих коней раньше, нежели Гелиос, так что к обеду мы достигли Алы. Здесь веттурино задерживаются обыкновенно на несколько часов, чтобы переменить экипаж.

Ала уже чисто итальянский городишко. Расположен он живописно — на склоне горы; мимо с шумом бежит река, веселые зеленые лозы обвивают тут и там покосившиеся, натыкающиеся друг на друга, залатанные нищенские дворцы. На углу косо́й площади, размером с птичий двор, написано величественными громадными буквами: «Piazza di San Marco». ¹ На каменном обломке большого стародворянского герба сидел маленький мальчик и делал нужное дело. Яркое солнце освещало его простодушную спину, а в руках он держал бумажку с изображением святого, которую он перед тем с жаром целовал. Маленькая, прехорошенькая девочка стояла рядом, погруженная в созерцание, и время от времени дула, аккомпанируя ему, в деревянную детскую трубу.

¹ Площадь св. Марка (итал.).

Гостиница, где я остановился и обедал, тоже была в чисто итальянском вкусе. Наверху, во втором этаже — открытая терраса с видом на двор, где валялись разбитые экипажи и томные кучи навоза, разгуливали индюки с дурачки красными зобами и спесивые павлины, а с полдюжины оборванных загорелых мальчишек искали в головах друг у друга по белль-ланкастерской методе. Через террасу с поломанными железными перилами попадаешь в большую гулкую комнату. Здесь мраморный пол, посредине широкая кровать, где блохи празднуют свадьбу; всюду невероятная грязь. Хозяин прыгал около меня, стараясь предугадать мои желания. Он был в ярко-зеленой домашней куртке; лицо, все в морщинах, отличалось подвижностью; на нем торчал длинный горбатый нос с волосатой красной бородавкой, сидевшей посредине, точь-в-точь как обезьяна в красной куртке на спине верблюда. Хозяин прыгал взад и вперед и, казалось, красная обезьянка на его носу тоже прыгает вместе с ним. Но прошел целый час, прежде чем он принес хоть что-нибудь; а когда я выбранился, он стал уверять меня, что я уже очень хорошо говорю по-итальянски.

Я принужден был долгое время довольствоваться приятнейшим запахом жаркого, доносившимся из кухни без дверей. Там сидели рядом мать и дочь, пели и ощипывали кур. Мать была отменно толста: груди в пышном избытии высоко вздымались кверху, но все же были невелики в сравнении с колоссальной задней частью, так что первые казались лишь «Институциями», а последняя — их расширенным изданием — «Пандектами». Дочь, не очень высокая, но солидного сложения особа, тоже как будто была склонна к полноте; но цветущий жир ее ни в коем случае не сравним был со старым салом матери. Черты ее лица не отличались ни приятностью, ни привлекательностью молодости, но были вполне соразмерны, благородны, античны; локоны и глаза жгуче-черные. У матери, наоборот, были плоские, тупые черты, розовый нос, голубые глаза, похожие на вываренные в молоке фиалки, и напудренные до лилейной белизны волосы. Время от времени прибегал вприпрыжку хозяин, *il signor padre*,¹ и требовал что-нибудь из посуды, спрашивал ту или иную вещь, на что

¹ Папаша (итал.).

ему спокойно, речитативом, отвечали, чтобы он сам по-искал. Тогда он, щелкнув языком, начинал рыться в шкафах, пробовал содержимое кипящих горшков, обжигался и убегал вприпрыжку, а с ним его нос-верблюды и красная обезьянка. Им вдогонку неслись самые веселые трели, знак нежной насмешки и семейного подтрунивания.

Но эти мирные, почти идиллические занятия прерваны были внезапно разразившейся грозой: ворвался дюжий парень с бешеной разбойничьей физиономией и прокричал что-то, чего я не понял. Обе женщины отрицательно покачали головами; тогда он впал в безумную ярость и стал изрыгать огонь и пламя, точно маленький рассердившийся Везувий. Хозяйка, по-видимому, испугалась и пробормотала несколько успокоительных слов, которые произвели, однако, совершенно обратное действие; окончательно взбесившись, парень схватил железную лопату, разбил несколько несчастных тарелок и бутылок и поколотил бы наверно бедную женщину, если бы дочь не схватила длинный кухонный нож и не пригрозила зарезать его, коли он сейчас же не уберется.

Это было прекрасное зрелище: девушка стояла бледно-желтая и окаменевшая от гнева, как мраморная статуя; губы также были бледны, глубокие глаза горели убийственно, голубая жила вздулась поперек лба, черные локоны извивались как змеи, в руках ее — кровавый нож. Я затрепетал от восторга, узрев перед собой живой образ Медеи, столь часто грезившийся мне в ночи моей юности, когда я засыпал у нежного сердца Мельпомены, сумрачно-прекрасной богини.

Во время этой сцены *il signor padre* ни на секунду не потерялся; с деловитым спокойствием он собрал осколки с пола, отложил в сторону оставшиеся в живых тарелки и потом принес мне: суп с пармезаном, жаркое, жесткое и твердое, как немецкая верность, раков, красных как любовь, зеленый, как надежда, шпинат с яйцами, а на десерт тушеный лук, вызвавший у меня слезы умиления. «Все это пустяки, такая уж манера у Пьетро», — заметил он, когда я с удивлением указал в сторону кухни; и действительно, когда зачинщик ссоры удалился, казалось, будто ничего и не произошло: мать с дочерью опять сидели так же спокойно, пели и щипали кур.

Счет убедил меня в том, что *signor padre* тоже смыслит кое-что в ощищывании, и когда я, уплатив по счету, дал ему еще и па водку, он чихнул от удовольствия так сильно, что обезьянка чуть-чуть не свалилась со своего места. Затем я дружески кивнул в направлении кухни, последовал дружеский ответный кивок, и вскоре я вновь сидел в другом экипаже, быстро катился вниз по Ломбардской равнине и к вечеру достиг древнего, всемирно прославленного города Вероны.

ГЛАВА XXIII

Пестрая сила новых впечатлений окружала меня в Триенте обаянием лишь сумеречным и смутным, подобно сказочному трепету; в Вероне же она охватила меня словно лихорадочным сном, полным ярких красок, резко очерченных форм, призрачных трубных звуков и отдаленного гула оружия. Тут попадались обветшалые дворцы, глядевшие на меня так пристально, словно хотели доверить мне какую-то старинную тайну, словно они робели днем перед напором человеческого потока и просили меня вернуться к ним ночью. И все-таки, несмотря на шум толпы и на неистовое солнце, лившее свои красные лучи, не одна старая потемневшая башня успела бросить мне несколько многозначительных слов; кое-где подслушал я и шепот разбитых колонн, а когда я всходил по невысокой лестнице, ведущей на *Piazza di signori*,¹ камни поведали мне ужасную, кровавую историю, и я прочитал на углу слова: *Scala mazzanti*.²

Верона, древний, всемирно прославленный город, расположенный по обоим берегам Эча, служил всегда как бы первой стоянкой на пути германских кочевых народов, покидавших свои холодные северные леса и переходивших Альпы, чтобы насладиться золотым солнечным сиянием прелестной Италии. Одни тянулись дальше, к югу, другие находили и это место достаточно приятным и располагались здесь с уютом, как на родине, облакаясь в шелковые домашние одеяния и мирно проводя время среди цве-

¹ Площадь господ (*итал.*).

² Лестница убитых (*итал.*).

тов и кипарисов, пока новые пришельцы, еще не успевшие снять с себя стальных одеяний, не являлись с севера и не вытесняли их; эта история часто повторялась и получила у историков название переселения народов. Теперь, когда бродишь по Вероне и ее окрестностям, всюду находишь причудливые следы той эпохи, так же как и следы более раннего и более позднего времени. Память о римлянах воскрешают в особенности амфитеатр и триумфальные ворота; о Теодорихе-Дитрихе Бернском, которого еще поют и славят в своих легендах немцы, напоминают сказочные развалины нескольких византийских доготических зданий; какие-то фантастически дикие обломки напоминают о короле Альбоине и его свирепых лангобардах; овеянные легендами памятники говорят о Карле Великом, паладины которого изваяны у дверей собора с той франкской грубостью, какая их, несомненно, отличала в жизни, — и когда глядишь на все это, начинает казаться, что весь город — большой постоянный двор народов; и как посетители гостиницы имеют обыкновение писать свои имена на стенах и окнах, так и здесь каждый народ оставил следы своего пребывания, часто, правда, в не слишком удобочитаемой форме, ибо многие немецкие племена не умели еще писать и должны были довольствоваться тем, что разрушали что-нибудь на память о себе; этого, впрочем, было вполне достаточно, так как развалины говорят яснее затейливых писем. Варвары, вступившие ныне в старую гостиницу, не замедлят оставить такие же памятники своего милого пребывания, ибо им недостает скульпторов и поэтов, чтобы удержаться в памяти человечества при помощи более мягких приемов.

Я пробыл в Вероне только один день, непрестанно удивляясь никогда не виданному, вглядываясь то в старинные здания, то в людей, кишевших среди них с таинственной стремительностью, то, наконец, в божественно голубое небо, заключавшее все это как бы в драгоценную раму и создававшее из всего целую картину. Странное, однако, чувство, когда сам составляешь частицу картины, которую сейчас рассматривал, когда тебе время от времени улыбаются на этой картине фигуры, особенно женские, что испытал я с приятностью на Piazza delle Erbe.¹ Это и

¹ Площади трав (итал.).

есть овощной рынок, а на нем — изобилие причудливейших обликов, женщины и девушки, томные и большеглазые, милые приветливые тела, обольстительно желтые, наивно грязные, созданные скорее для ночи, чем для дня. Белые или черные покрывала, которые носят на голове горожанки, так хитро перекинуты были через грудь, что больше подчеркивали красоту форм, нежели скрывали их. Служанки носят шиньоны, приколотые одною или несколькими золотыми стрелами или иной раз серебряной булавкой с наконечником в форме желудя. На крестьянках по большей части были маленькие тарелкообразные соломенные шляпки с кокетливыми цветами, прикрывавшие голову только с одного боку. Мужской наряд меньше отличается от нашего, и только громадные черные бакенбарды, пышно распускавшиеся над галстуком, бросились мне в глаза, и здесь я впервые обратил внимание на эту моду.

Но если пристально взглядишь в этих людей, мужчин и женщин, то в лицах и во всем существе их откроешь следы цивилизации, которая отличается от нашей тем, что она ведет начало не от средневекового варварства, а от римской эпохи, причем она никогда не была вполне искоренена и только видоизменялась сообразно с характером разных хозяев страны. Цивилизация этих людей не отмечена такой бьющей в глаза свежестью полировки, как у нас, где дубовые стволы только вчера обтесаны и все пахнет еще лаком. Кажется, что эта человеческая толпа на Piazza delle Erbe на протяжении веков постепенно меняла только одежду и обороты речи, нравы же и самый дух ее мало изменились. Здания, окружающие эту площадь, по-видимому, не могли так легко угнаться за временем; от этого, однако, вид их не менее привлекателен, и он удивительно трогает душу. Здесь расположены высокие дворцы в венецианско-ломбардском стиле, с бесчисленными балконами и веселыми фресками; посредине возвышается единственный памятник — колонна, рядом с ней фонтан и каменная статуя святой; виднеется затейливо расписанный красной и белой краской Подеста, гордо высящийся за величественными стрельчатыми воротами; там замечаешь опять старую четырехугольную колокольню с полуразрушенным циферблатом и часовой стрелкою, так что похоже на то, будто время само решило покончить с собою, — над всею площадью веет то же

романтическое очарование, которое так радостно сквозит в фантастических творениях Людовико Ариосто или Людовико Тика.

Близ площади находится дом, который считают дворцом Капулетти, потому что над внутренним двором его высечена из камня шляпа. Теперь это грязный кабак для извозчиков и кучеров, и в качестве трактирной вывески над ним висит красная жестяная шляпа, вся продырявленная. В церкви неподалеку показывают и часовню, где, согласно преданию, помолвлена была несчастная влюбленная пара. Поэт любит посещать такие места, хотя бы он сам и смеялся над легковерием своего сердца. Я застал в этой часовне одинокую женщину, жалкое, поблекшее существо; после долгих коленопреклонений и молитв она со вздохом встала, удивленно посмотрела на меня безмолвным болезненным взглядом и, наконец, вышла, шатаясь, словно у нее были переломаны кости.

Невдалеке от Piazza delle Erbe находятся и гробницы Скалигеров. Они так же поразительно великолепны, как и сам этот гордый род, и жаль, что они расположены в тесном углу, где должны как бы жаться друг к другу, чтобы занять как можно меньшее пространство, и где даже для наблюдателя не остается места, чтобы рассмотреть их как следует. Похоже на то, будто здесь символически представлена историческая участь этого рода; он занимает столь же малый уголок в общетальянской истории, но этот уголок заполнен блеском подвигов, величием чувств и высокомерной пышностью. В своих памятниках они такие же, как в истории — гордые, железные рыцари на железных конях, и всех величественнее Канграде — дядя и Мастино — племянник.

ГЛАВА XXIV

О веронском амфитеатре говорили многие; там довольно места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не вместились бы в круг этого знаменитого сооружения. Выстроено оно именно в том строго деловитом стиле, красота которого определяется совершенной прочностью, и, подобно всем общественным римским зданиям, свидетельствует о духе, являющем не что иное, как дух самого

Рима. А Рим? Найдется ли человек настолько невежественно-здоровый, чтобы сердце его не затрпетало втайне при этом имени и чтобы ум его не испытал обычного в таком случае традиционного потрясения? Что касается меня, то признаюсь, я почувствовал больше тревоги, чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле древнего Рима. «Ведь древний Рим теперь мертв, — успокаивал я мою трепетную душу, — и тебе выпала отрадная участь обозревать, не подвергаясь опасности, его прекрасные останки». Но вслед за тем опять возникали во мне фальстафовские страхи: что, если он не совсем еще мертв, а только притворяется и восстанет вновь — ведь это было бы ужасно!

Когда я посетил амфитеатр, там разыгрывали комедию: посредине арены, на маленькой деревянной эстраде ставили итальянский фарс, и зрители сидели под открытым небом, частью на низеньких стульях, частью на высоких каменных скамьях старого амфитеатра. Сидел здесь и я и смотрел на шуточные схватки Бригеллы и Тартальи на том самом месте, где сидели когда-то римляне, созерцая своих гладиаторов и травлю зверей. Небо надо мною, эта голубая хрустальная чаша, было то же, что и над ними. Понемногу смеркалось, загорались звезды, Труффальдино смеялся, Смеральдина сокрушалась, наконец явился Панталоне и соединил их руки. Публика зааплодировала и в полном восторге разошлась. Вся игра не стоила ни одной капли крови. Но это и была только игра. А римские игры не были играми. Те люди никак не могли удовольствоваться одной только видимостью, им для этого недоставало детской душевной ясности, а та серьезность, которая им была свойственна, в своем чистейшем и самом кровавом виде проявлялась в их играх. Они не были великими людьми, но благодаря своему положению были выше других земных существ, ибо им опорой служил Рим. Стоило им сойти с семи холмов, и они превращались в мелкоту. Отсюда и та мелкость, с которой мы сталкиваемся в их частной жизни. Геркуланум и Помпея, эти палимпсесты природы, где теперь из-под земли выкапывают старые каменные тексты, являют глазам путешественников частную жизнь римлян, протекавшую в маленьких домиках с крохотными комнатушками, которые составляют такой резкий контраст с колоссальными по-

стройками как выражением общественной жизни, с театрами, водопроводами, колодцами, дорогами, мостами, развалины которых и до сих пор вызывают изумление. Но в том-то все и дело: подобно тому как греки велики идеей искусства, евреи — идеей единого всесвятого бога, так римляне велики идеей их вечного Рима, велики повсюду, где они, воодушевленные этой идеей, сражались, писали и строили. Чем более разрастался Рим, тем более расширялась эта идея, отдельные единицы терялись в ней, великие люди, еще возвышающиеся над другими, держатся только ею, и ничтожество малых становится благодаря ей еще заметнее. Потому-то римляне были одновременно героями и в то же время величайшими сатириками, героями — когда они действовали, думая о Риме, и сатириками — когда они думали о Риме, осуждая действия соотечественников. Даже и крупнейшая личность должна была казаться ничтожной, когда к ней применялась идея такого необъятного масштаба, как идея Рима, и становилась жертвой сатиры. Тацит — самый жестокий мастер сатиры именно потому, что он глубже других чувствовал величие Рима и ничтожество людей. Он чувствует себя в своей стихии всякий раз, когда может сообщить, что передавали на форуме злые языки о какой-нибудь низости императора; он злобно счастлив, когда может рассказать о скандале с каким-нибудь сенатором, например о неудачной лести.

Я долго еще разгуливал по верхним скамьям амфитеатра, погруженный в мысли о прошлом. Так как все здания наиболее ясно при вечернем свете проявляют свойства живущего в них духа, то и эти стены рассказали мне на своем отрывочном, лапидарном языке¹ о вещах, исполненных глубокой значительности, они поведали мне о муках древнего Рима, и мне казалось, что я вижу, как бродят эти белые тени, внизу подо мною, в темном цирке. Казалось, я вижу Гракхов и их вдохновенные глаза мучеников. «Тиберий Семпроций, — воскликнул я, — я вместе с тобой подам мой голос за аграрный закон!» Увидел я и Цезаря, он шел рука об руку с Марком Брутом. «Вы помирились?» — воскликнул я. «Мы оба счи-

¹ Игра слов: лясис — по-латыни «камень»; лапидарный язык — язык камня.

тали себя правыми, — засмеялся Цезарь, — я не знал, что существует еще один римлянин, и считал себя вправе упрятать Рим в карман, а так как сын мой Марк оказался таким же римлянином, то он счел себя вправе убить меня за это». Позади их обоих скользил Тиберий Нерон, с расплывающимися ногами и неопределенным выражением лица. Видел я и женщин, бродивших там, и среди них Агриппину, с этим прекрасным лицом, властолюбивым и вызывающим странное сострадание, как лицо древней мраморной статуи, в чертах которой словно окаменела скорбь. «Кого ищешь ты, дочь Германика?» Уже я слышал ее жалобы — но вдруг раздался глухой звон молитвенного колокола и отвратительный барабанный бой вечерней зори. Гордые духи Рима исчезли, и я снова очутился в христианско-австрийской современности.

ГЛАВА XXV

Когда стемнеет, высший свет Вероны прогуливается по площади Ла-Бра или восседает там на маленьких стульчиках перед кофейнями, наслаждаясь шербетом, вечерней прохладой и музыкой. Там хорошо посидеть; мечтательное сердце убаюкивается сладостными звуками и само звучит им в лад. Порою, когда загремят трубы, оно внезапно очнется от упоительной дремоты и вторит всему оркестру. Солнечная бодрость прощизывает душу, пыльным цветом распускаются чувства и воспоминания, раскрывая глубокие черные глаза, и поверх всего, точно облака, проплывают мысли, гордые, медлительные, вечные.

Я бродил далеко за полночь по улицам Вероны, постепенно пустевшим и удивительно гулким. При свете полумесяца обрисовывались здания с их статуями, и мраморные лики, бледные и скорбные, порой бросали на меня взгляд. Я торопливо прошел мимо гробниц Скалигеров: мне показалось, что Кангранде, со свойственною ему по отношению к поэтам любезностью, хочет сойти с коня и сопровождать меня. «Оставайся, сиди, — крикнул я ему, — мне не нужно тебя, мое сердце — лучший чичероне, и оно повсюду рассказывает мне об историях, случившихся в домах, рассказывает точно, во всех подробностях, вплоть до имен и годов!»

Когда я подошел к римской триумфальной арке, оттуда выскользнул черный монах, и вдалеке раздалось ворчливое немецкое: «Кто идет?» — «Свои», — пропищал чей-то самодовольный дискант.

Но какой женщине принадлежал голос, так зловеще и сладостно проникший мне в душу, когда я поднимался по *Scala mazzanti*? Словно песня рвалась из груди умирающего соловья, полная предсмертной нежности и как бы молящая о помощи; каменные дома своим эхом повторили ее. На этом месте Антонио делла Скала убил своего брата Бартоломео, когда тот шел к возлюбленной. Сердце говорило мне, что она все еще сидит в своей комнате, ждет возлюбленного и поет, лишь бы заглушить страшное предчувствие. Но вскоре песня и голос показались мне такими знакомыми; я уже и прежде слышал эти бархатные, страстные, истекающие кровью звуки; они охватили меня, словно нежные, полные мольбы воспоминания. «Глупое сердце, — сказал я сам себе, — разве ты не знаешь песню о большом мавританском короле, которую так часто пела покойная Мария? А самый голос — разве ты забыл голос покойной Марии?»

Протяжные звуки преследовали меня по всем улицам вплоть до гостиницы «*Due Torre*»,¹ вплоть до моей спальни, вплоть до сновидений, — и я опять увидел мою бесценную усопшую, увидел ее прекрасной и недвижной; сторожившая гроб старуха опять удалилась, искоса бросив загадочный взгляд; ночная фиалка благоухала; я опять поцеловал милые уста, и дорогая покойница медленно поднялась, чтобы возратить мне поцелуй.

Если бы только знать, кто потушил свет!

ГЛАВА XXVI

Ты знаешь край? Цветут
лимоны в нем...

Ты знаешь эту песню? Вся Италия изображена в ней, но изображена в томящих тонах страсти. В «Итальянском путешествии» Гете воспел ее несколько подробнее, а Гете пишет всегда, имея оригинал перед глазами, и можно

¹ Две башни (*итал.*).

вполне положиться на верность контуров и красок. Поэтому-то я и нахожу уместным сослаться здесь, раз и навсегда, на «Итальянское путешествие» Гете — тем более, что до Вероны он ехал тем же путем, через Тироль. Я уже прежде говорил об этой книге, еще не будучи знаком с ее предметом, и нахожу, что мои суждения, основанные на предчувствии, вполне подтверждаются. В книге этой мы повсюду видим реальное понимание вещей и спокойствие самой природы. Гете держит перед нею зеркало, или — лучше сказать — он сам зеркало природы. Природа пожелала узнать, как она выглядит, и создала Гете. Он умеет отражать даже мысли ее, ее намерения, и пылкому гетеанцу нельзя поставить в упрек — особенно в жаркие летние дни — то обстоятельство, что он, изумясь тождеству отражений и оригиналов, приписывает зеркалу творческую силу, способность создавать такие же оригиналы. Некий господин Эккерман написал как-то книгу о Гете, где совершенно серьезно уверяет, что, если бы господь бог при сотворении мира сказал Гете: «Дорогой Гете, я, слава богу, покончил теперь со всем, кроме птиц и деревьев, и ты сделал бы мне большое одолжение, если бы согласился создать за меня эту мелочь», — то Гете, не хуже самого господя бога, сотворил бы этих птиц и эти деревья, в духе полного соответствия со всем мирозданием, а именно — птиц создал бы пернатыми, а деревья зелеными.

В словах этих есть правда, и я даже держусь того мнения, что Гете в некоторых случаях лучше бы справился с делом, чем сам господь бог, и что, например, он более правильно создал бы господина Эккермана — сделал бы его пернатым и зеленым. Право, природа совершила ошибку, не украсив голову господина Эккермана зелеными перьями, и Гете пытался исправить этот недостаток, выписав ему из Иены докторскую шляпу, которую собственноручно надел ему на голову.

После «Итальянского путешествия» можно рекомендовать «Италию» г-жи Морган и «Коринну» г-жи Сталь. Недостаток в таланте, который мог бы сделать этих дам совсем незаметными рядом с Гете, они возмещают мужественным настроением, которого Гете недостает. Ведь г-жа Морган говорила совсем по-мужски, своими речами она вселяла скорпионов в сердца наглых наемников, и смелы и сладостны были трели этого цорхающего

Я ехал в обществе шести бандитов в тяжеловесной «кароцце», которая была так заботливо прикрыта со всех сторон от слишком густой пыли, что я почти не заметил красот местности. Только два раза по пути до Брешии мой сосед приподнял кожаную занавеску, чтобы сплюнуть. В первый раз я не увидел ничего, кроме нескольких вспотевших елок, которые, казалось, сильно страдали в своих зеленых зимних одеяниях от томящей солнечной жары; в другой раз я увидел кусочек дивно прозрачного голубого озера, в котором отражались солнце и тощий гренадер. Этот последний, австрийский Нарцисс, с детской радостью дивился тому, как отражение в точности повторяло его движения, когда он брал ружье на караул, на плечо или на прицел.

О самой Брешии я мало могу сказать, так как воспользовался моим пребыванием в этом городе лишь для хорошего «пранцо». Нельзя поставить в упрек бедному путешественнику, что он стремится утолить голод физический прежде духовного. Но все же у меня хватило добросовестности — прежде чем снова сесть в карету, порасспросить о Брешии у «камерьере»; ¹ я узнал, между прочим, что в городе сорок тысяч жителей, одна ратуша, двадцать одна кофейня, двадцать католических церквей, один сумасшедший дом, одна синагога, один зверинец, одна тюрьма, одна больница, один столь же хороший театр и одна виселица для воров, крадущих на сумму меньше ста тысяч талеров.

Около полуночи я прибыл в Милан и остановился у господина Рейхмана, пемца, устроившего свою гостиницу на чисто немецкий лад. Это лучшая гостиница в Италии, заявили мне знакомые, которых я там встретил и которые весьма дурно отзывались об итальянских содержателях гостиниц и о блохах. Я только и слышал от них что возмутительные истории об итальянских мошенничествах; особенно же расточал проклятия сэр Вильям, уверяя, что, если Европа — мозг мира, то Италия — воровской орган этого мозга. Бедному баронету пришлось заплатить за скудный завтрак в «Локанда Кроче Бианка» в Падуе не более не менее как двенадцать франков, а в Виченце с него потребовал на водку человек, под-

¹ Лакея (итал.).

павший перчатку, которую он обронил, садясь в карету. Кузен его Том утверждал, что все итальянцы мошенники, с тою лишь разницею, что они не воруют. Если бы он был привлекательнее на вид, то мог бы также заметить, что все итальянки — мошенницы. Третьим в этом союзе оказался некий мистер Лайвер, которого я покинул в Брайтоне молодым теленком и нашел теперь в Милане сущим *boeuf à la mode*.¹ Он был одет как истый денди, и я никогда не видел человека, который превзошел бы его способностью изображать своею фигурой одни лишь острые углы. Когда он засовывал большие пальцы в проймы жилета, то кисти и остальные пальцы образовывали углы; даже пасть его разинута была в виде четырехугольника. К этому надо прибавить угловатую голову, узкую сзади, заостренную кверху, с низким лбом и очень длинным подбородком. Среди английских знакомых, которых я опять увидел в Милане, была и толстая тетка мистера Лайвера; подобно жировой лавине спустилась она с высот Альп в обществе двух белых как снег, холодных как снег снежных гусенят — мисс Полли и мисс Молли.

Не обвиняй меня в англomanии, любезный читатель, если я в этой книге часто говорю об англичанах; они слишком многочисленны сейчас в Италии, чтобы можно было не замечать их; они целыми полчищами кочуют по этой стране, располагаются во всех гостиницах, бегают повсюду, осматривая все, и трудно представить себе в Италии лимонное дерево без обнюхивающей его англичанки или же картинную галерею без толпы англичан, которые с путеводителями в руках носятся по ней, проверяя, все ли указанные в книге достопримечательности налицо. Когда видишь, как этот светловолосый и краснощекий народ, расфранченный и преисполненный любопытства, перебирается через Альпы и тянется по всей Италии в блестящих каретах, с пестрыми лакеями, ржущими скаковыми лошадьми, камеристками, закутанными в зеленые вуали, и прочими дорогими принадлежностями, кажется, будто присутствуешь при некоем элегантном переселении народов. Да и в самом деле, сын Альбиона, хоть он и носит чистое белье и платит за все наличными, все же представ-

¹ Мясное блюдо — рагу из говядины со шпиком и морковью; буквально: бык по моде (*франц.*).

ляется цивилизованным варваром в сравнении с итальянцем, который являет скорее переходящую в варварство цивилизацию. Первый обнаруживает в характере сдержанность грубости, второй — распущенную утонченность. А бледные итальянские лица, с этими страдальческими белками глаз, с болезненно нежными губами — как они глубоко аристократичны по сравнению с деревянными британскими физиономиями и их плебейски румяным здоровьем! Ведь итальянский народ внутренне болен, а больные, право, аристократичнее здоровых; ведь только больной человек становится человеком, у его тела есть история страданий, оно одухотворено. Мне думается даже, что путем страдания и животные могли бы стать людьми; я видел однажды умирающую собаку: она в своих предсмертных муках смотрела на меня почти как человек.

Выражение страдания заметнее всего на лицах итальянцев, когда говоришь с ними о несчастьи их родины, а к этому в Милане представляется много поводов. В груди итальянцев — это самая болезненная рана, и они вздрагивают, если даже осторожно прикоснуться к ней. В таких случаях они как-то по особенному поводят плечом — движение, наполняющее нас чувством необычайного сострадания. Один из моих англичан считал итальянцев равнодушными к политике на том основании, что они, казалось, безразлично слушали, как мы, иностранцы, толкуем о католической эмансипации и о турецкой войне; он был настолько несправедлив, что пасмешливо высказал это в разговоре с одним бледным итальянцем, у которого черная как смоль борода. Накануне вечером мы присутствовали на представлении новой оперы в La Scala и наблюдали картину неистовства, обычную в этих случаях. «Вы, итальянцы, — обратился британец к бледному человеку, — умерли, кажется, для всего, кроме музыки, и только она еще может воодушевлять вас». — «Вы несправедливы, — ответил бледный человек и повел плечом. — Ах! — прибавил он со вздохом, — Италия элегически грезит среди своих развалин; если время от времени она вдруг пробуждается при звуках какой-нибудь песни и бурно срыгается с места, то воодушевление это вызвано не самою песней, а скорее воспоминаниями и чувствами, разбуженными песней. Италия всегда хранит их в сердце, а тут они с силою вырываются наружу, —

и в этом-то смысл дикого шума, который вы слышали в «La Scala».

Быть может, признание это дает некоторый ключ к разгадке того энтузиазма, который вызывают по ту сторону Альп оперы Россини и Мейербера. Если мне когда-либо приходилось созерцать неистовство человеческое, так это на представлении «Crosiatio in Egitto»,¹ где музыка переходила внезапно от мягких тонов грусти к скорбному ликованию. Такое неистовство именуется в Италии *furore*.

ГЛАВА XXVIII

Хотя мне и представляется теперь случай, любезный читатель, коснуться Бреры и Амброзианы и преподнести тебе мои суждения об искусстве, я, однако, пронесу мимо тебя чашу сия и удовольствуюсь замечанием, что тот самый узкий подбородок, который придает оттенок сентиментальности картинам ломбардской школы, я наблюдал у многих ломбардских красавиц на улицах Милана. Мне всегда в высшей степени поучительной казалась возможность сопоставлять с произведениями какой-нибудь школы те оригиналы, которые служили для нее моделями; характер школы выяснялся при этом нагляднее. Так, на ярмарке в Роттердаме мне стал понятен Ян Стен в божественной своей веселости; позднее таким же путем постиг я на Лунгарно правдивость форм и энергию духа флорентинцев, а на площади св. Марка — чуткость к краскам и мечтательную поверхность венецианцев. Устремись же к Риму, душа моя, может быть там ты возвысишься до созерцания идеального и до постижения Рафаэля!

Все же я не могу оставить без упоминания величайшую во всех смыслах достопримечательность Милана — его собор.

Издали кажется, что он вырезан из белой почтовой бумаги, а вблизи с испугом замечаешь, что эта резьба создана из самого неопровержимого мрамора. Бесчисленные статуи святых, покрывающие все здание, выглядят

¹ «Распятый в Египте» (итал.).

всюду из-под готических кровелек и усеивают все шпили; все это каменное сборище может повергнуть вас в полное смятение. Если рассматривать здание в его целом несколько дольше, то находишь его все же очень красивым, исполински прелестным, вроде игрушки для детей великанов. В полунощном сиянии месяца он представляет зрелище еще более красивое; все эти бесчисленные белые каменные люди сходят со своей высоты, где им так тесно, провожают вас по площади и нашептывают на ухо старые истории, забавные и святые таинственные истории о Галеаццо Висконти, начавшем постройку собора, и о Наполеоне Бонапарте, продолжившем ее.

«Видишь ли, — сказал мне один странный святой, изваянный в новейшее время из новейшего мрамора, — видишь ли, мои старшие товарищи не могут понять, почему император Наполеон взялся так усердно за достройку собора. Но я-то хорошо понимаю: он сообразил, что это большое каменное здание во всяком случае окажется полезным сооружением и пригодится даже и тогда, когда христианства больше не будет».

Когда христианства больше не будет... Я прямо испугался, когда узнал, что в Италии есть святые, говорящие таким языком, да притом на площади, где разгуливают взад и вперед австрийские часовые в медвежьих шапках и с навьюченными на спину рапцами. Как бы то ни было, этот каменный чудак до некоторой степени прав: внутри собора летом веет приятной прохладой, там весело и мило, и своей ценности он не утратил бы и при ином назначении.

Достроить собор — было одним из любимых замыслов Наполеона, и он был близок к цели, когда его могущество оказалось сломленным. Теперь австрийцы завершают это сооружение. Продолжается также постройка знаменитой триумфальной арки, которая должна была замыкать Симплонскую дорогу. Правда, статуя Наполеона не будет увенчивать арку, как это предполагалось. Но все-таки великий император оставил по себе памятник много лучше и прочнее мраморного, и ни один австриец не скроет его от нашего взора. Когда мы, прочие, давно уже будем срезаны косою времени и развеяны ветром, как какие-нибудь былинки, памятник этот все еще будет стоять невредимо; новые поколения возникнут из земли, будут

с головокружением взирать снизу вверх на этот памятник и снова лягут в землю; и время, не имея сил разрушить памятник, попытается закутать его в легендарные туманы, и его исполинская история станет наконец мифом.

Быть может, через тысячи лет какой-нибудь хитроумный учитель юношества в своей преученной диссертации неопровержимо докажет, что Наполсон Бонапарте совершенно тождественен с другим титаном, похитившим огонь у богов, прикованным за это преступление к одинокой скале среди моря и отданным в добычу коршуну, который ежедневно клевал его сердце.

ГЛАВА XXIX

Прошу тебя, любезный читатель, не прими меня за безусловного бонапартиста; я поклоняюсь не делам, а гению этого человека. Я безусловно люблю его только до восемнадцатого брюмера — в тот день он предал свободу. И сделал он это не по необходимости, а из тайного влечения к аристократизму. Наполеон Бонапарте был аристократ, аристократический враг гражданского равенства, и страшным недоразумением оказалась война, в смертельной ненависти навязанная ему европейской аристократией во главе с Англией; дело в том, что если он и намеревался произвести некоторые перемены в личном составе этой аристократии, он сохранил бы все же большую ее часть и ее основные принципы; он возродил бы эту аристократию, которая теперь повержена в прах, чему виною ее собственная дряхлость, потеря крови и усталость от последней, несомненно самой последней ее победы.

Любезный читатель! Условимся здесь раз навсегда. Я прославляю не дела, а только дух человеческий; дела — только одежды его, и вся история — не что иное, как старый гардероб человеческого духа. Но любви дорожи иногда и старые одежды, и я именно так люблю плащ Маренго.

«Мы на поле битвы при Маренго». Как возликовало мое сердце, когда кучер произнес эти слова! Из Милана

я выехал вечером в обществе весьма учтивого лифляндца, изображавшего из себя русского, и на следующее утро увидел восход солнца над знаменитым полем битвы.

Здесь генерал Бонапарте глотнул так сильно из кубка славы, что в опьянении сделался консулом, императором и завоевателем мира, пока не протрезвился наконец, на острове св. Елены. Немного лучше пришлось и нам: и мы опьянели вместе с ним, нам привиделись те же сны, мы так же, как и он, пробудились и с похмелья пускаемся во всякие дельные размышления. Иной раз нам кажется даже, что военная слава — устаревшее развлечение, что война должна приобрести более благородный смысл и что Наполеон, может быть, последний завоеватель.

Действительно, похоже на то, что теперь борьба идет не столько из-за материальных, сколько из-за духовных интересов, что всемирная история должна стать уже не историей разбойников, а историей умов. Главный рычаг, который так успешно приводили в движение честолюбивые и корыстные государи ради собственных своих интересов, а именно — национальность с ее тщеславием и ненавистью, — обветшал и пришел в негодность, с каждым днем все более исчезают глупые национальные предрассудки, резкие различия сглаживаются во всеобщности европейской цивилизации. В Европе нет больше наций, есть только партии, и удивительно, как они, при наличии самых разнообразных окрасок, так хорошо узнают друг друга и при огромном различии в языках так хорошо друг друга понимают. Подобно тому как есть материальная политика государств, так есть и духовная политика партий, и подобно тому как политика государств способна создать из самой ничтожной войны, возгоревшейся между двумя незначительнейшими державами, общую европейскую войну, в которую с большим или меньшим жаром и во всяком случае с интересом вмешиваются все государства, так теперь в мире не может возникнуть и самое ничтожное столкновение, при котором, в силу указанной политики партий, не были бы поняты общие духовные интересы, и самые далекие, чуждые по складу партии не оказались бы вынужденными выступить *pro* или *contra*.¹ В результате этой политики партий, которую я называю

¹ За или против (*лат.*).

политикой духовной, потому что ее интересы одухотвореннее, а ее *ultimae rationes*¹ подкрепляются не металлом, так же как и в результате политики государств, создаются два больших лагеря, враждебных друг другу и ведущих борьбу — борьбу слов и взглядов. Лозунги и представители этих двух огромных масс, принадлежащих к разным партиям, меняются ежедневно, путаницы здесь достаточно, часто происходят величайшие недоразумения, и число их скорее увеличивается, чем уменьшается, благодаря дипломатам этой духовной политики — писателям, но если умы и заблуждаются, то сердца чувствуют, чего они хотят, и время движется, требуя решения своей великой задачи.

В чем же заключается великая задача нашего времени?

Это — эмансипация. Не только эмансипация ирландцев, греков, франкфуртских евреев, вест-индских чернокожих и каких-либо других угнетенных народов, но эмансипация всего мира, в особенности Европы, которая достигла совершеннолетия и рвется из железных помочей, на которых ее держат привилегированные сословия, аристократия. Пусть некоторые философствующие ренегаты свободы продолжают ковать тончайшие цепи доводов, пытаясь доказать, что миллионы людей созданы в качестве вьючных животных для нескольких тысяч привилегированных рыцарей; они не смогут убедить нас в этом, пока не докажут, выражаясь словами Вольтера, что первые родились на свет с седлами на спинах, а последние — со шпорами на ногах.

Всякое время имеет свои задачи, и, разрешая их, человечество движется вперед. Прежнее неравенство, установленное в Европе феодальной системой, являлось, может быть, необходимым или служило необходимым условием для успехов цивилизации; теперь же оно задерживает ее развитие и возмущает цивилизованные сердца. Французы, народ общественный, были, естественно, крайне раздражены этим неравенством, которое нестерпимо противоречило принципам общественности, они попытались добиться равенства, принявшись рубить головы тем, кто хотел во что бы то ни стало подняться над общим уровнем,

¹ Последние доводы (*лат.*).

и революция явилась сигналом для освободительной войны всего человечества.

Восславим французов! Они позаботились об удовлетворении двух величайших потребностей человеческого общества — о хорошей пище и о гражданском равенстве: в поварском искусстве и в деле свободы они достигли величайших успехов, и когда все мы, как равноправные гости, соберемся на великом пиру примирения, в хорошем расположении духа, — ибо что может быть лучше общества равных за богато убранном столом? — то первый гост мы провозгласим за французов. Правда, пройдет еще некоторое время, прежде чем можно будет устроить этот праздник и прежде чем осуществится эмансипация; но оно, это время, наступит наконец, и мы, примиренные и равные, усядемся за одним и тем же столом; мы объединимся тогда и в полном единении будем бороться против всяческих других мировых зол, быть может в конце концов и против смерти, чья строгая система равенства нас по крайней мере не оскорбляет так, как самодовольное учение аристократов о неравенстве.

Не улыбайся, поздний читатель! Каждая эпоха верит в то, что ее борьба — самая важная из всех; в этом собственно и заключается вера каждой эпохи, с этой верой она живет и умирает; будем же и мы жить этой религией свободы и умрем с нею; быть может, она более заслуживает названия религии, чем пустой отживший призрак, который мы по привычке называем этим именем, — наша священная борьба представляется нам самой важной борьбой, какая когда-либо велась на земле, хотя историческое предчувствие и подсказывает нам, что когда-нибудь наши внуки будут смотреть на эту борьбу с тем же, может быть, равнодушием, с каким мы смотрим на борьбу первых людей, воевавших с такими же жадными чудовищами-драконами и с хищниками-великанами.

ГЛАВА XXX

На поле битвы при Маренго мысли налетают на человека такой несметной толпой, что можно подумать — это те самые мысли, которые здесь оборвались внезапно у многих и которые блуждают тешерь, как собаки, потерявшие

хозяев. Я люблю поля сражений; ведь как ни ужасна война, все же она обнаруживает величие человека, держащего противиться своему злейшему исконному врагу — смерти. В особенности же поражает именно это поле сражения, усеянное кровавыми розами, где миру был явлен танец свободы, великолепный брачный танец! Народ Франции был в то время женихом, он созвал весь мир к себе на свадьбу и, как поется в песне:

Эх! справили мы сговор,
Мы били не горшки —
Дворянские башки.

Но — увь! — каждая пядь, на которую продвигается человечество, стоит потоков крови. Не слишком ли это дорого? Разве жизнь отдельного человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира. Помолчим об этом, — могли бы сказать мертвые, павшие здесь, но мы-то живы и будем сражаться и впредь в священной войне за освобождение человечества.

«Кто теперь думает о Маренго! — сказал мой спутник, русский из Лифляндии, когда мы проезжали по этому полю. — Теперь все взоры устремлены на Балканы, где мой земляк Дибич оправляет чалмы на турецких головах, и мы еще в этом году зайдем Константинополь. Вы за русских?»

Это был вопрос, на который я охотно ответил бы всюду, только не на поле битвы при Маренго. Я увидел в утреннем тумане человека в треугольной шляпе, в сером походном плаще; он мчался вперед со скоростью мысли, вдалеке звучало жутко-сладостное «Allons, enfants de la patrie!»¹ И все-таки я ответил: «Да, я за русских».

И в самом деле, в удивительной смене лозунгов и вождей, в этой великой борьбе обстоятельства сложились так, что самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России и даже смотрит на императора Николая как на гонфалоньера свободы. Странная перемена! Еще два года назад мы эту роль приписывали

¹ «Вперед, дети родины!» (начальные слова «Марсельезы») — (франц.).

одному английскому министру; вопли глубоко торийской ненависти по адресу Джорджа Каннинга решили в то время наш выбор; в аристократически подлых оскорблениях, нанесенных ему, мы видели гарантию его верности, и когда он умер смертью мученика, мы надели траур, и восьмое августа стало священным днем в календаре свободы. Но самое знамя мы с Даунинг-стрита перенесли в Петербург, избрав знаменосцем императора Николая, рыцаря Европы, защитившего греческих вдов и сирот от азиатских варваров и заслужившего в этой доблестной борьбе свои шпоры. Опять враги свободы слишком явно выдали себя, и той пронизательностью, которую они проявляют в своей ненависти, мы вновь воспользовались для того, чтобы познать, в чем наше собственное благо. Повторилось обычное явление: ведь наши представители определяются не столько нашим собственным выбором, сколько голосами наших врагов, и, наблюдая удивительно подобранный приход, воссылавший к небу благочестивые мольбы о спасении Турции и гибели России, мы скоро обнаружили, кто нам друг или, вернее, кто внушает страх нашим врагам. И смеялся же, должно быть, господь бог на небе, слушая, как Веллингтон, великий муфтий, папа, Ротшильд I, Меттерних и целая свора дворянчиков, биржевиков, попов и турок молятся одновременно об одном — о спасении полумесяца!

Все, что алармисты сочиняли до сих пор об опасности, которой подвергает нас чрезмерная мощь России, — сплошная глупость. Мы, немцы, по крайней мере ничем не рискуем: немного меньше или немного больше рабства — это не имеет значения, когда дело идет о завоевании самого высокого — об освобождении от остатков феодализма и клерикализма. Нам грозят владычеством кнута, но я охотно вытерплю и порцию кнута, если буду знать наверно, что и нашим врагам достанется то же. Бьюсь, однако, об заклад, что они будут, как и прежде всегда делали, вилять хвостом перед новой властью, будут грациозно улыбаться и предложат самые постыдные услуги, а в награду за это, раз уж надо подвергаться порке, выхлопочут себе привилегию почетного кнута, подобно сямским вельможам, которых, когда они присуждены к наказанию, суют в шелковые мешки и бьют надушенными палками, меж тем как провинившимся простым обывателям пола-

гается всего лишь холщовый мешок и палки отнюдь не столь ароматные. Что же, предоставим им эту привилегию, раз она единственная, только бы их выпороли, в особенности — английскую знать. Пусть нас усердно уверяют, что это та самая знать, которая вынудила у деспотизма Великую Хартию, что Англия, при устойчивости в ней гражданского сословного неравенства, все-таки гарантирует личную свободу, что Англия являлась убежищем для всех свободных умов, когда деспотизм угнетал весь континент — все это *temp̄i passati*.¹ Пусть провалится Англия со своими аристократами! Для свободных умов существует теперь лучшее убежище! Если бы и вся Европа превратилась в сплошную тюрьму, то осталась бы лазейка для бегства: это — Америка, и, слава богу, лазейка больше, чем вся тюрьма.

Но все это смешные опасения. Если сравнить в смысле свободы Англию и Россию, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же — на основе принципов. Как самые обстоятельства, так и их духовные последствия в Англии носят печать средневековья; вся Англия застыла в своих, не поддающихся омоложению, средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертного боя. Между тем принципы, из которых возникла русская свобода или, вернее, на основе которых она с каждым днем все больше и больше развивается, это — либеральные идеи новейшего времени; русское правительство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизм является скорее диктатурой, направленной к тому, чтобы внедрить идеи непосредственно в жизнь; это правительство не уходит корнями в феодализм и клерикализм, оно прямо враждебно силам дворянства и церкви; уже Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство дается в России государственной службой; Россия — демократическое государство, я бы назвал ее даже христианским государством, если употреблять это столь часто извращаемое понятие в его лучшем космополитическом значении: ведь русские уже благодаря размеру своей страны свободны от узкосердечия языче-

¹ Времена прошедшие (*лат.*).

ского национализма, они космополиты или по крайней мере на одну шестую космополиты, поскольку Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира.

И, право, когда какой-нибудь русский немец, вроде моего лифляндского спутника, патриотически хвастается и распространяется о «пашей России» и о «нашем Дибиче», мне кажется, будто я слушаю селедку, выдающую океан за свою родину, а кита — за соотечественника.

ГЛАВА XXXI

«Я за русских», — сказал я на поле битвы при Маренго и вышел на несколько минут из кареты, чтобы предаться утреннему молитвенному созерцанию.

Словно из-под триумфальной арки, образовавшей исполинскими грядками облаков, всходило солнце — победоносно, радостно, уверенно, обещая прекрасный день. Но я чувствовал себя как бедный месяц, еще бледневший в небе. Он совершил свой одинокий путь в глухой ночи, когда счастье спало и бодрствовали только призраки, совы и грешники; а теперь, когда народился юный день, в ликующих лучах, в трепещущем блеске утренней зари, теперь он должен уйти — еще один скорбный взгляд в сторону великого светила, и он исчез, как благовонный туман.

«Будет прекрасный день!» — крикнул мой спутник из кареты. Да, будет прекрасный день, тихо повторило мое благоговейное сердце и задрожало от тоски и радости. Да, будет прекрасный день, солнце свободы согреет землю лучше, чем вся аристократия звезд; расцветет новое поколение, зачатое в свободном любовном объятии, не на ложе принуждения и не под присмотром духовных мытарей; свободно рожденные люди принесут с собою свободные мысли и чувства, о которых мы, прирожденные рабы, не имеем и понятия — о, те люди совершенно так же не будут понимать, как ужасна была почь, во мраке которой нам пришлось жить, как страшна была наша борьба с безобразными призраками, мрачными совами и ханжествующими грешниками! О, мы, бедные бойцы, всю нашу жизнь провели в борьбе, и усталые и бледные встретим мы зарю победного дня! Пламя солнечного восхода

не вызовет румянца на наших щеках и не согреет наших сердец, мы умираем как заходящий месяц, — слишком скупо отмерены человеку пути его страстей, и в конце их — неумолимая могила.

Право, не знаю, заслуживаю ли я того, чтобы гроб мой украсили когда-нибудь лавровым венком. Поэзия, при всей моей любви к ней, всегда была для меня только священной игрушкой или же освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большого значения славе поэта, и меня мало беспокоит, хвалят ли мои песни или порицают. Но на гроб мой вы должны возложить меч, ибо я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества!

ГЛАВА XXXII

В полуденный зной мы укрылись во францисканском монастыре, который расположен был довольно высоко в горах и, словно какой-нибудь охотничий замок веры, со своими мрачными кипарисами и белыми монахами смотрел сверху вниз на радостно-зеленые долины Апеннин. Это было красивое сооружение, да и вообще мне пришлось проезжать мимо многих весьма замечательных монастырей и церквей, не считая картезианского монастыря в Монце, который я видел только снаружи. Часто я не знал, чему больше дивиться — красоте ли местности, величию ли старинных храмов или столь же величественному, твердому, как камень, характеру их зодчих, которые, конечно, могли предвидеть, что лишь поздние потомки в состоянии будут закончить постройку, и все же, невзирая на это, в полном спокойствии закладывали первый камень и громоздили камни на камни, пока смерть не отрывала их от работы; тогда другие зодчие продолжали постройку и в свою очередь уходили на покой — все в твердом уповании на вечность католической веры и в твердой уверенности, что таков же будет образ мыслей последующих поколений, которые должны продолжить то, на чем остановились их предшественники.

То была вера эпохи, с этою верою жили и смыкали глаза старые зодчие. Вот лежат они в преддвериях тех самых

храмов, и нельзя не пожелать, чтобы сон их был крепок, чтобы новое время смехом своим не разбудило их, в особенности же тех, кто покоится у какого-нибудь старого незаконченного собора: им было бы слишком тяжело, проснувшись внезапно ночью, увидеть в скорбном сиянии месяца свое незавершенное творение и убедиться вскоре, что время дальнейшего строительства миновало и вся их жизнь прошла бесполезно и глупо.

Таков голос нынешнего, нового времени, у которого иные задачи, иная вера.

Когда-то я слышал в Кельне, как маленький мальчик спрашивал у матери, почему не достраивают наполовину готовые соборы. Это был хорошенький мальчик, и я поцеловал его в умные глаза, а так как мать не могла ответить ему толком, то я сказал, что люди сейчас заняты совсем другим делом.

Недалеко от Генуи, с высоты Апеннин, видно море, меж зеленых горных вершин светлеет голубая водная равнина, и, кажется, суда, появляющиеся то здесь, то там, плывут на всех парусах среди гор. Если же наблюдать это зрелище в закатный час, когда начинается чудная игра последних лучей солнца и первых вечерних теней и все краски и контуры окутываются туманом, то душу охватывает подлинно сказочное очарование; карета шумно катится с горы, дремлющие в душе сладостные образы пробуждаются и вновь замирают, и, наконец, вам мерещится, что вы в Генуе.

ГЛАВА XXXIII

Город этот стар без старины, тесен без уюта и безобразен свыше всякой меры. Он выстроен на скале, у подножия гор, поднимающихся амфитеатром и как бы замыкающих в своих объятиях прелестный залив. Тем самым генуэзцы от природы получили лучшую и безопаснейшую гавань. Поскольку весь город стоит, как уже сказано, на одной скале, пришлось, ради экономии места, строить дома очень высокими и делать улицы очень узкими, так что почти все они темные и только по двум из них может проехать карета. Но дома служат здесь жителям, по боль-

шей части купцам, почти исключительно в качестве товарных складов, а по ночам они спят в них; весь же свой торгашеский день они проводят, бегая по городу или сидя у своих дверей — вернее, в дверях, ибо иначе жителям противоположных домов пришлось бы соприкасаться с ними коленями.

Со стороны моря, особенно вечером, город представляет более приятное зрелище. Он покоится тогда у берегов, как побелевший скелет выброшенного на сушу огромного зверя; черные муравьи, именующие себя генуэзцами, копошатся в нем, голубые морские волны плещутся и журчат подобно колыбельной песне, месяц, бледное око ночи, грустно глядит сверху.

В саду дворца Дориа старый морской герой стоит в образе Нептуна среди большого бассейна. Но статуя обветшала и изувечена, вода иссякла, и чайки выют гнезда на ветвях черных кипарисов. Как мальчик, у которого из головы не выходят знаменитые драмы, я, при имени Дориа, сейчас же вспомнил о Фридрихе Шиллере, этом благороднейшем, хотя и не величайшем поэте Германии.

Дворцы прежних властителей Генуи, ее нобилей, несмотря на свой упадок, в большинстве все же прекрасны и полны роскоши. Они расположены главным образом на двух больших улицах, именуемых *Strada nuova*¹ и *Valbi*. Самый замечательный из них — дворец Дураццо; здесь есть хорошие картины, в том числе принадлежащий кисти Паоло Веронезе «Христос», которому Магдалина вытирает омытые поги. Она так прекрасна, что боишься, как бы ее, чего доброго, не совратили еще раз. Я долго стоял перед нею. Увы! Она не подняла на меня глаз. Христос стоит как некий Гамлет от религии — «go to a nunney».² Я нашел тут также нескольких голландцев и отличные картины Рубенса; они насквозь пронизаны величайшей жизнерадостностью, свойственной этому нидерландскому титану, чей дух был так мощно окрылен, что взлетел к самому солнцу, несмотря на то, что сотня центнеров голландского сыра тянула его за ноги кнizu. Я не могу пройти мимо самой незначительной картины этого великого живописца, чтобы

¹ Новая улица (*итал.*).

² «Иди в монастырь» — слова Гамлета, обращенные к Офелии (*англ.*).

не принести ей дань моего восхищения — тем более что теперь входит в моду пожимать плечами при его имени из-за недостатка у него идеализма. Историческая школа в Мюнхене с особенной важностью проводит этот взгляд. Посмотрите только, с каким высокомерным пренебрежением шествует долговолосый корнелианец по рубенсовской зале! Но, может быть, заблуждение учеников станет понятным, если уяснить всю громадность контраста между Петером Корнелиусом и Петером-Паулем Рубенсом. Невозможно, пожалуй, вообразить больший контраст — и тем не менее иногда мне кажется, что между ними есть что-то общее, более чувствуемое мною, чем видимое. Быть может, в обоих заложены в скрытой форме характерные свойства их общей родины, находящие слабый родственный отзвук в их третьем земляке — во мне. Но это скрытое родство ни в коем случае не заключается в нидерландской жизнерадостности и яркости красок, улыбающихся нам со всех картин Рубенса, — можно подумать, что они написаны в опьянении радостными струями рейнского вина, под ликующие звуки плясовой музыки кирмеса. Картины же Корнелиуса кажутся, право, написанными скорее в страстную пятницу, когда на улицах раздавались заунывные напевы скорбного крестного хода, нашедшие отзвук в мастерской и в сердце художника. Эти художники напоминают друг друга скорее плодовитостью, творческим дерзанием, гениальной стихийностью; оба — прирожденные живописцы; оба принадлежат к кругу великих мастеров, блиставших по преимуществу в эпоху Рафаэля, в эпоху, которая могла еще непосредственно влиять на Рубенса, но так резко отличается от нашей, что нас почти пугает появление Петра Корнелиуса, и порою он представляется нам как бы духом одного из великих живописцев рафаэлевской поры, вставшим из гроба, чтобы дописать еще несколько картин, мертвым творцом, вызвавшим себя к жизни силой схороненного вместе с ним, знакомого ему животворящего слова. Когда рассматриваешь его картины, они глядят на нас как бы глазами пятнадцатого века; одежды на них призрачны, словно шелестят мимо нас в полуночную пору, тела волшебны, могучи, обрисованы с точностью ясновидения, захватывающе правдивы, только крови недостает им, недостает пульсирующей жизни, красок. Да, Корнелиус — творец,

но если всмотреться в созданные им образы, то кажется, что все они недолговечны, все они как будто написаны за час до своей кончины, на всех лежит скорбный отпечаток грядущей смерти. Фигуры Рубенса, несмотря на свою жизнерадостность, вызывают в нашей душе такое же чувство; кажется, что и в них также заложено семя смерти, и именно благодаря избытку жизни, багровому полнокровию, их должен поразить удар. В этом, может быть, и состоит то тайное сродство, которое мы так удивительно ощущаем, когда сопоставляем обоих мастеров. Доведенная до предела жизнерадостность в некоторых картинах Рубенса и глубочайшая скорбь в картинах Корнелиуса возбуждают в нас, пожалуй, одно и то же чувство. Но откуда эта скорбь у нидерландца? Быть может, это — страшное сознание, что он принадлежит к давно отошедшей эпохе, и жизнь его — лишь мистический эпилог? Ведь он — увы! — не только единственный великий живописец среди ныне живущих, но, может быть, последний из тех, кто будет живописцем на этой земле; до него, уже со времен семьи Караччи, — долгий период мрака, а за ним вновь смыкаются тени, его рука — одиноко светящаяся рука призрака в ночи искусства, и картины, которые она пишет, запечатлены зловещей грустью этой суровой, резкой отчужденности. На эту руку, руку последнего живописца, я не мог смотреть без тайного содрогания, когда встречался с ним самим, невысоким, подвижным человеком с горящими глазами; и вместе с тем рука эта вызывала во мне чувство самого глубокого благоговения, ибо я вспоминал, что когда-то она любовно водила моими маленькими пальцами и помогала мне очерчивать контуры лиц, когда я, еще мальчиком, учился рисованию в Дюссельдорфской академии.

ГЛАВА XXXIV

Я никак не могу не упомянуть о собрании портретов генуэзских красавиц, которые показывают во дворце Дураццо. Ничто в мире не настраивает нашу душу печальнее, чем такое созерцание портретов красивых жещиц, умерших несколько столетий тому назад. Нами

овладевает меланхолическая мысль: от оригиналов всех этих картин, от всех этих красавиц, таких прелестных, кокетливых, остроумных, лукавых, мечтательных, от всех этих майских головок с апрельскими капризами, от всей этой женской весны ничего не осталось, кроме пестрых мазков, брошенных живописцем, тоже давно истлевшим, на ветхий кусочек полотна, которое со временем тоже обратится в пыль и развеется. Так бесследно проходит в жизни все, и прекрасное и безобразное; смерть, сухой педант, не щадит ни розы, ни репейника, она не забывает одинокой былинки в самой дальней пустыне, она разрушает до основания, без усталости; повсюду мы видим, как она обращает в прах растения и животных, людей и их творения, даже египетские пирамиды, которые, казалось бы, противятся этой разрушительной ярости, а они — только трофеи ее могущества, памятники тленности, древние гробницы царей.

Но еще тягостнее, чем это чувство вечного умирания, пустынного зияющего провала в небытие, гнетет нас мысль, что мы и умрем даже не как оригиналы, а как копии давно исчезнувших людей, подобных нам и духом и телом, и что после нас опять родятся люди, которые в свою очередь будут в точности походить на нас, чувствовать и мыслить, как мы, и точно так же будут уничтожены смертью, — безрадостная, вечно повторяющаяся игра, в которой плодородной земле суждено лишь производить, производить больше, чем может разрушить смерть, и заботиться не столько об оригинальности индивидов, сколько о поддержании рода.

С поразительной силой охватил меня мистический трепет таких мыслей, когда я во дворце Дураццо увидел портреты генуэзских красавиц, и среди них — картину, возбуждавшую сладостную бурю в моей душе, так что и теперь, когда я вспоминаю об этом, ресницы мои дрожат, — это было изображение мертвой Марии.

Хранитель галереи был, правда, того мнения, что картина изображает одну генуэзскую герцогиню, и пояснил тоном чичероне, что она принадлежит кисти Джорджо Барбарелли дель Кастельфранко де Тревиджано, по прозвищу Джорджоне, — он был одним из величайших живописцев венецианской школы, родился в 1477 и умер в 1511 году.

— Пусть будет по-вашему, синьор custode.¹ Но портрет очень схож, если он даже и написан за несколько столетий вперед — это же не изъян. Рисунок правилен, краски великолепны, складки покрывала на груди удались отлично. Будьте любезны, снимите картину на несколько секунд со стены, я сдую пыль с губ и сгоню паука, усевшегося в углу рамы, — Мария всегда испытывала отвращение к паукам.

— *Excellenza*,² по-видимому, знаток.

— Да нет, синьор custode. Я обладаю талантом чувствовать волнение при виде некоторых картин, и глаза мои становятся несколько влажными. Но что я вижу! Кем написан портрет мужчины в черном плаще, что висит вот там?

— Тоже Джорджоне, мастерское произведение.

— Прошу вас, синьор, будьте добры, снимите также и эту картину со стены и подержите ее секунду здесь, рядом с зеркалом, чтобы я мог взглянуть, похож ли я на портрете.

— *Excellenza* не столь бледны. Картина — шедевр Джорджоне; он был соперником Тициана: родился в 1477, умер в 1511 году.

Любезный читатель, Джорджоне мне много милее, чем Тициан, и я особенно благодарен ему за то, что он написал для меня Марию. Ты, конечно, вполне согласишься со мною, что Джорджоне написал картину для меня, а не для какого-нибудь старого генуэзца. И портрет очень похож, до смерти похож в своем безмолвии; уловлена даже боль в глазах, боль, которая была вызвана страданием, скорее пригрезившимся, чем пережитым, и которую очень трудно было передать. Вся картина словно вздохами запечатлена на полотне. И мужчина в черном плаще тоже очень хорошо написан, очень похожи лукаво-сентиментальные губы, так похожи, точно они говорят, точно они собираются рассказать историю, историю рыцаря, который поцелуем хотел вырвать свою возлюбленную у смерти, и когда погас свет...

¹ Хранитель (*итал.*).

² Ваше превосходительство (*итал.*).



ИТАЛИЯ

II. ЛУКЕСКИЕ ВОДЫ

Как мужу я жена..
*Граф Август фон Платен-
Галлермюнде.*

Угодно графу в пляс пуститься—
Пусть граф распорядится,
И я начну!

Фигаро.

*Карлу Иммерману,
поэту,
посвящает эти страницы в знак
восторженного почитания
автор.*

ГЛАВА I

Когда я вошел в комнату к Матильде, она застегнула последнюю пуговицу на зеленой амазонке и как раз собиралась надеть шляпу с белыми перьями. Она быстро отбросила ее в сторону, как только увидела меня, и кинулась мне навстречу с развевающимися золотыми кудрями. «Доктор неба и земли!» — воскликнула она и по старой привычке схватила меня за уши и с забавнейшей сердечностью поцеловала.

— Как поживаете, безумнейший из смертных? Как я счастлива, что вижу вас опять! Ведь на всем свете не найти мне человека более сумасшедшего, чем вы. Дураков и болванов достаточно, и нередко их удостоивают чести принимать за сумасшедших; но истинное безумие так же

редко, как истинная мудрость; быть может даже, оно — не что иное, как сама мудрость, вознегодовавшая на то, что знает все, знает все гнусности этого мира, и потому принявшая мудрое решение сойти с ума. Жители Востока — толковый народ, они чтут помешанного как пророка, а мы всякого пророка считаем за помешанного.

— Но, миледи, почему вы не писали мне?

— Я, доктор, написала вам, конечно, длинное письмо и пометила на конверте: вручить в Нью-Бедламе. Но вас, против всякого ожидания, там не оказалось, и письмо отправили в Сент-Люк, а так как вас и там не оказалось, то оно пошло дальше, в другое такое же учреждение, и совершило, таким образом, турне по всем домам умалишенных Англии, Шотландии и Ирландии, пока мне не вернули его с пометою, что джентльмен, которому оно адресовано, пока еще не засажен. И в самом деле, как это вы все еще на свободе?

— Я хитро устроился, миледи. Повсюду, где я бывал, я умел обходить дома умалишенных, и думаю, это удастся мне и в Италии.

— Друг мой, здесь вы в полной безопасности: во-первых, вблизи нет дома для умалишенных, а во-вторых, здесь мы хозяева.

— Мы? Миледи! Вы, значит, причисляете себя к нам? Позвольте запечатлеть братский поцелуй на вашем челе.

— Ах, я говорю, мы — приехавшие на воды, причем я еще, право, самая разумная... А поэтому вы легко можете себе представить, какова же самая сумасшедшая, именно Юлия Максфилд, постоянно утверждающая, что зеленые глаза означают весну души; кроме того, здесь две молодые красавицы...

— Конечно, английские красавицы, миледи?

— Доктор, что значит этот насмешливый тон? По-видимому, изжелта-жирные, макаронные лица так пришлись вам по вкусу в Италии, что вы совершенно равнодушны к британским...

— Плумпудингам с глазами-изюминками, грудям-ростбифам, отделанным белыми полосами хрена, гордым паштетам...

— Было время, доктор, когда вы приходили в восторг всякий раз, как видели красивую англичанку...

— Да, это было когда-то! Я и сейчас не склонен отказывать в признании вашим соотечественницам. Они прекрасны как солнце, но — как солнце из льда, белы как мрамор, но и холодны как мрамор, близ холодного их сердца замерзают бедные...

— О! Я знаю кое-кого, кто не замерз и вернулся из-за моря свежим и здоровым, и это был великий, немецкий, дерзкий...

— По крайней мере он простудился так сильно близ ледяных британских сердец, что до сих пор у него насморк.

Миледи, казалось, была задета этими словами; она схватила хлыст, лежавший между страницами романа в виде закладки, провела им между ушей своей белой, тихо заворчавшей охотничьей собаки, быстро подняла шляпу с пола, кокетливо надела ее на кудрявую головку, раза два самодовольно взглянула в зеркало и гордо произнесла: «Я еще красива!» Но вдруг, как бы охваченная трепетом темного, болезненного ощущения, остановилась в задумчивости, медленно стянула с руки белую перчатку, подала мне руку и, стремительно угадав мои мысли, сказала: «Не правда ли, эта рука не так уже красива, как в Ремсгете? Матильда за это время много выстрадала!»

Любезный читатель! Редко можно разглядеть трещину в колоколе, и узнается она лишь по звуку. Если бы ты слышал звук голоса, которым произнесены были эти слова, ты бы сразу понял, что сердце миледи — колокол из лучшего металла, но скрытая трещина удивительным образом глушит самые светлые его тона и как бы окутывает их тайной грустью. Но я все-таки люблю такие колокола: они находят родственный отзвук в моей собственной груди; и я поцеловал руку миледи, пожалуй, сердечнее, чем когда-либо, хотя она и не так уж была свежа, и несколько жилок, слишком резко выделявшихся своим голубым цветом, также, казалось, говорили мне: «Матильда за это время много выстрадала!»

Взгляд, который она бросила на меня, подобен был грустной одинокой звезде в осеннем небе, и она сказала нежно и сердечно: «Вы, кажется, уже мало меня любите, доктор! Только сострадание выразилось в слезе, упавшей мне на руку, словно милостыня».

— Кто же заставляет вас придавать такой скучный смысл безмолвной речи моих слез? Держу пари, белая охотничья собака, льющая сейчас к вам, понимает меня лучше: она смотрит то на меня, то на вас и, кажется, удивлена тем, что люди, гордые властители мироздания, так глубоко несчастны в душе. Ах, миледи! Только родственная скорбь исторгает слезы, и каждый в сущности плачет о себе самом.

— Довольно, довольно, доктор! Хорошо по крайней мере, что мы современники и что мы с нашими глупыми слезами находимся в одном и том же уголке земли. Какое было бы несчастье, если бы вы жили случайно на двести лет раньше, как это произошло с моим другом Мигелем Сервантесом де Сааведра, или, тем более, если бы вы появились на сто лет спустя, подобно еще одному близкому другу, которого имени я даже не знаю именно потому, что он получит свое имя лишь при рождении, в 1900 году! Но расскажите, как вы жили с тех пор, как мы расстались.

— Я занимался своим обычным делом, миледи: я все время катил большой камень. Когда я вкатывал его до половины горы, он внезапно срывался вниз, и я вновь должен был катить его в гору, и это катанье в гору и с горы будет длиться до тех пор, пока сам я не улягусь под большим камнем, и каменных дел мастер не напишет на нем большими буквами: «Здесь покоится...»

— Ни за что, доктор, я не оставлю вас в покое, — только не впадайте в меланхолию! Засмейтесь, или я...

— Нет, не щекочите, лучше я сам засмеюсь...

— Ну, хорошо. Вы мне нравитесь все так же, как в Ремсгете, где мы впервые близко сошлись.

— И в конце концов сошлись еще ближе близкого. Да, я буду весел. Хорошо, что мы снова встретились, и великий немецкий... вновь доставит себе удовольствие рискнуть своей жизнью близ вас.

Глаза миледи засветились, как солнце после легкого дождя, и хорошее расположение духа уже опять вернулось к ней, когда вошел Джон и с чопорным лакейским пафосом доложил о приходе его превосходительства, маркиза Кристофоро ди Гумпелино.

— Добро пожаловать! А вы, доктор, познакомитесь с одним из царев нашего сумасшедшего царства. Не смущайтесь его наружностью, в особенности его носом. Чело-

век этот обладает выдающимися свойствами, например множеством денег, здравым рассудком и страстью переживать все дурачества нашего времени; к тому же он влюблен в мою зеленоокою подругу, Юлию Максфилд, называет ее своею Юлиею, а себя — ее Ромео, декламирует и вздыхает, а лорд Максфилд, деверь, которому свою верную Юлию доверил муж, этот Аргус...

Я хотел уже заметить, что Аргус сторожил корову, но тут двери широко распахнулись и, к величайшему моему изумлению, ввалился мой старый друг, банкир Христиан Гумпель, со своей сытой улыбкой и благословенным животом. После того как его лоснящиеся толстые губы вдоволь потерлись о руку миледи и высыпали обычные вопросы о здоровье, он узнал и меня — и друзья бросились друг другу в объятия.

ГЛАВА II

Предупреждение Матильды, чтобы я не смущался носом этого человека, оказалось достаточно обоснованным, и немного не хватало, чтобы он выколол мне глаз. Я не хочу сказать ничего дурного об этом носе; наоборот, он отличался благородством формы, и именно благодаря ему мой друг счел себя вправе присвоить себе по меньшей мере титул маркиза. По этому носу можно было узнать, что он принадлежит к настоящей аристократии, что он происходит из древней всемирно известной семьи, с которой породнился когда-то, не опасаясь мезальянса, сам господь бог. С тех пор этот род, правда, несколько опустился, так что со времени Карла Великого должен был добывать средства к существованию по большей части торговлей старыми штанами и билетами гамбургской лотереи, не поступаясь, однако, ни в малейшей мере своей фамильной гордостью и не теряя надежды получить назад свои старинные поместья или по крайней мере эмигрантское вознаграждение в достаточном размере, когда его старый легитимный монарх выполнит обет реставрации, — обет, при помощи которого он вот уже две тысячи лет водит его за нос. Может быть, носы этой фамилии и стали так длинны оттого, что ее так долго водили за нос? Или эти

длинные носы — род мундира, по которому бог-царь Йегова узнает своих лейб-гвардейцев даже в том случае, когда они дезертировали? Маркиз Гумпелино был именно таким дезертиром, но он все продолжал носить свой мундир, а мундир его был блестящ, усеян рубиновыми крестиками и звездочками, миниатюрным орденом Красного орла и прочими знаками отличия.

— Посмотрите, — сказала миледи, — это мой любимый нос, я не знаю лучшего цветка на земле.

— Этот цветок, — ухмыльнулся Гумпелино, — я не могу положить на вашу прекрасную грудь, иначе пришлось бы присоединить и мое цветущее лицо, а это приложение, может быть, несколько стеснило бы вас при сегодняшней жаре. Но я принес вам не менее драгоценный цветок, здесь весьма редкий...

С этими словами маркиз развернул бумажный сверток, который принес с собой, и, не торопясь, заботливо вынул из него великолепнейший тюльпан.

Едва миледи увидела цветок, она во весь голос закричала: «Убить! Убить! Вы хотите меня убить? Прочь, прочь этот ужас!» При этом она так стала бесповаться, будто ее в самом деле хотят погубить; она прикрывала руками глаза, бессмысленно бегала взад и вперед по комнате, проклиная нос Гумпелино и его тюльпан, звонила в звоночек, топала об пол, ударила хлыстом собаку так, что та громко залаяла, и когда вошел Джон, воскликнула, как Кин в роли короля Ричарда:

Коня! коня! Все царство за коня! —

и вихрем вылетела из комнаты.

— Курьезная женщина! — сказал Гумпелино, застыв от изумления и все еще держа в руке тюльпан. В этой позе он походил на одного из тех божков, которых можно видеть с лотосом в руках на древнеиндийских надгробных памятниках. Но я куда лучше знал эту женщину и ее идиосинкразию: меня свыше всякой меры развеселило это зрелище, и, приоткрыв окно, я крикнул: «Миледи, что мне думать о вас? Где же ваш разум, ваша благовоспитанность, в особенности ваша любовь?»

В ответ она крикнула с диким смехом:

Когда я на коне, то поклонюсь:
Люблю тебя безмерно!

ГЛАВА III

— Курьезная женщина, — повторил Гумпелино, когда мы с ним отправились в путь — навестить двух его приятельниц, синьору Летицию и синьору Франческу, с которыми он собирался меня познакомить. Квартира этих дам находилась довольно высоко на горе, и я тем признательнее был моему уштанному другу за то, что, находя подъем в гору несколько трудным для себя, он останавливался на каждом холме, переводя дух и охая: «О, Иисусе!»

Дело в том, что дома на Луккских водах расположены или внизу, в деревне, окруженной высокими горами, или же на самих горах, недалеко от главного источника, где живописная группа строений смотрит вниз на очаровательную долину. Но некоторые дома разбросаны и поодиночке на горных склонах, и к ним приходится карабкаться между виноградчиками, миртовыми кустами, каприфолиями, лаврами, олеандрами, геранью и прочими изысканными цветами и растениями; это какой-то сплошной дикий рай. Мне никогда не приходилось видеть долины очаровательнее, в особенности если смотреть вниз на деревню с террасы верхнего источника, где высятся сумрачно-зеленые кипарисы. Видишь мост, переброшенный через речку, которая называется Лимою и, разделяя деревню на две половины, в обоих концах ее образует небольшие пороги, так как сбегает по скалам, и поднимает шум, словно пытается рассказать самые приятные на свете вещи, но не в состоянии сделать этого из-за эха, со всех сторон заглушающего ее.

Но главное очарование долины заключается, конечно, в том, что она не слишком велика и не слишком мала, что душа зрителя не ширится помимо воли, а, напротив, ощущает гармоническую соразмерность с чудесным зрелищем, что самые вершины гор, как и всюду в Апеннинах, не нагромождаются в причудливом готическом беспорядке, подобно карикатурам на горы, которые мы наблюдаем наряду с карикатурами на людей в германских землях, их благородно округленные, одетые в яркую зелень контуры говорят о почти художественной культуре и чрезвычайно мелодически гармонируют с бледно-голубым небом.

— Иисусе! — простонал Гумпелино, когда мы, уже сильно согревшись от утомительного подъема в гору и от лучей утреннего солнца, достигли упомянутых мною кипарисов на возвышенности и, заглянув вниз, в деревню, увидели, как наша английская приятельница промчалась на коне через мост, мелькнув, словно романтический образ из сказки, и столь же быстро исчезла, будто сновидение. — Иисусе, что за курьезная женщина! — несколько раз повторил маркиз. — В моей скромной жизни я не встречал подобных женщин. Они попадают только в комедиях, и я думаю, что Гольцбехер, например, очень хорошо сыграла бы ее роль. В ней есть что-то русалочье. Как вы полагаете?

— Я полагаю, что вы правы, Гумпелино. Когда я ехал с ней из Лондона в Роттердам, капитан корабля сказал, что она похожа на посыпанную перцем розу. В благодарность за это пикантное сравнение она высыпала ему на голову целую перечницу, застав его однажды дремлющим в каюте, и к нему нельзя было подойти, чтобы не чихнуть.

— Курьезная женщина, — повторил Гумпелино. — Нежная, как белый шелк, и такая же крепкая, а на лошади сидит так же хорошо, как я. Только бы она не загубила свое здоровье этой верховой ездой. Вы не заметили сейчас длинного, тощего англичанина, мчавшегося за ней на своем тощем коне, точь-в-точь галопирующая чахотка? Народ этот проявляет излишнюю страстность в верховой езде, все свои деньги тратит на лошадей. Белый конь леди Максфилд стóбит триста золотых, живехоньких луидоров — ах, а луидоры стоят так высоко и с каждым днем все поднимаются!

— Да, луидоры поднимутся еще так высоко, что бедному ученому, вроде нашего брата, и не достать до них.

— Вы понятия не имеете, доктор, сколько мне приходится тратить денег, а между тем я обхожусь при помощи одного только слуги и, лишь когда бываю в Риме, содержу капеллана при своей домово́й часовне. А вот идет мой Гиацинт.

Маленькая фигурка, показавшаяся в этот момент из-за поворота холма, заслуживала скорее названия красной лилии. В глаза бросался широкий болтающийся сюртук ярко-красного цвета, изукрашенный золотыми позумент-

тами, которые сверкали на солнце, и среди всего этого красного великолепия торчала головка, обливавшаяся потом, и она кивала мне, как доброму знакомому. И в самом деле, рассмотрев поближе бледное озабоченное личико и деловито мигающие глазки, я узнал человека, которого, казалось, легче было встретить на горе Синае, чем на Апеннинах; это был не кто иной, как господин Гирш, гамбургский обыватель, не только бывший всегда очень честным лотерейным маклером, но и знавший толк в мозолях и драгоценностях так основательно, что он не только умел отличать первые от последних, но и вырезал очень искусно мозоли и оценивал очень точно драгоценности.

— Я надеюсь, — сказал он, подойдя ко мне ближе, — что вы еще помните меня, хотя я и не называюсь больше Гирш. Я зовусь теперь Гиацинтом и состою камердинером у господина Гумпеля.

— Гиацинт! — вскричал этот последний, изумленный и пораженный нескромностью своего слуги.

— Будьте покойны, господин Гумпель, или господин Гумпелино, или господин маркиз, или ваше превосходительство, нам нечего стесняться перед этим господином; он знает меня, не раз покупал у меня лотерейные билеты, и я даже мог бы поклясться, что со времени последнего розыгрыша он остался мне должен семь марок девять шиллингов. Право, я очень рад, господин доктор, что вижу вас здесь. Вы тут тоже для своего удовольствия? Иначе — для чего же тут и быть в такую жару, когда еще притом надо лазить с горы на гору? К вечеру я устаю здесь так, как будто двадцать раз пробежал от Альтонских до Каменных ворот и не заработал при этом ни гроша.

— Иисусе! — воскликнул маркиз. — Замолчи, замолчи! Я заведу себе другого слугу!

— Зачем молчать! — возразил Гирш-Гиацинт. — Ведь так приятно, когда можно поговорить опять на добром немецком языке с лицом, которое видел уже когда-то в Гамбурге, а когда я подумаю о Гамбурге...

Тут, при воспоминании о маленькой мачехе-родине, глазки Гирша влажно заблестели, и он продолжал со вздохом:

— Что такое человек! Прохаживаешься в свое удовольствие у Альтонских ворот, по Гамбургской горе, осматриваешь там всякие достопримечательности, львов,

птиц, попугаев, обезьян, знаменитых людей, катаешься на карусели или электризуешься, а думаешь, насколько больше удовольствия получил бы в местности, которая отстоит от Гамбурга миль на двести, в стране, где растут лимоны и апельсины, в Италии. Что такое человек! Когда он стоит перед Альтонскими воротами, ему очень хочется в Италию, а когда он в Италии, то хотел бы опять очутиться у Альтонских ворот! Ах, стоять бы мне снова там и видеть опять колокольню Михаила и на ней наверху часы с большими золотыми цифрами на циферблате, на которые я так часто смотрел после обеда, когда они приветливо блестели на солнце — не раз мне хотелось поцеловать их. Ах, теперь я в Италии, где растут лимоны и апельсины, но когда я вижу, как растут лимоны и апельсины, я вспоминаю Каменную улицу в Гамбурге, где они разложены так привольно на переполненных лотках, и можно там спокойно наслаждаться ими, и не надо карабкаться в гору, с опасностью для жизни, и терпеть такую палящую жару. Как бог свят, господин маркиз, если бы я это не сделал ради чести и ради образованности, я бы не последовал сюда за вами. Но, нужно признаться, быть с вами, — значит иметь честь и получить образование.

— Гиацинт, — сказал тут Гумпелино, слегка смягченный этой лестью, — Гиацинт, иди теперь к...

— Я уж знаю...

— Ты не знаешь, говорю тебе, Гиацинт...

— Я говорю вам, господин Гумпель, я знаю. Ваше превосходительство посылает меня к леди Максфилд... Мне совсем ничего не нужно говорить. Я знаю ваши мысли, даже те, которых вы еще и не думали, и которые, пожалуй, вам и в голову не придут во всю вашу жизнь. Такого слугу, как я, вы нелегко найдете, и я делаю это ради чести и ради образованности, и действительно, быть с вами — значит иметь честь и получить образование.

При этих словах он высморкался в весьма белый носовой платок.

— Гиацинт, — сказал маркиз, — ты отправишься к леди Максфилд, к моей Юлии, и отнесешь ей этот тюльпан — береги его, он стоит пять паоли, — и скажешь ей...

— Я уж знаю...

— Ты ничего не знаешь! Скажи ей: тюльпан среди прочих цветов...

— Я уж знаю, вы хотите сказать ей кое-что с помощью цветка. Я ведь тоже не раз сочинял девизы, когда собирал деньги за лотерейные билеты.

— Говорю тебе, Гиацинт, не нужно мне твоих девизов. Отнеси этот цветок к леди Максфилд и скажи ей:

Тюльпан среди прочих цветов
Точь-в-точь среди сыров — сыр страккино.
Но больше цветов и сыров
Обожает тебя Гумпелино!

— Дай мне бог здоровья, вот это здорово! — воскликнул Гиацинт. — Не мигайте мне, господин маркиз! Что вы знаете, то и я знаю, и что я знаю, то знаете и вы. До свидания, господин доктор. О пустячном долге я вам не напоминаю.

С этими словами он стал спускаться с холма, бормоча беспрестанно: «Гумпелино — Страккино, Страккино — Гумпелино».

— Это преданный человек, — сказал маркиз, — иначе я давно бы отделался от него, потому что он не знает этикета. При вас это ничего. Вы ведь понимаете меня. Как вам нравится его ливрея? На ней позументов на сорок талеров больше, чем на ливрее у слуг Ротшильда. Я испытываю внутреннее удовольствие, когда подумаю, как он у меня совершенствуется. Временами я его сам поучаю для его образования. Часто я говорю ему: что такое деньги? Денежки — круглые и катятся прочь, а образование остается. Да, доктор, если я, боже упаси, потеряю мои деньги, все же я останусь большим знатоком искусства, знатоком живописи, музыки, поэзии. Завяжите мне глаза и сведите меня в галерею во Флоренции, и у каждой картины, у которой вы меня поставите, я назову имя живописца, ее написавшего, или по крайней мере школу, к которой принадлежит живописец. Музыка? Заткните мне уши, и я все-таки услышу всякую фальшивую ноту. Поэзия? Я знаю всех актрис Германии и знаю наизусть всех поэтов. А уж природа! Я проехал двести миль, ехал дни и ночи напролет, чтобы увидеть только одну гору в Шотландии. Но Италия все превосходит. Как вам нравится эта местность? Что за произведение искусства!

Взгляните на деревья, на горы, на небо, на воду, там внизу, разве все это не нарисовано как будто? Видели вы что-нибудь красивее в театрах? Становишься, так сказать, поэтом! Стихи приходят в голову, сам не знаешь откуда:

Под покровом сумерек, в молчанье
Дремлет поле, замер дальний гул;
И лишь здесь, в старинном грустном зданье,
Свой напев кузнечик затянул.

Эти торжественные слова маркиз декламировал, весь исполненный умиления, с просветленным лицом, глядя вниз, на смеющуюся, светом утра озаренную долину.

ГЛАВА IV

Когда я однажды в прекрасный весенний день прогуливался в Берлине Под Липами, передо мною шли две женщины и долго молчали; наконец одна из них томно вздохнула: «Ах, эти зеленые деревья!» На что другая, молоденькая, спросила с наивным изумлением: «Мамаша, ну что вам за дело до зеленых деревьев?»

Я не могу не заметить, что хотя обе они и не были одеты в шелк, но все-таки отнюдь не принадлежали к черни, да и вообще в Берлине нет черни, разве только в высших сословиях. Что же касается этого наивного вопроса, то он не выходит у меня из памяти. Всякий раз, когда я ловлю людей на лицемерном восхищении природою и на прочих явных подделках, вопрос этот с забавным смехом оживает в моей памяти. Он и теперь вспомнился мне, когда маркиз стал декламировать, и маркиз, угадав насмешку на моих губах, воскликнул недовольно:

— Не мешайте мне — вы ничего не понимаете в том, что естественно, вы разорванный человек, разорванное сердце, вы, так сказать, Байрон.

Может быть, и ты, любезный читатель, принадлежишь к числу тех благочестивых птиц, что хором подпевают этой песне о надорванности Байрона, — песне, которую мне вот уже десять лет насвистывают и нащечивают и которая нашла себе отзвук, как ты только что слышал, даже под черепом маркиза? Ах, дорогой читатель, если

уж ты хочешь сокрушаться об этой надорванности, то уж лучше сокрушайся о том, что весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признается только в том, что у него прозаичное, далекое от мира, глухое закоулочное сердце. В моем же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта.

Когда-то — в древности и в средние века — мир был целостен; несмотря на внешнюю борьбу, все же сохранялось единство мира, и были цельные поэты. Воздадим честь этим поэтам и порадуемся им. Но всякое подражание их цельности есть ложь, ложь, которую насквозь видит всякий здоровый глаз и которая не укроется от насмешки. Недавно я с большим трудом раздобыл в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, столь горько сетовавшего на мою байроническую надорванность, и его фальшивая свежесть, его нежная восприимчивость к природе, словно свежим сеном пахнувшая на меня из книги, так на меня подействовала, что мое бедное сердце, давно уже надорванное, чуть не разорвалось от смеха, и я невольно воскликнул: «Дорогой мой интендантский советник Вильгельм Нейман, что вам за дело до зеленых деревьев?»

— Вы разорванный человек, так сказать Байрон, — повторял маркиз, все еще просветленно глядя на долину и щелкая время от времени языком в благоговейном восхищении. — Боже, боже! Все точно нарисовано.

Бедный Байрон! В таком безмятежном наслаждении тебе было отказано! Было ли сердце твое так испорчено, что ты мог только созерцать природу, изображать ее даже, но не мог находить в ней блаженства? Или прав Биши Шелли, когда он утверждает, что ты подсмотрел природу в ее целомудренной наготе и был разорван за то, подобно Актеону, ее собаками!

Довольно об этом; перед нами теперь — предмет более приятный, а именно жилище синьор Летиции и Франчески, маленький белый домик, который как будто еще пребывает в неглиже: спереди у него два больших круг-

лых окна, а высоко вытянувшиеся виноградные лозы свешивают над ними свои длинные отростки; это похоже на то, как будто пышные зеленые кудри спустились на глаза домика. Мы подходим к дверям — и уже до нас доносится звонкая суতোлка, льющиеся трели, аккорды гитары и смех.

ГЛАВА V

Синьора Летиция, пятидесятилетняя юная роза, лежала в постели, напевала и болтала со своими двумя поклонниками, из которых один сидел перед ней на низенькой скамейке, а другой, развалившись в большом кресле, играл на гитаре. В соседней комнате тоже по временам как бы вспархивали обрывки нежной песни или еще более нежного смеха. С некоторой, довольно плоской иронией, по временам овладевавшей маркизом, он представил меня синьоре и обоим господам, заметив, что я тот самый Иоганн-Генрих Гейне, доктор прав, который так знаменит теперь в немецкой юридической литературе. К несчастью, один из гостей оказался профессором из Болоньи, и притом юристом, хотя его плавно округленное, полное брюшко свидетельствовало скорее о причастности к сферической тригонометрии. Несколько смутившись, я заметил, что пишу не под своим именем, а под именем Ярке. Я сказал это из скромности, — мне пришло в голову одно из самых жалких насекомообразных в нашей юридической литературе. Болонец высказал, правда, сожаление, что не слышал еще этого знаменитого имени — как, вероятно, не слышал и ты, любезный читатель, — но выразил уверенность, что блеск его распространится скоро по всей земле. При этом он откинулся в кресло, взял несколько аккордов на гитаре и запел из «Аксура»:

О Брама могучий!
Прими ты без гнева
Невинность напева,
Напева, напева...

Как задорно-нежное соловьиное эхо, порхали и в соседней комнате звуки такой же мелодии. Синьора Летиция напевала меж тем тончайшим дискантом:

Для тебя пылают щеки,
Кровь играет в этих жилах,
Сердце бьется в муках страсти
Для тебя лишь одного!

И добавила самым жирным и прозаическим голосом:
— Бартоло, дай плевательницу.

Тут со своей низкой скамеечки поднялся Бартоло на тощих деревянных ногах и почтительно поднес не совсем чистую плевательницу из синего фарфора.

Этот второй поклонник, как шепнул мне по-немецки Гумпелино, был знаменитый поэт, песни которого, хотя и созданные двадцать лет тому назад, до сих пор звучат еще по всей Италии и опьяняют и молодых и стариков тем любовным пламенем, что горит в них; сам же он теперь бедный состарившийся человек, с бледными глазами на увядшем лице, с седыми волосками на трясущейся голове и с холодом бедности в горестном сердце. Такой бедный старый поэт в своей лысой одеревенелости напоминает виноградную лозу, которую нам случается видеть зимою в холодных горах; тощая, лишенная листвы, она дрожит на ветру и покрыта снегом, меж тем как сладкий сок, некогда источенный ею, согревает множество упивающихся им сердец в самых далеких странах и, опьяняя, вызывает у них хвалу. Как знать — может быть, типографский станок, этот виноградный пресс мысли, выжмет и меня когда-нибудь, и только в издательском погребке Гоффмана и Кампе можно будет разыскать старый, выцеженный из меня напиток, а сам я, может быть, буду сидеть, такой же худой и жалкий, как бедный Бартоло, на скамеечке у постели старой возлюбленной и, по ее требованию, буду подавать ей плевательницу.

Синьора Летиция извинилась передо мною, что лежит в постели и притом на животе, ибо нарыв ниже поясицы, вскочивший от неумеренного потребления винных ягод, мешает ей лежать на спине, как приличествует каждой порядочной женщине. В самом деле, она лежала наподобие сфинкса: голову с высокой прической она подпирала обеими руками, между которыми, подобно Красному морю, колыхалась ее грудь.

— Вы немец? — спросила она меня.

— Я слишком честен, чтобы отрицать это, синьора! — отвечал я, грешный.

— Ах, честности у них вдоволь, у этих немцев! — вздохнула она. — Но какой толк, что люди, нас грабящие, честны? Они погубят Италию. Мои лучшие друзья посажены в тюрьму в Милане: только рабство...

— Нет, нет, — воскликнул маркиз, — не жалуйтесь на немцев! Мы, как только являемся в Италию, оказываемся покоренными покорителями, побежденными победителями; видеть вас, синьора, видеть вас и пасть к вашим ногам — одно и то же. — И, развернув свой желтый шелковый платок и опустившись на колени, он добавил: — Вот, я склоняю перед вами колени и присягаю вам на верность от имени всей Германии!

— Кристофоро ди Гумпелино! — вздохнула синьора, растроганная и растаявшая. — Встаньте и обнимите меня!

Но для того чтобы милый пастушок не повредил прически и красок своей возлюбленной, она поцеловала его не в пылающие губы, а в милый лоб, так что лицо его пригнулось ниже, и руль, то есть нос, стал блуждать среди Красного моря.

— Синьор Бартоло, — воскликнул я, — позвольте и мне воспользоваться плевательницей!

Синьор Бартоло грустно улыбнулся, но не сказал ни слова, хотя он, наряду с Меццофанти, считается лучшим преподавателем языков в Болонье. Мы неохотно разговариваем, когда разговор является нашей профессией. Он служил синьоре в качестве немого рыцаря, и лишь по временам приходилось ему прочитывать стихи, которые он двадцать пять лет тому назад бросил на сцену, когда синьора впервые выступила в Болонье в роли Ариадны. Сам он, возможно, был в то время и пышнокудрым и пламенным, походил, может быть, на самого бога Диониса, и его Летиция — Ариадна, наверное, бросилась ему в юные объятия с жаром вакханки: «Эвоэ, Вакх!» Он сочинил в то время еще много и других любовных стихов, которые, как уже сказано, сохранились в итальянской литературе, а между тем поэт и его возлюбленная давно уже превратились в макулатуру.

На протяжении двадцати пяти лет хранил он свою верность, и, я думаю, он до самой своей блаженной кончины будет сидеть на скамеечке и, по требованию возлюбленной, читать свои стихи или подавать плевательницу. Профессор юриспруденции почти столько же времени влачится

в любовных оковах синьоры, он столь же усердно ухаживает за ней, как и в начале этого столетия; он все еще вынужден немилосердно пренебрегать своими университетскими лекциями, когда она требует, чтобы он сопровождал ее куда-либо, и все еще несет бремя сервитутов истинного «патито».

Постоянство и верность обоих поклонников этой давно уже пришедшей в упадок красавицы превратились, может быть, в привычку, может быть, они — дань почтительности по отношению к прежним чувствам, может быть, это само чувство, ставшее совершенно независимым от нынешнего состояния своего бывшего предмета и созерцающее его лишь глазами воспоминания. Не так ли мы на углах улиц в католических городах часто видим стариков, склонившихся перед ликом мадонны, столь поблекшим и обветшалым, что сохранились лишь немногие следы его да контуры лица, а иногда, пожалуй, даже не видно ничего, кроме ниши, где было изображение, и лампадки, висящей над ним; но старые люди, так набожно молящиеся там с четками в дрожащих руках, слишком уж часто, с юношеских своих лет, преклоняли здесь колени; привычка постоянно гонит их в одно и то же время к одному и тому же месту; они не замечают, как тускнеет их любимый образ, да в конце концов к старости становишься так слаб зрением, так слеп, что совершенно безразлично, виден ли предмет нашего поклонения или не виден. Те, кто верует не видя, счастливее, во всяком случае, чем другие — с острым зрением, тотчас же обнаруживающие мельчайшую морщину на лицах своих мадонн. Нет ничего ужаснее таких открытий! Когда-то я, правда, думал, что всего ужаснее женская неверность, и, чтобы выразиться как можно ужаснее, я называл женщин змеями. Но, увы! Теперь я знаю: самое ужасное — то, что они не совсем змеи; змеи ведь могут каждый год сбрасывать кожу и в новой коже молодеть.

Почувствовал ли кто-нибудь из этих двух античных селадонов ревность, когда маркиз или, вернее, его нос вышеописанным образом утопал в блаженстве, я не мог заметить. Бартоло в полном спокойствии сидел на своей скамеечке, скрестив свои сухие ножки, и играл с комнатной собачкой синьоры, хорошеньким зверьком из тех, что водятся в Болонье и известны у нас под названием болонок. Профессор невозмутимо продолжал свое пение.

заглушаемое порою смешливо-нежными, пародически ликующими звуками из соседней комнаты; время от времени он сам прерывал пение, чтобы обратиться ко мне с вопросами юридического характера. Когда наши мнения не совпадали, он брал резкие аккорды и брэнчал аргументами. Я же все время подкреплял свои мнения авторитетом моего учителя, великого Гуго, который весьма знаменит в Болонье под именем Угоне, а также Уголино.

— Великий человек! — воскликнул профессор, ударяя по струнам и напевая:

Нежный голос, кроткий звук
До сих пор в груди живет.
Сколько светлых, сладких мук,
Сколько счастья он дает!

Тибо, которого итальянцы зовут Тибальдо, также пользуется большим почетом в Болонье; но там знаками не столько с сочинениями этих ученых, сколько с их основными взглядами и разногласиями. Я убедился, что Ганс и Савиньи известны тоже только по имени. Последнего профессор принимал даже за ученую женщину.

— Так, так, — сказал профессор, когда я вывел его из этого простительного заблуждения, — так, значит, действительно не женщина? Мне, значит, не так сказали. Мне говорили даже, что синьор Ганс пригласил как-то на балу эту даму танцевать, получил отказ, и отсюда возникла литературная вражда.

— В самом деле, вам не так сказали, синьор Ганс вовсе не танцует, и прежде всего из человеколюбия, чтобы не вызвать землетрясения. Приглашение на танец, о котором вы говорите, вероятно, плохо понятая аллегория. Историческая и философская школы представлены в ней в качестве танцоров, и в этом смысле, может быть, понимается кадрили в составе Угоне, Тибальдо, Ганса и Савиньи. И, может быть, в этом смысле говорят, что синьор Угоне, хотя он и *diable boiteux*¹ в юриспруденции, продельывает такие же изящные па, как Лемьер, и что синьор Ганс в последнее время проделал несколько изрядных прыжков, создавших из него Огэ философской школы.

¹ Хромой бес (франц.).

— Синьор Ганс, — поправился профессор, — танцует, таким образом, лишь аллегорически, так сказать, метафорически.

И вдруг, вместо того чтобы продолжать свою речь, он опять ударил по струнам гитары и зашел, как сумасшедший, под сумасшедшее брэнчание струн:

Это имя дорогое
Наполняет нас блаженством.
Если волны бурно стонут,
Если небо в черных тучах, —
Все к Тарару лишь взывает,
Словно мир готов склониться
Перед именем его!

О господине Гешене профессор не знал даже, что он существует. Но это имело свои естественные основания, так как слава великого Гешена не дошла еще до Болоньи, а достигла только Поджо, откуда до нее еще четыре немецкие мили и где она задержится на некоторое время для собственного удовольствия. Геттинген далеко не так уж известен в Болонье, как можно было бы ожидать хотя бы в расчете на благодарность, — ведь его принято называть немецкой Болоньей. Подходящее ли это название — я не хочу разбирать; во всяком случае, оба университета отличаются один от другого тем простым обстоятельством, что в Болонье самые маленькие собаки и самые большие ученые, а в Геттингене, наоборот, самые маленькие ученые и самые большие собаки.

ГЛАВА VI

Когда маркиз Кристофоро ди Гумпелино, как некогда царь фараон, вытащил свой нос из Красного моря, лицо его сияло потом и самодовольством. Глубоко растроганный, он дал обещание синьоре отвезти ее в собственном экипаже в Болонью, как только она в состоянии будет сидеть. Заранее условились, что профессор выедет вперед, а Бартоло поедет вместе с ней в экипаже маркиза, где он очень удобно может поместиться на козлах, держа на руках собачку, и что, наконец, через две недели можно будет попасть во Флоренцию, куда к тому времени вернется и синьора Франческа, отправляющаяся с миледи

в Пизу. Считая по пальцам расходы, маркиз напевал про себя «*Di tanti palpiti*»,¹ синьора разражалась громкими трелями, а профессор колотил по струнам гитары и пел при этом такие пламенные слова, что со лба у него катились капли пота, а из глаз слезы, которые соединялись в один поток, сбегавший по его красному лицу. Среди этого пения и брэнчания внезапно распахнулись двери соседней комнаты, и оттуда выскочило существо...

Вас, музы древнего и нового времени, и вас, еще даже не открытые музы, которых почтят лишь последующие поколения и которых я давно уже почуял в лесах и на морях, вас заклинаю я, дайте мне краски, чтобы описать существо, которое, после добродетели, великолепнее всего на свете. Добродетель, само собою разумеется, занимает первое место среди всяческого великолепия; творец украсил ее столькими прелестями, что, казалось, он не в силах создать что-либо столь же великолепное; но тут он еще раз собрался с силами и в одну из светлых своих минут сотворил синьору Франческу, прекрасную танцовщицу, величайший свой шедевр после создания добродетели, причем он ни в малейшей мере не повторился, в отличие от земных маэстро, чьи позднейшие произведения отражают блеск, позаимствованный у более ранних, — нет, синьора Франческа — совершенно оригинальное произведение, не имеющее ни малейшего сходства с добродетелью, и есть знатоки, которые считают ее столь же великолепной и признают за добродетелью, созданной несколько ранее, лишь право первородства. Но такой ли уж это большой недостаток для танцовщицы — быть моложе на каких-нибудь шесть тысяч лет?

Ах, я вижу ее опять — как она прыгнула из распахнувшейся двери на середину комнаты, повернулась в тот же миг бесчисленное множество раз на одной ноге, бросилась на софу и во всю длину протянулась на ней, прикрыла обеими руками глаза и, едва дыша, промолвила: «Ах, как я устала спать!» Тут подошел маркиз и произнес длинную речь в своей иронической, пространно-почтительной манере, составляющей такой загадочный контраст с его немногословной сжатостью в деловых беседах и с его пошлой расплывчатостью в моменты сентиментального

¹ «Какой трепет!» (итал.).

возбуждения. И все-таки эта манера не была искусственной; возможно, что она выработалась в нем естественным путем, благодаря тому, что ему не хватало смелости открыто утверждать свое первенство, на которое, по его мнению, давали ему право его деньги и его ум, и он трусливо маскировался выражениями самой преувеличенной покорности. В широкой улыбке его было в таких случаях что-то неприятно-забавное, и трудно было решить, следует ли побить его или похвалить. В таком именно духе и была его утренняя речь, обращенная к синьоре Франческе, еле слушавшей его спросонья, и когда в заключение он попросил позволения поцеловать ее ноги, или по крайней мере одну левую ножку, и заботливо разостлал затем в этих целях на полу свой желтый шелковый носовой платок и склонил на него колени, она равнодушно протянула ему левую ногу, обутую в прелестный красный башмачок, в противоположность правой, на которой башмачок был голубой — забавное кокетство, благодаря которому еще заметнее делалось милое изящество этих ножек. Маркиз благоговейно поцеловал ножку, поднялся с тяжким вздохом: «Иисусе!» — и попросил разрешения представить меня, своего друга, каковое разрешение и было дано ему с тем же зевком; он не поскупился на похвалы моим достоинствам и заверил словом дворянина, что я очень удачно воспел несчастную любовь.

Я, с своей стороны, тоже испросил соизволения синьоры поцеловать ее левую ножку, и в тот момент, когда я удостоился этой чести, она, как будто пробудившись от дремоты, с улыбкой наклонилась ко мне, посмотрела на меня большими удивленными глазами, весело выскочила на середину комнаты и опять бесчисленное множество раз повернулась на одной ноге. Изумительная вещь — я почувствовал, что и сердце мое вертится вместе с нею, почти до обморока. А профессор весело ударил по струнам гитары и запел:

Примадонна меня полюбила
И в мужа себе определила,
И вступили мы в брак с нею вскоре.
Горе мне, бедному, горе!
Но пришли мне на помощь пираты,
И я продал ее за дукаты,
Без дальнейшего с ней разговора,
Браво! Браво! Синьора!

Синьора Франческа еще раз окинула меня пристальным и испытующим взглядом с головы до ног и затем с довольным выражением лица поблагодарила маркиза, как будто я был подарком, который он любезно преподнес ей. Особых возражений против него она не находила: только волосы мои, пожалуй, слишком уж светло-каштановые, ей хотелось бы потемнее, как у аббата Чекко, и глаза мои показались ей слишком маленькими и скорее зелеными, чем голубыми. В отместку следовало бы и мне, дорогой читатель, изобразить синьору Франческу в отрицательном свете, но, право, я ничего не мог бы сказать дурного об этом прелестном создании, почти легкомысленном по своим формам, об этом воплощении грации. И лицо было божественно соразмерно, наподобие греческих статуй; лоб и нос составляли одну отвесную прямую линию, с которой нижняя линия носа, удивительно короткая, образовала восхитительный прямой угол; столь же коротко было расстояние от носа до рта, а губы были полуоткрыты и мечтательно улыбались; под ними округло вырисовывался прелестный полный подбородок, а шея... Ах, мой скромный читатель, я захожу слишком далеко, а кроме того, при этом вступительном описании я, как вновь посвящаемый, не имею права распространяться о двух безмолвных цветках, сиявших чистейшим блеском поэзии в тот момент, когда синьора расстегивала на шее серебряные пуговицы своего черного шелкового платья. Любезный читатель, поднимемся опять выше и займемся описанием лица, о котором я могу сообщить дополнительно, что оно было прозрачным и бледно-желтым, как янтарь, что благодаря черным волосам, спускавшимся блестящими гладкими овалами над висками, оно приобретало какую-то детскую округленность и было волшебным освещено двумя черными быстрыми глазами.

Ты видишь, любезный читатель, что я готов самым основательным образом дать тебе топографию моего блаженства, и подобно тому, как другие путешественники прилагают к своим трудам отдельные карты местностей, важных в историческом или примечательных в каком-либо ином отношении, так и я охотно приложил бы гравированный на меди портрет Франчески. Но — увы! — что толку в мертвой передаче внешних контуров, когда божественное обаяние форм заключается в жизни и движении!

Даже лучший живописец не в состоянии изобразить наглядно это обаяние, ибо живопись в сущности плоская ложь. Скульптор скорее способен на это; при изменчивом освещении мы можем, до некоторой степени, представить себе формы статуй в движении, и факел, бросающий на них свой свет лишь извне, как бы оживляет их изнутри. И существует статуя, которая могла бы дать тебе, любезный читатель, мраморное представление о великолепии Франчески — это Венера великого Кановы, которую ты можешь видеть в одном из последних зал Палаццо Питти во Флоренции. Я часто вспоминаю теперь об этой статуе; иногда мне грезится, что она лежит в моих объятиях и постепенно оживает и начинает, наконец, шептать что-то голосом Франчески. Но то, что делало каждое ее слово таким прелестным, бесконечно значительным, — это был звук ее голоса; и если бы я привел здесь самые слова, то получился бы лишь гербарий из засохших цветов, вся великая ценность которых была в запахе. Разговаривая, она часто подпрыгивала и пускалась танцевать; может быть, танец и был ее истинным языком. А сердце мое неизменно танцевало вместе с нею и проделывало труднейшие па и проявляло при этом столько таланта, сколько я никогда и не подозревал в нем. Таким именно способом Франческа рассказала мне историю аббата Чекко, молодого парня, влюбившегося в нее, когда она еще плела соломенные шляпы в долине Арно; при этом она уверяла, что мне выпало счастье быть похожим на него. Она сопровождала все это нежнейшими пантомимами, время от времени прижимала кончики пальцев к сердцу, как бы черпая оттуда нежнейшие чувства, плавно бросалась затем всей грудью на софу, прятала лицо в подушки, протягивала ноги вверх и играла ими как деревянными марионетками. Голубая ножка должна была представлять аббата Чекко, красная — бедную Франческу, и, пародируя свою собственную историю, она показывала, как расстаются две бедные влюбленные ножки; это было трогательно-глупое зрелище — ноги касались друг друга носками, обмениваясь поцелуями и словами нежности, — при этом сумасбродная девушка заливалась забавными, вперемежку с хихиканьем, слезами, которые, однако, исходили порой из глубины несколько большей, чем того требовала роль. В порыве болезненного комического задора она

изображала, как аббат Чекко держит длинную речь и в педантических метафорах превозносит красоту бедной Франчески, и манера, в которой она, в роли бедной Франчески, отвечала ему и копировала свой собственный голос, с отзвуком былой сентиментальности, заключала в себе что-то кукольно-печальное, удивительно волновавшее меня. Прощай, Чекко, прощай Франческа! — было постоянным припевом. Влюбленные ножки не хотели расстаться, и я, наконец, обрадовался, когда неумолимая судьба разлучила их, ибо сладостное предчувствие подсказывало мне, что было бы несчастьем для меня, если бы влюбленные так и остались вместе.

Профессор зааплодировал на гитаре, шутовски дергая струны, синьора стала выводить трели, собачка залаяла, маркиз и я стали бешено хлопать в ладоши, а синьора Франческа встала и раскланялась с признательностью.

— Это, право, недурная комедия, — сказала она мне, — но прошло уже много времени с тех пор, как она была поставлена, да и сама я состарилась, — угадайте-ка, сколько мне лет?

Но тут же, отнюдь не дожидаясь моего ответа, быстро проговорила: «Восемнадцать» — и при этом восемнадцать раз повернулась на одной ноге.

— А сколько вам лет, *dottore*?¹

— Я, синьора, родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год.

— Я ведь говорил уже вам, — заметил маркиз, — это один из первых людей нашего века.

— А сколько, по-вашему, мне лет? — внезапно воскликнула синьора Летиция и, не помышляя о своем костюме Евы, скрытом доселе под одеялом, порывистым движением приподнялась при этом вопросе так высоко, что показалось не только Красное море, но и вся Аравия, Сирия и Месопотамия.

Отпрянув в испуге при столь ужасном зрелище, я пробормотал несколько фраз о том, как затруднительно разрешить подобный вопрос, ибо ведь я видел синьору только наполовину; но так как она все упорнее продолжала настаивать, то я принужден был сказать правду, именно,

¹ Доктор (*итал.*).

что я не знаю соотношения между годами итальянскими и немецкими

— А разве разница велика? — спросила синьора Летиция.

— Конечно, — ответил я, — тела расширяются от теплоты, поэтому и годы в жаркой Италии гораздо длиннее, чем в холодной Германии.

Маркиз более удачно вывел меня из затруднительного положения, любезно удостоверив, что только теперь красота ее распустилась в самой пышной зрелости.

— И подобно тому, синьора, — добавил он, — как поморанец чем старше, тем желтее, так и красота ваша с каждым годом становится более зрелой.

Синьора, казалось, удовлетворилась этим сравнением и, со своей стороны, призналась, что действительно чувствует себя более зрелой, чем прежде, особенно по сравнению с тем временем, когда она была еще тоненькой и впервые выступала в Болонье, и что ей до сих пор непонятно, как она с такой фигурой могла вызвать подобный фурор. Тут она рассказала о своем дебюте в роли Ариадны; к этой теме, как я узнал потом, она очень часто возвращалась. По этому случаю синьор Бартоло должен был продекламировать стихи, брошенные ей тогда на сцену. Это были хорошие стихи, полные трогательной скорби по поводу вероломства Тезея, полные слепого воодушевления Вакхом и цветисто-восторженных похвал Ариадне. «*Bella cosa*»,¹ — восклицала синьора Летиция после каждой строфы. Я тоже хвалил образы, и стихи, и всю трактовку мифа.

— Да, миф прекрасный, — сказал профессор, — и в основе его лежит, несомненно, историческая истина; некоторые авторы так прямо и рассказывают, что Оней, один из жрецов Вакха, обвенчался с тоскующей Ариадной, встретив ее покинутой на острове Наксосе, и, как часто случается, в легенде жрец бога заменен самим богом.

Я не мог присоединиться к этому мнению, так как в области мифологии более склонен к философским толкованиям, и потому возразил:

— В фабуле мифа, в том, что Ариадна, покинутая Тезеем на острове Наксосе, бросается в объятия Вакха,

¹ «Прекрасно!» (итал.).

я вижу не что иное, как аллегория: будучи покинута, она предалась пьянству — гипотеза, которую разделяют многие мои соотечественники — ученые. Вы, господин маркиз, знаете, вероятно, что покойный банкир Бетман постарался, в духе этой гипотезы, так осветить свою Ариадну, чтоб она казалась красноносою.

— Да, да, франкфуртский Бетман был великий человек! — воскликнул маркиз. В тот же миг, однако, что-то, по-видимому очень важное, пришло ему в голову, и он, вздохнув, пробормотал: «Боже, боже, я позабыл написать во Франкфурт Ротшильду!» И с серьезным деловым лицом, с которого исчезло всякое шутовское выражение, он быстро, без долгих церемоний, простился, пообещав вернуться вечером.

Когда он исчез и я только что собрался, как это принято на свете, сделать свои замечания о человеке, благодаря любезности которого удалось завязать столь приятное знакомство, я, к своему удивлению, увидел, что здесь не могут нахвалиться им и в особенности превозносят, притом в самых преувеличенных выражениях, его пристрастие к красоте, его аристократически изящные манеры и бескорыстие. Синьора Франческа тоже присоединилась к общему хору похвал, но призналась, что нос его внушает ей некоторую тревогу и всегда напоминает ей Пизанскую башню.

Прощаясь, я снова просил удостоить меня милостивого соизволения поцеловать ее левую ногу, и она с серьезной улыбкой сняла красный башмачок, а также и чулок; а когда я склонил колени, она протянула мне свою лилейно-белую цветущую ножку, которую я и прижал к губам с большим благоговением, чем если бы проделал то же самое с ногой папы. Само собою разумеется, я взял на себя также роль камеристки и помог ей надеть чулок и башмак.

— Я довольна вами, — сказала синьора Франческа, когда дело было сделано, причем я не слишком спешил, хотя и работал всеми десятью пальцами, — я довольна вами, вы можете почаще надевать мне чулки. Сегодня вы поцеловали мне левую ногу, завтра к вашим услугам правая. Послезавтра вы можете уже поцеловать мне левую руку, а день спустя — и правую. Если будете вести себя хорошо, то впоследствии я протяну вам и мои губы,

и т. д. Видите, я охотно поощряю вас, а так как вы еще молоды, то можете далеко пойти.

И я далеко пошел! Будьте в том свидетелями вы, тосканские ночи, и ты, светло-синее небо с большими серебряными звездами, и вы, дикие лавровые поросли и таинственные мирты, и вы, апеннинские нимфы, порхавшие вокруг нас в свадебной пляске и грезами уносившиеся в лучшие времена — времена богов, когда не существовало еще готической лжи, разрешающей лишь слепые наслаждения, ощупью, в укромном уголке и прикрывающей своим лицемерным фиговым листком всякое свободное чувство.

В отдельных фиговых листках тут и не было нужды — целое фиговое дерево с широко раскинувшимися ветвями шелестело над головами счастливых.

ГЛАВА VII

Что такое побои — это известно, но что такое любовь — до этого никто еще не додумался. Некоторые натурфилософы утверждали, что это род электричества. Возможно — ибо в момент, когда влюбляешься, кажется, будто электрический луч из глаз возлюбленной поразил внезапно твое сердце. Ах! Эти молнии самые губительные, и того, кто найдет для них отвод, я готов поставить выше Франклина. Если бы существовали небольшие громоотводы, которые можно было бы носить на сердце, и если бы на них имелась игла, по которой можно было бы отводить ужасное пламя куда-нибудь в сторону! Но боюсь, что отнять стрелы у маленького Амура не так легко, как молнии у Юпитера и скипетры у тиранов. К тому же любовь не всегда поражает молниеносно, иной раз она подстерегает, как змея под розами, и высматривает малейшую щель в сердце, чтобы проникнуть туда; иногда это — одно только слово, один взгляд, рассказ о чем-нибудь незначительном, и они западают в наше сердце, как блестящее зерно, лежат там спокойно всю зиму, пока не наступит весна, и маленькое зерно не распустится в огненный цветок, аромат которого пьянит голову. То самое солнце, что выводит из яиц крокодилов в Нильской долине, способно одновременно довести до состояния полной зрелости посев любви в юном сердце,

где-нибудь в Потсдаме, на Гафеле — и тут-то польются слезы и в Египте и в Потсдаме! Но слезы далеко еще не объяснение... Что такое любовь? Определил ли кто ее сущность, разрешил ли кто ее загадку? Быть может, разрешение ее принесло бы бóльшие муки, чем самая загадка, и сердце ужаснулось бы и оцепенело, как при виде Медузы. Вокруг страшного слова, разрешающего загадку, клубком вьются змеи... О, я никогда не хочу слышать слово разгадки! Жгучая боль в моем сердце дороже мне все-таки, чем холодное оцепенение. О, не произносите его, тени умерших, вы, что блуждаете по розовым садам нашего мира, не зная боли, как камни, но и не чувствуя ничего, как камни, и бледными устами улыбаетесь при виде молодого глупца, превозносящего аромат роз и сетующего на шипы.

Но если я не могу, любезный читатель, сказать тебе, что такое собственно любовь, то я мог бы тебе подробно рассказать, как ведет себя и как чувствует себя человек, влюбившийся в Апеннинах. А ведет он себя как дурак, пляшет по холмам и скалам и думает, что весь мир пляшет вместе с ним. А чувствует он себя при этом так, будто мир сотворен только сегодня, и он первый человек. Ах, как прекрасно все это! — ликовал я, покинув жилище Франчески. Как прекрасен, как чудесен этот новый мир! Казалось, я должен был дать имя каждому растению и каждому животному, и я придумывал наименования для всего окружающего в соответствии с внутренней его природой и с моим собственным чувством, которое так чудесно сливалось с внешним миром. Грудь моя была как источник откровения; я понимал все формы, все образы, запах растений, пение птиц, свист ветра и шум водопадов. Порой слышал я также божественный голос: «Адам, где ты?» — «Здесь, Франческа, — отвечал я тогда, — я боготворю тебя, так как наверно знаю, что ты сотворила солнце, луну и звезды, и землю со всеми ее тварями!» Тут в миртовых кустах раздался смех, и я тайно вздыхал: «Сладостное безумие, не покидай меня!»

Позже, когда наступили сумерки, началось настоящее безумие блаженной влюбленности. Деревья на горах танцевали уже не в одиночку — сами горы танцевали своими тягеловесными вершинами, которые заходящее солнце озаряло таким багровым светом, что, казалось, они

опьянены собственным виноградом. Ручей внизу стремительнее катил свои воды вперед и боязливо шумел, как бы опасаясь, что восторженно колышущиеся горы обрушатся вниз. А зарницы сверкали при этом так нежно, как светлые поцелуи. «Да, — воскликнул я, — небо, смеясь, целует возлюбленную — землю. О Франческа, прекрасное небо мое, пусть я буду твоею землею! Весь я такой земной и тоскую по тебе, небо мое!» Так восклицая, простирал я с мольбой объятия и наталкивался головой на деревья, которые и обнимал, вместо того чтобы бранить их, и душа моя ликовала в опьянении любовью, — как вдруг я увидел ослепительно-красную фигуру, разом вырвавшую меня из царства грез и вернувшую в мир самой отрезвляющей действительности.

ГЛАВА VIII

На зеленом холмике под раскидистым лавровым деревом сидел Гиацинт, слугитель маркиза, а подле него Аполлон, хозяйская собака. Последняя скорее стояла, положив передние лапы на огненно-красные колени маленького человечка, и с любопытством наблюдала, как Гиацинт, с грифельной доской в руке, время от времени что-то писал на ней и скорбно улыбался, качая головкой, глубоко вздыхал и потом благодушно сморкался.

— Что за черт! — воскликнул я. — Гирш-Гиацинт! Ты сочиняешь стихи? Что же, знаменья благоприятны! Аполлон подле тебя, а лавры уже висят над твоей головой.

Но я оказался несправедливым к бедняге. Он кротко ответил мне:

— Стихи? Нет, я хоть и люблю стихи, но сам их не пишу. Да и что мне писать? Сейчас мне нечего было делать, и чтобы поразвлечься, я составил для себя список всех друзей, которые когда-нибудь покупали у меня лотерейные билеты. Некоторые из них даже и должны мне еще кое-что — не подумайте только, господин доктор, что я напоминаю вам, время терпит, и вы человек верный. Если бы вы в последний раз сыграли на 1364-й, а не на 1365-й номер, то были бы теперь человеком с капиталом в сто тысяч марок, и незачем вам было бы таскаться по здешним местам, и могли бы вы спокойно сидеть в Гамбурге, спо-

койно и благополучно сидеть на софе и слушать рассказы о том, каково в Италии. Как бог свят! Я не приехал бы сюда, если бы не хотел сделать удовольствие господину Гумпелю. Ах! Какую жару, да какие опасности, и сколько усталости приходится выносить, и ведь если только где-нибудь можно хватить через край или посумасбродничать, то господин Гумпель тут как тут, и я должен следовать за ним. Я бы уже давно ушел от него, если бы он мог обойтись без меня. Ведь кто потом будет рассказывать дома, сколько чести и сколько образованности он приобрел в чужих краях? Сказать правду, я и сам начинаю придавать много значения образованности. В Гамбурге я, слава богу, в ней не нуждаюсь, но ведь, как знать, иной раз можно попасть и в другое место. Мир теперь совсем другой. И они правы: немножко образованности украшает человека. А как тебя уважают! Леди Максфилд, например, как она принимала меня сегодня утром и какое оказала уважение! Совсем так, будто я ей ровня. И дала мне на водку один франческони, хотя весь цветок стоил пять паоли. Кроме того, уже само по себе удовольствие — держать в руках маленькую белую ножку красивой дамы!

Я немало был смущен последним замечанием и тотчас же подумал, не намек ли это. Но как мог мошенник узнать о счастье, выпавшем мне на долю только сегодня, в то самое время, когда он находился на противоположном склоне горы? Или там происходила подобная же сцена, и ирония великого мирового драматурга там, в небесах, выразилась в том, что он разыграл сразу тысячу одинаковых, пародирующих одновременно одна другую сцен к удовольствию небесных воинств? Но то и другое предположения оказались неосновательными, ибо после долгих, многократных расспросов и после того, как я обещал ничего не говорить маркизу, бедняга признался, что леди Максфилд лежала в постели, когда он передал ей тюльпан, и в тот момент, когда он собрался произнести свое красноречивое приветствие, показалась на свет ее босая ножка; и так как он заметил на ней мозоли, то тотчас же попросил позволения срезать их, что и было разрешено и затем вознаграждено одним франческони, включая сюда и благодарность за доставку тюльпана.

— Но все это — ради одной лишь чести, — добавил Гиацинт, — я сказал это и барону Ротшильду, когда удо-

стоился чести срезать ему мозоли. Это было в его кабинете; он сидел в своем зеленом кресле, как на троне, произносил слова, как король, вокруг него стояли его маклеры, и он отдавал распоряжения и рассылал эстафеты ко всем королям, а я, срезая ему мозоли, думал в это время про себя: сейчас в твоих руках нога человека, который сам держит в руках целый мир, ты теперь тоже важный человек; если ты режешь здесь, внизу, слишком глубоко, то он придет в дурное настроение и станет там, наверху, еще сильнее резать самых могучих королей. Это был счастливейший момент моей жизни!

— Могу себе представить это чудесное ощущение, господин Гиацинт! Но над кем же из ротшильдовской династии производили вы такую ампутацию? Не над великодушным ли британцем из Ломбард-стрита, учредившим ломбард для императоров и королей?

— Разумеется, господин доктор, я имел в виду великого Ротшильда, великого Натана Ротшильда, Натана Мудрого, у которого бразильский император заложил свою алмазную корону. Но я имел честь познакомиться также и с бароном Соломоном Ротшильдом во Франкфурте, и если я не удостоился интимного знакомства с его ногами, то все же он ценил меня. Когда господин маркиз сказал ему, что я был когда-то лотерейным маклером, барон ответил весьма остроумно: «Я ведь и сам в этом роде, я главный маклер ротшильдовской лотереи, и мой коллега, ей-ей, не должен обедать с прислугой, пусть он сядет за стол рядом со мной!» И вот — пусть меня накажет бог, господин доктор, если я не сидел подле Соломона Ротшильда, и он обращался со мной совсем как с равным, совсем *фамилионерно*. Я был у него также на знаменитом детском балу, про который писали в газетах. Такой роскоши мне уж не видать в жизни! Ведь я был и в Гамбурге на одном балу, который обошелся в тысячу пятьсот марок восемь шиллингов, но это все равно, что куриный помет по сравнению с целой навозной кучей. Сколько я там видел золота, серебра и брильянтов! Сколько орденов и звезд! Орден Сокола, Золотого Руна, орден Льва, орден Орла, и даже на одном совсем маленьком ребенке, я вам говорю — на совсем маленьком ребенке, был орден Слона. Дети были прекрасно костюмированы, и играли в займы, и были одеты королями, с коронами на головах, а один большой мальчик

был одет в точности старым Натаном Ротшильдом. Он очень хорошо справлялся с делом, держал руки в карманах брюк, звенел золотом, недовольно покачивался, когда кто-нибудь из маленьких королей просил взаймы, и только одного маленького, в белом мундире и красных штанах, ласково гладил по щекам и хвалил: «Ты моя радость, прелесть моя, роскошь моя, но пусть твой кузен Михель отстанет от меня, я ничего не дам взаймы этому дураку, который тратит в день больше людей, чем ему отпущено на целый год; из-за него еще произойдет на земле несчастье, и дело мое пострадает». Пусть накажет меня господь, мальчик великолепно справлялся с делом, особенно когда поддерживал толстого ребенка, укутанного в белый атлас с настоящими серебряными лилиями, и время от времени говорил ему: «Ну-ну, ты, ты, веди себя хорошо, живи честным трудом, позаботься, чтобы тебя опять не выгнали, а то я потеряю свои деньги!» Уверяю вас, господин доктор, слушать этого мальчика было одно удовольствие, да и другие дети — все были очень милые дети, справлялись с делом прекрасно, пока не принесли пирог; тут они начали спорить из-за лучшего куска, срывать друг с друга короны, кричать и плакать, а некоторые даже...

ГЛАВА IX

Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание итальянского путешествия — разве только описывать такое путешествие, и автор может сделать свой труд до некоторой степени сносным, если будет как можно меньше говорить о самой Италии. Хотя и я в полной мере воспользовался этой уловкой, но не могу обещать тебе, любезный читатель, что в последующих главах будет много интересного. Если ты начнешь томиться, читая скучную историю, которая окажется там, то утешься тем, что мне пришлось даже написать эту историю. Советую тебе время от времени пропускать несколько страниц, и ты скорее дойдешь до конца книги — ах, если бы и я мог поступить так! Не думай только, что я шучу. Если уж высказывать свое искреннее мнение об этой книге, то советую тебе закрыть ее теперь же и вовсе не читать дальше. В другой раз я напишу

тебе кое-что получше, и если в следующей книге, в «Городе Лукке», мы снова встретимся с Матильдой и Франческой, то их милые образы больше привлекут и позабавят тебя, чем в настоящей главе и в последующих.

Слава богу, под моим окном весело заиграла шарманка! Моей хмурой голове необходимо было такое развлечение, — тем более, что мне предстоит описать визит к его превосходительству маркизу Кристофоро ди Гумпелино. Я поведаю эту трогательную повесть совершенно точно, дословно верно, во всей ее неопытнейшей чистоте.

Было уже поздно, когда я достиг квартиры маркиза. Когда я вошел в комнату, Гиацинт стоял один и чистил золотые шпоры своего барина, который, как я заметил сквозь полуоткрытые двери его спальни, лежал распростертый перед мадонною и большим распятием.

Тебе надлежит знать, любезный читатель, что маркиз, человек знатный, стал теперь добрым католиком, что он строго выполняет обряды единоспасающей церкви и даже держит при себе, бывая в Риме, особого капеллана, по той же причине, по которой он содержит в Англии лучших рысаков, а в Париже — самую красивую танцовщицу.

— Господин Гумпель сейчас молится, — прошептал Гиацинт с многозначительной улыбкой и еще тише добавил, указав на кабинет своего барина: — Так он и лежит каждый вечер два часа на коленях перед примадонной с младенцем Иисусом. Это великолепное произведение искусства, и обошлось оно ему в шестьсот франчесconi.

— А вы, господин Гиацинт, почему не стоите на коленях позади него? Или вы, может статься, не сторонник католической религии?

— Я сторонник ее и в то же время не сторонник, — ответил Гиацинт, задумчиво покачав головой. — Это хорошая религия для знатного барина, свободного по целым дням, и для знатока искусств, но эта религия — не для гамбургского жителя, человека, занятого своим делом, и уж во всяком случае не религия для лотерейного маклера. Я должен совершенно точно записать каждый разыгрываемый номер, и если я случайно начну думать о бум! бум! бум! — о каком-нибудь католическом колоколе, или перед глазами повеет католическим ладаном, и я ошибусь и напишу не то число, может случиться великая беда. Я часто говорю господину Гумпелю: «Ваше превосходитель-

ство — богатый человек, и вы можете быть католиком сколько вам угодно, и можете затуманивать свой рассудок ладаном совсем по-католически, и можете быть глупым, как католический колокол, и все-таки вы будете сыты; а я человек деловой и должен держать в порядке свои семь чувств, чтобы кое-что заработать». Правда, господин Гумпель полагает, что это необходимо для образования, и если я не католик, то мне и не понять картин, составляющих принадлежность образованности, — ни Джованни да Фесселе, ни Корретшио, ни Карратшио, ни Карраватшио — но я всегда думал, что ни Корретшио, ни Карратшио, ни Карраватшио¹ не помогут мне, если никто не станет брать у меня лотерейных билетов, и я сяду тогда в лужу. Кроме того, должен признаться вам, господин доктор, что католическая религия не доставляет мне даже и удовольствия, и вы, как человек рассудительный, согласитесь со мною. Я не вижу, в чем тут прелесть: это такая религия, как будто господь бог, чего боже упаси, только что умер, и пахнет от нее ладаном, как от погребальной процессии, да еще гудит такая унылая похоронная музыка, что просто могут сделаться *меланхолики* — уж я вам говорю, эта религия не для гамбургского жителя.

— Но как вам нравится протестантская религия, господин Гиацинт?

— Она, наоборот, чересчур уж разумна, господин доктор, и если бы в протестантской церкви не было органа, то она и вовсе не была бы религией. Между нами говоря, эта религия безвредна и чиста, как стакан воды, но и пользы от нее никакой. Я попробовал ее, и эта проба обошлась мне в четыре марки четырнадцать шиллингов.

— Как так, любезный господин Гиацинт?

— Видите ли, господин доктор, я подумал: это очень просвещенная религия, и ей не хватает мечтаний и чудес, а между тем, немножечко мечтаний должно бы быть, и должна она творить хотя бы совсем малюсенькие чудеса, если желает выдавать себя за порядочную религию. Но кто же тут будет творить чудеса? — подумал я, когда осматривал однажды в Гамбурге протестантскую церковь,

¹ Гиацинт перевирает имена итальянских живописцев Корреджо, Караччи, Караваджо, Джованни да Фьезоле (Фра Бсато Анджелико).

из числа самых голых, где нет ничего, кроме коричневых скамеек и белых стен, а на стене висит только черная дощечка с полудюжиной белых цифр. Ты несправедлив к этой религии, — подумал я опять, — может быть, эти цифры могут совершить чудо не хуже, чем образ божией матери или кость ее мужа, святого Иосифа, и, чтобы проникнуть в самую сущность, я отправился в Альтону и поставил в альтонской лотерее на эти именно числа — на амбу поставил восемь шиллингов, на терну — шесть, на кватерну — четыре и на квинтерну — два шиллинга. Но, чеством моей уверяю вас, не вышло ни одного протестантского номера. Теперь-то я знал, что мне думать: теперь, подумал я, не нужно мне религии, которая ничего не может, у которой не выходит даже амба — неужели же я буду дураком и верю этой религии, на которой я потерял уже четыре марки и четырнадцать шиллингов, еще и все свое блаженство?

— Старая еврейская религия представляется вам, конечно, более целесообразной, любезный?

— Господин доктор, отстаньте от меня со старой еврейской религией, ее я не пожелал бы и злейшему своему врагу. От нее никакого проку — один лишь стыд и срам. Я вам говорю, это не религия вовсе, это несчастье. Я избегаю всего, что может мне о ней напомнить, и так как Гирш — еврейское слово и по-немецки будет Гиацинт, то я даже отделался от прежнего Гирша и подписываюсь теперь: «Гиацинт, коллектор, оператор и таксатор». Кроме того, здесь еще и та выгода, что на моей печати стоит уже буква Г. и мне незачем заказывать новую. Уверяю вас, на этом свете много зависит от того, как тебя зовут, имя много значит. Когда я подписываюсь: «Гиацинт, коллектор, оператор и таксатор», то это звучит совсем иначе, чем если бы я написал просто Гирш, и уж тогда со мной нельзя обращаться как с обыкновенным проходивцем.

— Любезный господин Гиацинт! Кто бы стал с вами так обращаться! Вы, по-видимому, так много сделали для своего образования, что в вас сразу же признаешь образованного человека, прежде даже чем вы откроете рот, чтобы заговорить.

— Вы правы, господин доктор, я зашел в образованности так далеко, как какая-нибудь великанша. Я, право,

не знаю, когда вернусь в Гамбург, с кем мне там водить знакомство; а что касается религии, то я знаю, что мне делать. Пока что, впрочем, я могу удовольствоваться новой еврейской синагогой; я имею в виду чистейшее мозаическое богослужение с правильным орфографическим немецким пением и трогательными проповедями и с кое-какими мечтаниями, которые безусловно необходимы для всякой религии. Накажи меня бог, мне не нужно сейчас лучшей религии, и она заслуживает того, чтобы ее поддерживали. Я буду делать свое дело, и когда вернусь в Гамбург, то по субботам, если не будет розыгрыша, всегда буду ходить в новую синагогу. Находятся, к несчастью, люди, которые распространяют дурную славу об этом новом еврейском богослужении и утверждают, что оно дает, с позволения сказать, повод к расколу, но могу уверить вас, это — хорошая, чистая религия, слишком еще хорошая для простого человека, для которого старая еврейская религия, может быть, все еще очень полезна. Простому человеку нужна для счастливого самочувствия какая-нибудь глупость, и он счастлив со своей глупостью. Этаким старым евреем с длинной бородой и в разорванном сюртуке, хоть он не умеет сказать двух слов орфографически правильно и даже слегка паршив, внутренне, может быть, более счастлив, чем я со всею моею образованностью. Вот в Гамбурге на Булочной улице, на задворках живет человек по имени Моисей Люмп; называют его также Моисей Люмпхен;¹ он целую неделю бегаёт по городу, в дождь и ветер, с узелком на спине, чтобы заработать свои две три марки, и когда в пятницу вечером он возвращается домой, то его ждёт зажженная лампа с семью светильниками и стол, накрытый белой скатертью, и он сбрасывает свой узелок и свои заботы, и садится за стол со своей кривой женой и еще более кривой дочерью, и ест вместе с ними рыбу, сваренную в приятном белом чесночном соусе, распевает при этом великолепные псалмы царя Давида, радуется от всего сердца исходу детей израилевых из Египта, радуется также тому, что все злодеи, причинявшие им зло, в конце концов перемерли, что нет в живых

¹ Люмпхен — уменьшительное от Люмп (Lump) — негодяй, бездельник (нем.).

ни царя-фараона, ни Навуходоносора, ни Амана, ни Антиоха, ни Тита, ни других им подобных, а вот он — Люмпхен — жив и ест рыбу в обществе жены и дочери. И я скажу вам, господин доктор, рыба — деликатес, и сам он счастлив; ему не приходится мучить себя образованностью, он сидит, довольный своей религией и своим зеленым халатом, как Диоген в своей бочке; он с удовольствием смотрит на свои свечи, которых даже и не оправляет сам... И я говорю вам, если свечи горят немножко тускло и нет вблизи женщины для субботних услуг, которая их оправляет, и если бы вошел в это время Ротшильд Великий со всеми своими маклерами, дисконтерами, экспедиторами и начальниками контор, при помощи которых он завоевал мир, и сказал бы: «Моисей Люмп, проси у меня милости, все, что ты пожелаешь, будет исполнено», — я убежден, господин доктор, что Моисей Люмп спокойно ответил бы: «Оправь свечи!» — и Ротшильд Великий сказал бы с изумлением: «Не будь я Ротшильдом, я хотел бы быть таким Люмпхеном».

Пока Гиацинт развивал таким образом, эпически растекаясь, по обыкновению, свои взгляды, маркиз поднялся со своих молитвенных подушек и подошел к нам, все еще бормоча в нос «Отче наш». Гиацинт задернул зеленым занавесом образ мадонны, висевшей над аналоем, потушил две восковые свечи, горевшие перед ним, снял медное распятие, вернулся к нам, держа его в руках, и стал чистить его той же тряпкой и так же добросовестно поплеывая, как только что чистил шоры своего барина. Этот последний словно растаял от жары и умиления; вместо сюртука на нем было просторное голубое шелковое домино с серебряной бахромой, а нос его блестел томно, как влюбленный луидор.

— Иисусе! — вздохнул он, опустившись на подушки дивана. — Не находите ли вы, доктор, что сегодня вечером у меня чрезвычайно мечтательный вид? Я очень взволнован, дух мой как бы отрешился от всего, я постигаю высший мир, —

И небеса очам открыты,
И полнится блаженством грудь.

— Господин Гумпель, вам следует принять внутрь... — прервал Гиацинт эту патетическую декламацию, — кровь

у вас во внутренностях опять замутилась, я знаю, чего вам нужно...

— Ты не знаешь, — вздохнул барин.

— Говорю вам, знаю, — возразил слуга и покачал своим добродушно-участливым личиком, — я вас знаю всего насквозь, я знаю, вы полная противоположность мне. Когда вам хочется пить, мне хочется есть, когда я хочу пить, вы хотите есть. Вы слишком полновесны, я слишком худощав; у вас много воображения, а у меня зато больше деловой сметки; я практик, а вы диарретик; короче говоря, вы мой антиподекс.¹

— Ах, Юлия, — вздохнул Гумпелино, — если бы я был желтой лайковой перчаткой на твоей руке и мог бы целовать тебе щечку! Вы видели когда-нибудь, господин доктор, Крелингер в «Ромео и Джульетте»?

— Видел, и до сих пор испытываю душевный восторг...

— В таком случае, — воскликнул маркиз с воодушевлением, и огонь засверкал в его глазах и озарил его нос, — в таком случае, вы поймете меня! В таком случае, вам понятно будет, если я скажу: я люблю! Я хочу вполне открыться перед вами. Гиацинт, выйди!

— Мне незачем выходить, — отвечал недовольно Гиацинт, — вам нечего передо мной стесняться, я тоже знаю, что такое любовь, и знаю...

— Ты не знаешь! — воскликнул Гумпелино.

— В доказательство того, что я знаю, господин маркиз, мне достаточно назвать имя Юлии Максфилд. Успокойтесь, и вас тоже любят, но от этого мало толку. Зять вашей возлюбленной не спускает с нее глаз и сторожит ее, как брильянт, днем и ночью.

— О, я несчастный! — сокрушался Гумпелино. — Я люблю, и меня любят, мы тайком пожимаем друг другу руки, мы встречаемся ногами под столом, делаем знаки друг другу глазами, а случай все не представляется! Как часто стою я при свете луны на балконе и воображаю, что сам я — Юлия, и мой Ромео или мой Гумпелино назначил мне rendez-vous,² и я декламирую, совсем как Крелингер:

¹ Гиацинт вместо — теоретик здесь говорит — диарретик; а вместо антипод — антиподекс (диарретик — больной поносом; подекс — задняя часть).

² Свидание (*франц.*).

Приди, о ночь! И с нею, светлый день,
Примчись на крыльях ночи, Гумпелино,
Как чистый снег на ворона спине!
Приди, о ночь волшебная! С тобою
Придет Ромео или Гумпелино!

Но — увы! — лорд Максфилд непрестанно сторожит нас, и мы умираем от страсти. Я не доживу до того дня, когда настанет ночь, когда «цвет юности чистейший залогом станет жертвенным любви!» Ах, такая ночь приятнее, чем главный выигрыш в гамбургской лотерее!

— Что за фантазия! — воскликнул Гиацинт. — Главный выигрыш — сто тысяч марок!

— Да, приятнее, чем главный выигрыш, — продолжал Гумпелино, — одна такая ночь, и — ах! — она не раз уже обещала мне такую ночь, при первом удобном случае, и я уже представлял себе, как наутро она будет декламировать, совсем точно Крелингер:

Уходишь ты? Ведь день еще далек.
То соловья, не жаворонка трели
До слуха донеслись твоего.
Он на гранатном дереве поет.
Поверь, любимый, это — соловей.

— Главный выигрыш за одну-единственную ночь! — многократно повторял между тем Гиацинт, не будучи в состоянии успокоиться. — Я высокого мнения о вашей образованности, господин маркиз, но я никогда бы не подумал, что вы так далеко зайдете в своих фантазиях. Любовь — дороже, чем главный выигрыш! Право, господин маркиз, с тех пор как я имею дело с вами в качестве вашего слуги, я немало приобрел образованности, но знаю наверняка, что не дал бы за любовь и одной восьмущечки главного выигрыша! Боже упаси меня от этого! Если даже отсчитать пятьсот марок налогу, то все-таки остается еще двенадцать тысяч марок! Любовь! Если сосчитать, сколько мне стоила любовь, то выйдет всего-навсего двенадцать марок и тринадцать шиллингов. Любовь! Я часто был счастлив в любви и даром, мне она ничего не стоила; лишь иногда я, par complaisance,¹ срезал мозоли моей возлюбленной. Истинную, полную чувства, страстную привязанность я испытал один-единственный

¹ Из любезности (франц.).

раз: это была толстая Гудель с Грязного Вала. Она играла при моем посредстве в лотерею, и когда я являлся к ней, чтобы возобновить билет, она каждый раз всовывала мне в руку кусок пирога, кусок очень хорошего пирога, а иногда она давала мне и немножко варенья, с рюмочкой ликеру, а когда я как-то раз пожаловался ей, что страдаю меланхолией, она дала мне рецепт порошков, которые принимает ее собственный муж. Я до сих пор принимаю эти порошки, они всегда действуют — других последствий наша любовь не имела. Я полагаю, господин маркиз, вам следовало бы попробовать такой порошок. Первое, что я сделал, приехав в Италию, — пошел в аптеку в Милане и заказал порошки, и они постоянно со мной. Погодите, я поищу их, а поищу, так и найду, а найду, так вы, ваше превосходительство, должны их принять.

Слишком долго было бы повторять те комментарии, которыми Гиацинт, деловито принявшись за поиски, сопровождал каждый предмет, вытаскиваемый из карманов. Извлечены были: 1) половинка восковой свечи, 2) серебряный футляр с инструментами для срезания мозолей, 3) лимон, 4) пистолет, хотя и не заряженный, но завернутый в бумагу, быть может затем, чтобы вид его не наводил на опасные мысли, 5) печатная таблица выигрышей последней большой гамбургской лотереи, 6) книжка в черном кожаном переплете с псалмами Давида и со списком должников, 7) сухие прутья ивы, как бы сплетенные узлом, 8) пакетик в вылинявшей розовой тафте с квитанцией лотерейного билета, некогда выигравшего пятьдесят тысяч марок, 9) плоский кусочек хлеба, наподобие белого корабельного сухаря, с небольшой дырочкой посередине, и, наконец, 10) вышеупомянутые порошки, которые человек этот и стал рассматривать не без волнения, удивленно и скорбно покачивая головой.

— Когда я вспомню, — вздохнул он, — что десять лет тому назад толстая Гудель дала мне этот рецепт, и что я теперь в Италии, и у меня в руках этот рецепт, и когда я снова читаю слова: *sal mirabile Glauberi*,¹ что значит по-немецки — самая лучшая глауберова соль самого лучшего сорта, то — ах! — мне кажется, будто я

¹ Чудесная глауберова соль. Дальше идет игра слов: Гиацинт вместо «*Glaubersalz*», что значит — глауберова соль, говорит «*Glaubensalz*» — соль веры.

принял уже глауберову соль и чувствую ее действие. Что такое человек! Я в Италии, а думаю о толстой Гудель с Грязного Вала! Кто бы мог представить себе это! Она, я воображаю, сейчас в деревне, в своем саду, где светит луна, тоже, конечно, поет соловей или жаворонок.

«То соловья, не жаворонка трели!» — вздохнул Гумпелино и продекламировал опять: —

Он на гранатном дереве поет.
Поверь, любимый, это — соловей.

— Это совершенно безразлично, — продолжал Гиацинт, — по мне пусть даже канарейка; птицы, которые в саду, обходятся всего дешевле. Главное дело — оранжерея, и обивка в павильоне, и политические фигуры, что поставлены там. А там стоят, например, голый генерал, из богов, и Венера Уриния, и цена им вместе триста марок. Посреди сада Гудель завела себе также фонтанчик. А сама стоит теперь, может быть, там и почесывает нос, и наслаждается мечтами, и думает обо мне... Ах!

За вздохом этим последовала выжидательная тишина, которую маркиз прервал внезапно томным вопросом:

— Скажи по чести, Гиацинт, ты действительно уверен, что твой порошок подействует?

— Честное слово, подействует, — отвечал Гиацинт. — Почему он может не подействовать? Действует же он на меня! А разве я не такой же человек, как вы? Глауберова соль всех уравнивает, и когда Ротшильд принимает глауберову соль, то так же чувствует ее действие, как и самый маленький маклер. Я все скажу вам наперед: я всыплю порошок в стакан, подолью воды, размешаю, и как только вы проглотите это, вы скорчите кислую физиономию и скажете: «Бр... бр...» Потом вы услышите сами, как что-то бурлит внутри, вам станет как-то странно, и вы ляжете на кровать, и, даю вам честное слово, вы с нее встанете, и опять ляжете, и опять встанете и т. д., а на следующее утро почувствуете себя легко, как ангел с белыми крыльями, заплешете от избытка здоровья, и только будете несколько бледнее с виду; но я знаю, вам приятно, когда у вас томно-бледный вид, а когда у вас томно-бледный вид, то и другим приятно посмотреть на вас.

Несмотря на такие убедительные доводы и на то, что Гиацинт стал уже готовить порошок, все это ни к чему

бы не привело, если бы внезапно маркизу не пришло в голову то место трагедии, где Джульетта выпивает роковой напиток.

— Что вы думаете, доктор, о венской Мюллер? — воскликнул он. — Я видел ее в роли Джульетты, и — боже, боже! — как она играет! Я ведь величайший поклонник Крелингер, но Мюллер в тот момент, когда она выпивает кубок, потрясла меня. Взгляните-ка, — сказал он, с трагическим жестом взяв в руки стакан, в который Гиацинт высыпал порошок, — взгляните-ка, вот так она держала бокал и сказала, содрогнувшись и вызвав всеобщее содрогание:

Мертвящий трепет проникает в жилы
И леденит пылающую кровь.

Вот так стояла она, как я стою сейчас, держа бокал у губ, и при словах:

Подожди, Тибальдо!
Иду, Ромео! Пью я за тебя! —

она осушила бокал...

— На здоровье, господин Гумпель! — произнес торжественно Гиацинт, когда маркиз, с таким увлечением подражая артистке, осушил стакан и, в изнеможении от своей декламации, опустился на софу.

Но он не долго пробыл в таком положении; внезапно раздался стук в дверь, и в комнату вошел маленький жюкей леди Максфилд; он, улыбаясь, с поклоном передал маркизу записку и тотчас же удалился. Маркиз поспешно распечатал письмо; пока он читал, нос и глаза его сверкали от восторга. Но вдруг призрачная бледность покрыла его лицо, дрожь ошеломления свела мускулы, он вскочил с жестом отчаяния, горестно захохотал и стал бегать по комнате, восклицая:

О горе мне, посмешищу судьбы!

— Что такое? Что такое? — спросил Гиацинт дрожащим голосом, судорожно сжав в дрожащих руках распятие, за чистку которого он вновь принялся. — На нас нападут этой ночью?

— Что с вами, господин маркиз? — спросил я, тоже немало изумившись.

— Читайте! Читайте! — воскликнул Гумпелино, бросив полученную им записку и все еще бегая по комнате в полном отчаянии, причем голубое домино его развевалось как грозная туча. — О горе мне, посмешищу судьбы! В записке мы прочли следующее:

«Прелесть моя, Гумпелино! На рассвете я должна отбыть в Англию. Мой деверь отправился уже вперед и встретит меня во Флоренции. Никто теперь не следит за мною — к сожалению, только в эту единственную ночь. Воспользуемся ею, осушим до последней капли чашу нектара, которую преподносит нам любовь. Жду, трепещу.

Юлия Максфилд.

— О горе мне, посмешищу судьбы! — стонал Гумпелино. — Любовь преподносит мне чашу нектара, а я... ах! — я, глупое посмешище судьбы, я осушил уже чашу глауберовой соли! Кто освободит мой желудок от ужасного напитка? Помогите! Помогите!

— Тут уж не поможет ни один живой человек на земле, — вздохнул Гиацинт.

— Всем сердцем сочувствую вам, — выразил я свое соболезнование. — Испить вместо чаши с нектаром чашу с глауберовой солью — слишком уж горько. Вместо трона любви вас ждет теперь ночной стул.

— Иисусе! Иисусе! — продолжал кричать маркиз. — Я чувствую, как напиток бежит по всем моим жилам. О, честный аптекарь! Твой напиток действует быстро, но это все-таки не остановит меня, я поспешу к ней, упаду к ее ногам, истеку кровью!

— О крови не может быть и речи, — успокаивал Гиацинт. — У вас ведь нет *гомероя*. Только не надо так волноваться!

— Нет, нет! Я хочу к ней, в ее объятия! О, эта ночь, эта ночь!

— Говорят вам, — с философским спокойствием продолжал Гиацинт, — вы не найдете покоя в ее объятиях, вам придется раз двадцать вставать. Только не волнуйтесь! Чем больше вы прыгаете взад и вперед по комнате, чем больше горячитесь, тем скорее подействует глауберова соль. Ведь настроение играет на руку природе. Вы должны

сносить как мужчина то, что судьба послала вам. Что это так случилось, — может быть, хорошо, и, может быть, хорошо, что это случилось так. Человек — существо земное и не ведает божественного промысла. Часто человек думает, что идет навстречу счастью, а на пути ждет его, может быть, несчастье с палкой в руках, а когда мешанская палка пройдет по дворянской спине, то человек ведь чувствует это, господин маркиз!

— О горе мне, посмешищу судьбы! — все еще бушевал Гумпелино, а слуга его продолжал спокойно:

— Часто человек ждет чаши с нектаром, а получает палочную похлебку, и если нектар сладок, то удары тем горше. И поистине счастье, что человек, который колотит другого, в конце концов устает, иначе другой, право, не выдержал бы. А еще опаснее, когда несчастье с кинжалом и ядом подстерегает человека на пути любви, так что он и в своей жизни не уверен. Может быть, господин маркиз, и правда хорошо, что вышло так, ведь, может быть, вы побежали бы в пылу любви к возлюбленной, а по дороге на вас напал бы маленький итальянец с кинжалом длиной в шесть брабантских футов и только уколол бы вас, — без злой мысли будь сказано, — в икры. Ведь здесь нельзя, как в Гамбурге, позвать сейчас же караул: в Апеннингах-то нет ночных сторожей. Или даже, может быть, — продолжал он неумолимо утешать, нисколько не смущаясь отчаянием маркиза, — может быть даже, в то время как вы сидели бы спокойно и уютно у леди Максфилд, вернулся бы вдруг с пути деверь и приставил бы вам к груди заряженный пистолет и заставил бы вас подписать вексель в сто тысяч марок. Без злой мысли будь сказано, но беру такой случай: вы, предположим, красавец, и, предположим, леди Максфилд пришла в отчаяние, что ей предстоит потерять такого красавца, и, ревнуя вас, как свойственно женщинам, она не пожелала бы, чтобы вы осчастливили другую, — что бы она сделала? Она берет лимон или апельсин, подсыпает туда немножко порошку и говорит: «Прохладись, любимый мой, ты набегался, тебе жарко», — и на другое утро вы и в самом деле похолодевший человек. Был такой человек, звали его Пипер, у него была страстная любовь с некоей девушкой, которую звали Ангелочек Трубный Глас, она жила в Кофейной улице, а он на Фулентвите...

— Я бы хотел, Гирш, — бешено закричал маркиз, беспокойство которого достигло крайних пределов, — я бы хотел, чтобы и твой Пипер с Фулентвите, и Ангелочек Трубный Глас с Кофейной, и ты, и Гудель, чтобы все вы напились моей глауберовой соли!

— Что вы от меня хотите, господин Гумпель? — возразил Гиацинт не без запальчивости. — Чем я виноват, что леди Максфилд собирается уехать именно нынче ночью и пригласила вас именно нынче? Разве мог я знать это наперед? Разве я Аристотель? Разве я на службе у провидения? Я только обещал вам, что порошок подействует, и он действует — это так же верно, как то, что я некогда удостоюсь блаженства, а если вы будете и дальше бегать так беспокойно, и так волноваться, и так беситься, то он подействует еще скорее.

— Ну, так я буду сидеть спокойно! — простонал Гумпелино, топнув ногою об пол, и сердито бросился на софу, с усилием подавив свое бешенство.

Господин и слуга долгое время молча смотрели друг на друга, и, наконец, первый, вздохнув глубоко, почти с робостью обратился ко второму:

— Но послушай, Гирш, что подумает обо мне эта дама, если я не приду? Она ждет меня теперь, ждет с нетерпением, трепещет, пылает любовью.

— У нее красивая нога, — произнес Гиацинт про себя и скорбно покачал головкой, но что-то в его груди начало приходить в движение, под его красной ливреей явственно заработала смелая мысль...

— Господин Гумпель, — произнес он наконец, — пошлите меня!

При этих словах яркий румянец разлился по его бледному деловитому лицу.

ГЛАВА X

Когда Кандид прибыл в Эльдorado, он увидел, как мальчишки на улицах играют большими слитками золота вместо камней. Роскошь эта дала ему основание думать, что перед ним дети короля, и он немало изумился, услышав, что в Эльдorado золотые слитки ничего не стоят, так же как у нас булыжники, и что ими играют школьники.

С одним из моих друзей, иностранцем, случилось нечто подобное: он приехал в Германию, стал читать немецкие книжки и сперва поразился богатству мыслей, содержащихся в них, но скоро он заметил, что мысли в Германии столь же заурядное явление, как золотые слитки в Эльдorado, и что писатели, которых он счел за властителей духа, — обыкновенные школьники.

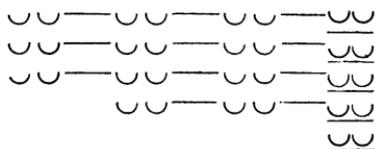
История эта постоянно приходит мне на ум, когда я собираюсь письменно изложить прекраснейшие свои размышления об искусстве и жизни, — и вот я начинаю смеяться и предпочитаю удержать на кончике пера мои мысли или же черчу вместо них на бумаге какие-нибудь рисунки или фигурки, стараясь убедить себя, что узорные обои в таком роде много пригоднее в Германии, этом духовном Эльдorado, чем самые золотые мысли.

На обоях, которые я теперь разворачиваю перед тобой, любезный читатель, ты можешь вновь увидеть хорошо знакомые тебе физиономии Гумпелино и его Гирша-Гиацинта, и если первый изображен в недостаточно определенных очертаниях, то я надеюсь все-таки, что ты окажешься достаточно пронизательным и уяснишь себе этот отрицательный характер без особых положительных указаний. Последние могли бы навлечь на меня обвинение в оскорблении личности или в чем-либо еще более скверном, ибо маркиз благодаря своим деньгам и связям очень силен. К тому же, он — естественный союзник моих врагов и оказывает им поддержку своими субсидиями, он аристократ и ультрапапист, и лишь одного ему не хватает... — ну, да когда-нибудь он этому научится, — руководство у него в руках, как ты в дальнейшем увидишь на обоях.

Опять вечер. На столе стоят два подсвечника с зажженными восковыми свечами, отсветы их колеблются на золотых рамах образов, которые висят на стенах и словно оживают в трепете света и игре теней. Снаружи, перед окном, стоят, озаренные серебряным сиянием месяца, ушлые, таинственно неподвижные кипарисы, а издали доносятся скорбные звуки песенки в честь девы Марии — отрывистый, словно больной детский голос. В комнате царит какая-то особенная духота, маркиз Кристофоро ди Гумпелино сидит или, лучше сказать, лежит опять с небрежно важным видом на подушках дивана; его благородное, потеющее тело облачено опять в легкое голубого

шелка домино, в руках у него книжка в переплете красного сафьяна с золотым обрезом, и он декламирует что-то из этой книжки громко и томно. Глаза его светятся при этом каким-то своеобразным маслянистым блеском, как это бывает обыкновенно у влюбленных котов, а щеки и ноздри подернуты болезненной бледностью. Но бледность эта, любезный читатель, довольно просто объясняется с философско-антропологической точки зрения, если припомнить, что накануне вечером маркиз проглотил целый стакан глауберовой соли.

А Гириш-Гиацинт сидит на корточках и чертит большим куском мела на коринтевом паркете в крупном масштабе приблизительно следующие знаки:



Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку, — он, наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб, антиспаст, анапест и чертов пест. При этом он для большего удобства движений снял красную ливрею, и вот обнаружились две коротенькие скромные ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие несколько более длинные более руки, торчащие из белых широких рукавов рубашки.

— Что это за странные знаки? — спросил я, поглядев некоторое время на его работу.

— Это стопы в натуральную величину, — простонал он в ответ, — и я, несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии. Делаю я это только ради образованности, иначе я давно махнул бы рукой на поэзию со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять потом, правильные ли стихи...

— Вы, действительно, — произнес маркиз дидактически-патетическим тоном, — застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что вы принадлежите

к поэтам, у которых упрямая голова, и вы не согласны с тем, что стопы — главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства другому.

— Разумеется, другому, а не другой, как поступают обыкновенно не-классические поэты-романтики, — заметил я, грешный.

— Господин Гумпель говорит порой точно книга, — прошептал мне сбоку Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения, и головка восхищенно закачалась. — Я вас уверяю, — добавил он несколько громче, — он говорит порой точно книга, он тогда не человек, так сказать, а высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею.

— А что у вас сейчас в руках? — спросил я маркиза.

— Брильянты, — ответил он и передал мне книгу.

При слове «брильянты» Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу, страдальчески улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее заглавие:

«Стихотворения графа Августа фон Платена. Штутгарт и Тюбинген. Издание книготорговой фирмы И. Г. Котта. 1828».

На второй странице написано было красивым почерком: «В знак горячей братской дружбы». При этом от книги распространялся запах, не имеющий ни малейшего отношения к одеколону и объяснявшийся, может быть, тем обстоятельством, что маркиз читал книжку всю ночь.

— Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, — пожаловался он мне, — я был так взволнован, одиннадцать раз пришлось встать с постели, но на счастье оказалась тут эта превосходная книга, из коей я почерпнул не только много поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя как я сидел, я испытывал искушение...

— Это, вероятно, кое с кем уже случалось, господин маркиз.

— Клянусь вам нашей лоретской богородицею и говорю вам как честный человек, — продолжал он, — стихи эти

не имеют себе равных. Как вам известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать *au désespoir*,¹ когда судьба лишила меня обладания моею Юлиею, и вот я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда приходилось вставать, и в результате это равнодушные к женщинам так на меня подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. Именно то и прекрасно в этом поэте, что он пылает только к мужчинам — горячею дружбою; он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные поэты; он не льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам, несущей столько несчастий... О женщины, женщины! Тот, кто освободит нас от ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что Шекспир не употребил на это свой выдающийся драматический талант, ибо, как я впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее благородные, чем великий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих сонетов:

Ты не подпал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете,
Твой друг тебя спасал из женской сети,
В его красе твоя печаль и слава.

В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и на языке его словно таял чистейший навоз, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного свойства, вместе и сердитые и одобрительные, и наконец сказал:

— Господин маркиз, вы говорите как книга, и стихи текут у вас опять так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как мужчина, я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против него. Таков человек! Один охотно ест лук, другому больше по душе горячая дружба. И я, как честный человек, должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, должен признаться, не вижу я в муж-

¹ В отчаянии (*франц.*).

ском поле столько уж красивого, чтобы можно было влюбиться.

Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:

Со счастьем надежда гибнет вместе,
Но не сойтись — увы! — с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе.
Как солнце и луну, разъединить нас
Обычай с долгом порешили вместе.
Склонись ко мне: твои чернеют кудри,
Мой светел лик — они прекрасны вместе.
Увы! я грежу — ты меня покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе!
Сердца в крови, тела в разлуке горькой;
Мы — как цветы, сплелись бы тесно вместе!

— Смешная поэзия! — воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос рифмы, — «обычай с долгом вместе, светлый лик мой вместе, с тобою вместе, тесно вместе!» Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто забавляется тем, что в конце каждой строки прибавляет слова «спереди» и «сзади» попеременно; но я не знал, что поэтические стихи, которые получают этим способом, называются газеллами. Нужно будет попробовать, не станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый раз после слова «вместе» прибавлять попеременно «спереди» и «сзади»; наверное, поэзия прибавится на двадцать процентов.

Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать газеллы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга, восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от восторга, проходит целую скалу любовных нежностей, и притом так пылко, чувственно и страстно, что можно подумать, автор — девчонка, с ума сходящая от мужчиц. Только при этом странно одно — девчонка постоянно скорбит о том, что ее любовь противна «обычаю», что она так же зла на этот «разлучающий обычай», как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы «бедра» друга, что она жалуется на «лукавых завистников», которые «объединились, чтобы нам мешать

и нас держать в разлуке», она сетует на обиды и оскорбления, причиняемые другом, уверяет его: «ни звуком не смущу твой слух, любимый» и, наконец, признается:

Знакома мне в других любви преграда;
Ты мне не внял, но ты и не отвергнул
Моей любви, мой друг, моя отрада!

Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи, вздыхал вдоволь, и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем. Гиацинт отнюдь не упускал случая повторять за ним рифмы, хотя попутно и вставлял неподходящие замечания. Больше всего привлекли его внимание оды.

— Этот сорт, — сказал он, — научит большему, чем сонеты и газеллы; в одах сверху особо отмечены стопы, и можно очень удобно проверить каждое стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в самых своих трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявляя читателям: «Видите, я честный человек, я не хочу вас обманывать, эти кривые и прямые черточки, которые я ставлю перед каждым стихотворением, — они, так сказать, *conto finto*¹ для каждого стихотворения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они, так сказать, — масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, говорю вам как честный человек!» Но именно этим честным видом можно обмануть публику. Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, всякий и подумает: к чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно, человек честный! И вот стоп не считают и попадаютя впросак. Да и можно разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у меня свое дело, у меня не хватило бы времени и пришлось бы верить графу Платену не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, когда сказано, сколько в них сотен талеров — они ходят по рукам запечатанные, каждый верит другому, что в них

¹ «Воображаемый счет», номинальная запись в бухгалтерской книге (*итал.*).

содержится столько, сколько написано; и все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела, вскрывали такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров недостает. Так и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Ведь мой шу-рин рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки, бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и становишься человеком недоверчивым. Да, сейчас на свете много мошенничества и, конечно, в поэзии все обстоит так же, как и в других делах.

— Честность, — продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, — честность, господин доктор, — главное дело, и того, кто не честный человек, я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю ничего, не читаю ничего — короче, не имею с ним никаких дел. Я такой человек, господин доктор, который ничего себе не воображает, а если бы я хотел вообразить себе что-нибудь, то я вообразил бы себе, что я честный человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь — говорю вам, вы изумитесь, это я говорю вам, как честный человек. У нас в Гамбурге, на Кёпейной площади, живет один человек, он зеленщик, и зовут его Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним близкие приятели, а зовут-то его господин Клотц. И жене его приходится звать мадам Клотц, и она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он всегда говорил мне на улице: «Вот на такой-то и такой-то номер я хочу сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!» И я говорил всегда: «Хорошо, Клетцхен!» А когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана-Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный весенний день, деревья около биржи были зеленые, зефиры веяли так приятно, солнце

сверкало на небе, и я стоял у гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен, мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает несколько патриотических замечаний насчет гражданской милиции и спрашивает меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне: «Вчера почью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш». И в тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров — кажется, я и сейчас чувствую их в руке, — и прежде чем мадам Клотц обернулась, я говорю ему: «Хорошо, Клетцхен!» — и ухожу. И иду напрямик, не оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана-Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч марок. А что делает Гирш, который стоит сейчас перед вами? Этот Гирш надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетцхен, увидев меня, спрашивает: «Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?» Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом и говорю весьма торжественно: «Господин Христиан-Генрих Клотц! Номер 1538, который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе попросить расписку». Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать, мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать, рыжая служанка плачет, кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек, каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом только слезы полились у меня из глаз, как ручей, и я проплакал три часа.

Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он торжественно вытащил из кармана пакетик,

о котором упоминалось выше, развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой Христиан-Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.

— Когда я умру, — произнес Гиацинт, прослезившись, — пусть положат со мной в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день суда дать отчет в моих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой квитанцией в руке; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих добрых дел, тогда я скажу спокойно: «Помолчи! Ответь только, подлинная ли эта квитанция? Это — подпись Христиана-Генриха Клотца?» Тогда прилетит маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись Клетцхепа, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит об этой истории и похвалит меня в присутствии солнца, луны и звезд и тут же высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет: «Гирш! назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и белыми перьями».

ГЛАВА XI

Кто же этот граф Платен, с которым мы в предыдущей главе познакомились как с поэтом и пылким другом? Ах! Любезный читатель, я давно уже читаю на лице твоём этот вопрос и с трепетом приступаю к объяснениям. В том-то и незадача немецких писателей, что со всяким добрым и злым дураком, которого они выводят на сцену, им приходится знакомить нас при помощи сухой характеристики и перечисления примет, дабы, во-первых, показать, что он существует, а во-вторых, обнаружить слабое его место, где наступит его бич — снизу или сверху, спереди или сзади. Иначе обстояло дело у древних, иначе обстоит оно еще и у некоторых современных народов, например у англичан и у французов, у которых есть общественная

жизнь, а потому имеются и public characters.¹ У нас же, немцев, хотя народ у нас в целом и придурковатый, все же мало выдающихся дураков, которые были бы настолько известны, чтобы служить и в прозе и в стихах образцом выдающихся личностей. Те немногие представители этой породы, которых мы знаем, поистине правы, когда начинают важничать. Они неоценимы и могут предъявлять самые высокие требования. Так, например, господин тайный советник Шмальц, профессор Берлинского университета, — человек, которому цены нет; писатель-юморист не обойдется без него, и сам он в столь высокой степени чувствует свое личное значение и незаменимость, что пользуется всяким случаем доставить писателям-юмористам материал для сатиры и дни и ночи напролет ломает голову над тем, как бы показаться в самом смешном свете в качестве государственного человека, низкопоклонника, декана, антигегелианца и патриота и оказать тем самым действительную поддержку литературе, для которой он как бы жертвует собой. Вообще следует поставить в заслугу немецким университетам, что немецким литераторам они поставляют в большем количестве, чем какому-либо иному сословию, дураков всех видов; в особенности я ценил всегда в этом смысле Геттинген. В этом и заключается тайная причина, по которой я стою за сохранение университетов, хотя всегда проповедовал свободу промыслов и уничтожение цехового строя. При столь ощутительном недостатке в выдающихся дураках нельзя не благодарить меня за то, что я вывожу на сцену новых и пускаю их во всеобщее употребление. Для блага литературы я намерен поэтому несколько обстоятельнее поговорить сейчас о графе Августе фон Платен-Галлермюнде. Я поспособствую тому, чтобы он сделался в подобающей мере известным и до некоторой степени знаменитым; я как бы раскормлю его в смысле литературном, наподобие того, как ирокезы поступают с пленниками, которых предполагают съесть впоследствии на праздничных пирах. Я буду вполне корректен, и правдив, и отменно вежлив, как и надлежит человеку среднего сословия; материальной, так сказать, личной стороны я буду касаться лишь постольку, поскольку в ней находят себе объяснение явления духовного свойства, и всякий раз я буду

¹ Общественные характеры (англ.).

ясно определять точку зрения, с которой я наблюдал его, и даже порой те очки, сквозь которые на него смотрел.

Отправной точкой, с которой я впервые наблюдал графа Платена, был Мюнхен, арена его устремлений, где он пользуется славой среди всех, кто его знает, и где, несомненно, он будет бессмертен, пока жив. Очки, сквозь которые я взглянул на него, принадлежали некоторым мюнхенцам, из тех, что порой, под веселую руку, обменивались парой веселых слов о его наружности. Сам я ни разу его не видел, и когда хочу представить его себе, всегда вспоминаю о той комической ярости, с какой когда-то мой друг, доктор Лаутенбахер, обрушивался на дурачества поэтов вообще и в особенности упоминал некоего графа Платена, который с лавровым венком на голове загоразивал путь гуляющим на бульваре в Эрлангене и, подняв к небу оседланный очками нос, делал вид, будто застывает в поэтическом экстазе. Другие отзывались благоприятнее о бедном графе и сожалели только о его ограниченных средствах, которые, при свойственном ему честолюбивом желании выдвинуться, хотя бы в качестве поэта, заставляли его напрягаться через силу; в особенности они его хвалили за предупредительность по отношению к младшим, с которыми он казался воплощенной скромностью: он с умиленным смирением просил разрешения заходить по временам к ним в комнату и заходил в своем благодушии так далеко, что снова и снова навещал их, даже в тех случаях, когда ему ясно давали понять, что визиты его в тягость. Все эти рассказы до известной степени тронули меня, хотя я и признаю вполне естественным то, что он так мало пользовался успехом. Тщетны были частые сетования графа:

Ты слишком юн и светел, отрок милый,
Тебе угрюмый спутник не по нраву.
Что ж! Я примусь за шутки, за забаву,
Отныне места нет слезе унылой!
И пусть пошлют небесные мне силы
Веселья чуждый дар — тебе во славу!

Тщетно уверял бедный граф, что со временем он станет самым знаменитым поэтом, что лавры бросают уже тень на чело его, что он может обессмертить и своих нежных отроков, воспев их в вечных своих стихах. Увы! Имешю такого рода слава никому не улыбалась, да и в самом

деле она не из завидных. Я помню еще, с какой сдержанной улыбкой взидало несколько веселых приятелей под мюнхенскими аркадами на одного из таких кандидатов в бессмертные. Один дальнзоркий злодей уверял даже, что сквозь полы его сюртука он видит тень лаврового листа. Что касается меня, любезный читатель, то я не так зол, как ты полагаешь; в то время как другие издеваются над бедным графом, я ему сочувствую, я сомневаюсь только в том, что он на деле отомстил ненавистным «добрым нравам», хотя в своих песнях он и мечтает отдаться такой мести; скорее я верю ему тогда, когда он трогательно воспекает мучительные обиды, оскорбительные и унижительные отказы. Я уверен, что на деле он более ладит с «добрыми нравами», чем самому хотелось бы этого, и он, как генерал Тилли, может похвалиться: «Я никогда не был пьян, не прикоснулся ни к одной женщине и не проиграл ни одного сражения». Вот почему, конечно, и говорит поэт:

Ты юноша воздержанный и скромный.

Бедный юноша или, лучше сказать, бедный старый юноша — ибо за плечами его было уже в то время несколько пятилетий, — корпел тогда, если не ошибаюсь, в Эрлангенском университете, где ему подыскали какие-то занятия; но так как занятия эти не удовлетворяли его стремящейся ввысь души, так как с годами все более и более давало себя чувствовать его чувственное тяготение к чувствительной известности и граф все более и более воодушевлялся великолепием своего будущего, то он прекратил эти занятия и решил жить литературой, случайными подачками свыше и прочими заработками. Дело в том, что графство нашего графа расположено на луне, откуда он, при скверных путях сообщения между нею и Баварией, может получить свои несметные доходы лишь через двадцать тысяч лет, когда, по вычислениям Грейтгейзена, луна приблизится к земле.

Уже ранее дон Платен де Коллибрадос Галлермюнде издал в Лейпциге у Брокгауза собрание стихотворений с предисловием, под заглавием: «Страницы лирики, номер 1-й». Книжка эта осталась неизвестной, хотя, как он уверяет, семь мудрецов изрекли хвалу автору. Впоследствии он издал, по образцу Тика, несколько драматических

сказок и повестей, которые постигла та же счастливая участь — они остались неизвестными невежественной черни, и прочли их только семь мудрецов. Той порою, чтобы приобрести, помимо семи мудрецов, еще несколько читателей, граф пустился в полемику и написал сатиру, направленную против знаменитых писателей, главным образом против Мюллернера, который в то время снискал уже всеобщую ненависть и морально был уничтожен, так что граф явился в самый подходящий момент для того, чтобы нанести последний удар мертвому надворному советнику Эриндур — не в голову, а на фальстафовский лад, в икры. Негодование против Мюллернера наполняло в то время все благородные сердца; люди вообще слабы, полемическое произведение графа не потерпело поэтому фиаско, и «Роковая вилка» встречена была кое-где благосклонно — не большою публикой, а литераторами и ученой братией, последней в особенности, ибо сатира написана была в подражание не романтику Тика, а классику Аристофану.

Кажется, в это самое время господин граф поехал в Италию; он не сомневался более, что окажется в состоянии жить поэзией; на долю Котты выпала обычная прозаическая честь — платить деньги за поэзию, ибо у поэзии, высокородной дочери неба, никогда нет денег, и она, нуждаясь в них, всегда обращается к Котте. Граф стал сочинять стихи дни и ночи напролет; он не довольствовался уже примером Тика и Аристофана, он подражал теперь Гете в форме песни, Горацию — в одах, Петрарке — в сонетах, и, наконец, поэту Гафизу — в персидских газеллах; говоря короче, он дал нам таким образом целую антологию лучших поэтов, а между прочими и свои собственные страницы лирики под заглавием: «Стихотворения графа Платена и т. д.».

Никто во всей Германии не относится к поэтическим произведениям с большею снисходительностью, чем я, и, конечно, я с полной готовностью признаю за беднягой вроде Платена его крошечную долю славы, заработанную с таким трудом в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его стремления, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в сочетании слогов. Мои собственные опыты дают мне возможность, более чем кому-либо другому, оценить метрические заслуги

графа. О тяжких усилиях, неопишемом упорстве, скреже-
 жение зубовном в зимние ночи и мучительном напряжении,
 которых стоили графу его стихи, наш брат догадается
 скорее, чем обыкновенный читатель, который увидит в
 гладкости, красивости и лоске стихов графа нечто легкое,
 будет просто восхищаться гладкой игрой слов, подобно
 тому, как мы в продолжение нескольких часов забавляем-
 ся искусством акробатов, балансирующих на канате, тан-
 цующих на яйцах и становящихся на голову, и не помыш-
 ляем о том, что эти несчастные только путем многолетней
 выучки и мучительного голода постигли это головоломное
 искусство, эту метрику тела. Я, который не так много
 мучился над стихотворным искусством и, упражняясь
 в нем, всегда хорошо питался, я тем более готов воздать
 должное графу Платену, которому пришлось куда тяжелее
 и горше; я готов подтвердить, во славу его, что ни один
 канатоходец во всей Европе не балансирует так хорошо
 на слабо натянутых газеллах, никто не проделывает пляску
 яиц над

○ ○ — ○ ○ ○ — — —
 ○ ○ — — — ○ ○ ○ ○ и т. д.

лучше, чем он, и никто не становится так хорошо вверх но-
 гами. Если музы и неблагосклонны к нему, то гений языка
 все же ему под силу, или, вернее, он умеет его насиловать,
 ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей
 любви, и графу упорно приходится бегать также и за этим
 отроком, и он умеет схватить только те внешние формы,
 которые, при всей их красивой закругленности, не отли-
 чаются благородством. Никогда еще ни одному Платену
 не удавалось извлечь из своей души или выразить в свете
 откровения те глубокие, безыскусственные тона, которые
 встречаются в народных песнях, у детей и у других поэтов;
 мучительное усилие, которое ему приходится проделывать
 над собой, чтобы что-нибудь сказать, он именует «великим
 деянием в слове»; ему до такой степени чуждо существо
 поэзии, что он не знает даже, что только для риторика слово—
 подвиг, для истинного же поэта оно — обычное дело.
 Язык у него, в отличие от истинных поэтов, не становится
 мастерским, но сам он, наоборот, стал мастером в языке
 или, скорее, на языке, как виртуоз — на инструменте.

Чем больших успехов он достигал в технике такого рода, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, если публика не аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с досадой присматривался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их заработка, как, например, Клаурену, раздражался пятиактными пасквилями, чуть только чувствовал себя задетым какой-либо эпитаграммой, следил за всеми рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят, мало награждают, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Такой ненасытной жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клопшток, ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя каждый согласится, что он мог бы быть в триумvirате только с Рамлером и, пожалуй, с А.-В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, — правда, без лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой в сетке, с поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонтиком под мышкой, — считал себя в то время заместителем поэзии на земле. Стихи его были совершеннейшими в немецкой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. Почти то же самое произошло впоследствии с А.-В. Шлегелем, но его поэтическая несостоятельность сделалась очевидной с тех пор, как язык прошел дальнейший путь развития, и даже те, кто когда-то считал певца «Ариона» за настоящего Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя. Но имеет ли уже граф Платен право смеяться над прославленным некогда Шлегелем, как этот последний смеялся в свое время над Рамлером, это я еще не знаю. Знаю только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал граф Платен в своих газеллах головокружительные трюки, как бы превосходно ни исполнял в своих одах танец на яйцах, более того — как бы ни становился он на голову в своих комедиях, — все-таки он не поэт. Он не поэт, так считает даже та

неблагодарная молодежь мужского пола, которую он столь нежно воспевае. Он не поэт, говорят женщины, которые, быть может, — это я должен заметить в его пользу — не совсем в данном случае беспристрастны и, может быть, несколько ревнуют, ввиду склонности, замечаемой в нем, или даже видят в направлении его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими мнениями или выражаются еще болес лаконически-мрачно. «Что вы видите в стихах графа фон Платена-Галлермюнде?» — спросил я недавно одного такого критика. «Одно седалище», — ответил он. «Вы этим имеете в виду форму, высиженную с таким мучительным трудом?» — переспросил я его. «Нет, — возразил он, — я этим имею в виду также и содержание».

Что до содержания платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за него бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензорскую ярость, с которой говорят или даже молчат о нем наши Катоны. *Chacun à son goût*,¹ — одному нравится бык, другому — корова Васишты. Я отношусь даже с неодобрением к той страшной радамантовской суровости, с которой осуждается содержание платеновских стихов в берлинских «Научно-критических ежегодниках». Но таковы уж люди: они очень легко возбуждаются, когда речь заходит о грехах, которые им самим не доставляют удовольствия. В «Утреннем листке» я недавно прочитал статью, озаглавленную «Из дневника читателя», в которой граф Платен дает отповедь строгим порицателям его «дружеской любви», со скромностью, которой ему никогда не удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что «Гегелевский еженедельник» обвиняет его со «смешным пафосом» в тайном пороке, он, как легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему уже известен из третьих рук. Однако он плохо осведомлен; в этом случае я не дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, явление скорее забавное, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто несовременное, робко-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и дело, что такого рода любовь

¹ У каждого свой вкус (*франц.*).

не противоречила добрым нравам древности и выступала с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока из своего мужского гарема, Пифагора («*Suncta denique spectata quae etiam in femina nox operit*»¹), а затем венчальным факелом своим поджег город Рим, чтобы при треске пламени воспеть подобающим образом падение Трои. Об этом сочинителе газелл я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но смешно мне наш новый пифагореец, убогий и трезвый, опасливо крадущийся в нынешнем Риме по тропинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его, светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над своими мелкими газеллами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские стишки с Петронием. У последнего все резко, пластически определено, антично, язычески-откровенно; наоборот, граф Платен, хотя он и претендует на классичность, относится к своему предмету скорее как романтик, — прикровенно, томно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том, что граф нередко маскируется чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться, если иной раз опустит слово «друг», уподобляясь при этом страусу, который считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок, так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не столько с лица, сколько с заду; слово «мужчина» вообще не подходит к нему; любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он пассивен; он — женщина, и притом женщина, которая забавляется всем женским, он так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового прекрасного друга, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он пускается в сентиментальности:

¹ «Напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает» (лат.).

Ты любишь молча. Если бы в молчанье
Твоей я любовался красою!
О, если б я не говорил с тобою,
Не знал бы я жестокого страданья!
Но нет, любовь — одно мое желанье,
Я не стремлюсь к забвенью и покою!
Любовь роднит нас с дивною страной,
Где ангелы сплетаются в лобзанье...

При чтении этих стихов нам приходят в голову те самые ангелы, которые явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газеллы и сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в стихах Платена все та же птица — страус, прячущая одну лишь голову, та же тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без поэтической силы, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем... Я опять возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.

От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна звучать природа, в эпических или драматических должны быть живые образы. Если он не в состоянии удовлетворить таким требованиям, то он теряет право на звание поэта, хотя бы его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только милой сострадательной улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы осмелитесь выразить в одной единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности его поэтического звания — он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на вас пятиактную сатиру. Ведь люди тем настойчивее держатся за свое звание, чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть теперь. Если природа не звучит в стихах графа, то происходит это, может быть, оттого, что он живет в эпоху, когда

не смел назвать по имени свои истинные чувства, когда те самые «добрые нравы», которые всегда враждебны его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым слогом слух публики, как и слух «сурового красавца». Этот страх заглушает в нем голос природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других поэтов, как своего рода безукоризненный и традиционный материал, и маскировать таким путем по мере необходимости свои собственные чувства. Несправедливо, быть может, ставить ему в упрек, не считаясь с его несчастным положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает быть только графом и держится за свое дворянство, а потому воспевает только чувства, принадлежащие к известной фамилии, чувства, насчитывающие по шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его по-прежнему страдали бы недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те самодовлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как Афина Паллада из головы Кронида, вполне законченные, во всех своих доспехах, живые порождения мечты, тайна возникновения которых находится в более тесной, чем принято думать, связи с чувственной природой поэта, так что этого рода духовное зачатие непостижимо для того, кто сам, как бесплотное существо, растекается дрябло и поверхностно в газеллах.

Но все это — личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку признается компетентным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое значительное, о чем сейчас никто и представления иметь не может, что свои Илиады и Одисси, классические трагедии и прочие бессмертно-великие творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния осознавшего себя духа в форме стихов, выло-

ценных с тяжкими усилиями; может быть, перспектива столь прекрасного будущего тем более показалась тебе радостной, что граф попутно изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уж старого Гете, как скопище скверных бумагомазак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему одному.

Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым лучшим для немецкой литературы последствиям. И мне говорили...

Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа Платена, который непрестанно кричал: «Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу Илиады и Одиссеи, и т. д.». Не знаю, как относится к такому хвастовству публика, но совершенно точно знаю, что думает об этом поэт, конечно поэт истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.

Над графом Платеном не раз уже вдоволь трунили за такое бахвальство, но он, как Фальстаф, всегда умел найти себе оправдание. В этих случаях он обнаруживает талант, совершенно исключительный в своем роде и заслуживающий особого признания. Граф Платен обладает тою именно способностью, что всегда находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы и ничтожные, того порока, который живет и в его груди и, основываясь на такого рода порочно-избирательном сродстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о сонетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с ним — и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, так как он еще не успел сравнить себя с тем или другим великим человеком, которому это заблуждение ставят в упрек.

Но всего гениальнее и изумительнее он проявил себя в выборе человека, в жизни которого ему удалось открыть нескромные речи и чьим примером он пытается приукрасить свое хвастовство. И, право же, слова этого человека никогда еще не приводились с такой целью. Это не кто другой, как сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из людей, скромный тем более, что он же и самый божественный? Да, то, что до сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Ведь он инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?», он ответил: «Ты сказал». Точно так же утверждает и он, граф Платен: «Да, я таков, я поэт!» То, что оказалось не под силу ненависти какому-либо хулителя Христа, то удалось толкованию самолюбленного тщеславия.

Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит о себе: «Я поэт!» Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Мы знаем очень хорошо, что позднейшие произведения истинного поэта отнюдь не значительнее ранних; неверно, что женщина, чем чаще рождает, тем будто бы лучших производит детей; нет, первый ребенок не хуже второго, только роды потом бывают легче. Львица не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец — львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь, тоже сразу, своим львенком — «Берлихингеном». Точно так же и Шиллер сразу разрешился своими «Разбойниками», по лапе которых уже видать львиную их породу. Впоследствии уже появились лоск, гладкость, шлифовка, «Побочная дочь» и «Мессинская невеста». Не так обстоит дело с графом Платеном, начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:

Из ничего готовый ты возник;
Прилизан, лакирован гладкий лик,
Игрушка ты из пробки вырезная.

Но если признаться в сокровеннейших моих мыслях, то должен сказать, что я не считаю графа Платена таким дураком, каким он может показаться, судя по этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно, требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила огромной порцией глупости, достаточной для сотни великих поэтов, одного-единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу. Я имею основание подозревать, что господин граф сам не верит своему хвастовству, и, будучи бедняком как в жизни, так и в литературе, он, ради заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным, самого себя восхваляющим рuffиано.¹ Вот почему и тут и там мы наблюдаем явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько эстетический, сколько психологический интерес; вот откуда и эта слезливейшая душевная вялость и вместе напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о близкой смерти и самонадеянные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и томная покорность; отсюда постоянные жалобы на то, что «Котта морит его голодом», и опять жалобы, что «Котта морит его голодом», и припадки католицизма и т. д.

Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свой католицизм. Стал ли он вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые языки замечали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в Мюнхене зазвонили все колокольчики благочестия. В поповских листках начали превозносить его стихи под звуки «Кирие элейсон» и «Аллилуйя»; да и в самом деле, как не радоваться было святым мужам безбрачия по поводу стихов, способствовавших воздержанию от женского пола? К сожалению, мои стихи отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы отроческой красоты не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до отъезда в Италию

¹ Сводником (*итал.*).

услышал от моего друга, доктора Кольба, что граф Платен очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под названием «Царь Эдип», которая представлена уже в Аугсбурге некоторым князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали мне, что граф Платен ненавидит меня и выступает в качестве моего врага. Во всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не столько за мои стихи, противные целибату, сколько за «Политические анналы», редактором которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше, раз выяснилось, что я не заодно с этими мужами. Если я намекаю, что о них не говорят ничего хорошего, то я еще отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я уверен даже, что они исключительно из любви к добру пытаются обезвредить речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, они пробуют заградить для таких людей не только духовные, но и материальные источники жизни. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в качестве конгрегаций, удостаивают, по глупости, имени иезуитов. Право, они не иезуиты, ведь иначе они бы сообразили, что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство литературной алхимии — чеканить дукаты даже из моих врагов и, таким образом, сам получаю дукаты, а враги мои — удары; они сообразили бы, что удары эти отнюдь не станут легче, если они будут поносить имя человека, наносящего их, — ведь и приговоренный к наказанию чувствует же на себе удары плети, хотя палач, исполняющий приговор, считается бесчестным, а самое главное, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к антиаристократическому Фоссу и несколько невинных шуток насчет богоматери, за которые они с самого начала забрасывали меня дермом и глупостями, проистекают не из антикатолического рвения. Право, они не иезуиты, они рождены от помеси дерма и глупости, которую я столь же мало способен ненавидеть, как бочку с навозом и вола, тащащего ее; все их усилия могут достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой степе-

ни я протестант; я воспользуюсь моим правом доброго протестанта в его самом широком поимании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую боевую секиру. Пусть они тогда, чтобы расположить к себе чернь, продолжают при посредстве своего лейб-поэта пускать в ход бабьи рассказы о моем неверии — по хорошо знакомым ударам они признают во мне единове́рца Лютера, Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать старой секирой — при виде врагов мне бы легко было рассмеяться, я ведь немножко Эйленшпигель по природе, я люблю примешивать к делу и шутку, но я оглушил бы этих дермовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и украсил перед тем свою секиру цветами смеха.

Я не хочу, однако, слишком далеко отступать от моей темы. Кажется, это было в то самое время, когда баварский король, руководствуясь упомянутыми выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и притом не из государственной казны, а из личных своих средств, чего именно, как особой милости, и хотелось графу. Последнее обстоятельство, характеризующее эту касту, каким бы оно ни казалось незначительным, я отмечаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы заняться наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж — пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях изысканный и изящный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот гульденов; знаю во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего «Царя Эдипа» и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было чем закусить.

В Северной Германии, куда меня вызвали, когда внезапно умер мой отец, я получил, наконец, чудовищное создание, которое вылупилось в конце концов из огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и ночные совы из конгрегации, набожно закаркав, и аристократические павлины, пышно распушив свои хвосты, приветствовали его еще задолго до его появления на свет. Должен был появиться по меньшей мере поги-

бельный василиск. Знаешь ли ты, любезный читатель, сказание о василиске? Народ рассказывает: если птица-самец снесет, как самка, яйцо, то на свет является ядовитое существо, отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно только поставив перед ним зеркало: испугавшись собственной мерзости, василиск умирает от страха.

Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал «Царя Эдипа». Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновенности, настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны мне стали мелочность и крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его, наконец, в моих глазах таким, каков он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим через край скудоумием, с самоумением без воображения, — таким, каков он есть, с его постоянным насилием над собою при отсутствии силы, с постоянной пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый любитель веселья! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душой, вздумал подражать самому могучему, неисчерпаемо-изобретательному, остроумнейшему поэту цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этой судорожной беспомощности, пытающейся раздуться в дерзание, этих вымученных пасквилей, которые покрылись плесенью застарелой злобы, этого робкого версифицирующего подражания творческому упоению! Само собой разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой мирсокрушительной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских комедий и, подобно волшебному фантастически-ироническому дереву, с гнездами распевающих соловьев и резвящимися обезьянами, распускается в них цветами мыслей. Такой идеи, с ликованием смерти и сопутствующим ему разрушительным фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его так называемой комедии, первая и конечная ее идея, ее цель и основа заключается, как и в «Роковой вилке», в ничтожных литературных дрязгах; бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частности внешнего порядка, а именно — только в тонкости стихов и в грубости слов. Я говорю о «грубости слов» потому только, что не желаю выразиться

грубее. Он, как сварливая баба, выливает целые цветочные горшки ругани на головы немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он, по меньшей мере, должен был бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины, и, стало быть, принадлежим в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. А это свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может усомниться на этом основании в искренности его поклонения, ибо каждый понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было женщине, а потому и Платенам следовало бы питать побольше уважения к мужчинам. Между тем — какая неделикатность! Он, не стесняясь, сообщает публике, что мы, северогерманские поэты, больны «чесоткой», против которой «мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок короткий». Рифма хороша. Всего неделикатнее он относится к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать их именем, и которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным, что Иммерман делал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена способна следить даже за врагами а posteriori.¹ Он не пощадил даже и Гоувальда, эту добрую душу, этого человека, кроткого как девушка. Ах, может быть, именно за эту милую женственность и ненавидит его Платен. Мюллерера, которого он, как выражается, давно уже «сразил своею шуткой смертоносной», этого покойника он опять тревожит в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого. Раупах — жид.

Жидочек Раупель,
Поднявший нос высоко, ныне Раупах,

«трагедии кропает на похмелье». Еще хуже приходится «выкресту Гейнсе». Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня он имеет в виду! В «Царе Эдипе» ты можешь прочесть, что я настоящий жид, что я, пописав несколько часов любовные стихи, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по субботам я сижу с бородатыми

¹ Сзади, позднее (буквально — от позднейшего) (*лат.*).

Мойшами и распеваю из талмуда, что в пасхальную ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из злопыхательства непременно какого-нибудь незадачливого писателя. Нет, любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, живописных картин нет в «Царе Эдипе»; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору. Граф Платен, располагая порой прекрасными мотивами, не умеет ими воспользоваться. Если бы у него было хоть чуточку больше фантазии, он представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько можно было бы написать комических сцен! Я испытываю душевную боль при виде того, как бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно он мог бы пустить в ход Раупаха в качестве Ротшильда от трагедии, у которого делают займы королевские театры! Самого Эдипа, главное лицо комедии, он мог бы точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать лучше. Вместо того, чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери Иокасте, следовало бы придумать наоборот. Эдип должен бы убить мать и жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства нашли бы тем самым отражение, и ему пришлось бы только, как соловью, излить в песне свое сердце; он сочинил бы такую пьесу, что будь еще жив газеллический Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь бы еще ставили на частных сценах. Не могу вообразить себе никого совершеннее, чем актер Вурм в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого себя. Затем я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в комедии, будто обладает «действительным остроумием». Или он, может быть, бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет обещанного остроумия и в конце концов так и остается без него? Или он хочет подстрекнуть публику, чтобы она искала в пьесе действительного тайного остроумия, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым? Может быть, поэтому-то публика, которую комедии обычно смешат, так раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти спрятавшегося остроумия; напрасно остроумие, спрятав-

шись, пищит, пищит все громче: «Я здесь! Я, право, здесь!» Напрасно! Публика глупа и строит серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где спрятано остроумие, от души посмеялся, когда прочитал о «сиятельном, властолюбивом поэте», который украшает себя аристократическим пимбом, хвастается тем, что «всякий звук», слетевший с его уст, «сокрушает», и обращается ко всем немецким поэтам со словами:

Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един, —
Единым острым словом раздробить его.

Стихи неважны. Остроумие же вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом, Пифагором.

Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще не одну укромную остроуту, но так как он в своем «Царе Эдипе» затронул самое для меня дорогое — ибо что же может быть для меня более дорого, чем мое христианство? — то пусть не ставит мне в упрек, что я, по слабости человеческой, считаю «Эдипа», этот «великий подвиг словесный», менее серьезным его подвигом, чем предыдущие.

Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор «Эдипа» тоже дождетя награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело влечет за собой непосредственные последствия для сотворившего его. И будет день, когда появятся они — приготовься, любезный читатель, к тому, что я впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, — будет день, когда появятся из Тартара они, ужасные дочери тьмы, эвмениды. Клянусь Стиксом, — а этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, — будет день, когда появятся они, мрачные, извечно праведные сестры! Они появятся с лицами, багровыми от гнева, обрамленными кудрями-змеями, и с теми самыми зменными бичами в руках, которыми они бичевали некогда Ореста, противоестественного грешника, убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас уже до слуха графа доносится змейное шипение, — прошу тебя, любезный читатель, вспомни Волчью долину и музыку Самизеля. Может быть,

уже и сейчас тайный трепет охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркают ночные птицы, гром гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! Сиятельные предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку: «Горе! Горе!» Они заклинают его падеть их старинные железные штаны, чтобы защититься от ужасных розог — ибо эвмениды истерзают его этими розгами, их змеиные иронические бичи потешатся вдоволь, и вот, подобно распутному королю Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и завизжит:

Ах! Сожрут они те части,
Что в грехах моих повинны.

Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные эвмениды — не что иное, как веселая комедия, которую я под таким названием сочиню через несколько пятилетий, а трагические стихи, только что тебя напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги — из «Дон-Кихота Ламанчского», где некая старая благопристойная придворная дама декламирует их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с веселой улыбкой. Если эта последняя глава оказалась скучноватой, то причиной тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы: если мне удалось пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет мне благодарно. Я возделал ниву, и пускай другие, болсе остроумные писатели засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги — лучшая моя награда.

А к сведению тех королей, которые пожелали бы прислать мне еще и табакерку, сообщаю, что книгоиздательство «Гоффман и Кампе в Гамбурге» уполномочено принимать таковые для передачи мне.

Написано поздней осенью 1829 года.

**ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ**



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Город Лукка», непосредственно примыкающий к «Луккским водам» и написанный в одно время с ними, является здесь отнюдь не отдельной картиной, но заключительным моментом целого жизненного периода, совпадающим с заключительным моментом целой эпохи мировой истории. «Английские фрагменты», которые я ввожу тоже в состав книги, начаты были два года тому назад и писались в соответствии с тогдашними запросами для «Всеобщих политических анналов», которые я в ту пору редактировал вместе с Линднером; принимая во внимание, что они еще могут принести пользу, я включил их теперь как дополнение в «Путевые картины». Для читателя первого издания часть эта, может быть, явится поэтому желательным добавлением.

Обращаю особенное внимание на то обстоятельство, что мне не пришлось самому держать корректуру, и я не могу отвечать за все недоразумения, которые могут тем самым произойти.

Хотелось бы, чтобы благосклонный читатель правильно понял цели, которыми я руководился при издании «Английских фрагментов». Может быть, я еще опубликую постепенно и последовательно некоторые описания в таком же роде. Литература наша не слишком богата в этом отношении. Хотя Англия неоднократно описана нашими беллетристами, все же Вилибальд Алексис является единственным, кто сумел соблюсти точность красок и контуров при изображении тамошних мест и одеяний. Кажется, он сам даже не бывал в этой стране и знаком с ее обликом

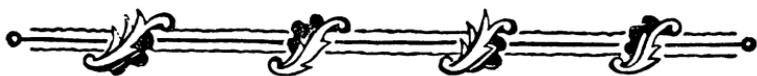
только благодаря той удивительной интуиции, которая устраняет для поэта необходимость непосредственного созерцания действительности. Я сам точно таким образом написал одиннадцать лет тому назад «Вильяма Ратклиффа», — и это обстоятельство мне тем более хочется отметить, что в «Ратклиффе» содержится не только точное изображение Англии, но и зачатки моих последующих размышлений об этой стране, которой я в то время еще не видел. Вещь эта включена в «Трагедии с лирическим интермеццо, сочинение Г. Гейне, Берлин, 1823, изд. Ф. Дюммлера».

Что касается описания путешествий, то, кроме Архенгольца и Геде, нет, конечно, другой книги об Англии, которая лучше бы знакомила с ее жизнью, чем изданная в этом году Франком в Мюнхене: «Письма умершего. Отрывочный дневник — Англия, Уэльс, Ирландия и Франция. Написано в 1828—1829 гг.».

Эта книга замечательна и во многих других отношениях и в полной мере заслуживает похвал, которых ее удостоили Гете и Фарнхаген фон Энзе в берлинских «Научно-критических ежегодниках».

Генрих Гейне

Гамбург, 15 ноября 1830.



ИТАЛИЯ

III. ГОРОД ЛУККА

Смешат меня эти англичане, с таким жалким мещанством осуждающие этого второго своего поэта (ибо после Шекспира пальма первенства принадлежит Байрону) за то, что он высмеивал их педанство, не хотел подчиняться их заклустным обычаям, не хотел разделять их холодную веру, с отвращением относился к их трезвости и жаловался на их высокомерие и ханжество. Многие, лишь заговорят о нем, осеняют себя крестом, и даже женщины, хотя щеки их и пылают энтузиазмом, когда они читают Байрона, открыто выступают с резкими нападками на своего тайного любимца.

«Письма умершего. Отрывочный дневник. Англия», Мюнхен, 1830.

ГЛАВА I

Окружающая природа влияет на человека — почему бы и человеку не влиять на окружающую природу? В Италии она отличается страстностью, как и народ, живущий там; у нас, в Германии, она суровее, сосредоточеннее, терпеливее. Быть может, природа, как и люди, жила когда-то более напряженной внутренней жизнью? Сила чувства Орфея могла, говорят, сообщать вдохновенное ритмическое движение деревьям и камням. Возможно ли

в наше время что-либо подобное? И люди и природа стали флегматичными и зевают друг другу в лицо. Королевский прусский поэт не в силах звуками своей лиры заставить плясать Темпловскую гору или берлинские Липы.

Природа тоже имеет свою историю, и это вовсе не та естественная история, что преподается в школах. Какую-нибудь серую ящерицу, тысячелетиями обитающую в расщелинах Апеннин, следовало бы назначить совершенно экстраординарной профессоршей в одном из наших университетов, и от нее можно было бы послушаться экстраординарнейших вещей. Но гордость иных господ из состава юридических факультетов возмутится против такого назначения. Недаром же один из них втайне завидует бедному ученому псу Фидо Саван, опасаясь, что он со временем вытеснит его с поприща ученых поносок.

Ящерицы, у которых такие умные хвостики и острые глазки, рассказали мне удивительные вещи, когда я в одиночестве взбирался по скалам в Апеннинах. Право, между небом и землей существует много такого, чего не поймут не только наши философы, но и обыкновеннейшие дураки.

Ящерицы рассказали мне, что у камней существует поверье, будто бог хочет со временем воплотиться в камень, чтобы освободить камни из их оцепенения. Но одна старая ящерица была того мнения, что это воплощение в камень осуществится не ранее, чем бог воплотится во все виды животных и растений и таким образом их освободит.

Лишь немногие камни обладают чувством, и дышат они только при лунном свете. Но эти немногие камни, чувствующие свое состояние, страшно несчастны. Деревьям в этом отношении лучше — они могут плакать. Еще благополучнее животные, ибо они могут говорить, каждое по-своему, а лучше всего людям. Когда-нибудь, когда весь мир будет спасен, все остальные создания будут говорить так же хорошо, как в те древние времена, о которых повествуют поэты.

Ящерицы — народ насмешливый и непрочь одурачить других животных. Но со мной они были так смиренны, так честно вздыхали; они рассказывали мне истории об Атлантиде, которые я скоро запишу на пользу и преуспеяние человечества. Моей душе было так хорошо с этими маленькими существами, словно стоящими на страже тайных

летописей природы. Быть может, это замороженные поколения жрецов, вроде древнеегипетских, которые жили также в лабиринтообразных горных пещерах и также подглядывали тайны природы. Их головки, тельца и хвостики расцвечены такими же чудесными знаками, как и египетские тиары с иероглифами и одеяния иерофантов.

Мои маленькие друзья научили меня также языку знаков, на котором я мог объясняться с немой природой. Это нередко облегчает мою душу, особенно по вечерам, когда горы укутаны в трепетно-сладостные тени, и шумят водопады, и благоухают все растения, и вздрагивают там и здесь зарницы.

О природа! Немая дева! Я хорошо понимаю язык твоих зарниц, твои тщетные попытки заговорить, судорожно освещающие твой прекрасный лик. Мне так глубоко жаль тебя, что я плачу. Но тогда и ты понимаешь меня, и проясняешься и улыбаешься мне из глубины золотых твоих очей. Прекрасная дева, твои звезды понятны мне, как и тебе — мои слезы!

ГЛАВА II

— Ничто в мире не хочет идти назад, — сказала мне старая ящерица, — все стремится вперед, и в конце концов в природе произойдет ряд повышений по службе. Камни сделаются растениями, растения — животными, животные — людьми, а люди — богами.

— Но, — воскликнул я, — что же станет тогда с этими добрыми людьми — с бедными старыми богами?

— Это как-нибудь устроится, любезный друг, — отвечала ящерица, — вероятно, они подадут в отставку или будут уволены на покой каким-нибудь почетным способом.

Немало узнал я и других тайн от моего натурфилософа с иероглифической кожей, но дал честное слово не выдавать их. Я знаю теперь больше, чем Шеллинг и Гегель.

— Какого вы мнения о них обоих? — спросила меня старая ящерица с насмешливой улыбкой, когда я как-то раз упомянул их имена.

— Если принять во внимание, что они только люди, а не ящерицы, — ответил я, — то нельзя не поразиться учености этих господ. По существу они оба проповедуют одно учение — хорошо известную вам философию тождества; различаются они только по способу изложения. Когда Гегель начинает строить основы своей философии, то кажется, будто видишь те красивые фигуры, которые умеет строить искусный школьный учитель, сочетая различные цифры таким образом, что обыкновенному наблюдателю доступно лишь поверхностное созерцание наружной формы — домиков, корабликов или отдельных солдатиков, составленных из этих цифр; между тем сообразительный школьник постигнет в этих фигурах способ разрешения замысловатой математической задачи. Способ изложения Шеллинга напоминает скорее те индийские изображения животных, где путем причудливых сплетений соединены между собою змеи, птицы, слоны и тому подобные одушевленные ингредиенты. Этот способ гораздо привлекательнее, радостнее, теплее; здесь бьется пульс жизни, все здесь одухотворено, в то время как абстрактные гегелевские схемы смотрят на нас таким серым, таким холодным и мертвым взглядом.

— Так, так, — сказала старая ящерица — я понимаю вас, но ответьте мне, много ли слушателей у этих философов?

Тут я представил ей картину, как в ученом берлинском караван-сараяе собираются верблюды у кладези гегелевской премудрости, опускаются перед ним на колени, принимают на себя груз мехов с драгоценным содержанием и, навьюченные таким образом, шествуют дальше по песчаной пустыне Бранденбурга. Затем я изобразил, как новые афиняне теснятся вокруг источника шеллинговской живой воды, будто это лучший сорт пива, какой-нибудь «Брейган» жизни, напиток бессмертия.

Желтая зависть овладела маленькой жрицей натурфилософии, когда она узнала об успехе, которым пользуются ее коллеги, и она раздраженно спросила:

— Который из них, по-вашему, выше?

— Этого я не могу решить, — отвечал я, — так же как не могу решить, кто выше — Шехнер или Зонтаг, но думаю...

— Думаю! — воскликнула ящерица резко и надменно, тоном глубочайшего пренебрежения. — Думать! Кто из

вас думает! Мой мудрый друг, вот уже скоро три тысячи лет, как я занимаюсь наблюдениями над умственной деятельностью животных; предметом моих изучений я избрала преимущественно людей, обезьян и змей, я уделила этим странным существам столько же внимания, сколько Лионне своим гусеницам, и в итоге моих наблюдений, опытов и анатомических сравнений я могу со всей решительностью удостоверить: люди не думают, лишь время от времени им приходит что-нибудь в голову, и эти внезапные озарения они именуют мыслями, а нанизывание их — мышлением. Но от моего имени вы можете сказать: люди не думают, философы не думают, не думают ни Шеллинг, ни Гегель, а уж что касается их философии, то это — просто воздух и вода, тучи небесные; мне приходилось уже видеть несметное количество таких туч, они гордо и уверенно проносились надо мною, а в ближайшее же утро солнце превращало их в первичное ничто; существует одна-единственная истинная философия, и она написана вечными иероглифами на моем собственном хвосте.

При этих словах, произнесенных с презрительным пафосом, старая ящерица повернулась ко мне спиной, и по мере того, как она медленно удалялась, виляя хвостом, я мог рассматривать на ее спине чудеснейшие знаки, в пестром своем красноречии проходившие по всему хвосту.

ГЛАВА III

Разговор, приведенный мной в предыдущей главе, происходил на дороге между Луккскими водами и городом Луккой, невдалеке от большого каштанового дерева, осенявшего ручей своими темно-зелеными ветвями, и в присутствии старого белобородого козла, пасшегося там в отшельническом одиночестве. Я отправился в город Лукку, чтобы разыскать Франческу и Матильду, с которыми, согласно нашему уговору, должен был встретиться неделей раньше. Однако в назначенный срок я побывал там напрасно, и теперь мне вторично пришлось собраться в путь. Я шел пешком мимо прекрасных гор и рощ; золотые апельсины, словно дневные звезды, светились в темной листве, и гирлянды виноградных лоз тянулись на

целые мили в праздничных сплетениях. Вся здешняя местность напоминает сад и парадна как декорации тех сельских сцен, что показывают в наших театрах; да и сами сельские жители похожи на пестрые фигуры, которые забавляют нас своим пением, смехом и танцами. Ни одного филистерского лица. А если здесь и есть филистеры, то это все-таки итальянские апельсиновые филистеры, а не неуклюжие немецкие — картофельные. Люди здесь живописны и идеальны, как сама страна, и при этом у каждого своеобразное выражение лица, каждый проявляет себя по-своему: осанкой, драпировкой плаща и, при случае, взмахом ножа. У нас дома, наоборот, — все люди с рядовыми, однообразными физиономиями; когда их соберется двенадцать человек, образуется дюжина, а когда тринадцатый нападает на них, они зовут полицию.

В окрестностях Лукки, как и в большей части Тосканы, мне бросилось в глаза, что женщины носят большие черные шляпы из войлока со свешивающимися черными страусовыми перьями; даже плетельщицы соломы, и те носят такой тяжелый головной убор. Мужчины, наоборот, носят в большинстве случаев легкие соломенные шляпы; молодые парни получают их в подарок от девушек, которые сами плетут их и вплетают в них свои любовные мечты, а может быть, и вздохи. Так и Франческа сидела когда-то среди девушек и цветов долины Арно и плела шляпу для своего саро Сессо,¹ целуя каждую вплетаемую соломинку и мило напевая свое «Occhie, stelle mortale».² Кудрявая голова, на которой так красиво сидела потом эта шляпа, украшена теперь тонзурой, а самая шляпа, старая и поношенная, висит у аббата в Болонье в углу его хмурой комнаты.

Я принадлежу к числу тех людей, которые охотно сворачивают с большой дороги на более короткую и нередко поэтому блуждают по узким лесным и горным тропинкам. Так случилось и в этот раз: на путешествие в Лукку я, конечно, потратил вдвое больше времени, чем обыкновенный пешеход, идущий большой дорогой. Воробей, у которого я спросил, как пройти, защебетал, защебетал, но ничего не мог объяснить мне толком. Должно быть, он и

¹ Милого Чекко (*итал.*).

² «Очи, смертные звезды» (*итал.*).

сам не знал дороги. От бабочек и стрекоз, сидевших на крупных колокольчиках, я не мог добиться ни слова, — они улетали, прежде чем успевали услышать мой вопрос, а цветы только покачивали своими беззвучными головками-колокольчиками. Порой меня окликали дикие мирты, посмеиваясь издали своими тоненькими голосками. Тогда я порывисто взбирался на самые высокие утесы и взывал: «Тучи небесные! Корабли воздушные! Скажите, где дорога к Франческе? Где она — в Лукке? Скажите, что она делает? Что она танцует? Скажите мне всё, а когда всё скажете, скажите еще раз!»

При таком избытке безумия не было бы ничего удивительного в том, что какой-нибудь суровый орел, чьи одинокие грезы потревожены были моим возгласом, взглянул бы на меня с презрительным недовольством. Но я охотно прощаю ему: ведь он никогда не видел Франчески, а потому и может в столь величественном расположении духа сидеть на своем крепком утесе и свободно смотреть в небо или же глазеть на меня сверху с таким дерзким спокойствием. У таких орлов нестерпимо надменный взор, они смотрят на тебя так, будто спрашивают: «Что ты за птица? Знаешь ли ты, что я все еще царь, как и в те героические времена, когда я держал молнии Юпитера и украшал собой знамена Наполеона? Может быть, ты ученый попугай, который вы зубрил наизусть старые песни и педантически их насвистываешь? Или выдохшийся голубок, красиво чувствующий и так жалко воркующий? Или соловей из альманаха? Или выродившийся гусак, чьи предки спасли Капитолий? А может быть, просто раболепный домашний петух, которому в насмешку привесили на шею эмблему смелого полета, то есть мой портрет в миниатюре, и который поэтому топорщится так важно, будто он и в самом деле орел?» Ты знаешь, любезный читатель, как мало у меня оснований чувствовать себя обиженным, если орел и подумал обо мне что-нибудь подобное. Мне кажется, взгляд, брошенный мной ему, был еще надменнее, чем его собственный, и если он догадался справиться обо мне у первого попавшегося лаврового дерева, то теперь он знает, кто я.

Я в самом деле заблудился в горах, когда наступили сумерки и постепенно стали замолкать разноголосые песни леса, а деревья шумели все суровее и суровее. Величавая таинственность и какая-то скрытая торжественность,

подобно дыханию бога, пронизывали просветленную тишину. То тут, то там раскрывался на земле и смотрел на меня чей-то прекрасный темный глаз и в тот же миг исчезал. Нежный шепот ласкал мое сердце, и незримые поцелуи воздушно касались моих щек. Вечерняя заря словно пурпурными мантиями окутала горы, последние лучи солнца освещали их вершины; казалось, передо мной короли с золотыми венцами на головах. Я же, как император вселенной, стоял в кругу этих коронованных вассалов, безмолвно преклонявшихся предо мной.

ГЛАВА IV

Не знаю, благочестивый ли человек был тот монах, что встретился мне недалеко от Лукки. Но знаю — его старое убогое тело уже много-много лет облачено только в грубую рясу, рваные сандалии недостаточно защищают его босые ноги, когда он взбирается на утесы по колючкам, сквозь кустарник, чтобы там, наверху, в горных деревушках, подать утешение больному или научить молитве детей; и он доволен, когда ему положат в мешок кусочек хлеба и дадут немного соломы, чтобы он мог поспать на ней.

«Против *этого* человека я не стану писать, — сказал я себе; — когда опять дома, в Германии, в своем кресле, у потрескивающей печи, за чашкой вкусного чая, в довольстве и тепле, я буду обличать католических попов, то против *этого* человека я не стану писать».

Чтобы писать против католических попов, надо знать и их лица. Но оригиналы этих лиц можно видеть только в Италии. Католические священники и монахи в Германии — лишь плохое подражание итальянским, часто даже пародия; сравнивать тех и других столь же бесполезно, как бесполезно сравнивать римские и флорентийские образы святых с теми, саранчеподобными, набожными рожами, которые своим печальным существованием обязаны мещанской кисти какого-нибудь нюрнбергского городского живописца или даже милому простоудишу какого-нибудь упражняющегося в благочестии мастера долговолосо-христианской северонемецкой школы.

Итальянские попы давно уже равнодушны к общественному мнению; тамошний народ давно привык отличать

достоинство духовного сана от недостойных его носителей; он уважает первое даже и в том случае, если последние заслуживают презрения. Именно контраст, неизбежный при сопоставлении идеальных обязанностей и свойств духовного сословия с неустранимыми потребностями плотской природы, этот древний, вечный конфликт между духом и материей сделал итальянских попов такими персонажами, которых народный юмор неизменно выводит в сатирах, песнях и новеллах. Явление это наблюдается всюду, где существует подобное сословие жрецов, например в Индостане. В комедиях этой издревле благочестивой страны, как мы уже замечали это в «Сакуптале» и подтверждение чему находим в переведенной недавно «Васантасене», брамин неизменно играет комическую роль, так сказать роль жреца-грациозо, причем уважение, подобающее его жреческим обязанностям и привилегиям его святого сана, ни в малейшей степени этим не ослабляется — подобно тому как итальянец с ничуть не меньшим благочестием присутствует при богослужении или даже исповедуется у того самого священника, которого он накануне видел пьяным в уличной грязи. В Германии дело обстоит иначе: католический священник желает там не только подкреплять свое достоинство саном, но и свой сан личным достоинством, и так как вначале он, может быть, действительно серьезно относится к своему призванию, а потом, когда обет целомудрия и смирения приходит в столкновение с «ветхим Адамом», то, из боязни открыто умалить свое достоинство, в особенности же опасаясь осрамиться перед нашим приятелем Кругом в Лейпциге, он пытается сохранить по крайней мере внешний облик святости. Отсюда святошество немецких попов, их лицемерие, пронырливая игра в благочестие; у итальянских же, напротив, большая прозрачность личины, своеобразная сытая ирония и благодушное смакование благ мирских.

Но какой толк в этих общих соображениях! Они мало помогли бы тебе, любезный читатель, если бы тебе пришла охота написать что-либо против католического поповства. Для этого нужно, как я уже сказал, видеть собственными глазами соответствующие физиономии. Право же, недостаточно для этого видеть их в королевской опере в Берлине. Правда, прежний генерал-интендант королевских театров делал все от него зависящее для того, чтобы как

можно правдоподобнее изобразить коронационное шествие в «Орлеанской девице», наглядно представить своим соотечественникам идею этой процессии и показать им попов всех оттенков. Но самый достоверный костюм все же не заменит подлинного лица, и если бы истратить еще сто тысяч талеров специально на золотые епископские митры, узорчатые стихари певчих, пестротканые богослужебные ризы и тому подобный хлам, то все-таки все эти протестантски-разумные носы, протестующие из-под епископских митр, тощие и рационально верующие ноги, торчащие из-под белых кружевных стихарей, просвещенные животы, для которых слишком широки эти богослужебные ризы, — все это напоминало бы нам о том, что по сцене шествуют не католические священники, а берлинские миряне.

Я часто думал о том, насколько лучше управляющий театрами мог бы представить это шествие и насколько вернее была бы картина процессии, если бы роли католических попов были поручены не обыкновенным статистам, а тем протестантским священникам, которые на богословском факультете, в «Церковной газете» и со своих кафедр так ортодоксально ведут проповедь против разума, соблазнов мира, Гезениуса и чертовщины. Вот когда появились бы физиономии, которые своим поповским отпечатком больше соответствовали бы исполняемой роли. Ведь замечено, что священники всего мира — равнины, муфтии, доминиканцы, консисторские советники, попы, бонзы, — короче, весь дипломатический корпус божий, — отличаются фамильным сходством лиц, характерным для всех людей одного промысла. Портные во всем мире отличаются деликатностью сложения; мясникам и солдатам, наоборот, свойственна грубость облика; евреи обладают своего рода выражением честности — не потому, что ведут свой род от Авраама, Исаака и Иакова, а потому, что принадлежат к купеческому сословию, и франкфуртский купец-христианин столь же похож на франкфуртского купца-еврея, как одно тухлое яйцо на другое. Купечество духовное, то есть люди, добывающие средства к существованию религиозными делишками, приобретают поэтому такую же общность черт лица. Правда, способы и приемы, которыми они ведут свои делишки, влекут за собой известные различия оттенков. Католический поп занимается своим делом скорее как приказчик в крупной

торговой фирме; церковь, этот большой торговый дом, во главе которого стоит папа, дает ему определенное назначение и уплачивает определенную мзду; он работает спустя рукава, как и всякий, кто работает не за свой счет, имеет много сослуживцев и легко остается незамеченным в сутолоке большого торгового заведения, он заинтересован только в кредитоспособности фирмы и существовании ее, так как, в случае банкротства, может лишиться жалованья. Протестантский поп, напротив, сам повсюду является хозяином и ведет дело религии за свой счет. Он не занимается оптовой торговлей, как его католический сотоварищ, а только розничной; и так как он сам представляет свое предприятие, то ему нельзя работать спустя рукава; ему приходится расхваливать перед людьми свой символ веры и хулить товары своих конкурентов; как истый розничный торговец, он в дверях своей лавчонки стоит полный чувства профессиональной зависти ко всем крупным фирмам, в особенности же к большой римской фирме, насчитывающей много тысяч бухгалтеров и упаковщиков и располагающей факториями во всех четырех частях света.

Все это влияет, конечно, на выражение физиономий, но оттенки незаметны для зрительного зала, и фамильное сходство в лицах католических и протестантских попов остается в основе неизменным; если управляющий театрами хорошо оплатит труд вышеуказанных господ, то они, как всегда, неподражаемо правдиво сыграют свои роли. Походка их тоже немало подействует иллюзии, хотя тонкий наметанный глаз заметит, что у священников протестантских она тонкими оттенками отличается от походки католических священников и монахов.

Католический поп шествует так, как будто небо — его полная собственность, протестантский же ходит, словно небо он взял в аренду.

ГЛАВА V

Была уже ночь, когда я добрался до города Лукки.

Совершенно иным показался он мне поделю тому назад, когда я бродил днем по пустынным гулким улицам, словно попав в один из тех заколдованных городов,

о которых мне так много рассказывала когда-то моя нянька. Тогда в городе царствовала могильная тишина, все было блекло и мертвенно, отсветы солнца играли на крышах, точно золотая мишура на голове трупа; там и тут из окна совершенно ветхого дома свешивались побеги плюща, как застывшие зеленые слезы; повсюду — искорки тления и притаившаяся смерть; город казался только призраком города, каменным привидением среди белого дня. Тщетно я искал следов какого-нибудь живого существа. Помню только, что перед старым палаццо лежал спящий нищий с протянутой раскрытой рукой. Помню также, что наверху, в окне потемневшего от старости домика, я увидел монаха, вытянувшего из коричневой рясы красную шею с жирной лысой головой, а рядом с ним была полногрудая женщина; я видел, как в полуоткрытую дверь внизу входил маленький мальчик, одетый, как аббат, в черное, обеими руками обхватив толстобрюхую бутылку с вином. В тот же миг где-то совсем близко иронически тонко зазвенел колокольчик, и в памяти моей засмеялись новеллы Боккаччо. Но звуки эти так и не могли рассеять странную боязнь, охватившую мою душу. Быть может, эта боязнь тем неотступнее держала меня в своей власти, что солнце лило такой горячий и яркий свет на зловещие дома; призраки же, как мне пришлось убедиться, еще страшнее, когда сбрасывают с себя черный покров ночи и являются при белом свете дня.

Когда теперь, спустя неделю, я вновь попал в Лукку, до чего поразил меня изменившийся вид этого города! «Что это? — воскликнул я, когда свет ослепил мой взгляд и человеческие толпы заколыхались среди улиц. — Уж не встал ли из могилы, подобно призракам ночи, целый народ, чтобы в безумнейшем маскараде передразнивать живых? Высокие хмурые дома украшены лампами, повсюду из окон свешиваются пестрые ковры, почти покрывая собой дряхлые серые стены, а над ними наклоняются прелестные девичьи лица, такие свежие, такие цветущие, что, ясно мне, сама жизнь празднует свое обручение со смертью и пригласила на свое торжество молодость и красоту». Да, это был своего рода живой праздник смерти — не знаю, как он называется в календаре, — во всяком случае, годовщина содрания кожи с какого-нибудь многострадального мученика, потому что вскоре я увидел свя-

щенный череп и еще в придачу несколько костей, украшенных цветами и драгоценными камнями; их несли под звуки свадебной музыки. Это была красивая процессия.

Впереди шли капуцины, отличавшиеся от других монахов длинными бородами; то были как бы саперы армии верующих. Затем следовали капуцины безбородые, среди них много мужественно благородных и даже несколько юношески красивых лиц; широкая тонзура очень шла к ним, головы, казалось, оплетены были красивыми венками волос и вместе с голой шеей очень грациозно подымались над коричневой рясой. Затем следовали рясы других цветов — черные, белые, желтые, разноцветные, наваленные на лоб треугольные шляпы, — словом, все те принадлежности монастырского одеяния, с которыми мы давно знакомы благодаря стараниям нашего управляющего театрами. За монашескими орденами шествовали собственно священники — белые балахоны поверх черных панталон и цветные шапочки; за ними двигались священники высшего ранга, укутанные в пестрые шелковые покрывала, на головах — род высоких шапок, вероятно египетского происхождения, знакомых нам из книг Денона, по «Волшебной флейте» и по Бельцони; у всех заслуженные физиономии, — по-видимому, они составляли нечто вроде старой гвардии. Наконец показался собственно штаб, — балдахин и под ним старик в еще более высокой шапке и в еще более богатой ризе, концы которой несли, наподобие пажей, два старика, одетых точно так же.

Передние монахи шли, скрестив руки, в суровом молчании, но те, что были в высоких шапках, пели нечто весьма плачевное: они так гнусавили, захлебывались, курлыкали, что если бы евреи составляли народное большинство и их религия была государственной, подобных певчих — я в этом убежден — прозвали бы «иудейскими». По счастью, пение было слышно только наполовину, так как за процессией следовало, с громким барабанным боем и свистом, несколько рот солдат и, кроме того, по обеим сторонам рядом с духовенством маршировали попарно гренадеры. Солдат было едва ли не больше, чем духовенства; но ведь в наше время для поддержания религии требуется много штыков, и если, с одной стороны, преподается благословение, то издали вместе с тем должны слышаться многозначительные раскаты пушечной пальбы.

Всякий раз, когда я вижу такой крестный ход, где под горделивым эскортом войск уныло и скорбно шествует священство, меня охватывает болезненное чувство, и мне начинает казаться, что я вижу, как нашего спасителя ведут на место казни в сопровождении копьеносцев. Звезды Лукки, конечно, были того же мнения, и когда я со вздохом взглянул на них, они так согласно замигали мне своими благочестивыми глазами, столь светлыми и яркими! Но в свете звезд не было нужды — многие тысячи ламп, свечей и девических лиц светились во всех окнах, на перекрестках водружены были пылающие смоляные веши и, кроме того, рядом с каждым духовным лицом шел его собственный свеченосец. При капуцинах свечи несли главным образом маленькие мальчики, и их детски свежие личики с любопытством и удовольствием смотрели время от времени вверх, на старые суровые бороды; такой бедняк-капуцин не в состоянии содержать взрослого свеченосца, мальчику же, которого он обучает Ave Maria¹ или чья тетка у него исповедуется, приходится, вероятно, даром исполнять эту обязанность, отчего, конечно, она исполняется с не меньшей любовью. Другие монахи имели при себе мальчиков несколько постарше, ордена познатнее располагали уже дюжими парнями, а у важных священников свеченосцами шли совсем взрослые граждане. Наконец сам архиепископ — ибо таковым был, очевидно, человек, шествовавший в величавом смирении под балдахином в сопровождении седых пажей, поддерживавших концы его облачения — имел по обе стороны по лакею; они были наряжены в голубые ливреи с желтыми позументами и церемонно, словно прислуживая при дворе, несли по белой восковой свече.

Такая процессия со свечами показалась мне во всяком случае удачным изобретением, ибо благодаря ей я получил возможность яснее видеть католические лица. Вот я и увидел их, притом в самом удачном освещении. Что же я увидел? Ну конечно, на всех лицах лежал клерикальный отпечаток! Но если не говорить о нем, то все они были столь же различны между собой, как и всякие другие лица. Одно бледное, другое красное, этот нос гордо поднят кверху, тот низко опущен, тут блестящий черный глаз,

¹ Славься, Мария (начало католической молитвы).

там матовый серый, и тем не менее все эти лица носили следы одной и той же болезни, страшной, неизлечимой болезни, которая, вероятно, и явится причиной того, что внук мой, если ему через сто лет придется увидеть луккскую процессию, не встретит уже ни одного такого лица. Боюсь, что я и сам заражен той же болезнью; прямое ее проявление — чувство размягченности, удивительным образом овладевающее мною, когда я вижу такое хворое монашеское лицо и наблюдаю в нем симптомы страданий, укрытых под грубой рясой: оскорбленную любовь, подагру, обманутое честолюбие, сухотку спинного мозга, раскание, геморрой, сердечные раны, нанесенные нам неблагодарностью друзей, клеветой врагов и собственными прегрешениями, — все это и еще многое другое, что с такою же легкостью умещается под грубую рясу, как и под изящным модным фракком. О, это не преувеличение, когда поэт в порыве скорби восклицает: «Жизнь — болезнь, и весь мир больница!»

И смерть наш врач. Ах! Я не хочу говорить о ней ничего дурного и не желаю колебать ничьей веры; раз уж смерть — единственный врач, пусть и думают о ней, что она лучший врач, и что единственное средство, применяемое ею, — лечение землею — самое лучшее. По крайней мере следует отдать ей должное — она всегда под рукой и, несмотря на большую практику, не заставляет долго себя ждать, когда к ней обращаются. Иной раз она следует по пятам за своими пациентами в процессии и несет их свечи. Несомненно, то была сама смерть, шествовавшая — я это видел — рядом с бледным, грустным священником; в тощих, дрожащих, костлявых руках несла она мерцающую свечу и благодушно-успокаивающе кивала при этом робкой безволосой головкой; и как ни слабо держалась она сама на ногах, все же порой поддерживала бедного священника, который становился с каждым шагом бледнее, почти падал. Казалось, она шептала ему слова ободрения: «Подожди еще несколько часочков, вот придем домой, я погашу свечку, уложу тебя в постель, и смогут отдохнуть твои холодные, усталые ноги, и ты заснешь так крепко, что не услышишь, как задребезжит колокольчик у Святого Михаила».

«Против этого человека я тоже не стану писать», — подумал я, увидев бледного, большого священника, которому сама смерть во плоти светила по пути в постель.

Ах! Не следовало бы в сущности писать ни против кого в этом мире. Каждый достаточно болен в этой большой больнице, и некоторые полемические писания невольно приводят мне на память ту отвратительную перебранку, которой я был случайным свидетелем в небольшом лазарете в Кракове: ужасно было слышать, как больные, издеваясь, попрекали друг друга недугами, как высохшие чахоточные смеялись над распухшими от водянки, как один издевался над раком носа, которым болен был другой, а этот, в свою очередь, над судорогой челюсти и перекошенными глазами соседей, пока, наконец, не вскочили со своих постелей буйно помешанные и не сорвали с больных одеяла и повязки, обнажив их изъязвленные тела, так что осталось только зрелище ужасающего страдания и уродства.

ГЛАВА VI

Вслед за тем и прочих богов обоготворил он с напитком, Слева направо, из чаши сладостный черная нектар. И непомерным тогда разразились блаженные смехом, Видя, как с кубком Гефест ковылял по чертогу усердно. Так, целый день, с утра до заката палящего солнца Длился их пир, и сердца усладились трапезой вдосталь, Также и звуками струн Аполлоновой радостной лиры, Также и пением муз приветно-отзывным и стройным.

(Вульгата)

И вдруг вошел, запыхавшись, бледный, истекающий кровью еврей, с терновым венцом на челе и с большим деревянным крестом на плечах, и он бросил крест на высокий стол, за которым пировали боги, так что задрожали золотые бокалы, и боги умолкли, и побледнели и, бледнея все больше, рассеялись, наконец, в тумане.

И вот наступили печальные времена, мир сделался серым и тусклым. Не стало блаженных богов. Олимп превратился в лазарет, где тоскливо бродили ободранные и поджаренные на вертеле боги, перевязывая свои раны и распевая заунывные песенки. Религия доставляла уже не радость, а только утешение; то была печальная, кровью исходящая религия, религия приговоренных к смерти.

Может быть, она нужна была больному и истерзанному человечеству? Тот, кто видит своего бога страдающим,

легче переносит собственные страдания. Прежние радостные боги, не ведавшие страданий, не знали, каково приходится бедному страждущему человеку, и бедный страждущий человек в час скорби не мог всем сердцем обратиться к ним. То были праздничные боги, вокруг которых шла веселая пляска и которых можно было только благодарить. Потому-то их в сущности и не любили как следует, от всего сердца. Чтобы тебя любили как следует, всем сердцем, нужно самому страдать. Сострадание — высшее освящение любви, может быть — сама любовь. Из всех богов, когда-либо живших, Христос поэтому и любим больше всех других. Особенно женщинами...

Спасаясь от сутолоки, я попал в одинокую церковь, и то, что ты прочитал сейчас, любезный читатель, — все это не столько мои собственные мысли, сколько ряд слов, непроизвольно прозвучавших во мне в то время, как я, растянувшись на одной из старых молитвенных скамей, отдался во власть звуков органа. Так и лежал я там, а фантазия моей души дополняла удивительную музыку еще более удивительными текстами; время от времени мои взоры скользили в сумраке сводчатых переходов, улавливая темные звуковые фигуры, без которых не может быть и этих органических мелодий. Кто эта, под вуалью, склонившаяся там, перед образом мадонны? Лампада, висящая перед образом, кидает зловеще сладостный свет на прекрасную и скорбную мать распятой любви, на *Venus dolosa*; ¹ но своднически таинственные лучи падают порой, как бы украдкой, и на прекрасное тело молящейся, окутанное вуалью. Она лежит неподвижно на каменных ступенях алтаря, но в игре света тень ее колышется, порой вскидывается кверху, ко мне, и быстро принимает прежнее положение, как молчаливый мавр, робкий посланец гаремной любви, и я понимаю его. Он возвещает мне о присутствии своей госпожи, султанши моего сердца.

Но вот темнеет понемногу пустынный храм, там и тут скользят вдоль колонн чьи-то неопределенные тени, время от времени из бокового придела доносится тихое бормотание, и орган, как вздрагивающее сердце великана, наполняет воздух долгими, протяжными, стонущими звуками.

¹ Венеру скорбящую (*лат.*).

Казалось, никогда не замрут эти звуки, вечно будет длиться эта музыка смерти, эта живая смерть; я чувствовал невыразимое стеснение, несказанный страх, как будто меня погребли заживо — нет, как будто я, давным-давно умерший, восстал теперь из гроба и вместе со страшными своими почными товарищами пришел в этот храм призраков, чтобы прослушать молитвы мертвых и покаяться в своих грехах — грехах трупа. Мне начинало казаться, что в таинственном свете сумерек я различаю рядом с собою ее, эту отошедшую в вечность общину — людей в позабытых старофлорентийских одеяниях, с украшенными золотом молитвенниками в жестяных руках, с длинными бледными лицами, таинственно шепчущихся и меланхолически кивающих друг другу головой. Дребезжащий звук далекого погребального колокольчика напомнил мне опять о большом священнике, которого я видел в крестном ходе. «Он теперь тоже умер и явится сюда служить свою первую ночную мессу, и только теперь начнется настоящее скорбное наваждение». И вдруг со ступеней алтаря поднялась стройная фигура молящейся, закутанная в вуаль.

Да, это была она! Одна ее живая тень рассеяла бледные призраки, и я видел только ее. Я быстро последовал за ней к выходу, и когда она в дверях откинула вуаль, я увидел заплаканное лицо Франчески. Оно походило на тоскующую белую розу, усыпанную жемчугами ночной росы и освещенную лучом месяца. «Франческа, любишь ты меня?» Я засыпал ее вопросами, но она отвечала скупое. Я проводил ее в отель Кроче ди Мальта, где остановились она и Матильда. Улицы опустели, дома спали, сомкнув свои глаза-окошки, только то тут, то там сквозь деревянные веки просвечивал огонек. Но вверху, в небе, проступила среди туч широкая светло-зеленая полоса, и по ней, как серебристая гондола по морю изумрудов, плыл полумесяц. Тщетно я просил Франческу взглянуть хоть раз вверх, на старого милого поверенного наших тайн, — она шла, мечтательно опустив головку. Походка ее, обычно радостно-порывистая, была теперь как бы церковно-размеренной, шаг ее был сурово-католическим, она двигалась словно в такт торжественной органной музыке; религия, как в былые ночи — грехи, бросилась ей теперь в ноги. По пути она перед каждым изображением святого осеняла

крестом голову и грудь. Тщетно пытался я помочь ей в этом. Когда же мы проходили площадью мимо церкви Сан-Микеле, где скорбная мать сияла из темной ниши с позолоченными мечами в сердце и с венчиками из лампад вокруг чела, Франческа обвила рукой мою шею и принялась целовать меня, шепча: «Сессо, Сессо, саго Сессо!»¹

Я спокойно принимал эти поцелуи, хотя хорошо знал, что в сущности они предназначались болонскому аббату, служителю римско-католической церкви. В качестве протестанта я без всяких угрызений совести присвоил себе достояние католического духовенства и тут же на месте секуляризовал благочестивые поцелуи Франчески. Я знаю: попы, конечно, взбесятся, начнут кричать о разграблении церкви и рады будут применить ко мне французский закон о святотатстве. К сожалению, должен признаться, что означенные поцелуи — единственное, чего мне удалось добиться в ту ночь. Франческа решила провести эту ночь только в заботах о спасении своей души, молясь и преклоняя колени. Напрасно я предлагал разделить с ней ее молитвенные упражнения, — дойдя до своей комнаты, она захлопнула дверь перед самым моим носом. Напрасно стоял я еще целый час на улице, прося впустить меня, всячески вздыхал и лицемерно лил благочестивые слезы и давал самые священные клятвы, — разумеется, с иезуитскими оговорками и чувствуя, как постепенно становлюсь иезуитом; в конце концов я решился на самое худшее и высказал готовность принять католичество на одну эту ночь.

«Франческа, — воскликнул я, — звезда мыслей моих! Мысль души моей! *Vita della mia vita!*² Моя прекрасная, многоцелованная, стройная, католическая Франческа! На одну эту ночь, которую ты еще отдашь мне, я даже приму католичество — не только на одну ночь! О, прекрасная, блаженная, католическая ночь! Я лежу в твоих объятиях, строго католически веруя в небо любви твоей, и в поцелуе наших уст мы исповедуем с тобою, что слово претворяется в плоть, вера воплощается в образы и формы. О, какая религия! Вы, попы, воспойте тем временем ваше «кирие элейсон», звоните, кадите, бейте в колокола!

¹ «Чекко, Чекко, милый Чекко!» (*итал.*).

² Жизнь моей жизни! (*итал.*).

Пусть гудит орган, пусть раздаются звуки мессы Палестрины: «Се плоть моя», и я в блаженстве сомкну глаза, но когда проснусь на другое утро, то сотру с них и дремоту и католичество и опять ясно взгляну на солнце и на библию, и опять стану протестантски разумным и трезвым, как раньше».

ГЛАВА VII

Когда на следующий день солнце вновь сердечно заиграло на небе, рассеялись окончательно унылые мысли и чувства, вызванные во мне вчерашним крестным ходом и заставившие меня смотреть на жизнь как на болезнь и на мир как на больницу.

Весь город кишел веселым народом. Пестро разряженные жители, а среди них то здесь, то тут мелькнет черный попик. Все это гудело, смеялось и болтало, так что почти не слышно было колокольного перезвона, призывавшего на торжественное богослужение в собор. Это — красивая, простая церковь; пестрый мраморный фасад ее украшен короткими, одна над другой поставленными колонками, которые так забавно-уныло глядят на вас. Внутри собора столбы и стены затянуты были красною материей, и над колышавшимся человеческим потоком разливалась радостная музыка. Я шел под руку с синьорой Франческой, и когда я у входа подал ей святой воды и ощущение сладостной влажности от прикосновения наших пальцев вызвало электрические токи в наших душах, я почувствовал одновременно электрический удар в ногу, от которого, с испуга, едва не грохнулся на коленопреклоненных крестьянок, которые густыми рядами устилали пол в белых своих платьях, с длинными серьгами в ушах и с тяжелыми цепочками желтого золота на шеях. Обернувшись, я увидел женщину, тоже коленопреклоненную; она обмахивалась веером, а за веером я различил смеющиеся глаза миледи. Я склонился к ней, и она томно шепнула мне на ухо: «Delightful!»¹

— Ради бога, — прошептал я, — будьте серьезны, не смейтесь, ипаче нас, право, вышвырнут отсюда.

¹ Восхитительно! (англ.).

Но просьбы и мольбы оказались безуспешны. К счастью, никто не понимал нашего языка. Поднявшись на ноги и пройдя вслед за нами сквозь толпу к главному алтарю, миледи отдалась своей безумной веселости без малейшего стеснения, как будто бы мы были одни в Апеннинах. Она издевалась над всем окружающим, и стрелы ее не пощаждали даже бедных живописных ликов на стенах.

— Смотрите-ка, — воскликнула она, — вот и леди Ева, урожденная фон Риппе,¹ препирается со змеем! Удачна мысль художника — изобразить змея с человеческой головой и человеческим лицом; но было бы много остроумнее, если бы он украсил это обольстительное лицо военными усами. Видите там, доктор, этого ангела, который возвещает пресвятой деве о благословенном ее положении и при этом так прощически улыбается. Я знаю, что в мыслях у этого ружфиано! А эта Мария, у ног которой склонился священный союз Востока, подносящий золото и мирру, — разве она не похожа на Каталани?

Синьора Франческа из всей этой болтовни, по причине незнания английского языка, кроме слова Каталани ничего не поняла и живо заметила, что дама, про которую говорит наша приятельница, в настоящее время утратила немалую долю своей популярности. Но наша приятельница, не отвлекаясь, продолжала сыпать замечаниями и относительно изображений страстей Христовых, вплоть до распятия — прекрасной картины, на которой в числе других изображены были три глупые, не относящиеся к делу, физиономии, спокойно взиравшие на муки господни; о них миледи утверждала, что это, конечно, полномочные комиссары Австрии, России и Франции.

Между тем, старые фрески, глядевшие со стен из-за красной драпировки, могли бы до некоторой степени умерить британскую иронию своей сосредоточенной глубиной. На них были изображены лица из той героической эпохи города Лукки, о которой так много повествуется в исторических трудах Макиавелли, этого романтического Саллюстия, и дух которой столь пламенно веет в песнях Данте, этого Гомера католицизма; выражение этих лиц говорит

¹ Игра слов: фон Риппе — воображаемая фамилия, буквально значит — из ребра (*нем.*),

о суровости чувств и варварских понятиях средневековья, хотя, правда, иные безмолвные юношеские уста милой улыбкой свидетельствуют, что и тогда не все розы были каменны и прятались под покрывалами, а шаловливый, нежный взгляд сквозь опущенные ресницы иной мадонны того времени блеском своим подтверждает, что она, пожалуй, не прочь подарить нас еще одним Христом-младенцем. Во всяком случае, высоким духом веет от этих старофлорентийских картин; в них собственно то героическое, что открывается нам и в мраморных статуях древних богов и что, вопреки мнению наших эстетиков, заключается не в вечном спокойствии бесстрастия, а в вечной страсти без беспокойства. Традиционные отголоски того же старофлорентийского духа чувствуются, пожалуй, и в некоторых позднейших картинах, написанных маслом и висящих в Луккском соборе. Особенно мое внимание привлék «Брак в Кане» — картина, принадлежащая одному из учеников Андреа дель Сарто, написанная несколько жестко и скомпанованная резко. Спаситель сидит между нежной красивой невестой и фарисеем, чье каменное лицо, подобное скрижалям закона, выражает удивление перед гением пророка, который так весело вмешивается в ряды гостей и угощает все это общество чудесами почище Моисеевых; ведь Моисей, как бы сильно он ни бил скалу, мог извлечь из нее всего только воду, а этому стоило сказать только слово, и кружки наполнились лучшим вином. Много мягче, почти в венецианских тонах, написана картина неизвестного художника, висящая рядом; здесь ликующая игра красок как-то особенно умеряется скорбью, трепещущей во всем. Здесь представлено, как Мария взяла фунт елея, подлинного, драгоценного нарда, и помазала им ноги Иисуса и осушила их своими волосами. Христос сидит в кругу своих учеников. Прекрасный, умный бог, — он по-человечески грустен и испытывает жуткое благоговение, глядя на собственное свое тело, обреченное претерпеть в скором времени такие страдания, — уже сейчас подобает ему и воздается честь миропомазания, удел мертвых; он умиленно, растроганно улыбается коленопреклоненной женщине, которая, движимая предчувствиями своей любящей и беспокойной души, совершает дело милосердия, дело, которое никогда не забудется, доколе существует страждущее человечество,

и которое на протяжении тысячелетий благоуханием своим будет освежать страждущих людей. Кроме ученика, который возлежит на груди Христовой, — он же впоследствии и поведаст об этом подвиге Марии, — никто из апостолов как будто не чувствует значения происходящего, а вот этот, с рыжей бородой, словно с неудовольствием произносит, как сказано в писании: «Почему бы не продать этот елей за триста грошей и не раздать деньги нищим?» Это тот самый бережливый апостол, что ведает казной; привычка иметь дело с деньгами — причина, почему он стал равнодушным ко всякому бескорыстному благоуханию любви; он предпочитает променять елей на гроши ради какой-нибудь полезной цели, и именно он, меняла, он предал спасителя за тридцать сребреников. В этой истории о банкире из среды апостолов евангелие символически показывает зловеще-обольстительную мощь, таящуюся в денежном мешке, и предостерегает против вероломства деловых людей. Всякий богач — Иуда Искариотский.

— А ведь вы корчите физиономию глубоко верующего человека, дорогой доктор, — шепнула миледи, — я только что наблюдала за вами, и, простите, если, может быть, обижу вас: вы похожи были на доброго христианина.

— Между нами говоря, я таков и есть. Да, Христос...

— Может быть, вы верите и в то, что он бог?

— Разумеется, добрейшая Матильда. Это бог, которого я больше всех люблю — не потому, что он законный бог, отец которого был уже богом и с незапамятных времен управлял вселенной, но потому, что он, будучи прирожденным дофином небес, все-таки настроен демократически и не любит всей этой придворной церемониальной пышности, потому что он не бог аристократии и скудоумных ученых и блещущих галунами военных, а скромный народный бог, мещанский бог, un bon dieu citoyen.¹ Право же, если бы Христос не был богом, я бы избрал его на этот пост, и гораздо охотнее повиновался бы ему, чем навязанному извне, самодержавному богу, повиновался бы ему, выборному богу, богу, мною избранному.

¹ Добрый бог-гражданин (франц.).

ГЛАВА VIII

Архиепископ, суровый старец, сам служил мессу, и, по совести признаться, не только я, но и до некоторой степени миледи, мы были втайне растроганы духом, который присущ священному обряду, и тем торжественным величием, с которым старец его творил; ведь всякий старик уже сам по себе — священнослужитель, обряды же католической мессы так древни, что являются, может быть, единственно уцелевшей частью от наследия младенческой эпохи мира и вызывают в нас благоговение, как память о первых родоначальниках всего человечества.

— Смотрите, миледи, — сказал я, — каждое движение, которое вы видите — манера складывать и простирать руки, эти приседания, омовения рук, каждение, эта чаша, вся одежда этого человека от митры до подола стóлы, — все это древнеегипетское, все это пережиток жречества, об удивительном существе которого немногословно повествуют лишь древние источники, отголосок самого раннего жречества; оно изыскало первую мудрость, оно изобрело первых богов, оно установило первые символы и оно дало юному человечеству...

— Первый обман, — с горечью заключила миледи. — Я думаю, доктор, от начальной эпохи мира у нас не осталось ничего, кроме нескольких жалких формул обмана. И они до сих пор не потеряли еще своей силы. Ведь вот, видите вы там эти угрюмые-угрюмые лица? И этого вот парня, что склонил свои глупые колени и смотрит с таким архиглупым видом, разинув рот?

— Ради всего святого! — тихо успокоил я ее. — Что же в том дурного, если эта голова так мало просвещена светом разума? Какое нам дело? Почему это вас раздражает? Ведь видите же вы ежедневно быков, коров, собак и ослов, столь же глупых, и зрелище это ничуть не выводит вас из равновесия и не дает вам повода выражать неудовольствие.

— Ах, это другое дело, — прервала меня миледи, — у этих животных сзади хвост, и я сержусь потому именно, что у парня, столь животнo-глупого, нет сзади хвоста.

— Ну, миледи, это дело другое.

ГЛАВА IX

После обедни еще кое-что привелось увидеть и услышать, в частности — проповедь рослого, коренастого монаха, с повелительно-смелым лицом древнего римлянина, которое странно контрастировало с грубой нищенской рясой; человек этот походил на императора бедности. Он в своей проповеди говорил о рае и преисподней и впадал временами в самый неистовый экстаз. Его описание рая было несколько преувеличенным и варварским, — там оказывалась масса золота, серебра, драгоценных камней, вкуснейших яств и выдержанных вин; при этом у него было такое проникновенно смакующее лицо, и он, преисполненный блаженства, так ерзал в своей рясе, как будто уже чувствовал себя среди ангелочков с белыми крылышками и сам был ангелочком с белыми крылышками. Менее привлекательно и весьма реально-сурово было его описание преисподней. Здесь проповедник был в своей стихии. Особенно он усердствовал по адресу грешников, не верующих больше, как подобало бы добрым христианам, в старинный пламень преисподней и воображающих, что в наше время она несколько охладилась, а скоро и совсем погаснет. «И если бы даже, — воскликнул он, — она и погасла, то я собственным своим дыханием раздул бы опять последние тлеющие угольки, чтобы они вспыхнули старым пламенем!» Нужно было слышать голос, завывавший при этих словах наподобие северного ветра, видеть пылающее лицо, красную буйволу шею и огромные кулаки проповедника, чтобы поверить, что эти адские угрозы — не гиперболы.

— I like this man, ¹ — сказала миледи.

— Вы правы, — ответил я, — и мне он нравится больше, чем многие наши кроткие гомеопатические врачеватели душ, растворяющие одну десятитысячную разума в ведре моральной воды и преподносящие нам затем успокаивающую проповедь по воскресеньям.

— Да, доктор, его ад внушает мне почтение, но к его раю я не чувствую настоящего доверия. Да и вообще по поводу неба я с ранних пор впала в тайные сомнения. В Дублине, когда я еще была маленькой, я часто лежала в траве и глядела на небо и думала: правда ли, что

¹ Мне нравится этот человек (англ.).

на небесах столько великолепных вещей, как о них рассказывают? Но тогда, — думалось мне, — как же так выходит, что из этого великолепия никогда ничего не упадет вниз, — ни бриллиантовых сережек, ни жемчужной нити, ни хотя бы кусочка анапасного торта, а взамен того постоянно валится сверху только град, снег или обыкновенный дождь. Что-то тут неладно, — думала я.

— Зачем вы говорите это, миледи? Почему бы вам лучше не умолчать о ваших сомнениях? Неверующие, — те, что не признают рая, — не должны искать прозелитов; менее достойны порицания, даже заслуживают похвалы в своей погоне за прозелитами как раз те люди, у которых — свой великолепный рай и которые не желают одни наслаждаться его великолепием; поэтому они и приглашают ближних разделить с ними удовольствие и не успокаиваются до тех пор, пока их благосклонное приглашение не будет принято.

— Но я всегда удивляюсь, доктор, что многие богатые люди этого рода, — мы часто наблюдаем их в качестве ревностных председателей, вице-председателей и секретарей разных обществ по обращению в христианство — стараются сделать достойным небесного блаженства даже какого-нибудь старого, заскорузлого еврея-нищего и добыть ему право на участие в будущей райской жизни, но они никогда не подумают призвать его к участию в своих удовольствиях здесь, на земле, и не пригласят его, например, летом к себе в усадьбу, где, конечно, найдутся лакомые кусочки, которые придется бедняге по вкусу так же, как если бы он наслаждался ими в раю.

— Это понятно, миледи, райские блага ничего им не стоят, и ведь это двойное удовольствие — осчастливить по дешевке своих ближних. Но к каким наслаждениям может призывать кого бы то ни было неверующий?

— Ни к каким, доктор, кроме долгого спокойного сна, который, однако, для несчастного может быть весьма желателен, особенно, если он перед тем измучен чрезмерно настойчивыми приглашениями в рай.

Эти слова красавица произнесла тоном горьким и язвительным, и я ответил ей почти серьезно:

— Дорогая Матильда, здесь, на земле, я не задумываюсь даже о существовании рая и преисподней; я слишком велик и горд, чтобы в моих поступках руководиться жад-

ным стремлением к райским наградам или боязнью адской кары. Я стремлюсь к благу, потому что оно прекрасно и привлекает меня неудержимо, и презираю зло, потому что оно отвратительно и противно мне. Мальчиком, когда я читал Плутарха, — я и теперь читаю его всякий вечер в постели и готов иной раз вскочить и помчаться на почтовых, чтобы сделаться великим человеком, — уже и тогда мне понравился рассказ о женщине, которая ходила по улицам Александрии с паполненным водою мехом в одной руке и горящим факелом в другой и кричала встречным, что водою она загасит ад, а факелом зажжет рай, чтобы люди не избегали больше зла из одного только страха наказания и не творили добра в расчете на награду. Все наши поступки должны вытекать из источника бескорыстной любви, независимо от того, есть ли загробная жизнь или нет.

— Значит, вы не верите и в бессмертие?

— О, вы хитрая, миледи! Мне ли в нем сомневаться? Мне, чье сердце все глубже и глубже пускает корни в отдаленнейших тысячелетиях прошлого и грядущего, мне, одному из наиболее вечных людей, впивающему с каждым вздохом вечную жизнь, мне, каждая мысль которого — вечная звезда, — мне ли не верить в бессмертие?

— Я думаю, доктор, надо быть очень тщеславным и притязательным, чтобы, испытав в этом мире столько хорошего и прекрасного, требовать сверх того от господ бога еще и бессмертия. Человек, этот аристократ среди животных, считающий себя выше всех других тварей, не прочь выхлопотать себе и эту привилегию вечности перед тронем всемогущего путем почтительнейших славословий, песнопений и коленопреклонений. О, я знаю, что значит это подергивание ваших губ, бессмертный сударь мой!

ГЛАВА X

Синьора попросила нас отправиться с нею вместе в монастырь, где хранится чудотворный крест, величайшая достопримечательность всей Тосканы. И хорошо, что мы ушли из собора, потому что из-за выходок миледи у нас в конце концов могли получиться неприятности. Ее шутили-

вая веселость так и была ключом: мило сумасбродные выдумки были точно молодые котята, резвящиеся в лучах майского солнца. Выходя из собора, она трижды погрузила указательный палец в святую воду, чтобы покропить меня, и при этом бормотала: «Дем пефардеим кинним», что, как она утверждала, является арабской формулой, с помощью которой волшебницы превращают людей в ослов.

На площади перед собором маневрировало множество солдат, почти сплошь в австрийской форме. Командовали по-немецки. По крайней мере я слышал немецкие слова: «На караул! К ноге! На плечо! Направо кругом! Стой!» Кажется, у всех итальянцев, как и у некоторых других европейских народов, командуют по-немецки. Надо ли нам, немцам, делать из этого благоприятные для себя выводы? Значит ли это, что нам в здешнем мире столько приходится повелевать, что немецкий язык стал языком повелений? Или нам так много приказывают, что послушанию наиболее доступен именно немецкий язык?

Миледи, по-видимому, не любительница парадов и смотров. Она увела нас оттуда с ироническим испугом.

— Не люблю, — сказала она, — близости таких людей с саблями и ружьями, особенно, когда они маршируют в большом количестве, как на важных маневрах, сплошными рядами. Что, если хоть один из числа этих тысяч вдруг сойдет с ума и заколет меня тут же на месте оружием, которое у него уже в руках? Или, наоборот, если он внезапно поумнеет и подумает: «Чем ты рискуешь, что ты можешь потерять, если даже они отнимут у тебя жизнь? Пусть даже тот, другой мир, который нам обещают после смерти, не так уж блестящ, как его описывают, пусть он даже никуда не годен, но меньше, чем ты теперь получаешь, меньше шести крейцеров в день, и там ведь тебе не дадут, а поэтому позабавься и заколи эту маленькую англичанку с дерзким носом!» Разве в таком случае моя жизнь не в смертельной опасности? Будь я королем, я бы разделила своих солдат на два разряда. Одних я заставила бы верить в бессмертие, чтобы они были храбры в бою и не боялись смерти, и употребляла бы их в дело только на войне. Других я предназначила бы для парадов и смотров, а чтобы им не взбрело в голову, будто они почти ничем не рискуют, если прикопчат кого-нибудь ради шутки, я бы под страхом смерти запретила им верить в бессмертие, я бы

даже прибавила немного масла к их хлебному пайку, чтобы как следует приохотить их к жизни. Тем же бес- смертным героям я, наоборот, постаралась бы отравить жизнь; пусть бы они начали презирать ее и смотрели на жерла пушек, как на дверь в лучший мир.

— Миледи, — сказал я, — вы были бы плохим правителем. Вы мало понимаете в управлении, а в политике и вовсе ничего. Если бы вы читали «Политические анналы...»

— Я понимаю все это, может быть, лучше вас, дорогой доктор. С детских лет я старалась все это понять. В Дублине, когда я была еще маленькой...

— И лежала в траве лицом к небу и думала — или ни о чем не думала — как в Рамсгете...

Миледи бросила на меня взгляд, похожий на легкий упрек в неблагодарности, но потом засмеялась и продолжала:

— В Дублине, когда я была еще маленькой и умещалась на уголке скамеечки, в которую упирались ноги моей матери, я без конца задавала всевозможные вопросы: что делают портные, сапожники, булочники, короче, все люди на свете? И мать объясняла: портные шьют платья, сапожники — сапоги, булочники пекут хлеб. А когда я спросила: «Что делают короли?» — мать ответила: «Они управляют». — «Знаешь, милая мама, — сказала я тогда, — если бы я была королем, то я один день совсем бы не управляла, чтобы только увидеть, что из этого выйдет». — «Милое дитя, — отвечала мать, — некоторые короли так и поступают, да ведь оно и видно».

— Поистине, миледи, ваша мать была права. В особенности здесь, в Италии, как раз есть такие короли, это хорошо заметно в Пьемонте и Неаполе.

— Но нельзя же, любезный доктор, поставить в упрек какому-нибудь такому итальянскому королю, что он иной день и вовсе не управляет из-за чрезмерной жары. Можно только опасаться, как бы карбонарии не воспользовались таким днем; вот в последнее время я обратила особенное внимание на то, что революции раздражались как раз в такие дни, когда прекращалось управление. Если бы карбонарии как-нибудь ошиблись и подумали, что наступил день, когда нет управления, а оно на самом деле бы существовало, им пришлось бы лишиться своих голов. Вот

почему карбонариям приходится соблюдать всяческую осторожность и точно рассчитывать сроки. Зато, с другой стороны, высшая политика королей именно в том и заключается, чтобы держать в совершеннейшей тайне тот день, когда они не управляют; в этот день они должны хотя бы несколько раз присесть на трон и начать чинить перья, или запечатывать конверты, или разлиновывать чистую бумагу — все это только для виду, чтобы народ, с любопытством глазеющий в окна дворца, был совершенно уверен в том, что им управляют.

В то время как подобные замечания игриво сыпались с нежных уст миледи, на полных, розовых губах Франчески порхала улыбка удовлетворения. Говорила она мало. Походка ее не отличалась уже, однако, таким томным блаженством отречения, как в предыдущий вечер; скорее она выступала победоносно, и каждый шаг был — словно трубный звук; в то же время в движениях ее сказывалась победа не столько мирского, сколько духовного свойства; она как бы являла собой образ торжествующей церкви, и вокруг головы ее колебалось невидимое сияние. Но глаза, смеявшиеся как бы сквозь слезы, стали вновь по-земному ребяческими, и от ее испытующего взгляда не скрылась ни одна принадлежность костюма в пестром человеческом потоке, пронесившемся мимо нас: «Экко, — восклицала она, — что за шаль! Маркиз должен купить мне такого же кашемиру на тюрбан, когда я буду танцевать Рокселану. Ах! Он обещал мне и крест с брильянтами!»

Бедный Гумпелино! На тюрбан ты легко согласишься, но крест принесет тебе немало тяжелых минут; однако синьора будет до тех пор мучить и пытаться тебя, пока ты, наконец, не решишься и на это.

ГЛАВА XI

Церковь, где показывают луккский чудотворный крест, принадлежит к монастырю, название которого я сейчас не припомню.

Когда мы вошли в церковь, перед алтарем лежало, распростершись на колеснях, около дюжины монахов, погруженных в безмолвную молитву. Лишь время от времени

все они как бы хором произносили несколько отрывочных слов, как-то жутко отдававшихся под пустышными сводами. В церкви было темно, и только сквозь побольшие расписные окна падал пестрый свет на лысые головы и коричневые рясы. Тусклые медные лампы скудно освещали почерпевшие фрески и престольные образа, на степен выступали деревянные головы святых, ярко разрисованных и ухмылявшихся в неверном освещении, как будто живые. Миледи громко вскрикнула и показала на могильную плиту у наших ног, где в рельефе изображен был епископ в митре и с посохом, со скрещенными руками и отдаленным носом. «Ах, — прошептала она, — я грубо наступила ему на каменный нос; теперь он явится мне во сне — то-то будет мне нос!»

Ризничий, бледный молодой монах, показал нам чудотворный крест и рассказал о чудесах, которые он творит. Я легко поддаюсь настроению, и, может быть, лицо мое при этом рассказе не выразило недоверия; у меня бывают приступы веры в чудеса, в особенности там, где место и время, как в данном случае, способствуют такой вере. Тогда я готов верить, что все в мире чудо, и сама всемирная история — легенда. Может быть, я заразился верой в чудеса от Франчески, целовавшей крест с диким воодушевлением? А не менее дикая насмешливость бойкой британки показалась мне крайне неприятной. Быть может, эта насмешливость тем более задевала меня, что я и сам чувствовал себя не вполне свободным от нее, но отнюдь не мог признать ее похвальной. Нельзя ведь отрицать, что насмешливость, радость по поводу противоречий мира заключает в себе что-то злобное, серьезность же более сродни добрым чувствам; ведь добродетель, свободолюбие и сама любовь по существу своему очень серьезны. Но есть сердца, в которых смешное и серьезное, злое и святое, жар и холод перемешаны так причудливо, что трудно судить о них. Такое сердце билось и в груди Матильды; порой это был ледяной остров, на гладкой, зеркальной поверхности которого расцветали самые страстные и жгучие пальмовые рощи, порой это бурно пылающий костер, внезапно засыпаемый хохочущей снежной лавиной. Ее вовсе нельзя было назвать плохой, ни даже чувственной при всей ее распушенности; я думаю даже, что усвоила она только забавную сторону чувственности и тешилась ею, как

глупой игрой в куклы. Для нее было чисто юмористическим наслаждением, лишь потребностью сладостного любопытства — смотреть, как тот или иной чудака будет вести себя в состоянии влюбленности. Как не похожа на нее была Франческа! В ее мыслях и чувствах было католическое единство. Днем она была томной, бледной лунной, ночью превращалась в пылающее солнце. Луна дней моих! Солнце ночей моих! Никогда больше я не увижу тебя.

— Вы правы, — сказала миледи, — я тоже верю в чудотворную силу креста. Я уверена, что если маркиз не станет слишком жаться по поводу брильянтов к обещанному кресту, то этот крест сотворит над синьорой ослепительное чудо, и она в конце концов так будет ослеплена им, что влюбится в нос маркиза. Кроме того, я часто слышала о чудотворной силе некоторых орденских крестов, способных превратить честного человека в мошенника.

Так посмеивалась эта красивая дама над всем окружающим, кокетничала с бедным ризничим, смешно извинялась перед епископом с отдавленным носом, почтительно отклоняя возможный с его стороны ответный визит, а когда мы дошли до чаши со святой водой, она опять во что бы то ни стало захотела превратить меня в осла.

Действительно ль то было настроение, внушенное мне местом, где мы находились, или же я хотел как можно резко оборвать насмешки, в сущности раздражавшие меня, — я проникся надлежащим пафосом и произнес:

— Миледи, я не люблю женщин, презрительно относящихся к религии. Красивые женщины, чуждые религиозности — как цветы без запаха; они похожи на те холодные, трезвые тюльпаны, которые из своих китайских горшков смотрят на нас так фарфорово, и если бы обладали даром речи, то, конечно, разъяснили бы нам, как они совершенно естественным путем развились из луковиц, как для цветка вполне довольно, если он не пахнет дурно, и как вообще нет никакой необходимости разумным цветам чем бы то ни было пахнуть.

Уже при слове «тюльпан» миледи оживленно зажестиковала, и пока я говорил, ее идиосинкразия к этой породе цветов оказала на нее такое действие, что она в отчаянии закрыла уши. Отчасти продолжая дурачиться, но в то же время и с настоящей обидой, так как самолюбие

ее было задето, она бросила на меня полный горечи взгляд и тут же с резкой, из глубины души вырвавшейся насмешкой, спросила:

— А вы, дорогой мой цветок, какую из существующих религий считаете своею?

— Я, миледи, все религии считаю своими; аромат моей души возносится к небу и опьяняет даже вечных богов!

ГЛАВА XII

Синьора, не понимая нашего диалога, который мы вели преимущественно на английском языке, решила, бог весть почему, что мы спорим о преимуществах наших соотечественников. Она стала хвалить и англичан и немцев, хотя в глубине души считала первых не умными, а вторых глупыми. Очень дурно отзывалась она о пруссаках, страна которых, согласно с ее географией, расположена далеко за пределами Англии и Германии; особенно же дурно отзывалась она о прусском короле, великом Федериге, роль которого танцевала в прошлом году в балете в свой бенефис ее соперница, синьора Серафина; вообще этот король, а именно Фридрих Великий, странным образом все еще живет в итальянских театрах и в памяти итальянского народа.

— Нет, — сказала миледи, не обращая внимания на милую болтовню синьоры, — нет, этого человека нечего превращать в осла; он не только каждые десять минут меняет свои мнения и постоянно себе противоречит — он стал теперь миссионером, и я думаю даже, что он втайне иезуит. Мне придется теперь, для безопасности, строить набожные физиономии, иначе он предаст меня своим лицемерным сообщникам во Христе, своим святошам — дилетантам инквизиции, которые сожгут меня *in effigie*,¹ ибо полиция еще не разрешает им бросать в огонь живых людей. Ах, уважаемый, не думайте только, что я так умна, как кажется, — религиозности во мне довольно, я не тюльпан, клянусь вам, не тюльпан, ради всего святого, не тюльпан! Лучше уж я во все поверю! И теперь уже верю в самое главное, о чем написано в библии, я верю, что

¹ В изображении (*лат.*).

Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова и Иаков — Иуду, а также и в то, что этот последний познал на большой дороге свою сноху Фамарь. Верю также, что Лот слишком много пил со своими дочерьми. Верю, что жена Пентефрия удержала в своих руках одежду благонравного Иосифа. Верю, что оба старца, застигнувшие Сусанну во время купанья, были очень стары. Кроме того, я верю, что праотец Иаков обманул сначала своего брата, а потом тестя, что царь Давид дал Урии хорошую должность в армии, что Соломон завел себе тысячу жен, а потом стал ныть, что все суета. Я и в десять заповедей верю и даже исполняю большую их часть; я не желаю вола ближнего моего, рабыни его, коровы его и осла его. Я не тружусь в субботу, в седьмой день, когда бог отдыхал; более того, из осторожности, не зная точно, когда именно приходится этот седьмой день, я часто по целым неделям ничего не делаю. Что же касается заповедей Христа, то я исполняю всегда самую важную из них, а именно — что следует любить даже врагов своих, ибо — увы! — те люди, которых я более всего любила, всегда оказывались, неведомо для меня, моими злейшими врагами.

— Ради бога, Матильда, не плачьте! — воскликнул я, когда опять сквозь беззаботный задор вдруг пробился тон самой болезненной горечи, точно змея из-под цветов. Мне знаком был этот тон, когда шаловливое хрустальное сердце этой удивительной женщины начинало дрожать — сильно, но не долго, и я знал, что он исчезнет с такой же легкостью, как и возник, при первом же шутовском замечании, обращенном к ней или же ей самой пришедшем в голову. В то время, как она, прислонясь к монастырским воротам, прижимала пылающую щеку к холодному камню и своими длинными волосами осушала следы слез на глазах, я пытался вернуть ей веселое настроение, мистифицируя в подражание ее иронической манере бедную Франческу и сообщая ей важнейшие новости о Семилетней войне, которая ее, по-видимому, очень интересовала и которую она считала все еще неоконченной. Я рассказал ей много интересного о великом Федерико. Этот хитроумный штиблетный бог из Сансуси, который изобрел прусскую монархию, в юности премирло играл на флейте и сочинял даже французские стихи. Франческа спросила, кто победит — пруссаки или немцы? Дело в том,

что она, как я уже отметил, считала первых за совершенно другой народ, да и обычно в Италии под «немцами» подразумевают только австрийцев. Синьора немало удивилась, узнав от меня, что сам я долгое время жил в capitale della Prussia,¹ а именно в Berelino,² городе, который согласно географии, находится на самом верху, недалеко от северного полюса. Она ужасалась, когда я описывал опасности, которым там можно подвергнуться, порой встретив, например, на улице белых медведей.

— Дело в том, дорогая Франческа, — объяснил я, — что в гарнизоне на Шпицбергене очень много медведей, и они время от времени приезжают на денек в Берлин, чтобы из чувства патриотизма посмотреть на «Медведя и папу» или же славно закусить и выпить шампанского у Бейермана в «Кафе Рояль», что иногда обходится им дороже, чем они могут заплатить; в таком случае один из медведей остается привязанным в кафе до тех пор, пока не вернутся и не расплатятся его товарищи; отсюда и происходит выражение «привязать медведя».³ Много медведей живет и в самом городе; говорят даже, что Берлин обязан своим возникновением медведям и называется, собственно, «Берлин».⁴ Впрочем, городские медведи вполне ручные, а некоторые из них так образованы, что пишут превосходнейшие трагедии и сочиняют отличнейшую музыку. Волки там тоже не редкость, но так как они из-за стужи носят варшавские овчинные тулупы, то их нелегко узнать. Северные гуси носятся там и распевают бравурные арии, а северные олени бегают, изображая знатоков искусства. В общем, берлинцы живут очень умеренно и отличаются трудолюбием, а большинство из них сидит по пуп в снегу и пишет догматические сочинения, назидательные книги, историю религии для девиц образованных сословий, катехизисы, проповеди на все дни года, песнопения Элоа,⁵ и при этом весьма нравственны, ибо сидят по пуп в снегу.

— Разве берлинцы христиане? — воскликнула синьора в изумлении.

¹ Столице Пруссии (*итал.*).

² Берлине (*итал.*).

³ Einen Bären anbinden — буквально: привязать медведя, в переносном смысле — наделать долгов (*нем.*).

⁴ От слова Bär — медведь (*нем.*).

⁵ Элоа — бог (*евр.*).

— Их христианство особенное. В сущности, они совершенно не христиане, да и чересчур разумны, чтобы всерьез исповедовать христианство. Но поскольку они знают, что оно необходимо в государстве для того, чтобы подданные смиренно повиновались и, кроме того, чтобы не слишком много было краж и убийств, постольку они пытаются путем всяческого красноречия по крайней мере обращать в христианство своих ближних; они, так сказать, подыскивают себе заместителей в религии, которую им желательно поддержать и строгие правила которой им самим в тягость. В своем затруднительном положении они пользуются рвением бедных евреев; этим последним приходится вместо них быть христианами, а так как народ этот ради денег и доброго слова готов на все, то сейчас евреи уже до такой степени вошли во вкус христианства, что изрядно ополчаются, как положено, против неверия, бьются не на живот, а на смерть за святую троицу, а во время летних каникул даже и верят в нее, свирепствуют против рационалистов, рыскают по стране в качестве миссионеров и шпионов святой веры и распространяют душе-спасительные трактатцы, как нельзя лучше закатывают глаза в церквях, строят самые святошеские физиономии и вообще набожничают с таким успехом, что кое-где начинает уже зарождаться профессиональная зависть, и старшие мастера этого ремесла втайне жалуются: христианство-де перешло сейчас целиком в руки евреев.

ГЛАВА XIII

Если синьора и не поняла меня, то ты, дорогой читатель, поймешь меня, конечно, лучше. Миледи тоже поняла меня, и это вернуло ей хорошее расположение духа. Но когда я — не знаю, с достаточно ли серьезным выражением лица — пожелал согласиться с мыслью, что народ нуждается в определенной религии, она опять не смогла удержаться и заспорила в своей привычной манере.

— Народ нуждается в религии? — воскликнула она. — Я знаю, что это усердно проповедуют тысячи дураков и десятки тысяч лицемеров.

— И все-таки это правда, миледи. Как мать не в состоянии отвечать правду на все вопросы ребенка, ибо это

недоступно его пониманию, так должна существовать положительная религия, церковь, чтобы отвечать вполне определенно и наглядно, в соответствии с пониманием народа, на его умозрительные запросы.

— Увы! Именно ваше сравнение, доктор, напоминает мне одну историю, которая в конечном итоге едва ли говорит в пользу вашего мнения. В Дублине, когда я была еще маленькой...

— И лежала лицом кверху...

— С вами нельзя и поговорить разумно, доктор. Не улыбайтесь так бессовестно и слушайте. В Дублине, когда я была еще маленькой и сидела у ног матери, я спросила ее как-то раз, что делают со старыми полными лунами. «Милое дитя, — сказала мать, — старые луны господь бог дробит сахарными щипцами на куски и делает из них маленькие звезды». Нельзя поставить в упрек матери это явно неверное объяснение, потому что даже и при наилучших астрономических познаниях она не в силах была бы разъяснить мне всю систему солнца, луны и звезд, и на умозрительный вопрос она ответила мне наглядно и определенно. Но было бы лучше, если бы она отложила объяснение до более зрелого возраста или, по крайней мере, не выдумывала неправды. Дело в том, что когда я оказалась вместе с маленькой Люцией и было как раз полнолуние, и я рассказала Люции, что скоро из луны наделают маленьких звезд, Люция высмеяла меня и сказала, что, по словам ее бабушки, старой О'Мира, полные луны съедают в аду в качестве огненных дынь, а так как там нет сахара, то приходится посыпать их перцем и солью. Если Люция высмеяла меня первая по поводу моего объяснения, носившего слегка наивный евангелический характер, то и я, со своей стороны, еще больше посмеялась над ее мрачно-католической теорией; от насмешек дело перешло к серьезному спору, мы сцепились, до крови исцарапали друг друга, обмениваясь в пылу полемики плевками, пока не вернулся из школы маленький О'Доннель и не рознял нас. Мальчик этот получил в школе лучшее представление о космографии, знал математику и спокойно доказал нам наши заблуждения и нелепость нашего спора. И что же произошло? Мы, обе девочки, отложили на время наши разногласия и тотчас же образовали союз, чтобы отколотить маленького спокойного математика.

— Миледи, я огорчен, ибо вы правы. Но ничего не поделаешь. Люди всегда будут спорить о преимуществах тех религиозных понятий, которые им внушены с малолетства, а разумные будут всегда терпеть вдвойне. Правда, когда-то было иначе — никому не приходило в голову особенно превозносить учение и обряды своей религии или, тем более, навязывать их кому-нибудь. Религия была отрадным для сердца преданием, совокушностью священных историй, празднеств в память минувшего и мистерий, унаследованных от предков, как бы семейным святилищем народа, и для грека было бы просто ужасно, если бы чужестранец, не принадлежащий к его племени, стал домогаться одной с ним религии; тем более бесчеловечным было бы в его глазах заставить кого бы то ни было насилем или хитростью отречься от своей исконной религии и взамен принять чужую. Но вот из Египта, этой родины крокодилов и жречества, появился некий народ и, вместе с накожными болезнями и покраденной золотой и серебряною утварью, принес с собой так называемую положительную религию, так называемую церковь, нагромождение догматов, в которые надо верить, и священных обрядов, которые надо выполнять, — прообраз позднейших государственных религий. И вот, воздвигли «хулу на человека», и начались поиски прозелитов, насилие в делах веры и все те священные ужасы, которые стоили людям столько крови и слез.

— Goddam! ¹ Ах, уж этот народ, начало всякого зла!

— О, Матильда, он давно уже проклят и влачит муки своего проклятия на протяжении тысячелетий. О, этот Египет! Его изделия не поддаются власти времени, его пирамиды все еще стоят непоколебимо, его мумии так же прочны, как и встарь, и так же нетленна эта мумия — народ, который блуждает по земле, укутанный в свои древние пеленки-письмена, окаменевший обломок мировой истории, призрак, торгующий для поддержания своей жизни векселями и старыми штанами... Видите вы там, миледи, старика с седой бородой, концы которой опять как будто начинают чернеть, с глазами призрака...

— Там, кажется, развалины старых римских гробниц?

¹ Проклятие! (англ.).

— Да, именно там и сидит старик, и, может быть, Матильда, он творит свою молитву, страшную молитву, в которой скорбит о своих страданиях и зовет к суду народы, давно исчезнувшие с лица земли и живущие только в сказках старой няньки, он же, в своей скорби, и не замечает, что сидит на гробницах тех самых врагов, гибели которых он просит у неба.

ГЛАВА XIV

В предыдущей главе я говорил о положительных религиях лишь постольку, поскольку они, в качестве основы церкви, пользуются особенным покровительством государства, именуясь государственными религиями. Но есть особый метод благочестивой диалектики, любезный читатель, и при его помощи можно с полной непреложностью доказать, что противник церковного строя такой государственной религии одновременно является противником и религии и государства, врагом господ бога и короля или, как гласит обычная формула, врагом престола и алтаря. Но я говорю тебе, что это ложь. Я уважаю внутреннюю святость каждой религии и подчиняюсь интересам государства. Если я и не особенно сочувствую антропоморфизму, то все же верю в величие божие, и если короли, по глупости, не считаются с духом народа, или же в низости своей доходят до того, что оскорбляют его установления, пренебрежительно отменяя их и преследуя, то все же я, по глубочайшему своему убеждению, остаюсь приверженцем королевской власти, монархического начала. Я ненавижу не трон, а фанфаронское скопище дворянских насекомых, которое гнездится в щелях древних тронов и характер которого Монтескье так точно изобразил в следующих словах: «Честолюбие в соединении с праздностью, подлость в соединении с высокомерием, жажда обогащения без помощи труда, отвращение к истине, льстивость, изменчивость, вероломство, клятвопреступление, пренебрежение к гражданскому долгу, уклонение от государевых доблестей и сочувствие государевым порокам!» Я ненавижу не алтарь, по тех змей, что таятся под хламом древних алтарей, хитроумных змей, способных

улыбаться невинно, точно цветы, меж тем как втайне они источают свой яд в чашу жизни и шипят клеветой в уши благочестивого богомольца, скользких червей с кроткими словами:

Mel in ore, verba lactis,
Fel in corde, fraus in factis. ¹

Именно потому, что я сторонник государства и религии, ненавистен мне улюдок, именуемый государственной религией, жалкое порождение незаконной связи светской и духовной власти, мул, появившийся на свет от антихристового коня и Христовой ослицы. Не будь такой государственной религии, не будь предпочтения определенным догматам и обрядам, Германия была бы единой и сильной, а сыны ее были бы великими и свободными. Теперь же наше несчастное отечество растерзано религиозной распрей, народ разделен на враждующие религиозные партии, подданные-протестанты тягаются со своими государями-католиками или наоборот; всюду подозрительность — нет ли тайного католичества или тайного протестантства, всюду изуверство, шпионство в области мысли, пиетизм, мистицизм, вынюхивание в духе «Церковной газеты», сектантская ненависть, мания обращения, и, споря о небесах, мы погибаем на земле. Равнодушие к религиозным вопросам одно, пожалуй, было бы в состоянии спасти нас; ослабев верой, Германия могла бы политически окрепнуть.

И для самой религии, для ее священной сущности, столь же губительно, если она наделена привилегиями, если ее служители пользуются по преимуществу дотациями от государства, и, со своей стороны, для сохранения этих дотаций принуждены стоять за государство, и таким образом рука руку моет, духовная — светскую и наоборот, и возникает путаница, глупейшая перед лицом господина бога и страшная для человека. И вот, если у государства есть враги, то они становятся врагами и религии, покровительствуемой государством и являющейся поэтому его союзницей; и даже самые невинные среди верующих впадают в подозрительность, чуя в религии политические тенденции. Но отвратительнее всего высокомерие

¹ Мед на устах, молочные речи, горечь на сердце, обман на деле (*лат.*).

духовенства в том случае, когда оно за услуги, оказанные им, по его мнению, государству, считает себя вправе рассчитывать на его поддержку, когда в обмен на духовные узы, предоставленные государству для порабощения народов, оно начинает располагать его штыками. Никогда религия не падает так низко, как в том случае, когда она этим способом возвышается до уровня государственной религии; тогда и теряется ее невинность, и она начинает открыто выказывать свою гордость уже как официально признанная любовница. Правда, в этом случае на ее долю выпадает больше признания и знаков почтительности, она ежедневно празднует новые победы, устраивая блестящие процессии, и при ее триумфах даже бонапартистские генералы шествуют впереди со свечами, самые гордые умы присягают ее хоругвям, ежедневно обращаются и принимают крещение неверующие, но от такой обильной примеси воды суп не становится жирнее, и новые рекруты государственной религии походят на солдат, вербовавшихся Фальстафом, — они только заполняют церковь. О какой-либо жертвенности нет больше и речи; миссионеры со своими трактатиками и душеспасительными книжками разъезжают как торговые служащие с образцами товаров; опасности в этом деле больше нет, и оно совершается всецело в меркантильно-экономических формах.

Лишь до тех пор, пока религии имеют соперниц и больше подвергаются преследованиям, чем сами преследуют, они величественны и почтенны, лишь тогда возможны воодушевление, самопожертвование, мученики и венцы. Как прекрасно, как священно-сладостно и таинственно-отраднo было христианство первых столетий, когда оно героизмом своих страданий еще напоминало о своем божественном основателе. Тогда жива была еще прекрасная легенда о таинственном боге, что бродил в кротком юношеском образе под пальмами Палестины, проповедовал любовь к людям и явил миру то учение о свободе и равенстве, истину которого признали впоследствии и величайшие мыслители и которое, сделавшись евангелием французов, воодушевляет нашу эпоху. Сравните с этой религией Христа различные виды христианства, установившиеся в различных странах в качестве государственных религий, например римскую апостолически-католическую церковь или же тот лишенный поэзии

католицизм, который господствует как High Church of England,¹ этот жалкий, истлевший скелет веры, где угас всякий цвет жизни. Как в промышленности, так и в религиях вредна система монополии; свободная конкуренция сохраняет их силу, и они лишь тогда вновь расцветут в блеске своего первоначального величия, когда будет введено политическое равенство культов, так сказать, промышленная свобода для богов.

Благороднейшие люди Европы давно уже высказались в том смысле, что это — единственное средство предохранить религию от полного уничтожения, но служители ее скорее пожертвуют самим алтарем, чем согласятся лишиться хоть ничтожной части того, что жертвуется на этот алтарь; точно так же и дворянство скорее обречет на верную гибель трон и высокую особу того, кто высоко восседает на нем, чем добровольно откажется от самой несправедливой из своих привилегий. Ведь эта напыщенная приверженность к тронам и алтарю не что иное, как комедия, разыгрываемая перед народом! Кто постиг тайну этого ремесла, тот знает, что попы гораздо меньше, чем миряне, почитают бога и лепят его по своему усмотрению, в своих интересах, из хлеба и слова, и что дворяне почитают короля гораздо меньше, чем любой обыватель, и даже в глубине души относятся с насмешкой и презрением к монархии, выражая ей публично свою почтительность и стараясь добиться такой почтительности со стороны прочих; они, право, похожи на людей, показывающих за деньги глазеющей публике в ярмарочных балаганах какого-нибудь Геркулеса, или великана, или карлика, или дикаря, или пожирателя огня, или другого чем-либо примечательного человека и преувеличенно красноречиво восхваляющих его силу, величие, отвагу, неуязвимость или, если это карлик, его мудрость; они при этом трубят в трубы и напяливают на себя пестрые куртки, а между тем в глубине души смеются над легковерием диву дающегося народа и издеваются над несчастным предметом своих похвал, который в высшей степени не интересен для них, потому что они привыкли ежедневно видеть его, и им слишком хорошо знакомы его слабости, равно как и трюки, которыми он обучен.

¹ Высокая английская церковь (англ.).

Не знаю, долго ли еще будет терпеть господь бог, что попы выдают за него простое чучело и зарабатывают таким способом деньги; во всяком случае, я бы не удивился, если бы прочел как-нибудь в «Гамбургском беспартийном корреспонденте», что старик Йегова не рекомендует публике верить кому бы то ни было, даже сыну своему, во избежание злоупотреблений его именем. Но я во всяком случае убежден, что мы доживем до того времени, когда короли не пожелают больше играть роль показных кукол в руках презиращего их дворянства, откажутся от этикета, повылезут из своих мраморных клеток и гневно сбросят с себя блестящее тряпье, предназначенное действовать на народ, — порфиру, зловеще красную, как одежда палача, алмазную корону, которую им нахлобучили на уши, чтобы она заглушала голос народа, золотой посох, вложенный в руки, как видимый знак власти, — и освобожденные короли станут свободными, подобно другим людям, свободно будут ходить среди них, свободно чувствовать, свободно вступать в брак, свободно высказывать свое мнение, — это и будет эмансипация королевей.

ГЛАВА XV

Что же останется в удел аристократам, если отнять у них венценосный источник их существования, если короли сделаются достоянием народа и начнут добросовестно и уверенно править в согласии с волей народа, единственным источником всякой власти? Что станут делать попы, если короли поймут, что несколько капель священного елея ничью голову не предохранят от гильотины, а народ с каждым днем все больше и больше будет проникаться сознанием, что облатками не будешь сыт? Ну, что же, — тогда аристократии и духовенству ничего не останется, как только соединиться и начать происки и интриги против нового порядка в мире.

Напрасные усилия! Время, этот пламенный гигант, спокойно движется вперед, не обращая внимания на злобное твяканье попиков и дворянчиков под его ногами. Какой вой поднимают они всякий раз, когда обожгут себе морду, коснувшись ноги гиганта, или когда он нечаянно

наступит им на голову, так что оттуда брызнет мракобесный яд! Тогда злоба их с особенной силой обрушивается на отдельных сынов века, и, бессильные против масс, они пытаются охладить свое трусливенькое сердце, накидываясь на личности.

Ах! Надо сознаться, что от всего этого удары, наносимые в темноте из-за угла попами и дворянчиками, оказываются не менее чувствительными для некоторых несчастных сынов века, и — увы! — если венец славы и загорается над ранами победителя, то все же раны сочатся кровью и причиняют страдания. На долю таких победителей выпадает в наше время своеобразное мученичество: оно не кончается их мужественным признанием, как прежде, когда мученики находили быструю кончину на плахе или в ликующем пламени костра. Сущность мученичества, состоящая в том, что все земное приносится в жертву ради утех небесных — осталась та же, но оно много утратило в смысле внутренней религиозной радости, оно превратилось скорее в выдержку отречения, в упорное страстотерпничество, в какое-то пожизненное умирание; и вот случается, что в иной сумрачный холодный час даже самого святого из мучеников начинают одолевать сомнения. Нет ничего ужаснее тех часов, когда Марк Брут начинает сомневаться в подлинности добродетели, ради которой он всем пожертвовал! И — увы! — он все же был римлянин и жил в пору расцвета стоицизма, а мы созданы из современного, более податливого материала, и к тому же переживаем расцвет философии, которая признает за всяким энтузиазмом лишь относительное значение и уничтожает тем самым его сущность или же во всяком случае нейтрализует его, сводя его к сознательному донкихотству.

Холодные и умные философы! Как сострадательно они посмеиваются с высоты своего величия над самоистязаниями и безумствами какого-нибудь бедного Дон-Кихота, и при всей своей школьной мудрости не замечают того, что это донкихотство и есть самое ценное в жизни, что это сама жизнь, что это донкихотство окрыляет для смелых полетов весь мир со всем, что в нем философствует, музицирует, пашет и зевает! Ведь вся масса народная со всеми своими философами является, сама того не зная, не чем иным, как гигантским Санчо Пансой, который, при

всей своей трезвой боязни побоев и доморощенной разумности, следует за сумасшедшим рыцарем во всех его опасных приключениях, соблазняемый обещанной наградой, в которую верит, потому что желает ее, но еще более увлсаемый таинственной силой, которую энтузиазм всегда пробуждает в толпе, — это мы наблюдаем во всех политических и религиозных революциях, и, пожалуй, ежедневно в самых малейших событиях.

Так, например, ты, любезный читатель, невольно являешься Санчо Пансой того сумасшедшего поэта, с которым странствуешь и блуждаешь в этой книге, — покачиваешь головой, а все-таки следуешь за ним.

ГЛАВА XVI

Странно! «Жизнь и подвиги остроумного рыцаря Дон-Кихота Ламанчского, описанные Мигелем Сервантесом де Сааведра», были первой книгой, прочитанной мной в ту пору, когда я вступил уже в разумный детский возраст и до известной степени постиг грамоту. Я еще хорошо помню, как я однажды ранним утром тайком убежал из дому в дворцовый сад, чтобы без помехи почитать «Дон-Кихота». Был чудесный майский день; в свете тихого утра зацвела, чутко насторожившись, весна и слушала, как соловей, ее сладкозвучный льстец, пел ей хвалу; а свою хвалебную песню пел он так ласкающе нежно, так томно вдохновенно, что самые стыдливые почки раскрылись, порывистее стали поцелуи сладострастных трав и благоухающих солнечных лучей, и деревья и цветы дрожали от восторга. А я уселся на мшистой каменной скамье в так называемой Аллее Вздохов, близ водопада, и стал тешить свое юное сердце доблестными приключениями отважного рыцаря. В детской своей простоте я все принимал за чистую монету; какие бы смешные шутки судьба ни играла с бедным героем, я был уверен, что так оно и должно быть, что все это связано с геройством — и насмешки и телесные раны; насмешки меня настолько же огорчали, насколько я живо чувствовал в душе боль от ран. Я был ребенок, и мне неведома была ирония, которую бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печат-

ном мирке, и я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все, и так как эти невинные создания природы, подобно детям, ничего не знают о мировой иронии, то и они также принимали все за чистую монету и проливали вместе со мной слезы над страданиями несчастного рыцаря; один старый заслуженный дуб даже рыдал, а водопад сильнее потрясал своей седой гривой и, казалось, выражал негодование на испорченность мира. Мы чувствовали, что геройский дух рыцаря заслуживает не меньшего восхищения оттого, что лев, не имея желаний сражаться, повернул ему спину, и что его подвиги тем достохвальнее, чем слабее и худощавее его тело, чем более ветхи доспехи, его защищавшие, и чем плачевнее кляча, на которой он ехал. Мы презирали низкую чернь, так грубо расправлявшуюся с бедным героем, но еще более презирали чернь знатную, которая, щеголяя пестрым шелком плащей, изысканными оборотами речи и герцогскими титулами, издевалась над человеком, столь бесконечно превосходившим ее силой духа и благородством. Рыцарь Дульсинея поднимался все выше в моих глазах и все больше завоевывал мою любовь по мере того, как я читал удивительную книгу, а занимался я этим чтением все в том же саду, так что осенью я дошел уже до конца всей истории; и никогда я не забуду дня, когда прочел о злосчастном поединке, в котором рыцарю суждено было претерпеть столь позорное поражение.

То был пасмурный день; отвратительные дождевые тучи тянулись в сером небе, желтые листья горестно падали с деревьев, тяжелые капли слез повисли на последних цветах, безнадежно увядших и уныло клонивших умирающие головки, соловьи давно замолкли, все являло мне образ тленности, и сердце мое готово было разорваться, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и весь смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым, умирающим голосом: «Дульсинея — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, — возьмите копьё, рыцарь!»

Ах! Этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и благороднейшего в мире человека, был переодетый цирюльник!

ГЛАВА XVII

Давно это было. Много новых весен расцвело за это время, но не было уж в сих прежнего могучего очарования, ибо — увя! — я не верю больше сладким обманам соловья, лъстеца весны, я знаю, как скоро увядает ее великолепие, и всякий раз, когда вижу свежий розовый бутон, мне все представляется, как он болезненно-ярко расцветает, потом блекнет, а ветер развевает его лепестки. Повсюду вижу я замаскированную зиму.

Но в груди моей все еще цветет огненная любовь; она в страстном порыве поднимается над землю, странствует и блуждает в пустынных, зияющих небесных пространствах и, отвергнутая холодными звездами, возвращается вниз, на эту маленькую землю, со вздохом и торжеством сознаваясь, что нет все-таки во всей вселенной ничего прекраснее и лучше человеческого сердца. Любовь эта — вдохновение неизменно божественного свойства, все равно, влечет ли она за собой безумные или мудрые поступки... Итак, маленький мальчик отнюдь не напрасно лил слезы над страданиями пеленого рыцаря, точно так же как и после не напрасно юноша оплакивал в своей студенческой каморке смерть святых героев свободы, царя Агиса Спартанского, Кая и Тиберия Гракхов Римских, Иисуса Иерусалимского и Робеспьера и Сен-Жюста Парижских. Теперь, когда я надел *toga virilis*¹ и мне предстоит быть мужчиною, — слезам конец; надо поступать, как подобает мужчине, подражая великим предшественникам и — дай бог! — вызывая в грядущем слезы у мальчиков и юношей. Да, на них еще можно рассчитывать в наше холодное время, их еще зажигает огненное дыхание старых книг, и они понимают поэтому пламенные сердца современности. Юность бескорытна в помыслах и чувствах, поэтому она наиболее глубоко понимает и чувствует

¹ Мужскую тогу (лат.).

правду и не скупится там, где требуется ее смелое участие словом и действием. Пожилые люди своекорыстны и мелочны, больше думают о процентах со своих капиталов, чем об интересах человечества; они спокойно ведут свое суденышко по канавке жизни и мало беспокоятся о моряке, борющемся в открытом море с волнами, или же, вооружась цепким упрямством, они взбираются на высоту бургомистерской должности или звания президента своего клуба и пожимают плечами, говоря о тех изваяниях героев, которые буря сбросила с пьедестала славы, и при этом, может быть, рассказывают, что и сами они в юности своей пытались пробить головой стену, но потом примирились с этой стеной, ибо она есть нечто абсолютное, от века положенное, в себе и для себя сущее, а в силу своей действительности она есть и разумное; и значит неразумен тот, кто не мирится с августейше-разумным, непреложно существующим, незыблемо установленным абсолютизмом. Ах! Эти недостойные, которые путями философии пытаются привести нас под мягкое ярмо рабства, все же почтеннее тех презренных, что, защищая деспотизм, не прибегают даже к разумным доводам разума, но оправдывают его исторически, как обычное право, к которому люди с течением времени постепенно привыкли и которое поэтому правомерно, законосообразно и нерушимо.

Ах! Я не хочу, как Хам, приподнимать покров над позором родины, но ужасно видеть, как у нас сумели даже рабство сделать болтливым, как немецкие философы и историки истязают свой мозг, чтобы представить разумным и правомерным всякий деспотизм, как бы он ни был нелеп и несообразен. Честь раба — в молчании, говорит Тацит; эти же философы и историки утверждают противное и в доказательство ссылаются на почетные ленточки в петлицах.

А может быть, вы все-таки правы, и я — только Дон-Кихот, и чтение всевозможных чудесных книг вскрыжило мне голову, так же как и рыцарю Ламанчскому; Жан-Жак Руссо был моим Амадисом Гальским, Мирабо был моим Роландом или Аграмантом, и я чересчур усердно изучал подвиги французских паладинов и рыцарей Круглого стола Национального Конвента. Правда, мое безумие и мои навязчивые идеи, почерпнутые из этих книг, противоположны безумию и навязчивым идеям ламаанч-

ского рыцаря: он хотел восстановить умирающее рыцарство, я же, наоборот, хочу уничтожить до конца все, что осталось от тех времен, и мы действуем, таким образом, с целями совершенно различными. Мой коллега принимал ветряные мельницы за великанов, я же, наоборот, в наших нынешних великанах вижу только хвастливые ветряные мельницы; кожаные мехи для вина он принимал за могучих волшебников, я же вижу в наших теперешних волшебниках только кожаные мехи для вина; он принимал нищенские харчевни за некие замки, погонщиков ослов — за кавалеров, скотниц — за придворных дам, я же, наоборот, считаю наши замки притонами сброда, наших кавалеров — погонщиками ослов, наших придворных дам простыми скотницами; как он принял кукольную комедию за государственное действие, так я считаю наши государственные действия жалкими кукольными комедиями, но так же, как и храбрый ламанец, я врубаюсь в это деревянное царство! Ах! Это геройское деяние кончается для меня порою так же плохо, как и для него, и мне приходится, как и ему, много терпеть ради чести моей дамы. Если бы я согласился отказаться от нее, из пустого страха или тупой корысти, я бы мог уютно жить в этом существующем разумном мире, мог бы повести к алтарю прекрасную Мариторну, и принять благословение от жирных волшебников, и пировать с благородными погонщиками ослов, и производить на свет невинные новеллы и тому подобные мелкие рабские отродья! Вместо этого, украшенный тремя цветами моей дамы, я принужден непрерывно драться на дуэлях и пробиваться сквозь невыразимые бедствия, и ни одна победа, одержанная мною, не обходится для моего сердца без потери крови. День и ночь я в опасности, ибо мои враги так коварны, что некоторые из них, уже пораженные мною насмерть, все же делают вид, будто живы, и, принимая всяческие образы, отравляют мне и день и ночь. Сколько страданий мне пришлось уже вынести из-за этих отвратительных призраков! Они, эти коварные призраки, прокрадывались всюду, где только цвело что-нибудь дорогое для меня, и срывали даже невинные ростки. Повсюду, и в особенности там, где я всего менее мог ожидать, я открывал на земле их слизистый след, и если я не буду осторожен, то могу поскользнуться и убиться до смерти даже в доме ближайших моих друзей. Можете усмехаться

и считать мои тревоги результатом пустого воображения, как у Дон-Кихота. Но страдания, пусть и воображаемые, причиняют не меньшую боль, и если человек вообразит, что проглотил немного болиголова, то он способен зачехнуть и уж никоим образом от этого не разжиреет. И это клевета — будто бы я разжирел; по крайней мере, я не обзавелся еще жирной синекурой, а ведь у меня есть нужные для этого таланты. Также не найдется во мне и следа того жира, который дается кумовством. По-видимому, все средства пущены были в ход, чтобы поддержать мою худобу; когда я голодал, меня кормили змеями, когда страдал от жажды — поили полынью, самый ад вливали мне в сердце, так что я плакал ядом и вздыхал огнем, за мною крались и заползали даже в грёзы моих ночей — я и сейчас вижу их, эти страшные личины, знатные лакейские лица со скрежещущими зубами, грозные банкирские носы, убийственные глаза, впивающиеся в меня из-под капюшонов, бледные руки в манжетах, со сверкающими ножами...

Да и старуха соседка, живущая за стеною, считает меня помешанным и утверждает, что я говорю во сне безумные вещи, а в прошлую ночь она будто бы ясно слышала, как я кричал: «Дульсинея — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, — вонзайте копьё, рыцарь!»



ПОЗДНЕЙШЕЕ ДОБАВЛЕНИЕ

(*Ноябрь 1830*)

Не знаю, какая страшная почтительность удержала меня от того, чтобы произвести хотя бы малейшее изменение в некоторых выражениях, показавшихся мне, при позднейшем пересмотре предшествующих страниц, слишком уж резкими. Рукопись успела поблекнуть и пожелтеть, как покойник, и мне было страшно ее уродовать. Все написанное в давнюю пору обладает каким-то внутренним правом на неприкосновенность, тем более эти страницы, принадлежащие до известной степени темному прошлому. Ведь они написаны почти за год до третьей бурбонской хеджиры, в эпоху, которая сама по себе была резче самого резкого выражения, в эпоху, когда казалось, что победа свободы может отодвинуться еще на столетие. Во всяком случае, нельзя было смотреть без тревоги, как наши рыцари обретали столь уверенное выражение лица, как они красили в ярко-свежие краски свои выцветшие гербы, как они выступали со щитами и копьями на турнирах в Мюнхене и Потсдаме, как гордо они восседали на своих высоких конях, словно собираясь в Кведлинбург, чтобы выйти новым изданием у Готфрида Бассе. Еще невыносимее были торжествующе-злые глазки наших попигов, так хитро прятавших под капюшонами свои длинные уши, что мы ждали от них самых пагубных подвохов. Нельзя было предвидеть, что знатные рыцари так плачевно повыпускают все свои стрелы — по большей части анонимно — или, по крайней мере, поспешно отступят, пряча лица, точно убегающие башкиры. Столь

же мало можно было предвидеть, что так посрамлено будет змеиное лукавство попикиков. Ах! Чуть не жалость охватывает меня при виде того, как плохо они распорядились лучшим своим ядом, в бешенстве забрасывая нас огромными кусками мышьяка, вместо того чтобы любовно, золотниками подсыпать его нам в суп, — при виде того, как они из груды старого детского белья вытаскивают ветхие пеленки своих врагов, чтобы разноухать что-нибудь в нечистотах, как они даже отцов своих врагов выкапывают из могил, чтобы взглянуть, не были ли они обрезаны. О, дурачье! Они полагают, будто сделали открытие, что лев принадлежит, собственно говоря, к породе кошек, и с этим естественно-историческим открытием они будут носиться до тех пор, пока эта большая кошка на их собственной шкуре не покажет свое *ex ungue leonem*.¹ О, темные люди! Они просветятся не прежде, чем сами повиснут на фонарях! Ослиные кишки хотел бы я натянуть вместо струн на лиру свою, чтобы достойно воспеть вас, глупые стриженные головы!

Безмерная радость охватывает меня! В то время как я сижу и пишу, под моим окном звучит музыка, и в элегическом гневе протяжной мелодии я узнаю тот марсельский гимн, которым прекрасный Барбару и его спутники приветствовали город Париж, ту хороводную песнь свободы, при звуках которой швейцары в Тюильри затосковали по родине, торжествующую предсмертную песнь Жиронды, старую сладостную колыбельную песнь...

Что за песнь! Она пронизывает меня пламенем и радостью, зажигает во мне огненные звезды вдохновения и ракеты насмешки. Да, пусть и они будут на великом фейерверке современности! Звонко-пламенные потоки песни пусть льются дерзновенными каскадами с высот ликующей свободы, как Ганг низвергается с Гималаев! А ты, прелестная Сатира, дочь праведной Фемиды и козлоногого Пана, приди ко мне на помощь! Ты ведь с материнской стороны ведешь свой род от титанов и так же, как я, ненавидишь врагов своего дома, ничтожных узурпаторов Олимпа. Одолжи мне меч твоей матери, чтобы мне казнить это ненавистное племя, и дай мне цевницу твоего отца, чтобы мне насмерть освистать их...

¹ По когтю (узнать) льва (*лат.*).

Уже слышат они убийственный свист, и панический ужас охватывает их, и они бегут, приняв звериные облики, как тогда, когда мы громоздили Пелион на Оссу —

Aux armes, citoyens! ¹

Очень несправедливо винить нас, несчастных титанов, и порицать то дикое неистовство, с которым мы взбирались вверх тогда, при штурме неба — ах, там, внизу, в Тартаре было страшно и темно, и мы слышали там только вой Цербера и лязг цепей, и простительно, если мы оказались несколько невежливы по сравнению с теми богами *comme il faut*,² которые так тонко и благопристойно наслаждались в светлых салонах Олимпа сладостным нектаром и нежными концертами Муз.

Я не могу писать дальше, музыка, раздающаяся под окном, кружит мне голову, и все величественнее несется ввысь припев:

Aux armes, citoyens!

¹ К оружию, граждане! (*франц.*).

² Приличными (*франц.*).



АНГЛИЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

1828

Счастливый Альбион! Веселая старая Англия! Зачем покинул я тебя? — Чтобы бежать общества джентльменов и быть в среде отребья единственным, кто живет и действует сознательно?

«Честные люди» В. Алексиса.

I

РАЗГОВОР НА ТЕМЗЕ

...Желтый человек стоял подле меня на палубе, когда я увидел зеленые берега Темзы, и во всех уголках души моей пробудились соловьи. «Страна свободы, — воскликнул я, — приветствую тебя! Прими мои приветствия, свобода, юное солнце обновленного мира! Прежние солнца, любовь и вера, померкли и остыли, и не в силах больше светить и греть. Покинуты старые миртовые рощи, когда-то столь оживленные, и только робкие горлицы выют гнезда в нежных зарослях. Падают старые соборы, когда-то вознесенные на такую гигантскую высоту отважным в своем благочестии поколением, которое стремилось поднять свою веру до небес; они дряхлеют и разваливаются, и даже собственные их боги не верят больше в самих себя. Эти боги отжили, а нашему времени недостает фантазии, чтобы создать новых. Вся сила человеческого сердца перешла теперь в любовь к свободе, и, может быть, свобода и есть религия нашего времени, и это опять религия, которая проповедуется не богатым, а бедным, а у нес

тоже есть свои евангелисты, свои мученики и свои искариоты!»

— Молодой энтузиаст, — произнес желтый человек, — вы не найдете того, что ищете. Может быть, вы и правы в том, что свобода — новая религия, распространяющаяся по всей земле. Но подобно тому, как некогда каждый, принимавший христианство, видоизменял его применительно к своим потребностям и своему собственному характеру, так и теперь всякий народ воспримет от свободы, этой новой религии, только то, что соответствует его местным потребностям и его национальному характеру.

Англичане — домоседы, они живут ограниченной, замкнутой и мирной семейной жизнью; в кругу своих домашних англичанин пытается обрести тот душевный уют, в котором ему отказано за пределами его дома, в силу уже одной его прирожденной социальной неповоротливости. Поэтому англичанин довольствуется той свободой, которая обеспечивает ему личные права и безусловно ограждает его жизнь, имущество, его брак, его веру и даже его причуды. Никто так не свободен у себя дома, как англичанин; применяя здесь знаменитое изречение, я скажу, что он король и епископ в своих четырех стенах, и небезоснователен его обычный девиз: «*My home is my castle*».¹

Если, таким образом, англичанам свойственна преимущественно потребность в личной свободе, то француз, пожалуй, в крайности обошелся бы и без свободы, только бы дать ему полностью воспользоваться той составной частью всеобщей свободы, которую мы называем равенством. Французы — народ, не тяготеющий к домашней жизни, а общественный, они не любят молчаливого препровождения времени в тесном кругу и называют его *une conversation anglaise*,² они, болтая, перебегают из кафе в казино, из казино в салон; их легкая, шампанская кровь и врожденная обходительность влекут их к общественной жизни, а первое и последнее условие этой жизни, душа ее — равенство. Вот почему вместе с развитием общественности во Франции должна была возникнуть и потребность в равенстве; если причину революции и сле-

¹ «Мой дом — моя крепость» (англ.).

² Английский разговор (франц.).

дует искать в бюджете, то слово и голос она получила впервые от тех остроумных разночинцев, что встречались в салонах Парижа с высшею знатью, по-видимому на равной ноге, но все-таки время от времени получали от нее напоминание о своем великом и постыдном неравенстве, хотя бы при посредстве едва заметной, но тем более оскорбительной феодальной усмешечки, и если *la canaille roturière*¹ позволила себе обезглавить эту высокую знать, то, может быть, затем, чтобы унаследовать не столько ее богатства, сколько ее предков, и вместо мещанского неравенства ввести аристократическое равенство. Что это стремление к равенству было основным принципом революции, видно еще более из того, что французы скоро почувствовали себя счастливыми и довольными под властью своего великого императора, который, во внимание к их незрелости, взял под свою опеку все их свободы и предоставил им только наслаждаться полным и досто­славным равенством.

Поэтому англичанин гораздо терпеливее, чем француз, смотрит на свою привилегированную аристократию; он утешается тем, что обладает правами, лишающими ее возможности смутить его домашний комфорт и затронуть его жизненные условия. Да и аристократия эта не выставляет напоказ своих прав так, как на континенте. На улицах и в общественных увеселительных заведениях Лондона пестрые ленты можно увидеть только на женских чепцах, а золотое и серебряное шитье только на ливреях лакеев. Даже та красивая пестрая ливрея, которая у нас обозначает принадлежность к привилегированному военному сословию, отнюдь не является в Англии знаком отличия; как актер после представления смывает грим, так и английский офицер, отбыв часы службы, спешит освободиться от своего красного мундира и в простом сюртуке джентльмена становится вновь джентльменом. Только в Сент-Джемском театре приобретают значение эти декорации и костюмы, сохранившиеся от средневекового хлама; там развеваются орденские ленты, сверкают звезды, шуршат шелковые панталоны и атласные шлейфы, там бренчат золотые шпоры и старофранцузские обороты речи, пыжится рыцарь и топорщится фрейлина. Но какое дело

¹ Простонародная сволочь (*франц.*).

свободному англичанину до придворной комедии в Сент-Джемском дворце? Ведь она его не тяготит, и никто не мешает ему разыграть у себя дома такую же комедию, заставить своих домашних служителей преклонять колени и забавляться подвязкой своей кухарки — honny soit qui mal у pense.¹

Что касается немцев, то им не нужно ни свободы, ни равенства. Они — народ умозрительный, идеологи, загадывающие и разгадывающие мечтатели, живущие только прошлым и будущим и не имеющие настоящего. Англичане и французы имеют настоящее, у них каждый день отмечен действием и противодействием, имеет свою историю. Немцу не за что бороться, а так как он начал подозревать, что все-таки могут существовать вещи, обладание которыми было бы желательным, то его философы весьма мудро научили его сомневаться в существовании таких вещей. Нельзя отрицать, что свободу любят и немцы. Но иначе, чем другие народы. Англичанин любит свободу, как свою законную жену; он обладает ею и если обращается с ней не очень нежно, то все-таки, в случае нужды, умеет защитить ее как мужчина, и горе тому молодцу в красном мундире, который проберется в ее священную спальню в качестве любовника или соглядатая — все равно. Француз любит свободу, как свою избранницу и невесту. Он горит любовью к ней, пламенеет, бросается к ее ногам с самыми преувеличенными уверениями, бьется за нее на жизнь и на смерть, совершает ради нее тысячи безумств. Немец любит свободу, как свою старую бабушку».

Удивительны все же люди! На родине мы ворчим; всякая глупость и нелепость сердят нас там; мы как мальчишки готовы каждую минуту бежать оттуда в далекий мир, а когда попадем, наконец, в этот далекий мир, то он опять кажется нам чересчур далеким, и втайне мы опять тоскуем по узким глупостям и нелепостям родины, и нам хочется сидеть опять там, в старой, хорошо знакомой комнатке, и, если на то пошло, устроить свой дом за печкой, приткнуться там в тепле и читать «Всеобщий немецкий вестник». Так же было и со мною во время путешествия в Англию. Едва скрылся из глаз моих немецкий берег, как во мне проснулась запоздалая смешная любовь

¹ Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (*франц.*).

к тем тевтонским лесам колпаков и париков, которые я только что с раздражением покинул; отчизна исчезла из моих глаз, но я вновь обрел ее в моем сердце.

Потому-то в голосе моем и прозвучало, может быть, некоторое умиление, когда я ответил желтому человеку:

— Милостивый государь, не браните немцев! Если они и мечтатели, то многие из них в мечтах своих видят такие сны, которые я едва ли променяю на действительность наших бодрствующих соседей. Раз все мы спим и грезим, то, пожалуй, можем обойтись и без свободы, ведь наши тираны тоже спят и грезят лишь о своей тирании. Мы проснулись только тогда, когда католический Рим отнял у нас свободу грез; тут мы стали действовать, победили, и опять легли и стали грезить. Не смейтесь, сударь, над нашими мечтателями, ибо время от времени они, как сомнамбулы, произносят во сне удивительные вещи, и слово их претворяется в посев свободы. Никто не в состоянии предвидеть, какой оборот примут дела. Англичанин, склонный к сплину, наскучив своей женой, накинет ей, может быть на шею веревку и сведет для продажи на Смесфилд. Ветрогон француз изменит, может быть, своей любимой невесте, покинет ее и, подпевая, начнет приплясывать перед придворными дамами (*courtisanes*) своего королевского дворца (*Palais-Royal*).¹ Но немец никогда не выбросит окончательно за дверь свою старую бабушку, он всегда оставит ей местечко у очага, где она сможет рассказывать сказки насторожившимся детям. Если когда-нибудь, боже упаси, свобода исчезнет во всем мире, немецкий мечтатель вновь откроет ее в своих мечтах.

В то время как наш пароход вместе с лицами, ведшими этот разговор, тянулся вверх по реке, солнце зашло, и его последние лучи осветили Гриничский госпиталь, внушительное, похожее на дворец, здание, состоящее собственно из двух флигелей, между которыми находится пустое пространство, открывающее проезжающим вид на зеленый лесистый холм, увенчанный изящным небольшим замком. На воде начала теперь усиливаться суতোлка судов, и я с удивлением смотрел, с какой ловкостью эти большие корабли скользят друг мимо друга. Порой

¹ Игра слов: *courtisanes du Palais-Royal* (франц.) значит также: куртизанки из Пале-Рояля.

вас приветствует с них чье-нибудь дружески-серьезное лицо, которого вы никогда не видели и, может быть, никогда больше не увидите. Суда проходят так близко, что можно подать друг другу руку, здороваясь и прощаясь одновременно. Сердце вздымается при виде стольких вздымающихся парусов и странно волнуется, когда с берега доносятся смутные голоса, далекая музыка танцев и глухой шум матросской возни. Но в белом покрове черного тумана расплываются понемногу очертания предметов, и глаз видит только лес высоких обнаженных мачт.

Желтый человек все еще стоял подле меня и пытливо смотрел вверх, словно разыскивая в туманном небе бледные звезды. Продолжая глядеть вверх, он положил мне руку на плечо и произнес тоном, в котором как бы невольно нашли себе выражение тайные мысли: «Свобода и равенство! Их не найдешь здесь, внизу, их нет даже там, наверху. Эти звезды там не равны, одна больше и ярче другой, ни одна из них не свободна в своих путях, все повинуются предначертанным железным законам — в небе рабство, как и на земле».

— Это Тоуэр! — воскликнул вдруг один из наших спутников, указывая на высокое здание, выступившее из лондонского тумана подобно мрачному призрачному видению.

II

ЛОНДОН

Я видел самое замечательное из того, что может явить мир изумленному духу, я видел и все еще изумляюсь — все еще стоит в моем воображении этот каменный лес домов и среди них бурный поток живых человеческих лиц, со всей пестротой их страстей, со всей ужасающей стремительностью их любви, голода и ненависти, — я говорю о Лондоне.

Пошлите в Лондон философа, но, ради бога, не поэта! Пошлите туда философа и поставьте его на углу Чипсайда; он почерпнет здесь больше, чем из всех книг последней лейпцигской ярмарки; и как только человеческие волны забушуют вокруг него, перед ним возникнет море новых

мыслей, его овеет вечный дух, парящий над этим морем; глубочайшие тайны общественного устройства внезапно откроются ему, он явственно услышит и воочию увидит мировой пульс, — ибо если Лондон — правая рука мира, деятельная, могучая правая рука, то улицу эту, ведущую от Биржи до Даунинг-стрита, следует признать артерией мира.

Только не посылайте в Лондон поэта! Эта неприкрытая серьезность всех вещей, это грандиозное однообразие, это машинообразное движение, эта угрюмость даже в радости, этот непомерный Лондон подавляет фантазию и разрывает сердце. И если бы вы вдобавок вздумали послать туда немецкого поэта, мечтателя, останавливающегося перед каждым отдельным явлением — перед обрванной нищенкой или блестящей витриной ювелира — о! ему пришлось бы еще хуже, его бы толкали со всех сторон или даже сбили бы с ног кротким «God damn!». Да, God damn! Проклятые толчки! Я скоро заметил, что этот народ очень занят. Он живет на широкую ногу, и несмотря на то, что корм и одежда дороже в его стране, чем у нас, желает все-таки лучше нас кормиться и одеваться; у него, как и полагается знатным людям, крупные долги, но все-таки ради похвальбы он порой швыряет свои гинеи в окошко, платит другим народам за то, чтобы они колотили друг друга ради его удовольствия, да еще посылает их королям какую-нибудь славную подачку — вот почему Джон Буллю приходится работать день и ночь, чтобы добыть денег на эти расходы, день и ночь приходится ему напрягать свой мозг, чтобы изобретать новые машины; он сидит и подсчитывает в поте лица, и гоняется, и бегаёт, много не оглядываясь, из гавани на биржу, с биржи на Стрэнд; простительно поэтому, если он на углу Чипсайда несколько неосторожно толкнет бедного немецкого поэта, который, глаза перед магазином картин, загораживает ему дорогу. God damn!

Картина же, на которую я глазел на углу Чипсайда, изображала переход французов через Березину.

Когда, выбитый из своего созерцания, я взглянул опять на бурлящую улицу, по которой с громаханием, криками, стонами и треском катился пестрый клубок мужчин, женщин, детей, лошадей, почтовых карет, а среди них и погребальная процессия, мне показалось, что весь Лон-

дон — мост через Березину, где каждый в безумном страхе, лишь бы только хоть немножко продлить свою жизнь, пытается пробиться, где лихой наездник топчет бедного пешехода, где всякий, упавший наземь, погиб навсегда, где лучший товарищ равнодушно спешит перешагнуть через труп товарища и тысячи смертельно усталых, истекающих кровью людей, тщетно цепляясь за доски моста, срываются в холодную, ледяную бездну смерти.

Насколько веселее и уютнее в нашей дорогой Германии! Как сонно-безмятежно, как субботне-спокойно течет здесь жизнь! Спокойно проходит караул, в спокойном свете солнца блестят мундиры и дома, у карнизов выются ласточки, в окнах улыбаются толстые советницы юстиции, на гулких улицах — достаточно места: собаки могут вдоволь обнюхиваться, люди с удобством могут останавливаться и толковать о театре и низко-низко кланяться, если какое-нибудь высокое дрянцо или вице-дрянце с пестрыми ленточками на потертом сюртуке или напудренный, позолоченный гофмаршалишко протанцует мимо них, милостиво отвечая на поклоны.

Я заранее решил было не изумляться грандиозности Лондона, о котором так много слышал. Но со мной случилось то же, что с несчастным школьником, который решил не чувствовать предстоящих побоев. Дело собственно было в том, что он ожидал обыкновенных ударов обыкновенной палкою и, по обыкновению, по спине, а вместо того получил необыкновенную порцию ударов по необыкновенному месту — тонкою тростью. Я ожидал увидеть большие дворцы и увидел сплошь только маленькие дома. Но именно однообразие их и их необозримое множество производят такое сильное впечатление.

От серого воздуха и угольной копоти эти кирпичные дома приобретают одинаковый цвет, а именно оливково-зеленый с коричневым оттенком; все они построены на один образец; по фасаду обыкновенно два или три окна, три этажа в высоту, а вверху они украшены маленькой красной дымовой трубой, похожей на окровавленный вырванный зуб, так что широкие прямые улицы, образуемые ими, кажутся лишь рядом бесконечно длинных, казармообразных домов. Причиной этому, по-видимому, то обстоятельство, что каждое английское семейство,

хотя бы состоящее из двух человек, все-таки желает жить в отдельном доме, в собственном замке, и богатые спекулянты, идя навстречу этой потребности, строят целые улицы, которые продают потом в розницу отдельными домами. На главных улицах Сити, той части Лондона, где сосредоточены торговля и промышленность, где среди новых зданий рассеяны еще старинные и где фасады домов до самых крыш закрыты саженными вывесками и цифрами, обычно позолоченными и выпуклыми, там это характерное однообразие домов не так заметно, тем более, что взгляд чужестранца все время отвлечен удивительным зрелищем новых и красивых предметов, выставленных в окнах магазинов. Не одни предметы сами по себе составляют здесь главнейший эффект, — а ведь англичанин все, что изготовляет, дает в законченном виде, и всякий предмет роскоши, всякая астральная лампа и всякий сапог, всякий чайник и всякая женская юбка блестят так завлекательно, так finished,¹ — нет, и само искусство, с которым их показывают на выставке, игра цветов и разнообразие придают английским магазинам особое очарование; даже повседневные жизненные потребности являются здесь в неожиданном волшебном блеске, обыкновенные съестные припасы привлекают новизной освещения, даже сырая рыба так разложена и так соблазнительно разубрана, что радужный блеск ее чешуи приводит нас в восторг; сырое мясо лежит, как на картине, на чистых пестрых фарфоровых тарелочках и в венке веселой петрушки; все кажется нарисованным и напоминает нам блестящие и вместе с тем столь скромные картины Франца Мириса. Только люди не так веселы, как на этих голландских картинах: они с серьезнейшими лицами продают самые веселые игрушки, и покрой и цвет их одежды однообразен, как их дома.

В противоположной части Лондона, называемой западным концом, Вестендом—the west end of the town,² где живет более аристократическое и менее деловое общество, это однообразие еще заметнее; но там есть улицы очень длинные и даже широкие, где все дома высоки, как дворцы, хотя внешне и не представляют ничего замечательного,

¹ Законченно (англ.).

² Западной частью города (англ.).

кроме разве того, что здесь, как и во всех не совсем заурядных жилых домах Лондона, окна второго этажа украшены балконами с железной решеткой, и au rez de chaussée¹ тоже имеется черная решетка, которая ограждает уходящие в землю подвальные помещения. Кроме того, в этой части города находятся большие скверы: ряды домов, подобных вышеописанным, образуют четырехугольник, в середине которого расположен сад, обнесенный черной железной решеткой и украшенный какой-нибудь статуей. Ни на одной из этих площадей и улиц взгляд чужеземца не оскорбится зрелищем ветхих, нищенских лачуг. Всюду бросается в глаза богатство и знатность, беднота вытеснена в отдаленные улочки и темные, сырые переулки, где и ютится со своими лохмотьями и слезами.

Чужестранец, проходящий по большим улицам Лондона и не попадающий в места, населенные настоящей беднотой, ничего не увидит или увидит очень малую часть того горя, которого так много в Лондоне. Лишь там и сям, при входе в темный переулок, молча стоит оборванная женщина с ребенком у истощенной груди и просит милостыню глазами. Может быть, если эти глаза еще красивы, в них заглянешь — и придешь в ужас от бездны горя, которую там увидишь. Обыкновенные нищие — старики, по большей части негры; они стоят на углах улиц и, что весьма полезно в грязном Лондоне, прокладывают для пешехода тропинку, получая за это какой-нибудь медяк. Нищета в сообществе с пороком и преступлением выползает только вечером из своих притонов. Она тем боязливее бежит дневного света, чем ужаснее противоречит пышности богатства, сверкающего повсюду; только голод выгоняет ее иной раз в полдень из темных переулков, и тогда она стоит с немим выразительным взором и с мольбой обращает его к богатому кушцу, который деловито спешит мимо, побрякивая деньгами, или к праздному лорду, который, подобно сытому богу, развезжает верхом на коне и время от времени бросает с высоты равнодушно-гордый взгляд на человеческую сутолоку под собою, словно это пичтожные муравьи или, во всяком случае, кучка низших существ, чьи радости и страдания

¹ В нижнем этаже (франц.).

не имеют ничего общего с его чувствами; ибо над человеческим сбродом, ползающим по земле, английская знать возносится как существо высшей породы, для которого малепькая Англия — лишь временная квартира, Италия — летний сад, Париж — гостиная, а весь мир — собственность. Беззаботно и беспрепятственно они посягают по свету, и золото — тот талисман, который волшебным образом выполняет их самые безумные желания.

Бедная бедность! Как мучителен должен быть твой голод там, где другие утопают в наглой роскоши! Если тебе и бросят равнодушной рукой корку хлеба, как горьки должны быть те слезы, которыми ты ее размачиваешь! Твои собственные слезы отравляют тебя. И ты права, когда вступаешь в союз с пороком и преступлением. В сердцах отверженных преступников часто больше чело-вечности, чем у этих холодных, безупречных граждан государства добродетели, в чьих бледных сердцах сила зла угасла так же, как и сила добра. И даже порок твой не всегда порок. Я видел женщин, на щеках у которых красной краской намалеван был порок, а в сердцах их жила небесная чистота. Я видел женщин... мне бы хотелось опять увидеть их!

III АНГЛИЧАНЕ

Под сводами лондонской биржи каждой нации указано ее место, и на высоко прибитых дощечках можно прочесть названия: русские, испанцы, шведы, немцы, мальтийцы, евреи, ганзейцы, турки и т. д. Прежде каждый купец стоял под дощечкой с обозначением своей нации. Теперь же вы стали бы напрасно искать его там — люди передвинулись: где когда-то стояли испанцы, теперь стоят голландцы, евреи уступили место ганзейцам; где ищешь турок, там находишь теперь русских; итальянцы стоят, где когда-то были французы; даже немцы продвинулись.

Как на лондонской бирже, так и во всем остальном мире сохранились старые дощечки, но люди, стоявшие под ними, сдвинуты, и на их место пришли другие; новые

лица их очень мало подходят к старым надписям. Прежние стереотипные характеристики народов, с которыми мы встречаемся в ученых компендиумах и в пивных, не в силах уже помочь нам и способны привести лишь к печальным недоразумениям. Как на наших глазах в течение последних десятилетий менялся постепенно характер наших западных соседей, так и по ту сторону Ламаиша можно отметить, со времени прекращения континентальной блокады, подобное же изменение. Неповоротливые, молчаливые англичане толпами совершают паломничества во Францию, чтобы научиться там разговаривать и двигаться, и по их возвращении с изумлением замечаешь, что язык у них развязался, что у них не обе руки левые, как было прежде, и что они не довольствуются уже бифшетксом и плум-пудингом. Я сам видел, как такой англичанин потребовал в ресторане «Тэвисток-Тэверн» сахару к цветной капусте — ересь с точки зрения строгой англиканской кухни; лакей чуть не упал в обморок, ибо со времени римского нашествия цветную капусту в Англии едят не иначе, как отваренную в воде и без сладких приправ. Это был тот самый англичанин, который, несмотря на то, что мы никогда раньше не встречались, подсел ко мне и столь предупредительно вступил со мной в беседу по-французски, что я не мог удержаться и высказал ему всю свою радость по поводу того, что вижу, наконец, англичанина, не сторонящегося чужеземца; на это он, не улыбувшись, столь же откровенно ответил, что говорит со мной затем, чтобы поупражняться во французском языке.

Поразительно, как французы с каждым днем становятся вдумчивее, глубже и серьезнее, в той же мере, в какой англичане стремятся усвоить легкий, поверхностный и веселый характер — не только в жизни, но и в литературе. Лондонские печатные станки всецело заняты фешенебельными произведениями, романами, взятыми из блестящей сферы high life¹ или отражающими ее, как, например, «Almalks», «Vivian Grey», «Tremaine», «The Guards», «Flirtation». Последний роман является лучшим образцом всего этого рода литературы, этого кокетничания чужеземными манерами и оборотами речи, этого

¹ Высшего света (англ.).

неуклюжего изящества, тяжеловесной легкости, кислой сладости, принаряженной грубости, говоря короче — всей унылой суетни тех деревянных мотыльков, которые порхают в салонах западной части Лондона.

Напротив того, каковы теперь темы французской печати, истинной представительницы духа и воли французов? Подобно тому, как их великий император воспользовался досугом своего плена, чтобы диктовать рассказ о своей жизни, открыть нам сокровеннейшие замыслы своего божественного ума и превратить скалу св. Елены в кафедру истории, с высоты которой вершится суд над современниками и дается поучение потомству, так и сами французы пытаются возможно плодотворнее использовать дни своих неудач, эпоху своей политической бездеятельности; они тоже пишут историю своих подвигов; руки, так долго державшие меч, вновь наводят ужас на врагов — они берутся за перо; вся нация как будто занялась изданием своих мемуаров, и если они последуют моему совету, то выпустят еще совершенно особое издание *ad usum delphini*¹ с изящными цветными картинами, изображающими взятие Бастилии, осаду Тюильри и т. п.

Если я отметил выше, что англичане в наше время пытаются стать легкомысленными и фривольными и непременно напялить на себя обезьянью шкуру, сбрасываемую теперь французами, то я должен оговорить дополнительно, что это стремление более свойственно знати и дворянству, высшему свету, чем среднему сословию. Напротив, промышленная часть нации (в особенности коммерсанты из фабричных городов и почти все шотландцы) носит внешний отпечаток пиегизма, я бы сказал даже — пуританизма, так что между этой благочестивой частью нации и светски настроенной знатью существует такая же противоположность, как между кавалерами и круглоголовыми, столь правдиво изображенными в романах Вальтер Скотта. Было бы слишком большой честью для шотландского барда — предположить, будто он благодаря своему гению исторически воссоздал внешний облик и внутренний образ мыслей обеих партий, и будто признак

¹ Для юношества (буквально — для пользования дофина) (лат.).

его высокого поэтического дарования в том, что он, без предубеждения, как бог, творящий суд, обеим воздал должное и к обеим отнесся с одинаковой любовью. Стоит только бросить взгляд на молитвенные дома Ливерпуля или Манчестера, а потом на фешенебельные салоны западного Лондона, и станет ясно, что Вальтер Скотт описывал только свою собственную эпоху и облек в старинные костюмы своих современников. А если принять во внимание, что он, с одной стороны, как шотландец, впитал в себя, в силу воспитания и влияния национального духа, пуританский образ мыслей, с другой же стороны, как тори, мнящий себя к тому же отпрыском Стюартов, должен был быть всей душой настроен монархически и аристократически, а потому мысли его и чувства охватывают обе крайности с одинаковой любовью и как бы уравниваются противоположностью двух направлений, то легко объяснить его беспристрастие в изображении аристократов и демократов времен Кромвеля, беспристрастие, повлекшее за собой для нас то ошибочное мнение, будто мы должны ждать от него в истории Наполеона столь же верной *fair play*¹ при изображении героев французской революции.

Тот, кто внимательно изучает Англию, в наше время ежедневно найдет случай наблюдать оба эти течения — фривольное и пуританское, в их отвратительнейшем расцвете, а также, само собой разумеется, и в их борьбе. Такой случай, в частности, представился во время громкого процесса г-на Уэкфильда, веселого кавалера, похитившего как бы экспромтом дочь богача г-на Турнера, ливерпульского купца, и повенчавшегося с нею в Гретна-Грине, где живет некий кузнец, куящий самые крепкие цепи. Вся ханжеская родня, все племя избранников божьих подняли вопль по поводу такого беззакония; в молитвенных домах Ливерпуля воссылались к небу мольбы о возмездии Уэкфильду и его брату-сообщнику, которых бездна должна была поглотить так же, как шайку Кораха, Дафана и Абирама; для большей уверенности в священной мести на головы осквернителей святейшего таинства в судебных залах Лондона призван был гнев королевской скамьи, великого канцлера и даже верхней палаты,

¹ Честной игры (англ.).

а в фешенебельных салонах в то же время весьма сплсхсдид-тельно шутили и смеялись по поводу отважного похитителя девицы. Забавнее всего проявилась противоположность обоих мирозерцаний, когда я сидел однажды в Большой опере рядом с двумя толстыми дамами из Манчестера, впервые в жизни посетившими это место, где встречается высший свет, и не находившими слов, чтобы с должной силой выразить все свое сердечное омерзение, когда начался балет и прекрасные танцовщицы в коротких своих юбочках стали принимать изящно-чувственные позы, вытягивая свои милые, длинные, порочные ноги и бросаясь вакхически внезапно в объятия своих партнеров, подпрыгивавших им навстречу; жар музыки, первобытные одеяния в виде трико телесного цвета, натуральнейшие прыжки — все слилось воедино, чтобы вызвать холодный пот у бедных дам; бюсты их побагровели от негодования, они беспрерывно стонали: «Shocking! For shame! For shame!»¹ — и до такой степени были парализованы ужасом, что не могли отнять зрительные трубки от глаз и до последнего мгновения, пока не опустился занавес, оставались в том же положении.

Несмотря на такую противоположность духовного и жизненного укладов, в английском народе наблюдается некоторое единство настроения, заключающееся в том именно, что он чувствует себя одним народом; новейшие круглоголовые и кавалеры могут взаимно ненавидеть и презирать друг друга и все-таки не перестают быть англичанами; в качестве англичан они объединены между собой и связаны, как растения, расцветшие на одной почве и чудесно с нею сросшиеся. Отсюда и скрытая согласованность всей жизни и деятельности в Англии — стране, которая на первый взгляд кажется нам ареной сутолоки и противоречий. Непомерное богатство и нищета, правоверие и неверие, свобода и рабство, жестокость и милосердие, честность и плутовство — все эти противоположности в их безумнейших крайностях, а над всем этим серое туманное небо, гудящие кругом машины, цифры, газовые рожки, дымовые трубы, газеты, кружки с портером, сжатые рты — все это до такой степени связано, что нельзя представить себе одно без другого; и то, что в отдельности

¹ «Неприлично! Стыдно! Стыдно!» (англ.).

способно вызвать удивление или смех, представляется в целом чем-то вполне обычным и не смешным.

Но, мне думается, так будет с нами и всюду, даже в тех странах, о которых мы имеем еще более удивительные понятия и от которых еще более ждем поводов для смеха и изумления. Наша страсть к путешествиям, наше стремление — особенно в детские годы — видеть чужие страны вытекают вообще из ошибочного ожидания необычайных контрастов, из той духовной жажды маскарада, которая побуждает нас представлять себе наших соотечественников и их взгляды в обстановке чужих стран и рядить таким образом наших лучших знакомых в чужие костюмы и нравы. Стоит нам, например, подумать о готтентотах, — и мы представляем себе дам из нашего родного города, вымазанных в черное, с основательно развитой задней частью, а наши молодые остряки взбираются, в нашем воображении, на пальмовые деревья, как разбойники; стоит нам подумать об обитателях полярных областей, мы и там видим знакомые лица: наша тетька катит в санках в собачьей запряжке по ледяной дороге, тощий господин проректор лежит на медвежьей шкуре и спокойно тянет свою утреннюю порцию рыбьего жира, госпожа акцизная надзирательница, госпожа инспекторша и госпожа ветеринарная советница сидят на корточках и жуют сальные свечи и т. д. Но, посетив эти страны в действительности, мы вскоре замечаем, что люди там точно срослись с обычаями и костюмами, что лица находятся в соответствии с мыслями, а одежда — с потребностями, что даже растения, животные и вся страна составляют одно гармоническое целое.

IV

THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE BY WALTER SCOTT¹

Бедный Вальтер Скотт! Будь ты богат, ты не написал бы этой книги и не стал бы бедным Вальтер Скоттом! Но члены конкурсного управления по делам фирмы Констэбль собрались, считали, считали, и после долгих

¹ Жизнь Наполеона Бонапарта, сочинение Вальтер Скотта (англ.).

вычислений и делений покачали только головами — и бедный Вальтер Скотт остался только при лаврах и долгах. Тут произошло нечто чрезвычайное: певец великих подвигов решил и сам испытать себя в героизме, он решился на *sessio honorum*,¹ лавры «великого незнакомца» подверглись оценке на предмет погашения великих и знакомых долгов, и таким-то образом возникла с голодной лихорадочностью, с воодушевлением банкротства, «Жизнь Наполеона», книга, которая, отвечая потребности любопытной публики вообще и английского правительства в особенностях, могла рассчитывать на хорошую оплату.

Хвала ему, доброму гражданину! Превозносите его вы, филистеры всего земного шара! Превозноси его, ты, милая торговая добродетель, готовая всем пожертвовать, лишь бы уплатить в срок по векселю, — только от меня не ждите, чтобы я тоже стал превозносить его.

Удивительно! Мертвый император и в могиле грозит гибелью бриттам, — и вот, из-за него величайший писатель Британии лишился своих лавров.

Он был величайшим писателем Британии, что бы ни говорили и ни возражали. Положим, критики его романов, пытаясь умалить его величие, упрекали его в том, что он чрезмерно растекается, слишком входит в подробности, что он создает свои великие образы лишь путем соединения множества мелких черт, что ему для достижения сильных эффектов нужно бесконечное число деталей, но, правду говоря, он был в этом случае подобен миллионеру, все состояние которого состоит в разменной монете и который всякий раз, как ему надо выплатить большую сумму, принужден подвезти три или четыре воза с мешками пфеннигов и грошей; однако он совершенно вправе возразить тем, кто вздумает попрекнуть его неудобством, связанным с тягостным перетаскиванием и пересчитыванием: ведь как бы то ни было, он все же платит требуемую сумму, и по существу столь же платежеспособен, столь же богат, как и другой, располагающий одними золотыми слитками; мало того, за ним преимущество более мелкого размена, меж тем как тот, другой, где-нибудь на большом овощном рынке окажется беспомощен со своими крупными золотыми слитками, не

¹ Отдачу имущества (для покрытия долгов) (*лат.*).

имеющими там хождения, всякая же торговка обеими руками ухватится за добрые пфенниги и гроши. Теперь настал конец этому общедоступному богатству британского писателя, и он, чья монета так удобна была в обращении и с одинаковым интересом принималась и герцогиней и женой портного, теперь стал бедным Вальтер Скоттом. Судьба его напоминает сказания о горных эльфах, которые, лукаво благодетельствуя бедным людям, дарят им деньги, сохраняющие весь свой блеск и свою ценность до тех пор, пока их расходуют на достойные цели, но превращающиеся в их руках в негодную пыль, лишь только ими начнут злоупотреблять в целях недостойных. Один за другим раскрывали мы мешки, доставленные на этот раз Вальтер Скоттом, и что же? — вместо блестящих веселых грошиков — одна только пыль да пыль. Он наказан горными эльфами Парнаса, музами, а они, подобно всем благородным женщинам, — страстные наполеонистки и поэтому вдвойне возмущены тем, как он злоупотребил доверенными ему духовными богатствами.

Ценность и тенденция вальтерскоттовской книги освещены журналами всей Европы. Не только возмущенные французы, но и ошеломленные соотечественники автора вынесли обвинительный приговор. Немцам пришлось поддержать этот хор мирового недовольства; с еле сдерживаемой страстностью высказался штутгартский «Литературный листок»; с холодным спокойствием выразился берлинский «Ежегодник научной критики», и рецензент, которому это холодное спокойствие далось тем легче, что герой книги мало ему дорог, характеризует ее следующими меткими строками:

«В повести этой не найти ни содержания, ни красок, ни плана, ни жизненности. Путаясь в поверхностных — отнюдь не глубоких — сложностях, не оттеняя своеобразия, неуверенно, неровно и вяло тянется изложение замечательного материала; ни одно происшествие не выступает с присущей ему определенностью, нигде отчетливо не намечаются выдающиеся моменты, ни одно событие не уяснено и не оправдано необходимостью, связь во всем только внешняя, смысл и значение едва чувствуются. В таком изображении гаснет всякий свет истории, и сама она становится не чудесной, но пошлой сказкой. Собра-

жения и замечания, нередко вклинивающиеся в ход повествования, того же свойства. Наша читающая публика давно уже переросла эту жалкую философскую стряпню. Скучная примесь морали, цепляющейся за мелочи, нигде не достигает цели...»

Все это, а также еще и худшие вещи, отмеченные прощательным берлинским рецензентом, Фарнхагеном фон Энзе, я бы охотно простил Вальтер Скотту. Все мы — люди, и лучший из нас может иной раз написать скверную книгу. В таком случае скажут, что она ниже всякой критики, — и делу конец. Удивительно, правда, что в этом повом произведении мы не находим даже прекрасного стиля Вальтер Скотта. Бесцветная, будничная речь безрезультатно пересыщается там и сям красными, синими и зелеными словами; тщетно прикрыта блестящими лоскутами поэтических цитат прозаическая нагота, тщетно разграблено все содержимое Ноева ковчега, чтобы добыть звериные сравнения, тщетно даже приводится слово божие, чтобы прикрыть глупые мысли. Еще удивительнее, что Вальтер Скотту не удалось даже проявить свой врожденный талант в обрисовке образов и очертить Наполеона с внешней стороны. Вальтер Скотту ничего не дали прекрасные картины, изображающие императора в кругу его генералов и государственных деятелей, а между тем на каждого непредубежденного зрителя должны произвести глубокое впечатление трагическое спокойствие и античная соразмерность этих черт лица, столь жутко и возвышенно контрастирующих с современными, беспокойными, живописно-будничными лицами, и открывающих нам нечто с высоты сошедшее, божественное. Но если шотландский поэт оказался не в силах постичь облик императора, то еще меньше постиг он его характер, и я охотно прощаю ему поношение бога, которого он не познал. Я также вынужден простить ему то, что своего Веллингтона он считает богом, и при апофеозе его впадает в такое благоговение, что не знает, с кем его сравнить, — и это он, столь сильный в изображении скотов!

Но если я снисходителен к Вальтер Скотту и прощаю ему бессодержательность, ошибки, кощунства и глупости его книги, прощаю ему даже скуку, которую я вытерпел, то я никогда не могу простить ему его тенденциозность. Заключается она не более не менее как в оправдании

английского правительства по поводу преступления, совершенного на острове св. Елены. «В этой тяжбе между английским правительством и общественным мнением, — как выражается берлинский рецензент, — Вальтер Скотт выступает адвокатом»; чтобы исказить обстоятельства дела и историю, он подкрепляет свой поэтический талант адвокатскими приемами, и клиенты его, являющиеся вместе с тем его патронами, должны бы, помимо гонорара, сунуть ему в руку еще и «на чай».

Англичане только убили императора, а Вальтер Скотт его продал. Это чисто шотландская штучка, истинно шотландская национальная штучка, и по ней видно, что шотландская алчность остается все тою же старой, грязной алчностью и не особенно изменилась со времени Нейзби, когда шотландцы продали английским палачам за сумму в четыреста тысяч фунтов стерлингов своего собственного короля, доверившегося их защите. Этот король — тот самый Карл Стюарт, которого так великолепно воспевают теперь каледонские барды, — англичанин убивает, а шотландец продает и воспевает.

Английское правительство, в указанных выше целях, открыло своему адвокату архив foreign office,¹ и он в девятом томе своего произведения добросовестно использовал документы, которые могут пролить благоприятный свет на его партию и бросить невыгодную тень на ее противников. Вот почему этот девятый том, при всей своей эстетической ничтожности, в отношении которой он ничуть не уступает предыдущим томам, представляет все-таки известный интерес; ждешь важных документов, а так как их не находится, то это доказывает, что и не было таких документов, которые говорили бы в пользу английских министров, и это отрицательное содержание книги, конечно, является важным.

Все, что только доставил английский архив, ограничивается несколькими достоверными сообщениями благородного сэра Гудсона Лоу и его мирмидонцев и несколькими заявлениями генерала Гурго, который, если эти заявления действительно исходят от него, заслуживает не больше доверия, как бесстыдный предатель своего царственного повелителя и благодетеля. Я не стану под-

¹ Министерства иностранных дел (англ.).

вергать обследованию самый факт этих заявлений; они даже представляются подлинными, ибо то же подтверждает и барон Штюрмер, один из трех статистов великой трагедии; но я не вижу, что доказывает самый факт, кроме того, в лучшем случае, что сэр Гудсон Лоу не был единственным негодяем на Святой Елене. При помощи таких средств, путем жалких намеков Вальтер Скотт обрабатывает историю наполеоновского плена и старается доказать нам, что экс-император — так называет его экс-писатель — не мог сделать ничего разумнее, как отдаться англичанам, хотя и должен был знать заранее о предстоящей ссылке на Святую Елену, что с ним обращались совершенно обворожительно, предоставляя ему волюю пить и есть, и что он, свежий и здоровый, как добрый христианин, умер, наконец, от рака желудка.

Вальтер Скотт, приписывая таким образом императору предвидение того, как далеко зайдет благородство англичан, а именно — вплоть до острова св. Елены, освобождает его от обычного упрека, будто бы трагическое величие его несчастья столь сильно захватило его, что он начал видеть в цивилизованных англичанах персидских варваров, а в сент-джемской бифштексной кухне — очаг великого царя, — и совершил героическую глупость. Заодно Вальтер Скотт превращает императора в величайшего писателя, какой когда-либо жил на земле; он вполне серьезно намекает, будто все эти мемуарные сочинения, сообщающие о его страданиях на Святой Елене, продиктованы им самим.

Не могу не заметить здесь, что эта часть вальтерскоттовской книги, как и вообще те сочинения, о которых он пишет, в особенности же мемуары О'Мира и повествование капитана Мейтленда, напоминают мне иной раз потешнейшую в мире историю, и тогда самое болезненное негодование души моей готово внезапно перейти в здоровый смех. История эта — не что иное, как «Приключения Лэмюеля Гулливера», книга, которая в детстве меня так смешила и где презабавно рассказано, как маленькие лилипуты не знают, что им сделать с великаном-пленником, как они тысячами ползают вокруг него и связывают его бесчисленными тоненькими волосками, как они с большими усилиями сооружают для него большой дом, как жалуются, что должны ежедневно доставлять ему огром-

ное количество продовольствия, как чернят его в государственном совете и непрерывно скорбят, что он слишком дорого обходится стране, как они были бы рады убить его, но боятся его даже мертвого, ибо труп его может распространить заразу, и как, наконец, они решаются на самое достославное великодушие — оставляют ему титул и собираются только выколоть ему глаза, и пр. Поистине, всюду, где великий человек попадает в среду маленьких человечков, дает себя знать лилипут, неустанно, самым мелочным образом его мучащий и в свою очередь переносящий от него достаточно мук и горя; но если бы декан Свифт написал свою книгу в наше время, то в ее гладко отшлифованном зеркале увидели бы только историю наполеоновского плена и узнали бы, вплоть до цвета одежды и лица, тех карликов, которые его мучили.

Но конец сказки о Святой Елене — другой: император умирает от рака желудка, и Вальтер Скотт уверяет нас, что это — единственная причина его смерти. В этом я тоже не стану ему противоречить. Тут нет ничего невозможного. Может статься, что человек, привязанный к дыбе, умрет вдруг совершенно естественным образом от апоплексии. Но злые люди скажут: палачи его замучили. Злые люди вообще порешили смотреть на дело иначе, нежели добрый Вальтер Скотт. Если этот добрый человек, вообще столь твердый в священном писании и охотно приводящий тексты из евангелия, ничего другого не видит в том возмущении стихий, в том урагане, который разразился в час смерти Наполеона, как только случайное явление, сопровождавшее и смерть Кромвеля, то другие люди все-таки думают об этом по-своему. Они смотрят на смерть Наполеона как на возмутительное злодеяние; прорвавшееся чувство скорби переходит у них в преклонение, и напрасно Вальтер Скотт берет на себя роль «адвоката дьявола» — имя мертвого императора свято для всех благородных сердец; все благородные сердца европейского отечества презирают ничтожных его палачей и великого барда, допевшегося до того, что он стал их сообщником; музы вдохновят лучших певцов на прославление своего любимца, и если люди когда-нибудь онемеют, то камни заговорят, и скала мученичества, скала св. Елены грозно выступит из волн морских, чтобы поведать тысячеклетьям его потрясающую историю.

V
ОЛД БЭЙЛИ

Уже самое имя Олд Бэйли наполняет душу ужасом. Тотчас представляешь себе большое, черное, угрюмое здание, дворец нищеты и преступления. Левое крыло, образующее собственно Ньюгэт, служит уголовной тюрьмой, и тут видна только высокая стена, сложенная из почерневших от времени плит, и в ней два углубления с такими же почерневшими аллегорическими фигурами; если не ошибаюсь, одна из них представляет Справедливость, причем, как водится, рука с весами отломлена, и осталась только слепая женщина с мечом. Приблизительно посередине здания находится алтарь этой богини, именно — окно, в котором ставят виселицу, и наконец справа — помещение уголовного суда, где происходит четыре раза в год сессии. Тут же ворота, на которых, как на вратах дантовского ада, должна бы быть надпись:

Per me si va nella cittá dolente,
Per me si va nell' eterno dolore,
Per me si va tra la perdute gente. ¹

Через эти ворота попадаешь в небольшой двор, где собираются подонки черни, чтобы взглянуть, как ведут преступников; здесь же стоят их друзья и враги, родственники, дети-нищие, слабоумные, преимущественно же — старухи, обсуждающие очередное дело, может быть, более толково, чем судьи и присяжные, при всей их смешной торжественности и скучной юриспруденции. Ведь я же видел снаружи, перед дверьми суда, старуху, которая в кругу своих кумушек защищала черного Вильяма лучше, чем это делал там внутри, в зале, его многоученный адвокат, и когда она своим порванным передником смахнула последнюю слезу с покрасневших глаз, казалось, что вся вина с Вильяма уже снята.

В самом зале суда, не особенно просторном, внизу, перед так называемым «баром» (решеткой) мало места для публики; зато наверху, с обеих сторон, устроены

¹ Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу туда, где вечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.

(Данте, «Божественная комедия», «Ад», III, 1—3, пер. М. Лозинского)

очень поместительные галереи с высокими скамьями, где зрители теснятся рядами друг за другом.

Зайдя в Олд Бэйли, я нашел себе место на такой галерее — старая привратница отворила мне ее за мзду в один шиллинг. Я вошел в тот миг, когда присяжные поднялись с мест, чтобы решить, виновен черный Вильям в преступлении или не виновен.

И здесь, как в других лондонских судах, судьи заседают в темно-синих тогах со светло-фиолетовой подкладкой, а на головах у них белые напудренные парики, составляющие часто презабавный контраст с черными бровями и черными бакенбардами. Они сидят за длинным зеленым столом на высоких стульях, в верхнем конце зала, где золотыми буквами выбит на стене текст из библии, предостерегающий от несправедливого суда. По сторонам — скамьи для присяжных и места, где стоят истцы и свидетели. Прямо напротив судей отведено место для подсудимых; они не сидят на особых скамеечках для преступников, как в гласных судах Франции и Рейнской области, а стоят, вытянувшись во весь рост, за странной перегородкой, над которой устроено нечто вроде узкой арки. Там, говорят, помещается особенное зеркало, при помощи которого судья может пристально следить за выражением лица подсудимого. Кроме того, здесь же разложены какие-то зеленые травы для укрепления нервов — это полезно при случае, когда дело идет о жизни и смерти. И на столе у судей я увидел такие же зеленые травы и даже одну розу. Не знаю почему, но вид этой розы глубоко взволновал меня. Красная цветущая роза, цветок любви и весны, лежала на ужасном судейском столе Олд Бэйли. В зале было так гнетуще душно. Все имело такой зловеще угрюмый, такой безумно серьезный вид. Похоже было, что у людей по тупым лицам ползают серые пауки. Внятно дребезжали железные чаши весов над головою несчастного черного Вильяма.

И на галерее составил суд присяжных. Толстая дама, на красном вздутом лице у которой, как светлячки, блестели маленькие глазки, заметила, что черный Вильям очень красивый парень. Но ее соседка, нежная пискливая душа в телесной оболочке из скверной почтовой бумаги, утверждала, что у него чересчур длинные и вкоченные волосы и глаза блестят, как у господина Кина

в «Отелло», — «а вот, — продолжала она, — Томсон совсем другой человек, блондин и гладко причесан по моде, и человек очень толковый, немножко играет на флейте, немножко рисует, немножко говорит по-французски». — «И ворует немножко», — прибавила толстая дама. «Э, что значит ворует! — возразила тощая соседка, — ведь это же не такое варварство, как подлог; ведь вора, если он украл овцу, отправляют в Ботани-Бей, а злодея, подделавшего чужую подпись, вешают без сожаления и пощады». — «Без сожаления и пощады! — вздохнул рядом со мной худошавый человек в потрепанном черном сюртуке. — Вешать! Никто не имеет права отнимать у другого жизнь; менее всего подобает христианам выносить смертные приговоры — им следует помнить, что сам основатель их веры, наш господь и спаситель, был безвинно осужден и казнен!» — «Э, что там говорить! — воскликнула опять тощая дама и улыбнулась своими тонкими губами. — Если бы не вешали таких подделывателей, ни один богатый человек не был бы спокоен за свое состояние, например толстый еврей с Ломбард-стрита, Сент-Суинсинс-Лэна или наш друг господин Скотт, которого подпись подделали так искусно. А ведь господин Скотт с таким трудом сколотил состояние, и говорят даже, будто он ради этого принимал на себя за деньги чужие болезни; дети и теперь бегают за ним по улицам и кричат: «Я дам тебе шесть пенсов, если ты возьмешь у меня зубную боль, мы дадим тебе шиллинг, если ты согласишься взять на себя горб Готфрида». — «Забавно, — перебила ее толстая дама, — забавно ведь, что черный Вильям и Томсон были прежде лучшими друзьями и жили, ели и пили вместе; а теперь Эдуард Томсон обвиняет своего старого друга в подлоге! Но почему здесь нет сестры Томсона? Ведь, бывало, она всюду бегала за своим ненаглядным Вильямом». Молодая красивая женщина, на нежном лице которой темнела грусть, как черный покров над цветущим розовым кустом, начала шептать только, что ее подругу, красавицу Мэри, жестоко побил брат, и она, еле живая, лежит в постели. «Не называйте ее только красавицей Мэри, — недовольно проворчала толстая дама, — слишком уж, слишком она худошавая, чтобы называть ее красавицей, а если ее Вильяма повесят...»

В эту минуту появились присяжные и объявили, что подсудимый виновен в подлоге. Когда вслед за тем черного Вильяма вывели из зала, он бросил долгий взгляд на Эдуарда Томсона.

Как рассказывает одна восточная легенда, сатана был когда-то ангелом и пребывал на небесах с другими ангелами до тех пор, пока не стал склонять их к измене и не был поэтому низвергнут божеством в вечный мрак преисподней. Но, падая с неба, он все еще смотрел вверх, на ангела, который обвинил его; чем глубже он падал, тем ужаснее, все ужаснее становился его взгляд. И, должно быть, недобрый это был взгляд; ангел, который встретил этот взгляд, побледнел, и никогда уже краска не возвращалась на его щеки; с тех пор он зовется ангелом смерти.

Бледен, как ангел смерти, стоял Эдуард Томсон.

VI

НОВЫЙ КАБИНЕТ

В Бедламе прошлым летом я познакомился с философом, который с таинственным видом поведал мне шепотом много важного и нового о происхождении зла. Подобно некоторым другим своим товарищам, он тоже полагал, что тут надо стать на историческую точку зрения. Что до меня, то я также склонялся к этому мнению и объяснял возникновение зла в мире тем обстоятельством, что господь бог сотворил слишком мало денег.

— Хорошо тебе говорить, — ответил философ, — у господа бога было пустовато в кассе, когда он создал мир. Он принужден был занять денег у черта под залог всей вселенной. И вот, так как господь бог и по божеским и по человеческим законам остается еще должником черта, то из деликатности он не может ему препятствовать слоняться в мире и насаждать смуту и зло. Но черт тоже опять-таки очень заинтересован в том, чтобы мир не совсем погиб, так как в этом случае он лишится залога; поэтому он и остерегается перехватывать через край, а господь бог, который тоже не глуп и хорошо понимает, что в корысти черта для него заключается тайная гаран-

тия, часто доходит до того, что передает ему все управление миром, то есть поручает черту составить правительство. Тогда получается то, что само собою понятно. Саммиэль принимает командование адским воинством, Вельзевул становится канцлером, Вицлипуцли — государственным секретарем, старая бабушка получает колонии и т. д. Эти союзники начинают тогда хозяйничать по-своему, и так как, несмотря на свою злую волю они, ради собственной выгоды, вынуждены заботиться о благе мира, то они вознаграждают себя за это принуждение тем, что для достижения добрых целей постоянно применяют самые гнусные средства. Недавно они довели дело до того, что господь в небесах не захотел взирать на эти ужасы и поручил одному доброму ангелу составить новый кабинет. Ангел собрал вокруг себя всех добрых духов. В мире снова стало радостно и тепло, воссиял свет, и злые духи рассеялись. Но они не убрали своих когтей; втайне они действуют против всего доброго, отравляют новые целебные источники, злобно обрывают розовые бутоны новой весны, разрушают своими поправками дерево жизни; хаос и гибель грозят поглотить все, и господу богу в конце концов придется опять вручить власть над миром черту, чтобы по крайней мере сохранить вселенную, хотя бы при помощи самых скверных средств. Видишь, каковы дурные последствия долгов.

Эти слова моего друга из Бедлама объяснят, может быть, нынешнюю смену английского кабинета. Друзья Каннинга должны пасть; их я считаю добрыми духами Англии, ибо их противники — ее злые демоны; теперь они, во главе с глупым чертом Веллингтоном, поднимают победный вой. Пусть не попрекают несчастного Джорджа, ему пришлось покориться обстоятельствам. Нельзя отрицать, что по смерти Каннинга виги не оказались в состоянии поддержать спокойствие в Англии, так как меры, принимавшиеся ими в этих целях, постоянно парализовались тори. Король, которому кажется самым важным сохранить общественное спокойствие, то есть безопасность своей короны, вынужден был вновь передать тори управление государством. И — увы! — они опять, как прежде, будут направлять все плоды народного труда в свои мешки. Они, эти властвующие хлебные ростовщики, вновь станут вздувать цены на зерно. Джон Булль

отощает с голоду, ради куска хлеба он сам закрепостит себя высоким господам, они впрягут его в плуг и станут стегать его, и он не посмеет даже ворчать — с одного боку грозит ему мечом Веллингтон, а с другого хлопает его библией по голове архиепископ Кентерберийский — и в стране воцарится спокойствие.

Источник этого зла заключается в долге, *the national debt*,¹ или, как выражается Коббет, *the king's debt*.² Коббет совершенно справедливо замечает, что в то время как всем установлениям присваивается имя короля, например, *the king's army*, *the king's navy*, *the king's courts*, *the king's prison*³ и пр., долг, выросший на почве этих установлений, никогда не называется *the king's debt*, и это единственный случай, когда нации делают честь назвать что-нибудь ее именем.

Долг — величайшее из зол. Правда, он содействует поддержанию английского государства, которое даже худшие из его демонов не могут привести к гибели; но он является также причиной того, что вся Англия стала огромной ножной мельницей, где народ работает день и ночь, чтобы накормить своих кредиторов, что Англия, в сплошных заботах о платежах, старится и седеет и теряет юношескую жизнерадостность, что Англия, как бывает с людьми, сильно запутавшимися в долгах, с тупым отчаянием покорилась судьбе и не знает, как выйти из положения, хотя в Лондоне, в Тоуэре, хранится девятьсот тысяч ружей и столько же сабель и штыков.

VII ДОЛГ

Когда я был еще очень молод, три вещи особенно меня занимали при чтении газет. Прежде всего, под заголовком «Великобритания» я тотчас же принимался искать, не внес ли Ричард Мартин в парламент новой петиции о более мягком обращении с несчастными лошадьми, соба-

¹ Национальном долге (*англ.*).

² Королевском долге (*англ.*).

³ Королевская армия, королевский флот, королевские суды, королевская тюрьма (*англ.*).

ками и ослами. Затем, под заголовком «Франкфурт» я искал, не вступается ли опять доктор Шрейбер перед союзным сеймом за права покупателей великогерцогских гессенских поместий. А затем я сразу же набрасывался на Турцию и прочитывал длинную статью о Константинополе, чтобы только посмотреть, не удостоился ли опять какой-нибудь великий визирь шелкового шнура.

Последнее давало мне всегда больше всего пищи для размышлений. То, что деспот без всяких разговоров велит задушить своего слугу, я находил совершенно естественным. Я же видел однажды в зверинце, как царь зверей впал в столь величественный гнев, что, конечно, разорвал бы немало невинных зрителей, если бы не был скован прочной конституцией, изготовленной из железных прутьев. Но что меня всегда удивляло, так это то обстоятельство, что, по удушении прежнего великого визиря, всегда находились новые охотники стать великим визирем.

Теперь, когда я стал несколько старше и занимаюсь больше англичанами, чем их друзьями турками, меня охватывает такое же изумление, когда я вижу, как после отставки одного английского премьер-министра немедленно же его место стремится занять другой, и этот другой — всегда такой человек, который мог бы прожить и без этой должности, и, кроме того (за исключением Веллингтона), отнюдь не глуп. Ведь все английские министры, занимающие этот пост дольше, чем полгода, кончают еще ужаснее, чем если бы им накинули шелковый шнурок. В особенности это имеет место после французской революции; на Даунинг-стрите прибавилось заботы и горя, и бремя дел стало почти невыносимым.

Когда-то дела в мире шли проще, и глубокомысленные поэты сравнивали государство с кораблем, а министра — с его кормчим. Теперь все сложнее и запутаннее: обыкновенный государственный корабль стал пароходом, и министру приходится не просто управлять рулем — нет, он, как ответственный механик, стоит среди огромных машин, боязливо следит за каждым стальным винтиком, каждым колесиком, чтобы не произошло заминки, день и ночь смотрит в пылающую топку и потеет от жары и заботы — ибо ничтожное упущение с его стороны может вызвать взрыв большого котла и тем самым гибель корабля с экипажем. Капитан и пассажиры спокойно про-

гуливаются по палубе, спокойно развевается флаг на мачте, и тот, кто видит, как спокойно плывет судно, не подозревает, какой опасный механизм и сколько заботы и тревоги скрыто в его брюхе.

Преждевременной смертью погибают эти бедные ответственные механики английского государственного корабля. Трогательна ранняя смерть великого Питта, еще трогательнее смерть еще более великого Фокса. Персиваль умер бы тоже от обычной министерской болезни, если бы удар кинжала не покончил с ним еще скорее. Эта же министерская болезнь довела лорда Каслри до такого отчаяния, что он перерезал себе горло в Норт-Крее, в графстве Кент. Лорд Ливерпуль погиб таким же образом — смертью безумия. Мы видели, как Каннинг, богоравный Каннинг, отравленный высокоторийской клеветой, пал, точно изнемогающий под мировым своим бременем Атлант. Их хоронят в Вестминстере, одного за другим, — этих бедных министров, вынужденных день и ночь думать за английских королей, которые тем временем, ни о чем не думая и толстая, доживают до глубочайшей старости.

Как называется, однако, та великая забота, которая день и ночь копошится в мозгу английских министров и убивает их? Она называется: *the debt* — долг.

Правда, долги, наряду с любовью к отечеству, религиозностью, честью и т. д., принадлежат к преимуществам людей — у животных ведь нет долгов, — но вместе с тем они преимущественно и являются мукой для человечества и, губя отдельных лиц, губят и целые поколения; они, кажется, заменяют древний рок в национальных трагедиях нашего времени. Англии не уйти от этого рока; ее министры видят, как надвигается бедствие, и умирают с отчаянием бессилия.

Будь я королевским прусским главным землемером или членом инженерного корпуса, я, как человек привычный, вычислил бы всю сумму английского долга в зильбергрошах и точно бы рассчитал, сколько раз можно покрыть ими длинную Фридрихштрассе, а то и весь земной шар. Но я никогда не был силен в арифметике, и уж лучше предоставлю какому-нибудь англичанину жуткую задачу — сосчитать его долг и определить размер бедствий, вытекающих отсюда для министров. Для этой роли более всего подходит старик Коббет, и из последнего номера

его «Регистра» я заимствую нижеследующие разъяснения.

«Положение дел таково:

1. Это правительство, или, скорее, аристократия и церковь, или же, если хотите, это правительство запыло крупную сумму денег, на которую оно купило много побед как сухопутных, так и морских, — множество побед всякого сорта и всякого калибра.

2. В то же время я должен отметить сначала, по какому поводу и с какими целями куплены эти победы: поводом (occasion) была французская революция, уничтожившая все *привилегии аристократии и десятинную подать духовенству*; а целью было предупредить в Англии такую парламентскую реформу, которая, вероятно, повлекла бы за собой подобное же уничтожение всех привилегий аристократии и десятинных податей духовенству.

3. Итак, чтобы предупредить возможность подражания со стороны англичан примеру французов, необходимо было напасть на французов, помешать их успехам, поставить под угрозу только что добытую ими свободу, вызвать их на отчаянные шаги и, наконец, представить революцию таким страшилищем, таким пугалом для народов, чтобы под словом «свобода» стали понимать нагромождение всяческих гнусностей, ужасов и крови, а английский народ, охваченный страхом, доведен был бы до того, что совсем влюбился бы в тот зверский деспотический режим, который процветал когда-то во Франции и к которому всегда — со времени Альфреда Великого и вплоть до Георга Третьего — с отвращением относился всякий англичанин.

4. Для выполнения указанных намерений требовалась помощь различных других наций; эти нации были субсидированы (subsidized) английскими деньгами; французские эмигранты содержались на английские деньги, короче — в течение двадцати двух лет велась война с целью подавить народ, восставший против *привилегий аристократии и десятинной подати духовенству*.

5. Наше правительство одержало, таким образом, «бесчисленные победы» над французами, неизменно, по видимому, терпевшими поражения, но эти наши бесчисленные победы были *куплены*, то есть добыты наемниками, нанятыми для этой цели за деньги, и на нашем жалованье

находились в одно и то же время целые толпы французов, голландцев, швейцарцев, итальянцев, русских, австрийцев, баварцев, гессенцев, ганноверцев, пруссаков, испанцев, португальцев, неаполитанцев, мальтийцев и бог знает сколько еще других народов.

6. Путем такого найма чужих сил и с помощью нашего собственного флота и сухопутных войск мы и *купили* столько побед над французами, а они, бедняги, не располагали таким количеством денег, чтобы действовать подобно нам; в конце концов мы взяли верх над революцией, восстановили до известной степени их аристократию, но никакими силами не могли восстановить десятинной подати духовенству.

7. После того, как мы благополучно выполнили эту задачу и устранили возможность всякой парламентской реформы в Англии, наше правительство подняло неистовый победный рев, причем немало надрывало свои легкие, встретив посильную поддержку со стороны всех тех тварей, которые так или иначе живут за счет налогов в нашей стране.

8. Почти два года длилось безудержное ликование этой счастливой в то время нации; в ознаменование победы наперерыв воздвигались триумфальные арки, устраивались празднества, народные игры, потешные состязания и тому подобные увеселения, стоившие более четверти миллиона фунтов стерлингов, и палата общин единогласно ассигновала огромную сумму (кажется, три миллиона фунтов стерлингов) на триумфальные арки,obelisks и прочие памятники в целях увековечения *славных военных событий*.

9. С того времени мы имели счастье непрерывно жить под властью тех особ, которые руководили нашими делами в указанной славной войне.

10. С того времени мы жили непрерывно в глубоком мире со всей вселенной; можно полагать, что и в настоящее время мир не нарушается, если не считать маленького антракта — нашей схватки с турками, и потому, казалось бы, нет на свете причины, которая помешала бы нам теперь быть счастливыми: в стране мир, земля наша приносит обильные плоды, и, как утверждают мудрецы и законодатели нашего времени, мы самая просвещенная нация на земле. Действительно, у нас всюду школы,

чтобы обучать подрастающее поколение, у нас не только по одному ректору, викарию или попечителю в каждом церковном округе королевства, но в каждом из этих церковных округов у нас, может быть, еще по шести учителей закона божия, причем каждый совсем иного сорта, чем его четверо коллег, так что страна паша вполне обеспечена всякого рода обучением; никто в этой счастливой стране не обречен жить в невежестве, и мы поэтому тем более изумляемся, когда человек, предназначенный на должность премьер-министра в этой счастливой стране, смотрит на свой пост как на трудное и тяжелое бремя.

11. Ах, у нас единственное несчастье, и это поистине несчастье: мы купили несколько побед, они были великолепны, это была выгодная сделка — они стоили втрое, вчетверо больше, чем мы за них дали, как говорил обычно миссис Тизл своему мужу, возвращаясь домой с рынка, — был большой спрос на победы, большая была в них нужда, короче, мы не могли сделать ничего разумнее, чем столь дешево добыть себе такую огромную порцию славы.

12. Но, признаюсь с огорчением в душе, мы, подобно некоторым другим людям, *заняли* денег, чтобы купить те победы, в которых тогда нуждались и от которых теперь никоим образом не могли бы освободиться, так же, как не может освободиться от жены муж, имевший когда-то счастье взвалить на себя сладостное бремя.

13. Потому-то и выходит так, что каждый министр, принимающийся за наши дела, должен заботиться и об оплате наших побед, за которые, собственно, не уплачено еще ни одного пенса.

14. Ему, конечно, не приходится заботиться о том, чтобы уплатить сразу все деньги, занятые нами на покупку побед, — и капитал и проценты; но о регулярной выплате *процентов* он должен, к сожалению, заботиться совершенно определенно, а эти проценты вместе с содержанием армии и другими расходами, вызванными нашими победами, составляют столь значительную сумму, что человеку, берущему на себя такое дельце — заботу о выплате этих сумм, — нужно иметь сильные нервы.

15. Прежде, пока мы еще не задавались целью накопить столько побед и щедро обеспечить себя славою, на нас уже лежал долг больше, чем в *двести миллионов*, а между тем весь расход на бедных в Англии и Уэльсе

не превышал *двух миллионов* в год, и мы вовсе не знали того бремени, которое, под названием *dead weight*,¹ взвалено на нас и вытекает всецело из нашей жажды славы.

16. Кроме этих денег, *занятых* нами у кредиторов, которые дали их добровольно, правительство наше в жажде *побед* сделало крупный косвенный заем у *бедных*, то есть увеличило обыкновенные налоги до такого размера, что бедные оказались в положении более угнетенном, чем когда бы то ни было, а число бедных и размер расхода на них поразительно повысились.

17. Расход на бедных повысился с ежегодных *двух миллионов до восьми миллионов*; у бедных в руках как бы закладная, ипотека на страну, и получается, таким образом, новый долг в *шесть миллионов*, который следует прибавить к другим долгам, вызванным нашей страстью к славе и покупкой *наших побед*.

18. The *dead weight* состоит из пожизненных рент, которые мы, под названием пенсий, уплачиваем множеству мужчин, женщин и детей в качестве вознаграждения за услуги, оказанные или якобы оказанные этими мужчинами при одержании наших побед.

19. Сумма долга, образовавшегося при этом правительстве ради достижения побед, определяется приблизительно следующими цифрами:

	Фунты стерлингов
Прибавилось к национальному долгу	800 000 000
Прибавилось к долгу бедным	150 000 000
Dead weight, как капитализированный долг	175 000 000
	фунт. стерл. 1. 125 000 000

то есть *один миллиард сто двадцать пять миллионов* составляют тот капитал, на который, считая по пяти процентов, уплачивается пятьдесят шесть миллионов в год. Да, таков приблизительно нынешний долг; только долг бедным не выводится в счетах, представляемых парламенту, так как страна непосредственно уплачивает его в различных церковных приходах. Поэтому, если вычесть эти шесть миллионов из пятидесяти шести, то выйдет,

¹ Груз, который не принимается в расчет (буквально — мертвый груз) (*англ.*).

что государственный долг и dead weight поглощают все остальное.

20. Между тем, деньги для бедных — такой же долг, как и долг кредиторам государства, возникший, очевидно, из того же источника. Ужасающее бремя налогов подавляет бедных; правда, оно подавляет и всякого другого, но все, кроме бедных, более или менее сумели стряхнуть со своих плеч это бремя, и оно упало, наконец, всей своей тяжестью на бедных; они лишились своих бочек пива, медных котлов, оловянных тарелок, стенных часов, постелей, всего, вплоть до инструментов своего ремесла, лишились своих платьев и должны были одеться в лохмотья, лишились мяса со своих костей... Дальше нельзя было идти по этому пути, и из того, что у них было взято, им возвратили кое-что под названием увеличенного пособия бедным. Это пособие является, таким образом, *настоящим долгом*, действительным залоговым правом на страну. Уплату процентов по этому долгу можно было бы, правда, задержать, но лица, которым эти проценты причитаются, явились бы тогда всей массой и заставили бы заплатить всю сумму, безразлично какою монетой. Таким образом, это — *настоящий долг*, и долг, который будет уплачен до последнего пенса, и притом, я подчеркиваю, будет уплачен предпочтительно перед всеми другими долгами.

21. Не следует, тем самым, слишком удивляться, видя, как озабочены люди, берущиеся за подобные занятия. Удивительно, что вообще находятся люди, соглашающиеся на это, когда им не предоставляется по своему усмотрению произвести радикальное переустройство всей системы.

22. В данном случае нет никакой возможности помочь делу, пытаясь понизить размер ежегодных платежей по долгу кредиторам государства и по долгу dead weight; чтобы получить от страны согласие на такое понижение размера долга, на такое его умаление, чтобы предупредить возможность последующих переворотов, чтобы не дать из-за этого полумиллиону населения в Лондоне и его окрестностях умереть с голоду, нужно решиться сначала на понижение в *чем-либо другом*, в большем соответствии с обстоятельствами, *прежде* чем произвести такие понижения по двум вышеуказанным видам долга или процентам по ним.

23. Как мы уже видели, *победы* были куплены с целью предотвратить парламентскую реформу в Англии и сохранить привилегии аристократии и десятинную подать духовенству; было бы поэтому вопиющим к небу преступлением, если бы мы отказали в законных процентах людям, давшим нам деньги взаймы, или, тем более, отказали в платеже людям, предоставившим нам за плату свои руки для одержания побед; это было бы злодеянием, которое навлекло бы на нас кары небесные — если бы мы поступили так и в то же время оставили в неприкосновенности прибыльные почетные должности аристократов, их пенсии, синекуры, королевские пожалования, награды военным и, наконец, даже десятинную подать клиру.

24. *В этом, в этом*, стало быть, трудность: кто становится министром, тот становится министром страны, воспылавшей великой страстью к *победам*, в достаточной степени себя ими обеспечившей и добывшей себе неслыханную военную славу, но — увы! — не заплатившей еще за все это великолепие и предоставляющей теперь министру погасить счет, причем он не знает, где взять денег».

Вот вещи, способные вогнать министра в могилу или по крайней мере свести его с ума. У Англии больше долгов, чем она может заплатить. Пусть не хвалятся тем, что она владеет Индией и богатыми колониями. Как выяснилось во время последних парламентских прений, английское государство не получает ни гроша дохода от этой большой, этой неизмеримой Индии; более того — она вынуждена приплачивать еще несколько миллионов. Эта страна приносит пользу Англии лишь в том отношении, что отдельные британцы, разбогатевшие там, действуют своими сокровищами промышленности и денежным оборотам родины, а тысячи других добывают себе средства к жизни через Индийскую компанию. Колонии также не приносят государству никаких доходов, требуют дополнительных ассигнований и служат развитию торговли, обогащению аристократии, отпрыски которой посылаются туда в качестве губернаторов и чиновников. Национальный долг падает поэтому единственно на Великобританию и Ирландию. Но и тут ресурсы не таковы, чтобы покрыть долг. Предоставим и здесь слово Коббету.

«Есть люди, которые, желая указать некоторый выход, говорят о *ресурсах страны*. Это ученики покойного Колхуна, занимавшегося ловлей воров и написавшего книгу, в которой он доказывает, что наш долг ни в малейшей степени не должен беспокоить нас — слишком уж он *мал* в сравнении с ресурсами нации, а для того, чтобы его умные читатели получили известное представление о неограниченности этих ресурсов, он произвел оценку всему, что есть в стране, вплоть до *кроликов*, и, кажется, сожалел, что нельзя было сосчитать заодно крыс и мышей. Он подсчитал стоимость лошадей, коров, овец, поросят, домашней птицы, дичи, кроликов, рыб, стоимость домашней утвари, платьев, топлива, сахара, пряностей, короче — стоимость всего в стране; затем, подведя итоги всему и прибавив стоимость земли, деревьев, домов, рудников, доход от травы и зерна, свекловицу и лен, и получив сумму бог весть во сколько тысяч миллионов, он ухмыляется хитро и хвастливо, на шотландский манер, вроде индюка, и с язвительной усмешкой спрашивает таких, как я: при подобных ресурсах вы еще боитесь *национального банкротства*?

Человек этот не сообразил, что дома нужны для того, чтобы *жить в них*, земля для того, чтобы доставлять корм, платья, чтобы прикрывать ими свою наготу, коровы, чтобы получать молоко для утоления жажды, рогатый скот, овцы, свиньи, домашняя птица и кролики, чтобы есть их. Да, черт побери этого нелепого шотландца! Эти вещи существуют не для того, чтобы *продавать* их и платить потом национальные долги. В самом деле, он даже поденную плату рабочих причислил к ресурсам нации. Этот чертовски глупый уловитель воров, которого его шотландские собратья произвели в доктора за то, что он написал такую отличную книгу, по-видимому, совершенно забыл о том, что поденная плата нужна самим рабочим, чтобы приобрести себе немножко *пищи и питья*. Он с таким же успехом мог бы оценить стоимость крови в наших жилах, как материал, из которого, во всяком случае, можно делать кровяные колбасы!»

Так говорит Коббет. Пока я здесь излагаю слова его на немецком языке, он сам опять живо встает в моей памяти, и я вновь, как в прошлом году, вижу его за оживлен-

ным обедом в таверне «Crown and Anchor»¹ с его негодующе-красным лицом и радикальной усмешкой, в которой ядовитейшая смертельная ненависть так жутко сливается с язвительной радостью — в предвидении неизбежной гибели врагов.

Пусть не упрекают меня, что я цитирую Коббета. Сколько бы ни обвиняли его в недобросовестности, сварливом характере и чрезмерной грубости, нельзя отрицать, что он обладает даром большой убедительности и что он очень часто бывает прав, а в приведенных только что словах — совершенно прав. Это цепная собака, которая яростно нападает сразу же на всякого, кого не знает, часто кусает за икры и лучшего друга дома, всегда лает и именно в силу этого непрерывного лая не удаляется внимания даже и тогда, когда встречается лаем настоящего вора. Поэтому-то знатные воры, грабящие Англию, не считают даже нужным бросить корку рычащему Коббету и заткнуть ему таким образом пасть. Это обстоятельство более всего гложет пса, и он скрежещет голодными зубами.

Старый Коббет! Пес Англии! Я не люблю тебя, ибо мне противно все грубое, но мне жаль тебя до глубины души, когда я вижу, как ты не можешь сорваться с цепи и схватить воров, которые на твоих глазах со смехом тащат добычу и глумятся над твоими напрасными прыжками и над твоим бессильным воем.

VIII ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ

Один из моих друзей очень метко сравнил парламентскую оппозицию с оппозиционной каретой. Известно, что это дилижанс для публики, который на свой счет пускает какая-нибудь спекулирующая компания и притом по таким баснословно низким ценам, что путешественники охотно отдают ему предпочтение перед другими имеющимися уже дилижансами. Эти последние принуждены в таком случае точно так же понизить свои цены,

¹ «Корона и якорь» (англ.).

чтобы сохранить за собой пассажиров, но новый оппозиционный дилижанс вновь берет над ними верх, или, вернее, снижается ниже их цен, пока из-за такой конкуренции они не разорятся и не будут, наконец вынуждены совершенно прекратить свои рейсы. Но как только оппозиционная карета оставила за собой поле сражения и оказалась единственной на своей линии, она поднимает цену, часто даже превышая тариф вытесненного конкурента; бедный путешественник ничего не выиграл, нередко даже проиграл; он платит и проклинает, пока новая оппозиционная карета не возобновит прежнюю игру, вызвав новые надежды и новые разочарования.

Каким высокомерием прониклись виги, когда стюартовская партия потерпела поражение, и на английский престол вступила протестантская династия! Тори составили тогда оппозицию, и Джон Бульль, несчастный государственный пассажир, имел основание зареветь от радости, когда они взяли верх. Но радость его была непродолжительна: с каждым годом ему приходилось платить все больше и больше за проезд; платить приходилось много, а возили его прескверно; к тому же и кучера стали очень грубы, началась сплошная тряска и толчки, всякий камень на повороте грозил крушением, и несчастный Джон возблагодарил бога, своего создателя, когда в недавнее время бразды государственной колесницы попали в более надежные руки.

К сожалению, радость и на этот раз была непродолжительна: новый оппозиционный кучер замертво свалился с козел, другой боязливо слез с них, когда лошади попесли, и старые возницы, старые наездники с золотыми шпорами, опять заняли старое место, и опять защелкал старый бич.

Я не намерен доводить этот образ до его предела и возвращаюсь к словам «виги» и «тори», которыми воспользовался выше для обозначения оппозиционных партий; некоторое пояснение к этим названиям и будет, может быть, тем более полезно, что они с давних пор служат лишь к затемнению понятий.

Подобно тому как в средние века названия гибеллинов и гвельфов, в силу новых событий и происходивших изменений, получили самый неопределенный и колеблющийся смысл, так впоследствии в Англии изменилось значение

слов «виги» и «тори», причем самое происхождение этих слов едва ли может быть выяснено. Некоторые утверждают, что сначала это были всего лишь насмешливые клички, превратившиеся в конце концов в почтенные названия партий, как это часто случается; так, например, союз гезов окрестил себя насмешливой кличкой *les geux*,¹ позднее якобинцы часто называли сами себя санкюлотами, а нынешние низкопоклонники и обскуранты сами, может быть, присвоят себе когда-нибудь эти названия как почетные и славные имена — сейчас они еще, правда, сделать этого не могут. Слово «whig» означало будто бы в Ирландии нечто неприятно-угрюмое и употреблялось там сначала для осмеяния пресвитериан и вообще новых сект. Слово «tory», появившееся тогда же в качестве названия партии, означало в Ирландии род жалких воришек. Обе клички вошли в обиход в эпоху Стюартов, во время распрей между сектами и господствующей церковью.

Привычное представление сводится к тому, что партия тори склоняется целиком на сторону трона и борется за преимущества короны, партия же вигов, наоборот, склоняется более на сторону народа и защищает его права. Однако такого рода определения расплывчаты, и ими пользуются главным образом в книгах. На эти наименования следует скорее смотреть как на названия группировок. Они обозначают людей, которые в известных спорных вопросах держатся вместе, предки и друзья которых уже держались вместе в подобных обстоятельствах и которые, во время политических бурь, обычно переносят сообща и радость, и горе, и вражду противной партии. О принципах нет вовсе и речи; единодушие существует не по поводу определенных идей, но по поводу определенных мероприятий в области государственного управления, по поводу отмены или сохранения определенных злоупотреблений, по поводу некоторых биллей, некоторых переходящих по наследству *questions*² — безотносительно к точке зрения, большей частью в силу привычки. Англичане не дают ввести себя в заблуждение наименованиями партии. Говоря о вигах, они не имеют в виду определенного понятия, в то время, как мы, например, говоря о

¹ Нищие (*франц.*).

² Вопросов (*англ.*).

либералах, тотчас же представляем себе людей, духовно объединенных сходством взглядов на некоторые права свободы. Англичане представляют себе при этом чисто внешний союз, состоящий из людей, каждый из которых, судя по его образу мыслей, мог бы сам по себе составить как бы отдельную партию и которые борются против партии тори, о чем уже упомянуто выше, только в силу внешних побудительных поводов, в силу случайных интересов и отношений дружественных или враждебных. В данном случае нам также не следует представлять себе дело так, будто борьба ведется против аристократов в том смысле, как мы ее понимаем, ибо эти тори в чувствах своих не более аристократичны, чем виги, и часто даже не аристократичнее самой буржуазии, которая почитает аристократию за нечто столь же неизменное, как солнце, луна и звезды, не только признает привилегии дворянства и духовенства полезными для государства, но считает их природной необходимостью и, может быть, стала бы бороться за эти привилегии с гораздо большим рвением, чем сами аристократы, ибо она тверже верует в них, нежели эти последние, потерявшие по большей части веру в самих себя. В этом отношении умы англичан все еще окутаны мраком средневековья; их еще не озарила священная идея всеобщего гражданского равенства людей, и того или иного государственного деятеля Англии, происходящего из буржуазии, а мыслящего как тори, нам ни в каком случае не следует называть низкопоклонником и причислять к тем хорошо известным раболепным псам, которые, имея возможность быть свободными, все же забрались в свои старые собачьи будки и лают теперь на солнце свободы.

Потому-то названия «тори» и «виги» совершенно бесполезны, когда дело идет о том, чтобы понять английскую оппозицию; прав был Френсис Бердетт, когда в начале сессии в прошлом году решительно заявил, что названия эти потеряли теперь всякий смысл; а Томас Лесбридж, которого творец мира и разума не наделил излишним остроумием, тем не менее сострил тогда чрезвычайно удачно — пожалуй, единственный раз в своей жизни — по поводу этого заявления Бердетта, а именно: «He has untoried the tories and unwigged the whigs». ¹

¹ Буквально — «он расторил тори и развигил вигов» (англ.).

Больше значения имеют названия reformers,¹ или radical reformers,² или просто radicals.³ Обычно эти названия считаются равнозначными, так как имеют в виду один и тот же государственный недуг, одинаковые способы его исцеления и различаются только более или менее яркой окраской. Недуг же заключается во всем известной дурной форме народного представительства, при которой так называемые boroughs, заглушенные, необитаемые местечки или, вернее сказать, олигархии, которым они принадлежат, обладают правом посылать в парламент народных представителей, в то время как большие населенные города, в частности многочисленные новые фабричные города, не имеют права выбрать хотя бы одного представителя; в исцелении от этого недуга и должна состоять так называемая парламентская реформа. В ней, правда, видят не цель, а лишь средство. Надеются, что народ таким путем добьется лучшего представительства своих интересов, устранения аристократических злоупотреблений и помощи в своих бедствиях. Понятно, что парламентская реформа, это справедливое и скромное требование, находит себе сторонников и среди умеренно настроенных людей, отнюдь не якобинцев; и если таких людей называют reformers, то слово это произносится совсем другим тоном, и от него бесконечно далеко до слова radical, в которое вкладывают особое выражение, когда его применяют к Ханту или Роббету, или вообще к пылким, яростным революционерам, кричащим о парламентской реформе для того, чтобы вызвать крушение всякого порядка, торжество корыстных интересов и полное господство черни. Поэтому оттенки в образе мыслей вожаков этой партии бесчисленны. Но, как сказано, англичане очень хорошо знают, с кем имеют дело, название не вводит в заблуждение публику, которая прекрасно понимает, где борьба является одной видимостью и где она ведется всерьез. Часто на протяжении ряда лет парламентская борьба немногим отличается от праздной игры, от турнира, где борются за цвета, выбранные по прихоти, но, как только начинается серьезная война, каждый спешит под знамя своей природ-

¹ Реформисты (англ.).

² Радикальные реформисты (англ.).

³ Радикалы (англ.).

ной партии. Это мы видели в эпоху Каннинга. Самые ярые противники объединились, когда началась борьба за реальнейшие интересы; тори, виги и радикалы скупились, как некая фаланга, вокруг отважного буржуазного министра, пытавшегося сломить высокомерие олигархов. Но я все-таки думаю, что иные высокороджденные виги, гордо восседавшие позади Каннинга, тотчас же перешли бы к старой помещичьей родне, если бы речь вдруг зашла об упразднении всех дворянских прав. Я думаю даже (господи, прости мне мое прегрешение), что сам Френсис Бердетт, принадлежавший в молодости к самым ярким радикалам, да и теперь считающийся не слишком кротким реформистом, при этом случае очень скоро уселся бы рядом с сэром Томасом Лесбриджем. Это очень хорошо чувствуют радикалы-плебеи, а потому и ненавидят так называемых вигов, высказывающихся за парламентскую реформу; они, пожалуй, ненавидят их еще больше, чем своих прямых высоких врагов — тори.

В настоящий момент английская оппозиция состоит больше из собственно реформистов, чем из вигов. Глава оппозиции в нижней палате, the leader of the opposition, бесспорно принадлежит к последним. Я говорю о Бруме.

Речи этого мужественного парламентского героя мы ежедневно читаем в газетах, а потому вправе считать его образ мыслей всем хорошо известным. Менее известны личные его особенности, проявляющиеся в этих речах, и все же нужно знать их, чтобы понять вполне его речи. Вот почему уместно воспроизвести здесь парламентский облик Брума, как он очерчен одним умным англичанином:

«На первой скамье, по левую сторону спикера, сидит фигура, которая так долго корнела у своей кабинетной лампы, что не только цвет жизни, но и сама ее жизненная сила начала вянуть; и все-таки она, эта на вид беспомощная фигура, привлекает взоры всей палаты; и стоит лишь ей, со свойственной ей механической, автоматической манерой, попытаться привстать, как все стенографы позади нас поднимают отчаянную возню, все пустые места на галерее заполняются и как бы образуется массивный каменный свод, а в обе боковые двери теснятся снаружи толпа. Внизу, в палате, проявляется, видимо, такой же

интерес, ибо едва лишь фигура эта начинает медленно вытягиваться в вертикальном зигзаге неуклюже сочетающихся линий, как пара-другая крикунов, только что пытавшихся перекричать друг друга с противоположных концов зала, быстро опускается на свои места, словно заметив спрятанное под мантией спикера духовое ружье.

После такого подготовительного шума, среди наступившей мертвой тишины, Генри Брум медленно, осторожными шагами приближается к столу и останавливается возле него в согбенном положении — с приподнятыми кверху плечами, с головой, наклоненной вперед; верхняя губа и ноздри вздрагивают, словно он боится произнести слово. Видом своим и всем существом он почти напоминает тех проповедников, которые проповедают в открытом поле, — не тех модных представителей этого сословия, которые увлекают за собой праздную воскресную толпу, но тех проповедников старого времени, которые пытались сохранить чистоту веры и распространить ее в пустыне, после того как она оказалась изгнанной из городов и даже из храмов. Тон его голоса отличается полнотой и мелодичностью, но повышается он медленно, осторожно и, можно подумать, очень напряженно, так что не знаешь, духовные ли силы этого человека недостаточны для того, чтобы овладеть предметом, или ему недостает физической силы, чтобы высказаться. Его первая фраза или, вернее, первые звенья его фразы, — ибо скоро убеждаешься, что каждая его фраза по форме и содержанию много богаче, чем целая речь других людей, — очень холодны и неуверенны и вообще так далеки от спорного вопроса, что невозможно понять, как он перейдет к нему. Правда, каждая из этих фраз отличается глубиной и ясностью, закончена в самой себе, явственно выведена на основании искусного отбора самого ценного материала, и к какой бы области знания ни относились фразы, они содержат чистейшую ее сущность. Чувствуешь, что все они слагаются в одном определенном направлении и притом слагаются с большой мощью; но эта мощь все еще невидима, как ветер, и, как про ветер, про нее не знаешь, откуда она появилась и куда стремится.

Но после того как предпослано достаточное число этих начальных положений, после того как использовано

всякое вспомогательное положение из числа тех, которыми человеческая наука располагает в целях установления заключительного вывода, после того как всякое возражение победоносно устранено одним ударом, и целая армия политических и нравственных истин приведена в боевой порядок, — она начинает подвигаться вперед к решительному бою, твердо сплоченная, как македонская фаланга, и непреодолимая, как шотландские горцы, идущие со штыками наперевес.

Как только установлено основное положение с помощью этой кажущейся слабости и неуверенности, за которыми, однако, скрываются действительная мощь и твердость, оратор поднимается как в телесном, так и в духовном смысле, и путем более сильного и короткого натиска овладевает вторым основным положением. После второго он овладевает третьим, после третьего — четвертым и так далее, пока все основные начала и вся философия спорного вопроса не будут завоеваны, и всякий из присутствующих в палате, имеющий уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы чувствовать, не убедится в только что услышанных истинах точно так же, как и в своем собственном существовании, так что, остановись даже Брум на этом месте своей речи, все же он, несомненно, был бы признан величайшим логиком капеллы св. Стефана. Умственные ресурсы этого человека поистине достойны удивления: он заставляет нас вспомнить старинную скандинавскую сказку, в которой герой убивает одного за другим первых знатоков каждой науки и становится таким образом единственным наследником всех их умственных способностей. Предмет может быть каким угодно — высоким или повседневным, туманным или практическим — Генри Брум владеет им и владеет со всей полнотой. Другие могут состязаться с ним, тот или другой даже может превзойти его в знакомстве с внешними красотами древней литературы, но никто глубже его не проникнут величественной и пламенной философией, которая, как драгоценнейший алмаз, сверкает в ларце, завешанном нам древностью. Брум не пользуется ясным, безукоризненным и притом несколько придворным языком Цицерона; столь же мало похожи его речи по форме на речи Демосфена, хотя им в некоторой степени свойственна подобная же окраска; но у него мы находим строго логическую после-

довательность римского оратора и потрясающие гневные слова грека. К этому присоединяется и то, что никто лучше его не умеет пользоваться в парламентских речах современными знаниями, так что порою его речи, независимо от их политического направления и смысла, могли бы вызвать у нас восхищение хотя бы даже как лекции по философии, литературе и искусству.

Вместе с тем, когда слушаешь этого человека, совершенно невозможно определить его характер. После того как он, о чем уже выше упомянуто, обосновал здание своей речи на прочном философском фундаменте, на глубоких доводах разума; после того как он, еще раз возвратившись к этой работе, опустил отвес и наложил меру, чтобы исследовать, все ли в порядке, и, кажется, рукою исполнина пробует, прочно ли все держится; после того как он крепко связал мысли слушателей своими аргументами, точно канатами, которых никому не порвать, — он мощным прыжком вскакивает на сооруженное им здание, фигура его и тон делаются выше, он вызывает страсти из самых потаенных уголков и покоряет и потрясает своих разинувших рты парламентских коллег и всю приведенную в содрогание палату. Тот самый голос, который сначала звучал тихо и непритязательно, подобен теперь оглушающему грохоту и беспредельным валам морским; та фигура, которая как будто склонялась под собственной тяжестью, имеет теперь такой вид, будто нервы ее из стали, сухожилия из меди, будто она даже бессмертна и неизменна, как те истины, которые от нее исходят; лицо, которое до того было бледно и холодно, точно камень, теперь живет и светится, как будто дух, живущий в этом человеке, еще могущественнее, чем произнесенные им слова; и глаза, голубые спокойные зрачки которых смотрели на нас вначале так смиренно, словно просили у нас снисхождения и прощения, эти самые глаза мечут теперь огонь метеоров, зажигающий восхищением все сердца. Так заканчивается вторая, страстная или декламативная часть речи.

Достигнув того, что можно считать верхом красноречия, и как бы оглянувшись кругом, чтобы с насмешливой улыбкой посмотреть на вызванное им восхищение, оратор снова съезживается, голос его падает до своеобразнейшего шепота, какой когда-либо исходил из груди человека.

Это совершенно особенная способность понижать или, лучше сказать, ослаблять выразительность, движения и голос, которой Брум владеет в совершенстве, не свойственная никакому другому оратору, вызывает удивительное действие; эти глубокие, торжественные слова, которые, хоть он чуть ли не бормочет их, явственны, однако, до последнего слога, заключают в себе неодолимую силу очарования даже тогда, когда слышишь их в первый раз и не знаком еще с истинным их значением и действием. И отнюдь не следует думать, что оратор или речь его истощились. Эти более спокойные взоры, эти заглушенные тона отнюдь не означают начала отступления в речи, когда оратор, словно чувствуя, что слишком далеко зашел, хочет задобрить своих противников. Наоборот, это съезживание тела вовсе не признак слабости, это ослабление голоса не предвестник страха и покорности: это лишь свободный, на весу, наклон тела борца, подстерегающего миг, когда он тем мощнее может охватить противника, это прыжок тигра, который, отпрянув назад, тотчас же с еще большей уверенностью вцепится когтями в свою добычу, это знак того, что Генри Брум облекается в полное снаряжение и берется за самое страшное свое оружие. В доводах своих он был ясен и убедителен; заклиная страсти, он был, правда, несколько высокомерен, но в то же время и могуч и победоносен; теперь же он кладет на лук свою последнюю, самую страшную стрелу, он делается ужасен в своих нападках. Горе человеку, навстречу которому запылает из таинственной глубины сдвинутых бровей этот глаз, доселе такой спокойный и голубой. Горе злодею, которому эти произнесенные полусшепотом слова предвещают нависшие над ним бедствия.

Иностранец, посетивший сегодня, быть может впервые, галерею парламента, не знает, что теперь произойдет. Он видит только человека, который убедил его своими доводами, зажег свою страсть и теперь, по-видимому, прибегая к этому странному шепоту, собирается закончить вяло и слабо. О чужестранец! Будь ты знаком со всем обиходом этой палаты и занимай ты место, откуда видно всех членов парламента, ты скоро заметил бы, что они отнюдь не разделяют твоего мнения относительно такого вялого и слабого кощца. Ты заметил бы кое-кого из тех, кого партийные страсти или самоуверенность вовлекли

в это бурное море без достаточного балласта и необходимого кормила и кто озирается теперь так боязливо и опасливо, как моряк в Китайском море, обнаруживший с одной стороны горизонта мрачное спокойствие — верный знак, что не позже чем через минуту с другой стороны возникнет тайфун с его пагубным дыханием; ты заметил бы, как какой-нибудь человек почти готов заплакать и душой и телом содрогается, подобно тому как маленькая птичка, загипнотизированная близостью гремучей змеи, в ужасе чувствует опасность и, ничем не в силах себе помочь, с глупым, несчастным видом спешит навстречу своей гибели; ты бы заметил длинного антагониста, который заплетающимися ногами цепляется за скамью, чтобы приближающаяся буря не унесла его; или даже ты заметишь осанистого, упитанного представителя какого-нибудь жирного графства, запустившего пальцы обеих рук в обивку своей скамьи в твердой решимости — на случай, если человек его ранга будет вышвырнут из палаты, все же сохранить за собою кресло и унести его, не расставаясь с ним.

И вот начинается: слова, произносившиеся таким глубоким шепотом, похожие на бормотание, приобретают такую звучность, что заглушают даже ликующие возгласы собственной партии, и после того как какой-нибудь злощастный противник уже ободран до костей и его изуверческие члены перебиты всевозможными ораторскими оброчатами, тело самого оратора, словно сокрушенное и сломенное мощью его собственного духа, падает в кресло, и аплодисменты могут теперь с неудержимой силой грянуть в зале».

Мне ни разу не посчастливилось спокойно наблюдать Брума во время подобной речи в парламенте. Мне довелось слышать его только урывками или когда дело касалось незначительных вопросов, и притом я очень редко видел его лицо. Но я сразу заметил, что как только он возьмет слово, наступает глубокая, почти зловещая тишина. Портрет его, набросанный выше, безусловно не страдает преувеличениями. Фигура его, при обычном для мужчины росте, очень худощава, голова узкая, скудно покрытая короткими черными волосами, гладко прилегающими к вискам. Бледное продолговатое лицо кажется от этого еще тоньше, мускулы его судорожно, неприятно

двигаются, и тот, кто наблюдает их, может видеть мысли оратора прежде, чем они высказаны. Это обстоятельство вредит его остроумным выходкам: ведь когда мы острым или занимаем деньги, полезно застигать людей врасплох. Хотя покрой его черного фрака вполне джентльменский, он все же придает ему вид духовного лица. Может быть, эта особенность его облика еще больше объясняется частыми движениями его согнутой спины и настоженной иронической гибкостью всего тела. Один из моих друзей впервые обратил мое внимание на «клерикальное» в наружности Брума, и вышеприведенное описание подтверждает это наблюдение. Мне в наружности Брума бросилось в глаза прежде всего «адвокатское», особенно — его манера непрестанно жестикулировать протянутым вперед указательным пальцем и самодовольно кивать при этом наклоненной вперед головою.

Удивительнее всего неумолимая деятельность этого человека. Свои парламентские речи он произносит после того как, может быть, восемь часов подряд занимался ежедневными профессиональными делами, а именно адвокатской практикой в залах суда, или, может быть, полночи проработал над статьей для «*Edinburgh Review*»¹ или над усовершенствованиями в области народного образования и уголовных законов. Первые из названных работ — по народному образованию — несомненно дадут когда-нибудь прекрасные плоды. Последние — из области уголовного законодательства, которыми теперь больше всего занимаются Брум и Пиль, — пожалуй, всего полезнее, по крайней мере отвечают самой настоятельной необходимости, ибо законы Англии еще более жестоки, чем ее олигархи. Славе Брума положил начало процесс королевы. Он рыцарски боролся за эту высокопоставленную даму, и, само собою, Георг IV никогда не забудет услуг, которые он оказал его дорогой жене. Поэтому, когда в минувшем апреле оппозиция победила, Брум все-таки не попал в состав кабинета, хотя ему, как *leader of the opposition*,² полагалось в этом случае, по старинному обычаю, войти в него.

¹ «Эдинбургского обозрения» (англ.).

² Лидеру оппозиции (англ.).

IX ЭМАНСИПАЦИЯ

Самый глупый англичанин, если заговорить с ним о политике, все-таки найдет сказать что-нибудь разумное. Но стоит только перевести разговор на религию, самый толковый англичанин ничего, кроме глупостей, не наговорит. Потому-то и возникает такая путаница понятий, такое смешение мудрости с бессмыслицей всякий раз, когда в парламенте речь пойдет об эмансипации католиков — спорный вопрос, в котором сталкиваются политика и религия. Во время своих парламентских прений англичане редко имеют возможность высказаться принципиально; они препираются только о пользе или вреде той или иной вещи и приводят факты, кто — про, кто — contra.

С фактами в руках можно, правда, спорить, но победить нельзя; в этом случае получается ряд чисто физических ударов, и зрелище борьбы напоминает столь известные битвы немецких студентов pro patria, ¹ результат которых сводится лишь к тому, что сделано столько-то выпадов, отбито столько-то квартал и терций и ничего тем не доказано.

В 1827 году, само собою разумеется, эмансипационисты опять боролись в Вестминстере с оранистами и, само собою разумеется, ничего из этого не вышло. Лучшими бойцами эмансипации были Бердетт, Пленкетт, Брум и Каннинг, противниками их снова были, за исключением сэра Роберта Пиля, известные, или лучше сказать, неизвестные, охотники за лисицами.

Искони проникательнейшие государственные деятели Англии высказывались за гражданское равенство католиков как из чувства справедливости, так и в силу политической мудрости. Сам Питт, основатель стабилитарной системы, держал сторону католиков. Также и Бёрк, этот великий ренегат свободы, не мог до такой степени подавить голос своего сердца, чтобы действовать против Ирландии. И Каннинг, даже тогда, когда он был еще рабом тори, не мог без волнения смотреть на бедствия Ирландии; как дороги были ему ее интересы, он с трогательной наив-

¹ За родину (лат.).

постью высказал в то время, когда его обвиняли в безразличии. Право же, великий человек нередко способен, для достижения великих целей, действовать против своих убеждений и до двусмысленности часто переходит из одной партии в другую; в этом случае следует мириться с тем, что человек, желающий удержаться на известной высоте, так же должен уступать обстоятельствам, как петух на церковной вышке: хотя он и сделан из железа, но первый же порыв урагана сломил бы и сбросил его, если бы он пребывал в упрямой неподвижности и не владел благородным искусством — вертеться по ветру. Но никогда ни один великий человек не встретится от своих чувств до такой степени, чтобы быть в состоянии равнодушно и спокойно взирать на несчастье соплеменников и даже усиливать его. Подобно тому как мы любим свою мать, так любим и землю, на которой родились, так любим и цветы, запахи, язык и людей, — все, что породила эта земля; нет такой дурной религии и такой хорошей политики, которая могла бы в сердцах своих последователей подавить эту любовь; хотя Бёрк и Каннинг были протестантами и тори, они никогда не могли стать в ряды противников несчастного Зеленого Эрина. Те же ирландцы, что приносят своей родине страшные бедствия и невыразимую скорбь, — это люди вроде блаженной памяти Каслри.

Что масса английского народа настроена против католиков и ежедневно осаждает парламент, требуя не допускать дальнейшего расширения их прав, это совершенно в порядке вещей. Подобная страсть к угнетению лежит в природе человека, и если даже мы, как теперь постоянно водится, жалуемся на гражданское неравенство, то глаза наши обращены все же кверху: мы видим только тех, кто выше нас и чьи привилегии нас оскорбляют; жалуясь сами, мы никогда не смотрим вниз; нам никогда не приходится в голову поднять до себя тех, кто в силу обычного бесправия поставлен еще ниже, чем мы; нас даже сердит, когда и они стремятся вверх, и мы бьем их по головам. Креол требует прав свронеица, но важничает перед мулатом и пышет гневом, когда этот последний хочет сравняться с ним. Так же поступает мулат по отношению к метису, а метис — по отношению к негру. Франкфуртский обыватель недоволен привилегиями дворянства, но еще больше недоволен, когда ему предлагают эмансипировать франк-

фуртских евреев. У меня есть друг в Польше, влюбленный в свободу и равенство, но и по сей час он еще не отпустил на волю своих крепостных крестьян.

Что касается английского духовенства, то незачем и объяснять, почему католики подвергаются преследованиям с этой стороны. Преследование инакомыслящих составляет повсюду монополию духовенства, и англиканская церковь тоже строго блюдет свои права. Конечно, десятинная подать для нее важнее всего; из-за эмансипации католиков она лишилась бы большей части своего дохода, а жертвовать собственными интересами — талант, столь же мало присущий жрецам религии любви, как и грешникам-мирянам. К тому же та славная революция, которой Англия обязана большинством своих свобод, произошла из религиозного протестантского рвения — обстоятельство, как бы налагающее на англичан особый долг благодарности по отношению к господствующей протестантской церкви и заставляющее смотреть на нее как на главный оплот свободы. Может быть, иные робкие души среди них действительно боятся восстановления католицизма и вспоминают смисфилдские костры, — а ребенок, коли обжегся, боится огня. Есть также робкие члены парламента, опасющиеся нового порохового заговора — ведь пороха больше всего боятся те, кто его не выдумывал, — и им часто кажется, будто зеленые скамьи, на которых они сидят в капелле св. Стефана, становятся понемногу горячее и горячее, и когда какой-нибудь оратор, как часто случается, упоминает имя Гай Фокса, они испуганно кричат: «Near him! Near him!»¹ Что касается, наконец, геттингенского ректора, занимающего в Лондоне должность английского короля, то его умеренная политика всякому известна: она — ни за ту, ни за другую партию: он с удовольствием видит, как они взаимно ослабляют друг друга в борьбе, и улыбается по принятому обычаю, когда они мирно собираются при его дворе; он все знает и ничего не делает и в худшем случае полагается на своего обер-педеля Веллингтона.

Да простят мне, что я так развязно касаюсь спорного вопроса, от разрешения которого зависит благо Англии и, может быть, косвенно, благо всего мира. Но именно чем

¹ Слушайте, слушайте! (англ.).

важнее предмет, тем веселее надо рассуждать о нем; кровавые бойни сражений, ужасающие звуки натачиваемой косы смерти были бы невыносимы, если бы рядом не раздавалась оглушительная турецкая музыка с ее радостными трубами и литаврами. Это знают англичане, и потому их парламент представляет веселое зрелище непринужденнейшего остроумия и остроумнейшей непринужденности; во время самых серьезных прений, когда жизнь тысяч людей и благо целых стран поставлены на карту, никому из них не приходит в голову скорчить немецки-тупую депутатскую физиономию или декламировать в патетически-французском духе; ум их, как и тело, ничем себя не стесняет; шутки, самоосмеяние, сарказмы, благодушные и мудрость, коварство и доброта, логика и стихи бьют ключом в цветистой красочной игре, так что парламентская хроника даже много лет спустя дает нам развлекательнейшую пищу для ума. И до чего не похожи на них скудные, бессодержательные, клякспапирные речи в наших южно-немецких палатах, скуку которых не в состоянии преодолеть самый терпеливый газетный читатель; один уже их запах способен отпугнуть живого читателя, и можно подумать, скука эта — плод тайного умысла, состоящего в том, чтобы отвадить широкую публику от чтения прений и сохранить их, таким образом, по существу втайне, несмотря на их гласность.

Если, таким образом, способ, которым англичане обсуждают в парламенте спорный вопрос о католиках, мало пригоден для того чтобы дать результаты, то тем более интересно чтение этих прений, так как факты много забавнее, чем отвлеченности; особенно занятно бывает, когда в параллель к фактам рассказывается какая-нибудь вымышленная история, остроумно высмеивающая определенный случай в настоящем и таким образом, пожалуй, наиболее удачно его иллюстрирующая. Уже во время прений по поводу тронной речи 3 февраля 1825 года мы услышали в верхней палате одну из этих историй, только что упомянутых мною; я дословно привожу ее здесь (vid. *Parliamentary history and review during the session of 1825—1828. Pag. 31*).¹

¹ См. «Историю парламента и обозрение сессии 1825—1828 гг.», стр. 31 (англ.).

«Лорд Кинг заметил, что если Англию и можно назвать цветущей и счастливой, то все же шесть миллионов католиков по ту сторону Ирландского канала находятся в совершенно ином положении; дурное тамошнее управление — позор для нашей эпохи и для всех британцев. Весь мир, — сказал он, — в настоящее время слишком разумен, чтобы извинять те правительства, которые угнетают своих подданных или лишают их каких-либо прав из-за религиозных разногласий. Ирландия и Турция могли бы быть отмечены, как единственные страны в Европе, где целые группы населения угнетены и подвергаются оскорблениям за свою веру. Султан старался обратить греков таким же способом, каким английское правительство обращало ирландских католиков, но безуспешно. Когда несчастные греки стали жаловаться на свои страдания и смиреннейшим образом просили, чтобы с ними обращались немного лучше, чем с магометанскими собаками, султан велел позвать великого визиря, чтобы спросить у него совета. Великий визирь был сначала другом султанши, а потом стал ее врагом. Вследствие этого он лишился значительной доли благосклонности своего господина и в своем собственном Диване натолкнулся на неповиновение со стороны своих собственных чиновников и слуг. (Смех.) Он был врагом греков. Вторым по влиянию в Диване лицом был Рейс Эффе́нди, склонный относиться дружелюбно к справедливым требованиям этого несчастного народа. Этот сановник был, как известно, министром иностранных дел, и политика его заслужила и снискала всеобщее одобрение. На этом поприще он выказал чрезвычайный либерализм и способности, сделал много добра, завоевал большую популярность правительству султана и совершил бы еще гораздо больше, если бы его менее просвещенные коллеги не чинили ему препятствий во всех его мероприятиях. Он, действительно, был единственным истинно гениальным человеком во всем Диване (Смех) и был уважаем, как краса турецких государственных мужей, будучи одарен к тому же поэтическим талантом. Киа́йа-бей, или министр внутренних дел, и капитан-паша были опять-таки врагами греков; но вожаком всей оппозиции против правовых притязаний этого народа был первый муфтий, или глава магометанской религии. (Смех.) Этот сановник был врагом всяких новшеств.

Он неизменно восставал против всяких улучшений во внешней политике. (*Смех.*) Он выказывал и объявлял себя всякий раз величайшим поборником существующих злоупотреблений. Он был самым законченным интриганом во всем Диване. (*Смех.*) Прежде он выступал на стороне султанши, но обратился против нее, как только стал опасаться, что может лишиться своего положения в Диване, и принял даже сторону ее врагов. Как-то было внесено предложение принять некоторое число греков в состав регулярных войск или янычаров; но первый муфтий поднял такой отчаянный вопль, наподобие нашего «No rorere!»¹, что те, кто склонялся к этой мере, должны были уйти из Дивана. Он взял верх, и, едва это случилось, объявил себя сторонником того, против чего он больше всего усердствовал. (*Смех.*) Он заботился о совести султана и о своей собственной; но замечено как будто, что его совесть никогда не находилась в оппозиции к его интересам. (*Смех.*) Так как он основательнейшим образом изучил турецкую конституцию, то ему удалось открыть, что она по существу магометанская (*смех*) и, следовательно, должна быть враждебна всем привилегиям греков. Поэтому он решил оставаться непоколебимо преданным делу нетерпимости и вскоре был окружен муллами, имамами и дервишами, поддерживавшими его в его благородных начинаниях. Для завершения картины этого раскола в Диване остается упомянуть, что участники его согласились на том, чтобы прийти к одному мнению в некоторых спорных вопросах и к противоположному — в других, не нарушая своего единения. После того как все увидели, какое зло получилось от подобного Дивана, после того как увидели, что царство мусульман раздирается именно вследствие нетерпимости к грекам и внутренних несогласий, пришлось воззвать к небу об избавлении отечества от такого кабинетного раскола.

Не нужно особой проницательности, чтобы угадать, какие лица скрываются здесь под турецкими именами; еще менее требуется излагать сухими словами мораль всей этой истории. Наваринские пушки достаточно громко поведали эту мораль, и если Высокая Порта когда-нибудь развалится — а она развалится, несмотря на полномоч-

¹ «Долой папство!» (*англ.*).

ных лакеев Перы, которые не считаются с негодованием народов, — пусть тогда Джон Булль в глубине сердца поймет, что басня под вымышленными именами говорит о нем. Нечто в этом роде Англия предчувствует уже и теперь — лучшие ее публицисты высказываются против военной интервенции и очень наивно указывают на то, что народы Европы с таким же правом могли бы принять участие в ирландских католиках и заставить английское правительство лучше обращаться с ними. Они полагают, что опровергли таким образом право вмешательства, тогда как на самом деле еще нагляднее подтверждают его. Конечно, народы Европы имели бы священное право вступить с оружием в руки за несчастных ирландцев, и этим правом они бы воспользовались, если бы сила не была на стороне бесправия. Уже не коронованные вожди, а сами народы являются героями нового времени; эти герои тоже заключили священный союз; они сообща стоят, когда нужно, за общее право, за права народов на религиозную и политическую свободу, они связаны идеей, они поклялись ей в верности и проливали свою кровь за нее, они сами — воплощенная идея, а потому болезненная дрожь пронизывает сразу сердца всех народов, когда где-либо, хотя бы в отдаленнейшем уголке земли, идея эта подвергается оскорблению.

Х

ВЕЛЛИНГТОН

Человек этот имеет несчастье быть счастливым везде, где величайшие в мире люди терпели несчастье, и это возмущает нас и делает его ненавистным. В нем мы видим только победу глупости над гением. Артур Веллингтон торжествует там, где Наполеон Бонапарт гибнет. Никогда еще никто не пользовался благосклонностью фортуны в столь ироническом смысле; похоже на то, что она вознесла его на щите победы лишь для того, чтобы явить миру его жалкое ничтожество. Фортуна — женщина, и по своей женской натуре она, может быть, втайне сердится на человека, свергнувшего ее любимца, хотя это и совершилось по ее воле. Теперь в споре об эмансипации католиков она опять делает его победителем, и притом в борьбе,

где погиб Джордж Каннинг. Может быть, Веллингтона и любили бы, если бы его предшественником в кабине был жалкий Лондондерри; но он оказался преемником благородного Каннинга, оплакиваемого, обожаемого великого Каннинга — и он побеждает там, где погиб Каннинг. Если бы не это злополучное несчастье, Веллингтон мог бы, пожалуй, сойти за великого человека; его бы не ненавидели, не подходили бы к нему с точной меркой, во всяком случае не мерили бы тем героическим масштабом, которым меряют Наполеона и Каннинга, и так не узнали бы, какой он маленький человек.

Он маленький человек, и даже меньше, чем маленький. Французы не могли злее выразиться о Полиньяке, чем назвав его Веллингтоном без славы. И в самом деле, что останется, если снять с Веллингтона фельдмаршальский мундир славы?

Я дал здесь лучшую апологию лорда Веллингтона — в английском смысле этого слова. Но все удивятся, когда я сознаюсь, что однажды я всю хвалил Веллингтона. Эта забавная история, и я расскажу ее здесь.

Мой пирюльник в Лондоне был радикал, по имени мистер Уайт, — бедный, маленький человечек в потертом черном костюме, который отвечивал белым; он был так тощ, что лицо его даже анфас казалось только профилем, а вздохи в груди были видны прежде, чем они вырывались оттуда. Вздыхал же он постоянно о несчастье старой Англии и о невозможности уплатить когда-либо национальный долг.

«Ах, — вздыхал он обыкновенно, — чего ради нужно было английскому народу беспокоиться о том, кто правит Францией и что творят французы у себя в стране! Но высокая знать и высокая церковь испугались свободных принципов французской революции, и, чтобы подавить эти принципы, Джону Буллию пришлось отдать свою кровь и свои деньги, да еще и наделать долгов. Цель войны теперь достигнута, революция подавлена, французским орлам свободы подрезаны крылья, высокая знать и высокая церковь могут теперь быть вполне спокойны — ни один из них не перелетит через Ламанш, пусть бы высокая знать и высокая церковь заплатили теперь хоть те долги, которые сделаны в их интересах, а не ради бедного народа. Ах! Бедный народ...»

Всякий раз, доходя до «бедного народа», мистер Уайт вздыхал еще глубже, а постоянным припевом к его речи было то, что хлеб и портер так ужасно вздорожали, и бедному народу приходится пропадать с голоду, чтобы накормить толстых лордов, охотничьих собак и попов, и остается только одно средство. При этих словах он начинал обыкновенно точить бритву и, водя ею по ремню, бормотал медленно и злобно: «Лорды, собаки, попы».

Но радикальный гнев его закипал всего яростнее против Duke of Wellington, ¹ он изрыгал яд и желчь, едва лишь заговаривал о нем, и если в это время он намыливал мне щеки, то делал это с пеной ярости. Как-то даже в порядке струсил: он брил мне именно шею и при этом яростно ополчался на Веллингтона, все время бормоча: «Будь он у меня вот так под ножом, я бы избавил его от труда самому перерезать себе горло по примеру его сослуживца и земляка Лондондерри, который перерезал себе горло в Нордкрее, в графстве Кент — будь он проклят!»

Я чувствовал, как дрожала рука этого человека, и, испугавшись, как бы он не вообразил внезапно в порыве гнева, будто я — Duke of Wellington, попытался умирить его пыл и тихонько успокоить его. Я воззвал к его национальной гордости, указал ему на то, что Веллингтон способствовал славе англичан, что он всегда был невиновным орудием в руках третьих лиц, что он любит бифштексы и что он, наконец... Бог знает, чего я только ни наговорил о Веллингтоне, когда бритва касалась моего горла.

*

* * *

Что особенно меня сердит, так это мысль, что Веллингтону предстоит такое же бессмертие, как и Наполеону Бонапарту. Ведь сохранилось таким же образом имя Понтия Пилата наряду с именем Христа. Веллингтон и Наполеон! Удивительное явление — мысль человеческая может одновременно представлять себе их обоих. Нет большей противоположности, чем эти два человека, уже по одной их внешности. Веллингтон — глупый призрак с пе-

¹ Герцога Веллингтона (англ.).

пельно-серой душой в накрахмаленном теле, с деревянной улыбкой на замороженном лице, — и рядом с ним представить образ Наполеона — божества с головы до пят!

Никогда не исчезнет этот образ из моей памяти. Я до сих пор вижу его на коне, вижу эти бессмертные глаза на мраморном лице императора, с роковым спокойствием вззирающие на проходящие мимо гвардейские полки — в то время он отправлял их в Россию, и старые grenадеры смотрели на него так разумно-сурово, с такою жуткой преданностью, с такою горделивою готовностью к смерти —

Te, Caesar, morituri salutant! ¹

Порою ко мне подкрадывается и тайное сомнение, действительно ли я видел его сам, действительно ли мы были его современниками, и тогда мне начинает казаться, что образ его, отделившись от узкой рамки современности, отступает, все более гордый и величавый, в сумрак прошлого. Уже самое имя его звучит нам как весть из прошлого мира, столь же античное и героическое, как имена Александра и Цезаря. Оно уже стало лозунгом для народов, и когда встречаются Запад и Восток, они понимают друг друга благодаря одному этому имени.

Как значительно и волшебно может звучать это имя, я глубже всего убедился, когда взшел однажды в лондонской гавани, в том месте, где расположены индийские доки, на борт ост-индского корабля, только что прибывшего из Бенгалии. Это было исполинское судно с многочисленным экипажем из уроженцев Индостана. Причудливые фигуры и группы, странные пестрые одеяния, загадочные выражения лиц, непривычные телодвижения, совершенно незнакомые звуки говора, веселья и смеха, к тому же и суровость некоторых нежно-желтых лиц, глаза которых, подобно черным цветам, взирали на меня с загадочною скорбью, — все это вызвало во мне чувство какой-то зачарованности, я словно внезапно перенесся в сказки Шехерезады, и мне начало уже казаться, что сейчас появятся широколиственные пальмы и верблюды с длинными шеями, покрытые золотом слоны и всякие сказочные деревья и животные. Суперкарго, находившийся

¹ Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь! (*лат.*).

на судне и так же мало, как я, понимавший язык этих людей, с чисто британской ограниченностью без конца рассказывал мне, что это за дурацкий народ, почти всё — магометане, согнанные со всех азиатских стран от границ Китая до Аравийского моря, и среди них даже несколько черных, как смоль, курчавых африканцев.

Мне в то время уже достаточно опостылела пустота Запада, я временами чувствовал такую усталость от Европы, что этот кусочек Востока, радостно и пестро двигавшийся перед моими глазами, явился для меня бодрящим бальзамом; мое сердце освежили по крайней мере несколько капель того напитка, которого я так часто алкал в уныло-ганноверские или королевско-прусские зимние ночи; и чужеземцы, верно, заметили, как приятен мне их вид и как мне хочется сказать им ласковое слово. Что и я им правился, видно было по их задушевным глазам — они тоже рады были бы сказать мне что-нибудь приятное, и грустно было, что никто из нас не знал чужого языка. Тут я нашел, наконец, средство — выразить им одним словом мое дружественное расположение: почтительно, как для дружеского приветствия, протянув вперед руку, я воскликнул: «Магомет!»

Радость внезапно озарила темные лица чужеземцев, они благоговейно скрестили руки и в ответ мне радостно воскликнули: «Бонапарте!»

XI

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Когда у меня опять будет время для праздных исследований, я скучнейшим и основательнейшим образом докажу, что не в Индии, а в Египте зародилась та кастовая система, которая на протяжении двух тысячелетий сумела рядиться в одеяние всякой страны и обманывать всякую эпоху на ее же собственном языке; она, быть может, и мертва теперь, но, лицемерно являя облик жизни, продолжает пребывать среди нас, бросая злые взгляды, насаждая зло, отравляя своим трупным дыханием нашу цветущую жизнь и, в образе вампира средневековья, высасывая кровь и свет из сердца народов. Из ила Ниль-

ской долины возникли не только крокодилы, так хорошо умеющие плакать, но и жрецы, умеющие это еще лучше, и то наследственно привилегированное сословие воинов, которое кровожадностью и прожорливостью даже превосходит крокодилов.

Два глубокомысленных представителя немецкой нации открыли спасительнейшее средство против худшей из всех казней египетских и с помощью черной магии — книгопечатания и пороха — сломили насилие той духовной и светской иерархии, которая образовалась путем союза жречества и воинской касты, то есть так называемой католической церкви и феодального дворянства, и держала под своим физическим и духовным игом всю Европу. Печатный станок взорвал здание догматов, в котором верховный римский поп держал в заточении умы, и северная Европа опять свободно вздохнула, избавленная от ночного кошмара того клира, который, хотя формально он и отступил от египетского начала сословной наследственности, в душе, однако, остался тем более предан египетской жреческой системе, что теперь он держится еще обособленнее — в качестве корпорации старых холостяков и пополняет свой состав не путем естественного размножения, а противостоит естественному — путем мамелюкообразной вербовки. Точно так же мы видим, что воинская каста теряет свою мощь с тех пор, как старая ремесленная рутина стала бесполезной в военном деле нового времени, ибо трубные звуки пушек опрокидывают теперь сильнейшие крепостные башни, как блаженной памяти иерихонские стены, железный рыцарский панцирь столь же мало защищает от свинцового дождя, как и полотняная блуза крестьянина; порох уравнил людей, ружье в руках горожанина стреляет не хуже, чем в руках дворянина, — народ поднимается.

*

* * *

Прежние освободительные движения, наблюдаемые нами в истории ломбардских и тосканских республик, испанских коммун, вольных городов Германии и других стран, не заслуживают чести называться народными восстаниями; это было стремление не к воле, а к вольностям, борьба не за права, а за преимущества; корпорации спо-

рили из-за привилегий, и все оставалось в тесных рамках гильдейского и цехового уклада. Лишь в эпоху Реформации борьба приобрела характер всеобщий и духовный; свободы стали требовать не как права обычного, а как права изначального, не как права приобретенного, а как права прирожденного. Предъявлялись уже не старые пергаменты, а принципы; немецкий мужик и английский пуританин ссылались на евангелие, изречения которого в ту пору заменяли разум, считались даже выше разума, как откровение разума божьего. А там было ясно сказано: что люди одинаково благородны по своему рождению, что ставить себя выше других — высокомерие, достойное проклятия, что богатство — грех и что бедные тоже призваны к наслаждению в прекрасном саду господя, всеобщего отца.

С библией в одной руке и с мечом в другой крестьяне двинулись по южной Германии и оповестили богатых горожан высокобашенного Нюрнберга о том, что отныне во всей стране не должно быть дома, отличающегося видом от крестьянской избы. Так правдиво и глубоко они поняли свободу. Еще и сейчас мы во Франконии и Швабии находим следы этого учения о равенстве, и трепетное благоговение перед святым духом охватывает путника, когда он в лунном свете видит мрачные развалины замков, сохранившиеся от времен крестьянской войны. Благо тому, кто, трезво глядя, не видит здесь ничего другого, но тот, кому посчастливится — а посчастливится всякому, кто знает историю, — тот увидит и высочайшую охоту за побежденными, которую устроило немецкое дворянство, самое грубое в мире, тот увидит, как тысячами убивали безоружных, как их пытали, терзали и мучили, увидит, как среди волнующихся хлебных полей таинственно кивают окровавленные крестьянские головы, и несется над ними свист страшного жаворонка, взывающего к мести, словно гельфенштейновский дудочник.

Чуть легче пришлось их братьям в Англии и Шотландии; крушение их было не столь бесславно и безрезультатно, и мы до сих пор еще видим плоды их правления. Но прочно обосноваться им не удалось; изыщные «кавалеры» властвуют опять, как и прежде, забавляясь историями о старых, неуклюжих «круглоголовых», которых так хорошо описал дружественный им бард, чтобы

в их праздности доставить им развлечение. В Великобритании не произошло общественного переворота; здание гражданских и политических установлений разрушено не было, кастовое господство и цеховое устройство удержались там поныне, и Англия, хотя и пронизанная светом и теплом новейшей цивилизации, застыла в средневековом состоянии или, вернее, в состоянии фешенбельного средневековья. Уступки, сделанные там либеральным идеям, с трудом отвоеваны у этой средневековой косности, а все современные улучшения вытекли вовсе не из принципа, а из фактической необходимости, и все они носят проклятую печать половинчатости, влекущей за собой всякий раз новые бедствия, борьбу на смерть и связанные с нею опасности. Религиозная реформация в Англии совершилась только наполовину, и среди голых четырех тюремных стен епископско-англиканской церкви чувствуешь себя еще хуже, чем в просторной, красиво расписанной и мягко устланной духовной темнице католицизма. Немногим лучше кончилось дело реформации политической. Народное представительство ограничено до последней возможности; если сословия не различаются между собой покроем одежды, то все же до сих пор еще они разделены различием подсудности, феодального патроната, правом быть при дворе или традиционными привилегиями и прерогативами и прочими роковыми установлениями, и если имущество и личность зависят теперь уже не от прихоти аристократии, а от закона, то все же законы эти представляют лишь особый род клыков, которыми аристократическое отродье хватает свою добычу, и особый род кинжалов, которыми оно приканчивает народ. Ведь, право же, ни один тиран на континенте не выжал бы, руководясь произволом, столько налогов, сколько приходится платить английскому народу на основании закона, и ни один тиран не был никогда так жесток, как английские уголовные законы, которые ежедневно, с холодностью мертвой буквы, убивают за кражу какого-нибудь шиллинга. Если с недавних пор и подготавливаются в Англии некоторые улучшения этой мрачной обстановки, если кое-где и кладутся пределы светской и духовной жадности, если теперь и умеряется до некоторой степени великая ложь народного представительства путем передачи кое-каким крупным фабричным городам избирательных прав, утраченных разными

rotten boroughs,¹ если, наконец, порой и смягчается жестокая нетерпимость и некоторые другие секты тоже получают права, — то все-таки все это лишь жалкие заплаты, которые недолго выдержат, и самый глупый портной в Англии сообразит, что рано или поздно старое государственное одеяние расплывется на жалкие лохмотья.

*
* * *

«Никто не кладет заплаты из нового сукна на старую одежду, ибо новое сукно все-таки оторвется от старого, и прореха станет еще больше. И никто не вливает молодого вина в старые мехи, ибо новое вино порвет мехи и прольется, и мехи пропадут. Новое вино надлежит вливать в мехи новые».

Глубочайшая истина расцветает лишь из глубочайшей любви; отсюда и сходство во взглядах того древнего нагорного проповедника, который говорил против иерусалимской аристократии, и тех позднейших, что с «горы» Конвента проповедовали в Париже трехцветное евангелие, по которому не только форма государства, но и вся общественная жизнь должна была быть не заплатана, но заново перестроена, заново обоснована, даже сызнова рождена.

Я говорю о французской революции, той мировой эпохе, когда учение о свободе и равенстве так победоносно возникло из всеобщего источника познания, который мы называем разумом, и который, как некое непрестанное откровение, отзывающееся в уме каждого человека и обосновывающее его знание, должен быть признан много выше того религиозного откровения, что является уделом лишь немногих избранных, а со стороны народа требует только веры. Такой вид откровения, аристократический по своей природе, никогда не был в состоянии столь твердо бороться с господством привилегий, с преимуществами кастовых разделений, как борется разум, демократический по самой своей природе. История революции — военная история этой борьбы, к которой все мы так или иначе причастны; это борьба на смерть с египетским злом.

¹ Гнилыми местечками (англ.).

Хотя мечи врагов и притупляются с каждым днем, хотя мы заняли уже более выгодные позиции, все же песнь победы мы можем запеть не раньше, чем доведем дело до конца. Покамест мы только по ночам, во время перемирия, можем выходить с фонарем на поле сражения, чтобы похоронить мертвых. Мало пользы в короткой надгробной речи! Клевета, наглый призрак, усаживается на самых благородных могилах...

Ах! Ведь борьба идет и против тех наследственных врагов правды, которые так хитро умеют опорочить доброе имя своих противников и даже сумели принизить того, первого нагорного проповедника, чистейшего героя свободы; не будучи в состоянии отказать ему в том, что он величайший из людей, они сделали его ничтожнейшим из богов. Кто борется с попами, пусть будет готов к тому, что самая искусная ложь и самая меткая клевета будут позорить и чернить его бедное доброе имя. Но подобно тому как те знамена, что более всего изрешечены пулями в бою и почернели от порохового дыма, становятся предметом большего почитания, нежели самые чистые и целые рекрутские знамена, и под конец выставляются в соборах как национальные реликвии, так некогда и имена наших героев, как бы ни были они растерзаны и очернены, тем пламеннее будут чтиться в священном храме Женевьевы — Свободы.

Революция, подобно ее героям, оклеветана и представлена во всевозможных памфлетах как страшилище государей и пугало народов. Детей в школах заставляют заучивать наизусть все так называемые ужасы революции; а на ярмарках некоторое время только и можно было видеть, что ярко раскрашенные изображения гильотины. Нельзя, правда, отрицать, что этой машиной, которую изобрел один французский врач, великий мировой ортопед, мосье Гильотен, и которая весьма легко отделяет глупые головы от злых сердец, что этой целебной машиной пользовались довольно часто, но все же только при неизлечимых болезнях, например в случае измены, лжи и слабости; пациентов притом мучили недолго; их не пытали и не колесовали, как некогда в доброе старое время мучили, пытали и колесовали тысячи и десятки тысяч разночинцев и вилланов, горожан и крестьян. Ужасно, правда, что французы при помощи этой машины ампутиро-

вали даже главу своего государства, и тут не знаешь, обвинять ли их на этом основании в отцубийстве или в самоубийстве; но если мы примем во внимание смягчающие обстоятельства, то убедимся, что Людовик Французский пал жертвой не столько страстей, сколько обстоятельств, и что те люди, которые принудили народ к такой жертве и которые сами во все времена гораздо более обильно проливали кровь государей, не должны бы выступать в роли обвинителей. Народ принес в жертву только двух королей, причем оба они были королями скорее дворянскими, нежели народными, и принес их в жертву не в мирное время и не с низменными целями, а в крайне тяжелый момент борьбы, когда он убедился в их измене и когда меньше всего щадил свою собственную кровь; между тем, конечно, больше тысячи государей пало от рук изменников, жертвой жадности или легкомысленных интересов, сраженные кинжалом, мечом или ядом дворян и попов. Похоже на то, что эти касты считали и цареубийство своей привилегией, а потому они так своекорыстно и скорбели о смерти Людовика XVI и Карла I. О, если бы короли убедились наконец, что они в качестве королей своего народа под защитой законов могут жить куда спокойнее, чем под охраной своих знатных лейб-убийц!

*
* *
*

Впрочем, оклеветали не только героев революции и самую революцию, но и всю нашу эпоху; с неслыханной дерзостью исказили целиком всю литургию священнейших наших идей, и если послушать или почитать наших жалких хулителей, то народ оказывается сволочью, свобода — наглостью; возводя очи к небу и благочестиво вздыхая, они сетуют и скорбят, что мы распутны и что у нас, к сожалению, нет никакой религии. Лицемерные святоши, что пресмыкаются под придавившим их бременем тайных грехов, осмеливаются поносить эпоху, может быть самую священную из всех предшествовавших и последующих, эпоху, которая приносит себя в жертву за грехи прошлого и за счастье будущего, мессию среди столетий, которому едва ли были бы под силу кровавый терновый венец и тяжелое бремя креста, если бы он время от времени не напевал веселых водевильных куплетов, не отпускал шуток

насчет новейших фариссеев и саддукеев. Без такого шутовства и зубоскальства были бы невыносимы чудовищные муки. А серьезность проявляется с тем большей силой, если ей предшествует шутка. Наша эпоха похожа в этом смысле на своих детей — французов, которые сочиняли очень забавные, легкомысленные книги и в то же время могли быть очень строгими и серьезными там, где строгость и серьезность необходимы; так, например, Лакло и особенно Луве де Кувре, когда надо было, сражались за свободу с мученической отвагой и самопожертвованием, но писали в то же время весьма фривольные и скользкие произведения и, к сожалению, не были религиозны.

Как будто свобода не такая же религия, как всякая другая! А так как это наша религия, то, воздавая тою же мерою, мы могли бы объявить наших хулителей распутными и нерелигиозными.

Да, я повторяю слова, которыми начал эту книгу: свобода — новая религия, религия нашего времени. Если Христос и не бог этой религии, то все же он верховный жрец ее, и имя его излучает благодать в сердца учеников. Французы же — избранный народ этой религии; на их языке начертаны первые ее евангелия и догматы, Париж — Новый Иерусалим, а Рейн — Иордан, отделяющий священную землю свободы от страны филистимлян — филистеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Написано 29 ноября 1830 г.)

Глухое тюремное время стояло в Германии, когда я писал второй том «Путевых картин» и сразу же приступил к его печатанию. Но прежде чем он появился, кое-что о нем уже стало известно в публике; говорили, что книга моя имеет целью поднять упавший дух свободы и что уже принимаются в свою очередь меры, чтобы запретить ее. При наличии таких слухов было правильным как можно скорее закончить книгу и выпустить ее из печати. Так как она должна была содержать определенное число листов, чтобы ускользнуть от требований достохвальной цензуры, то я в своем стесненном положении уподобился Бенвенуто Челлини, когда ему при отливке Персея не хватило

бронзы и для заполнения формы пришлось бросить в плавильную печь все оловянные тарелки, какие оказались под рукой. Легко, конечно, было отличить олово, в особенности оловянный конец книги, от более благородной бронзы, но тот, кто знал толк в ремесле, не выдал мастера.

Однако все в мире повторяется, и вышло так, что при этих «Дополнениях» возникли подобные же стеснительные условия, и мне опять пришлось примешать к литью много олова. Хотелось бы, чтобы это оловянное литье приписано было исключительно требованиям времени.

Ах! Ведь и вся эта книга возникла в силу требований времени, так же как и прежние сочинения подобного характера; близкие друзья автора, знакомые с его личными обстоятельствами, очень хорошо знают, как мало влечет его на трибуну собственный, личный интерес и какие огромные жертвы ему приходится приносить за каждое свободное слово, которое он с тех пор вымолвил и, бог даст, еще вымолвит. В нынешнее время слово есть дело, последствия которого предусмотреть нельзя; никто ведь не может знать, не придется ли ему в конце концов и претерпеть за свои слова.

Много лет уже я напрасно жду слова тех отважных ораторов, которые в былое время в собраниях немецкой молодежи так часто просили слова, и так часто побеждали меня своими ораторскими талантами, и говорили таким многообещающим языком; прежде они были так несдержанно болтливы, а теперь так сдержанно тихи. Как поносили они тогда французов и западный Вавилон и того антинемецкого фривольного предателя отчизны, который хвалил все французское. Хвалы эти оправдались в великую неделю.

Ах, великая парижская неделя! Правда, дух свободы, которым повеяло оттуда в Германию, опрокинул кое-где почники, так что красные завесы кое-каких тронов загорелись, и золотые венцы накалились под вспыхнувшими ночными колпаками, но старые соглядатаи, которым вверен полицейский надзор над Германией, уже тащат ведра с водой и принимают участие с тем большею бдительностью, и тайком куют цепи более крепкие, и я замечаю уже, как незримо воздвигаются еще более непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа.

Бедный народ-пленник! Не отчаивайся в своем несчастье. О, если бы речь моя была как катапульта! Если бы сердце мое могло метать огненные снаряды!

Ледяная оболочка гордости оттаяла вокруг моего сердца, меня охватывает страшная скорбь — не любовь ли это, любовь к немецкому народу? Или это — болезнь? Душа моя трепещет, глаза горят, а это — неподходящее состояние для писателя, который должен владеть своим материалом и оставаться строго объективным, как того требует художественная школа и как поступал сам Гете — он дожил при этом до восьмидесяти с лишним лет, и был министром, и приобрел состояние... Бедный немецкий народ! Это твой самый великий человек!

Мне недостает нескольких страниц, и я расскажу еще одну историю — она со вчерашнего дня не выходит у меня из головы — это история из жизни Карла V. Однако с тех пор, как я ее слышал, прошло уже много времени, и я не вполне точно помню подробности. Такие вещи легко забываются, когда не получаешь определенного жалования за то, чтобы каждые полгода читать эти старые истории по тетрадке. Да и что в том, если забываешь названия местностей и даты, лишь бы удержать в памяти внутренний смысл таких историй и их мораль. Она-то собственно и звучит у меня в мыслях и настраивает меня грустно, чуть не до слез. Боюсь, не заболеть бы мне.

Бедный император был взят в плен врагами и сидел в строгом заточении. Кажется, это было в Тироле. Он сидел там одинокий и грустный, покинутый всеми рыцарями и придворными, и никто не приходил к нему на помощь. Не знаю, отличался ли он уже тогда той творящей бледностью лица, с какой он изображен на портретах Гольбейна. Но нижняя губа, выражавшая презрение к человечеству, выступала вперед, несомненно, еще резче, чем на этих портретах. Нельзя же было ему не презирать людей, которые с такой преданностью пресмыкались перед ним в солнечном сиянии счастья, а теперь покинули его одного во мраке невзгоды. И вот внезапно отворилась дверь темницы, и вошел человек, закутанный в плащ; когда он откинул свой плащ, император узнал верного Кунца фон дер Розена, придворного шута. Он — придворный шут — принес ему утешение и совет.

О немецкая отчизна! Дорогой немецкий народ! Я твой Кунц фон дер Розен. Человек, чье ремесло собственно — развлекать, тот, который должен был веселить тебя в дни счастья, — он проникает в твою темницу в час невзгоды; здесь, под плащом, я принес тебе твой мощный скипетр и прекрасную корону. Ты не узнаешь меня, мой император? Если я не могу освободить тебя, то я хоть утешу тебя; пусть около тебя будет человек, который и поболтает с тобой о твоём тяжелом горе и ободрит тебя, любя, — тот, чьи лучшие шутки и лучшая кровь — к твоим услугам. Ибо ты, народ мой, истинный император, истинный владыка над страпою, — твоя воля закон, она много законнее, чем пурпурное *tel est notre plaisir*,¹ которое ссылается на божественное право, основанное исключительно на пустословии фигляров с тонзурами; твоя воля, народ мой, единственный законный источник всяческой власти. Пусть ты и лежишь в оковах, — в конце концов победит твое бесспорное право, близится час освобождения, пачинается новое время, ночь минула, мой император, и за окном занимается утренняя заря.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, ты ошибаешься; ты, может быть, отточенный топор принимаешь за солнце, а утренняя заря — это только кровь?

— Нет, мой император, это — солнце, хоть оно и восходит на Западе; шесть тысячелетий оно всходило на Востоке, пора ему изменить свой ход.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, ты потерял бубенчики от своего красного колпака, он теперь какой-то странный, твой красный колпак.

— Ах, мой император, я так скорбел о вас и так неистово тряса головой, что дурацкие бубенчики соскочили с колпака, но он не стал от этого хуже.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, что это грохочет и трещит там, за стеной?

— Тише, это пила и плотничий топор. Скоро распдутся двери вашей темницы, и вы станете свободны, мой император.

— Разве правда — я император? Ах, ведь это только шут говорит мне!

¹ Так нам угодно (*франц.*).

— О, не вздыхайте, дорогой мой государь, это воздух темницы внушил вам такой страх; когда вы вернете свою власть, вы вновь почувствуете в жилах смелую императорскую кровь и станете гордым, как император, и высокомерным, и милостивым, и несправедливым, и улыбчивым, и неблагодарным, как все государи.

— Кунц фон дер Розен, мой шут, что ты станешь делать, когда я опять буду на свободе?

— Я пашью себе на колпак новые бубенцы.

— А как мне вознаградить тебя за твою верность?

— Ах, государь, не велите убивать меня!



ДОПОЛНЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ 1834 ГОДА

Всегда будет представляться трудным решение вопроса, как надлежит переводить немецкого писателя на французский язык. Следует ли опускать там и здесь мысли и образы, в тех случаях, когда они расходятся с цивилизованными вкусами французов и когда они могли бы показаться им преувеличением, неприятным и даже смешным? Или не следует ли вводить неприлизанного немца в прекрасный парижский свет со всей его зарейнской оригинальностью, фантастически расцвеченным германизмами и перегруженным чрезмерно романтической орнаментацией? Что до меня, то, на мой взгляд, не следует передавать неприлизаннный немецкий язык прирученной французской речью, и я предстаю здесь самолично в моем прирожденном варварстве наподобие индейцев Шаррюаса, которым вы оказали прошлым летом столь благосклонный прием. Ведь я тоже боец, каким был великий Такуабе. Он умер, и бранные останки его благоговейно сохраняются в зоологическом музее Jardin des Plantes,¹ этом Пантеоне животного царства. Эта книга — балаган. Войдите, не бойтесь. Я не такой злой, как кажется. Я раскрасил себе лицо такими страшными красками лишь для того, чтобы в бою напугать моих врагов. В сущности же я кроток, как ягненок. Успокойтесь же и подайте мне ружье. И мое ору-

¹ Ботанического сада (франц.).

жие тоже можете потрогать, даже лук и стрелы, ибо я затупил их наконечники, как делаем мы, варвары, всегда, приближаясь к священному месту. Между нами говоря, эти стрелы были не только остры, но и ядовиты. Ныне они совершенно безвредны и безобидны, и вы можете развлечься, рассматривая их пестрое оперение; даже ваши дети могли бы поиграть ими.

Расстанусь с татуированным языком и стану объясняться по-французски.

Стиль, связь мыслей, переходы, резкие выходы, страпность выражения — словом, весь характер немецкого подлинника дословно, насколько это было возможно, воспроизведен в этом французском переводе «Reisebilder». ¹ Чувство красоты, изящество, приятность, грация принесены в жертву буквальной точности. Теперь — это немецкая книга на французском языке, которая не имеет притязаний понравиться французским читателям, но лишь познакомить их с чужеземным своеобразием. Словом, я намерен поучать, а не только развлекать. Таким именно способом мы, немцы, переводили иностранных писателей, и это было нам полезно: здесь мы усваивали новые точки зрения, словесные формы и обороты речи. Такое приобретение не повредило бы и вам.

Предположив прежде всего познакомить вас с характером этой экзотической книги, я не видел необходимости представлять ее вам в полном виде, прежде всего потому, что многие эпизоды в ней, покоящиеся на местных намеках и на намеках, отражавших современность, на игре слов и иных особенностях этого рода, не поддавались французской передаче; далее, потому, что многие места, со всей враждебностью направленные против лиц, неизвестных во Франции, могли во французском переводе подать повод к самым неприятным недоразумениям. В связи с этим я опустил главный отрывок, где дано было изображение острова Нордерней и пемецкой знати. Отдел об Англии сокращен более чем вдвое; все это отнеслось к тогдашней политике. Те же побуждения заставили меня отказаться от ряда глав в отделе «Италия», написанном в 1828 году. И все же, сказать правду, мне пришлось бы пожертвовать всем этим отделом, если бы я вздумал

¹ «Путевых картин».

по таким же соображениям воздерживаться от всего, касающегося католической церкви. Однако я не мог позволить себе не устранить одну, слишком резкую часть, слишком отдававшую ворчливым протестантским рвением, оскорбляющим вкус веселой Франции. В Германии такое рвение ни в каком случае не могло считаться неуместным, ибо в качестве протестанта я имел возможность наносить обскурантам и тартюфам вообще и немецким фарисеям и саддукеям в частности удары гораздо более верные, чем если бы я говорил как философ. Однако, чтобы читатели, вздумав сопоставить перевод с подлинником, не могли на основании этих сокращений обвинять меня в чрезмерных уступках, я объяснюсь с полной определенностью по этому вопросу.

Книга эта, за исключением нескольких страниц, написана до Июльской революции. В эти годы политический гнет установил в Германии всеобщее глухое безмолвие; умы впали в летаргию отчаяния, и человек, все же осмелившийся заговорить, вынужден был высказаться с тем большей страстностью, чем более он отчаялся в победе свободы и чем яростнее партия духовенства и аристократии неистовствовала против него. Я употребляю эти выражения «духовенство» и «аристократия» по привычке, так как в ту пору всегда пользовался этими словами, когда в одиночестве вел эту полемику с поборниками прошлого. Эти слова были тогда понятны всем, и я, должен сознаться, жил тогда терминологией 1789 года и орудовал большим выбором тирад против клириков и дворянства, или, как я их там называл, против духовенства и аристократии; но с тех пор я ушел дальше по пути прогресса, и мои любезные немцы, разбуженные июльскими пушками, следовали по моим стопам и говорят теперь языком 1789 года и даже 1793 года, однако настолько отстали от меня, что потеряли меня из виду, и уверяют себя, что я остался позади их. Меня обвиняют в чрезвычайной умеренности, в том, что я сошелся с аристократами, и я предвижу день, когда меня обвинят в сговоре с духовенством. На самом деле под словом «аристократия» я понимаю теперь не только родовую знать, но всех, кто, как бы они ни назывались, живет за счет народа. Прекрасная формула, которою мы, как и многими превосходными вещами, обязаны сен-симонистам — *«эксплуатация человека человеком»*, —

ведет нас далеко за пределы всяких разглагольствований о привилегиях рождения. Наш старый боевой клич против жречества равным образом заменен лучшим лозунгом. Речь больше не идет о насильственном ниспровержении старой церкви, но о создании новой, и, далекие от желания уничтожить жречество, мы хотим теперь сами стать жрецами.

Для Германии, несомненно, период отрицания еще не закончен; он едва начался. Напротив, во Франции он как будто приходит к концу; мне во всяком случае представляется, что здесь следовало бы скорее отдаться положительным устремлениям и заняться воссозданием всего благого и прекрасного, что есть в наследии прошлого.

Из некоторого литературного суеверия я оставил немецкое заглавие моей книги. Под именем «Reisebilder» она преуспела на свете (гораздо больше, чем сам автор), и мне захотелось, чтобы она сохранила это счастливое название и во французском издании.

Геррх Гейне.

Париж, 20 мая 1834 года

КОММЕНТАРИИ

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

Рядом с «Книгой песен», вышедшей в 1827 году, «Путевые картины», печатавшиеся часть за частью между 1826 и 1830 годами, являются значительнейшим достижением Гейне в первый период его литературной деятельности — «немецкий», предшествующий эмиграции во Францию. По обстоятельствам довольно случайным текст отдельных частей «Путевых картин» при жизни Гейне публиковался вместе с другими его произведениями в стихах и в прозе, не имевшими внутреннего отношения к «Путевым картинам». Гейне при жизни не успел очистить «Путевые картины», вынести их в особый том без всяких посторонних добавлений. Очищенные «Путевые картины» предполагались для полного собрания его сочинений, судя по письму Гейне к издателю Юлиусу Кампе от 27 апреля 1843 года. В посмертных изданиях, примеру которых мы следуем, принято «Путевые картины» печатать как отдельное самостоятельное произведение, что соответствует и их внутреннему характеру и воле автора.

Некоторое единство связывает все части «Путевых картин» друг с другом. Часть за частью у Гейне создавалась единая книга о Европе конца периода Реставрации, с большими отступлениями в сторону ближайшего и более отдаленного прошлого. То в прямых описаниях, то косвенно, по преданиям и собственным воспоминаниям, Гейне в «Путевых картинах» восстанавливает политическую и социальную жизнь Европы, начиная от французской революции и кончая днями, когда писалась эта книга.

По путевым впечатлениям описаны Германия, Италия, Англия. Предметом размышлений являются в «Путевых картинах» и Франция и Россия, недавно потрясенная восстанием декабристов. Разумеется, в центре внимания Гейне — Германия и ее внутренние

дела. Но Гейне подвинулся до понимания всемирно-исторических связей, он хорошо видел, что политическое освобождение Германии неотделимо от порядка вещей в Европе. Над европейскими народами тогда осуществлял свою контрреволюционную диктатуру так называемый «Священный союз монархов». Реакция тогда действовала общими силами, в международных масштабах. Гейне в «Путевых картинах» призывает к сплочению демократических сил, к «Священному союзу народов», как он выражался. Гейне проявляет редкостное понимание национальных культур, он превосходный истолкователь национальной культуры и психологии, идет ли дело о его родной стране, идет ли дело об англичанах и итальянцах. В той же мере «Путевые картины» — книга интернациональная, проповедующая братство народов, добывающих своих политических прав, народов, связанных общим интересом борьбы против режима Реставрации. Внимание и проникновение, с каким Гейне описывает чужие народы, вызваны этим чувством общности их судеб и целей с немецкими. Можно было бы назвать «Путевые картины» написанным в прозе «Странствованием Чайльд Гарольда», ибо у Гейне, как в поэме Байрона, весь кругозор заполнен народами Европы, страждущими в политической неволе и как бы подающими друг другу весть о том, что общими усилиями они могли бы освободить себя.

Ближайшая политическая задача, которую проповедует Гейне в «Путевых картинах», состоит в борьбе против Реставрации и остатков феодальной системы, охраняемых политикой Реставрации. Этим содержанием «Путевых картин» отнюдь не исчерпывается. Гейне предчувствует новый революционный кризис в Европе, предзнаменованиями которого были события 20-х годов: восстания в Греции, в Испании, в Пьемонте, в Неаполе, в Петербурге (декабристы). Ощущение кризиса вдохновляет его на далеко идущие планы, на «идеи» как он их называет, — в еще смутной форме мысль Гейне устремляется к более полному и завершенному освобождению человечества, чем то, какого можно было ожидать, устранив в Европе политическую власть дворянства. «Путевые картины» завершаются «Английскими фрагментами», содержащими острую и пронзительную критику буржуазной цивилизации.

«Путевые картины» были и остаются книгой борьбы за демократическую Европу, за равноправие народов, за построение ими свободного общества, соответственно принципам социальной справедливости, недостижимым ни для феодальной, ни для капиталистической системы.

Часть первая ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ

В сентябре 1824 года Гейне, тогда еще студент университета в Геттингене, предпринял большую пешеходную прогулку по горам Гарца. Побывал он также и в других местах, в Веймаре представился Гете. В конце октября того же года Гейне принялся излагать на бумаге впечатления, вынесенные из этого путешествия. К концу ноября сочинение было дописано; несколько позже Гейне заново пересмотрел и поправил его. В печать оно по разным обстоятельствам попало не сразу: Гейне пошел навстречу издательским предложениям, оказавшимся ненадежными. Только в 1826 году «Путешествие по Гарцу» было опубликовано в журнале Губитца «Gesellschafter», однако с такими искажениями, что Гейне стал торопиться с отдельным изданием, которое должно было представить читателям новое сочинение в его подлинном виде.

В 1826 году Гейне выпустил «Путевые картины», часть 1, куда входили «Путешествие по Гарцу», а также песни цикла «Опять на родине» и вольные стихи «Северное море», цикл 1. Для этого издания Гейне снова переработал свою прозу, сравнительно с редакцией, которая была дана для журнала Губитца.

Читательский успех «Путешествия по Гарцу» был велик. В пять месяцев издатель Кампе распродал в одном Гамбурге 500 экземпляров — цифра, в тогдашних условиях значительная. Проза Гейне шла навстречу давно назревшим в Германии потребностям. Это не значит, что критика оказалась способной ее оценить. Однако вокруг нее сразу возник журнальный шум.

Любопытно, что на сочинение Гейне откликнулись некоторые персонажи его, и впервые произошло то «оживание» персонажей за пределами книги, с которым Гейне постоянно приходилось иметь дело позднее — после публикации нового сочинения. Лица, задетые Гейне, узнавали себя и громко протестовали. Гейне писал в «Путешествии по Гарцу» о некоем «черном, еще не повешенном маклере, с мошенническим, мануфактурно-торговым лицом» (стр. 65), и этот маклер «ожил»: Иозеф Фридендер из Гамбурга объявил, что он и есть этот маклер, и стал повсюду похваляться, будто он как следует проучил дерзкого автора. Более безобидным оказалось выступление странствующего комиссионера Карла Дэрне, поместившего свои поправки к Гейне на страницах того же журнала «Gesellschafter», где впервые было напечатано «Путешествие по Гарцу». Этого человека Гейне описал в качестве бродячего подмастерья, встреченного за Остероде (стр. 15—16). По поводу этой встречи Гейне делает свои

заклучения о паивной народной душе и об особом народном поппмании песни и поэзии. Карл Дерне рассказал в печати, что он только прикинулся простоватым малым, — из его рассказа явствовало, что он куда учнее и опытнее, чем мог подумать автор «Путешествия по Гарцу». По словам Дерне, сперва Гейне его мистифицировал, объявив, что исполняет поручение турецкого султана и набирает для него рекрутов. Гейне спросил, не хочет ли его дорожный знакомец записаться, тот в свою очередь ответил мистификацией, стал оплакивать брауншвейгского герцога, попавшего в плен к туркам на пути в Святую землю и т. д. и т. д. Мелочи эти обладают своей поучительностью. Они показывают, насколько документальной была проза Гейне. Импровизации, дерзкие шутки, произвол сатирика и юмориста у Гейне сочетались с весьма точным записывавшем всего, что было увидено в пути.

Проза Гейне даже в мелочах опирается на факты. Ведь и Карла Дерне он описал правильно, что же касается толкований Гейне, кто такой был этот встреченный в дороге человек, то неизвестно, действительно ли Гейне попал впросак: быть может, Гейне, как это он обыкновенно делал, описал свою встречу точно, а истолковал, как это ему нужно было. Тот же Карл Дерне подтвердил фактичность описаний Гейне и в отношении других персонажей — он сам своими глазами видел того молодого купца в двадцати пяти пестрых жилетах, который попал на страницы «Путешествия» (стр. 18). Гейне брал точные факты, а разрабатывал их свободно. Контраст между фактичностью материала и свободой художественной манеры — принцип, который у Гейне проводился последовательно. Конечно, не всегда нужны были специальные изыскания и указания, чтобы подтвердились факты, описанные у Гейне. Очень многое в «Путешествии по Гарцу» было хорошо известно, по личному опыту и наблюдению, каждому немецкому современнику Гейне: местности, города и села, дороги, нравы, учреждения. Гейне все отмечает точно, даже гостиницы и рестораны. Тем разительнее для современников был способ трактовки этих общеизвестных и общезнакомых предметов у Гейне.

Сочувственные отзывы в журналах были довольно поверхностными. Один из критиков (подписавшийся «Vir») весьма невысоко оценил способности Гейне писать весело и остроумно и сделал вывод, что сатира вряд ли является поприщем, на котором Генриху Гейне суждено стяжать лавры. Другой критик — из «Всобщей литературной газеты», издававшейся в Галле (1826 г., № 307, декабрь), — пустился рассуждать, почему Гейне так неприязненно пишет о Геттингене и об университете в Геттингене, и решил, что при-

чипа этому личные псуадачи и неприятности, случившиеся там у Гейне: ведь его удалили из Геттингенского университета, — «*Consilium absundi*» и объясняет сатиру Гейне. Так мелко, так неприглядно понимали тогда немецкие литераторы общественную сатиру и публицистику, первые уроки которой Гейне стал им преподносить в своих «Путевых картинах». Оскорблены были и их верноподданнические, раболозные чувства. Так, критик из «Лейпцигской литературной газеты» (1827 г., № 134, май) обиделся и возмутился, как посмел Гейне сравнить статуи германских императоров в Госларе с зажаренными университетскими неделями (стр. 25—26).

Не столь давно Иоганнес Бехер среди немногих произведений немецкой литературы, проникнутых чувством родины, назвал «Путешествие по Гарцу» (см. сборник статей Бехера «*Verteidigung der Poesie*», стр. 44). Действительно, Гейне в этом сочинении дал картину всей Германии, какой она была к началу 1820-х годов. В «Путешествие» вошли национальный пейзаж, народная песня, народные предания, сам народ в его домашней и трудовой жизни, — напомним об эпизодах, посвященных горнякам Гарца. «Путешествие» в глубине своей лирично, таит добрые чувства к немецкой родине, полно поэтической преданности немецкой земле, национальным духовным богатствам. Но лирика у Гейне сочтается с самой безжалостной сатирой. Чтобы охранить будущее Германии, Гейне вооружается сатирой на ее настоящее. Немецкий провинциализм, мелкость интересов, следующая из национальной раздробленности, обывательщина или, как Гейне ее называет, «филистерство», отсутствие гражданской жизни, рабство политическое, переходящее в рабство духовное, — все это многократно задето сатирой Гейне, и ко всему этому Гейне относится непримиримо. «Путешествие по Гарцу» кладет начало тем сочинениям Гейне, где из любви к Германии ведется жестокая борьба со всеми силами прошлого и настоящего, загорающими для нее пути естественного свободного национального развития.

Стр. 7. Э п и г р а ф взят из «Речи памяти Жан-Поля», произнесенной Людвигом Берие 2 декабря 1825 г. во Франкфурте и в том же месяце опубликованной (Жан-Поль Рихтер скончался 14 ноября 1825 г.).

Стр. 8. *Людер* — студент в Геттингене, известный в студенческой среде своими спортивными успехами, боксер и фехтовальщик.

«...когда я поступил в университет и вскоре затем был исключен...» — Гейне поступил в Геттингенский университет в октябре 1820 г., а в январе 1821 г. был на полгода исключен из-за дуэльной истории.

Стр. 8. *Вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюрингенцы* — германские народности. «Отирьсками» их Гейне шутливо называет студенческие корпорации, построенные по принципу землячества: «Тевтония», «Тюрингия», «Саксония» и т. д.

Раезенмюле, Риченкруг, Бовден — деревни вокруг Геттингена, места, где обыкновенно происходили студенческие дуэли.

Стр. 9. *К.-Ф.-Х. Маркс*. — Упомянутая книга называлась: К.-Ф.-Х. Маркс, «Геттинген в медицинском, физическом и историческом отношении». Издана в Геттингене, в 1824 г.

Сад Ульриха — один из увеселительных садов Геттингена.

*Ученый **** — И. Ф. Блуменбах (1752—1840), один из самых известных профессоров Геттингена, физиолог, естественник-энциклопедист. Блуменбах, любитель курьезов, составил огромную коллекцию занимательных выписок, относившихся к разным областям знания. Литературные журналы обращались к нему с просьбами что-либо опубликовать из собранной коллекции.

Стр. 10. *Георгия-Августа* — название Геттингенского университета.

Римские казуисты. — Казуистикой назывался особый отдел науки права, посвященный законодательному регулированию тех или иных частных случаев («казусов»). Казуистика давала возможность для всяческого хитроумия и схоластических тонкостей в правовых вопросах.

Трибониан — юрист VI в., занимался вместе с другими юристами составлением кодекса римского права, предпринятым по указанию императора Юстиниана.

Гермогенан — римский юрист.

Слестенные руки — марка издательства Вехеля, издававшего под этой маркой *Corpus juris* Юстиниана.

Шефер и Дорис — два педеля Геттингенского университета; Гейне переименовал имя только второго из них: вместо Дорс — *Дорис*, имя пастушки из пасторали. *Шефер* по-немецки пастух; Шефер и Дорис — пастух и Дорис, герой и героиня пасторали, идиллии.

Гесснер Соломон (1730—1788) — уроженец немецкой Швейцарии, поэт и пейзажист, известен своими «Идиллиями». Вопреки сказанному у Гейне, в идиллиях Гесснера нет пастушки с именем *Дорис*.

Шефер... писатель... — На обязанности Шефера лежало составлять каждое полугодие личные списки Геттингенского университета.

Стр. 11. *Россиниевская песенка*. — О песенке Россини здесь говорится в шутку. Гейне приводит слова известной немецкой студенческой песни, грубоватой, сочиненной на диалекте.

Стр. 13. *Фемида* — богиня правосудия у древних римлян.

Рустикус. — Гейне латинизирует фамилию геттингенского профессора Алтона Бауера (1772—1843), известного юриста, принимавшего активное участие в законодательстве Ганновера. Rusticus (лат.), der Bauer (нем.) — крестьянин.

Кюаццус — латинизированная фамилия французского юриста Жака де Кюжа (de Cujas, 1522—1590). Здесь Гейне называет «Кюаццусом» Густава Гуго (1764—1844), историка римского права, одного из основателей так называемой «исторической школы» в правовой науке, у которого Гейне учился в Геттингене.

«*Ах ты, маленький повеса...*» — Фемида подшучивает над толкованием, которое давал Густав Гуго в своем «Учебнике по истории римского права» одному неясному месту в Юстиниановом кодексе: вопрос касался деревьев, растущих на границе двух владений, — юристы спорили о том, что и как у этих деревьев подлежало вырубке.

Стр. 14. *Прометей, прикованный к скале истязаний*. — Подразумевается Наполеон, заточенный на острове св. Елены. Во 2-м французском издании «Путевых картин» Гейне изменил текст: «Злобная власть и безмолвное насилие С в я щ е н н о г о с о ю з а приковали героя к скале, з а т е р я н н о й в о к с а н с е». Таким образом, сам Гейне расшифровал до конца, кого он называет современным Прометеем.

Старик Мюнхгаузен — Герлах Адольф барон фон Мюнхгаузен (1688—1770), государственный деятель, первый куратор новооснованного университета в Геттингене. Не следует смешивать его с бароном Мюнхгаузеном, героем фантастических походов.

Стр. 15. *Странствующий подмастерье* — см. введение к комментариям (стр. 445—446).

«*Герцог Эрнст*» швабский — герой популярной еще со времен средневековья легенды, повествовавшей о сказочных поездках на Восток.

Оссиан — древнешотландский певец (бард), которому Макферсон приписал песни, изданные им в 1760—1762 гг. Книгу свою Макферсон выдал за перевод на английский язык ритмической прозой произведений древней кельтской поэзии, на деле только весьма вольно использованной им. Для «песен Оссиана» характерны приподнятый стиль, зловещий ночной пейзаж, туманный и таинственный.

«*Лотта над Вертера гробом скорбит*». — Летучий листок со стихами под этим названием появился в 1775 г. Это была попытка по-своему пополнить и продолжить роман Гете: Лотта оплакивает смерть Вертера; муж Лотты, Альберт, цедовольный ее поведением,

отстрашается от нее; Лотте и Вертеру обещано в небесах соединение, бывшее недоступным для них на земле.

Стр. 16. *Гофман Э.-Т.-А.* (1776—1822) — известный писатель, автор новелл и романов, сочетавших фантастику с точным и острым реализмом; Гофман любил пестроту красок, резкие контрасты и сопоставления, крутые переходы. Это в равной степени относилось и к его литературным произведениям и к его рисункам, — он был также и оригинальным рисовальщиком.

Стр. 17. *Таблица умножения.* — В Ганновере и после Гейне и даже в нашем столетии к изданиям катехизиса прилагалась таблица умножения.

Стр. 20. *«Ура, Лафайет!»* — Генерал Лафайет, в прошлом участник войны за независимость Соединенных Штатов и герой французской революции, посетил Америку в 1824 г. в качестве «гостя нации». Лафайету был устроен торжественный прием.

Стр. 21. *Герцог Кембриджский* — младший сын английского короля Георга III; с 1816 г. был наместником в Ганновере, с 1831 по 1837 г. — вице-королем.

Песня о верном Эккарте — песня, пересказывающая старинную легенду об Эккарте. Эта сложившаяся еще в средневековые времена легенда была известна Гейне по повелле Людвигу Тика (1799). Верный Эккарт жестоко пострадал от своего господина, герцога Бургундского, и потерял обоих своих сыновей. Однако же Эккарт сохраняет преданность герцогу, спасает его от смертельной опасности. Позднее, по смерти герцога, Эккарт ради герцогских сыновей жертвует жизнью.

Стр. 22. *...немецкая волшебная сказка...* — Все сказочные мотивы, упомянутые Гейне, восходят к собранию сказок бр. Гримм (1812—1815).

Стр. 23. *Гофрат Б. из Геттингена* — Фридрих Бутервек (1765—1828), эстетик, историк литературы, профессор Геттингенского университета; был автором, мыслящим и писавшим в духе рационализма XVIII в.

Адальберт Шамиссо (1781—1838) — известный писатель, автор романтической повести «Чудесная история Петра Шлемиля» (1814), баллад, рассказов в стихах, политических стихотворений. Шамиссо был писателем демократически настроенным, в политических вопросах мыслил либерально. Гейне всегда относился к Шамиссо с симпатией и поддерживал с ним дружественные отношения.

Стр. 26. *Собор в Госларе* был срыт в 1820 г., о чем тот же Готшалк писал с великим сожалением в 3-м издании своего «Путеводителя».

Стр. 26 *Лука Кранах* (1472—1553) — выдающийся немецкий художник, один из классиков немецкой национальной живописи.

Стр. 27. *Батавия* — прежнее название Джакарты, столицы Индонезии, в то время голландской колонии.

Стр. 28. *Клотар*. — По предположению Ю. Петерсена, Гейне заимствовал миф о Клотаре (Котаре) из примечаний Клеменса Брентано к его драме «Основание Праги» (1815), написанной по материалам славянского фольклора. У Брентано сказано: «Клотар, в сказаниях Крайны, человек, живущий на луне; он поливает ее водой, и луна растет».

Стр. 29. «*Австрийский наблюдатель*» — правительственная газета, издавалась в Вене в 1810—1832 гг., была известна своим сугубо реакционным направлением.

Саул Ашер (1767—1822) — берлинский книготорговец и автор популярно-философских сочинений, последователь философии Канта. С Ашером Гейне встречался в Берлине.

Стр. 30. «*Немецкие рассказы*» *Фарнхагена фон Энзе*, берлинского литератора, старшего друга и покровителя Гейне, вышли в 1815 г.; Гейне имеет в виду рассказ под названием «Предостережение призрака».

Стр. 42. *Ретци* Мориц (1779—1857) — дрезденский художник, выпустивший в 1816 г. свои гравюры к «Фаусту» Гете (ч. 1), — 26 листов; они были переизданы в 1820 г. в Лондоне, к концу 20-х годов их снова переиздавали в Германии.

«*Вечерняя газета*» («*Abendzeitung*») — издавалась в Дрездене Теодором Винклером; вокруг этого издания объединились дрезденские литераторы, эпигонствующие романтики.

«*Ратклиф*» и «*Альмангор*» — обе трагедии Гейне вышли в свет в 1823 г. («Трагедии и Лирическое интермеццо»).

Стр. 45. *Клаудиус* Матнас (1740—1815) — разносторонний литератор, автор популярных лирических песен, юмористических баллад (средин них — «Путешествие Уриана», положенное на музыку Бетховеном).

«*Блокберг — филистер долговязый*». — Гейне цитирует строчку из широко известной застольной песни Клаудиуса.

Стр. 46. *Палестрина* (1514—1594) — итальянский композитор, классический мастер католической культовой музыки. По всей вероятности, Гейне имеет в виду «Мессу папы Марцелла», самое знаменитое из произведений Палестрины.

Стр. 47. «*Путевые письма*», точнее — «Письма из Швейцарии» Гете. В письме от 3 октября 1779 г. рассказано о споре с одним молодым человеком, утверждавшим, что хороши только первые впечатления.

Стр 47. *Баронесса Элиза фон Гогенгаузен* (1791—1857) — переводчица поэмы Байрона «Корсар» и его лирических стихотворений. В Берлине Гейне был постоянным посетителем ее салона. Она же едва ли не первая провозгласила Гейне немецким Байроном. Литературная критика 20-х годов очень часто делала это сопоставление, и потому Гейне был особо чувствителен ко всем немецким толкам о Байроне, часто весьма враждебным к английскому поэту: филистеров оскорбляли бунтарские настроения Байрона, критический и дерзкий дух его поэзии — его «безбожие, безлюбивость» и т. д., как об этом и говорит Гейне иронически к концу своей беседы с дамами, встреченными на Брокене.

Стр. 48. *Шютц* Христиан Готфрид (1747—1832) — литератор и филолог, с 1804 г. профессор в Галле; поэтому студенты из Галле и судачат именованно о нем, выступают как его толкователи — «экзегеты» (его окна *экзегетически освещены*).

...*последний прием у кипрского короля*... и т. д. — Имеются в виду шуточные «пивные государства», которые устраивались студентами различных корпораций; очевидно, студенты из Галле учредили свое «кипрское королевство», король которого вступил в шуточный брак с принцессой другого, такого же пивного братства, именовавшего себя герцогством Лихтенштейн. О каких именно высоких особах ведут разговор студенты, Гейне поясняет тут же.

Можно предполагать, что идея «серапионова братства», особого замкнутого мира, экстерриториального, имеющего свой собственный внутренний распорядок, была навеяна Э.-Т.-А. Гофману этими играми немецких студентов в герцогства и королевства бражников. Таким образом, «Серапионовы братья» Гофмана восходят в известном отношении к «художественному быту» его современников — к играм театрального или политеатрального порядка, к импровизациям и шуткам, характерным в этом быту.

Высоцкий — берлинский ресторатор, в заведении которого осуществлялись театральные постановки легкого жанра.

...*дирекция театров должна проявлять*... — указание на реформы, которые проводил граф фон Брюль в период 1815—1828 гг., руководитель берлинского королевского театра. Он добивался исторической точности в костюмах и в сценической обстановке, особенно в парадных и праздничных сценах. С реформами Брюля, с их своеобразным натурализмом вел в печати полемику Людвиг Тик, известный поэт, драматург и театральный деятель.

Мария Стюарт, лорд Берли — герои трагедии Шиллера «Мария Стюарт».

Стр 48 *Христиан Гумпель* — гамбургский банкир. См. «Луккские воды», где он выведен под именем маркиза Гумпелино.

Стр. 49. *Профессор Лихтенштейн* (1780—1857) — известный зоолог, основатель зоологического сада в Берлине.

«*Ненависть к людям и раскаяние*» — пьеса плодовитого немецкого драматурга Коцебу, написанная в чувствительном, «слезном» жанре. Появилась в 1789 г. и долго после того пользовалась шумным успехом на сцене, и не только на немецкой. Ее ставили также и в России, в ней играл П. С. Мочалов, роль Неизвестного считалась одной из лучших его ролей. Другие драмы Коцебу тоже прочно держались в русском репертуаре. Чичиков, только что приехавший в губернский город, читает афишу: «дается драма Коцебу («Испанцы в Перу, или Смерть Ролла») с участием г. Поплевина и девицы Зябловой» (Гоголь, «Мертвые души», ч. 1, гл. 1).

Спонтини (1774—1851) — итальянский оперный композитор; долгое время был главным дирижером в Берлине и оказал заметное влияние на жизнь немецкого музыкального театра. Оперы его отличались пестротой и преувеличенностью стиля, были рассчитаны на чрезвычайные эффекты. Гейне, весьма небезразличный к судьбам оперного искусства, постоянно преследовал Спонтини своей сатирой, начиная с «Писем из Берлина» и вплоть до своих сочинений парижского периода.

Огё — известный берлинский танцовщик 20-х годов. Чрезвычайно высоко оплачивался сравнительно с другими артистами тогдашней берлинской оперы (о гонорах балета см. у Гейне на этой же странице ниже).

Бухгольц (1768—1843) — берлинский ученый, автор «Истории Наполеона Бонапарта», издатель историко-политических журналов.

Союзный сейм («Бундестаг») — общегерманское учреждение, с 1815 по 1848 г. объединявшее уполномоченных от немецких государств, с резиденцией во Франкфурте на Майне. После Венского конгресса был образован «Германский союз», куда входили, кроме мелких княжеств, Пруссия и немецкие области Австрии. «Бундестаг» являлся верховным органом «Германского союза». Однако «Бундестаг» не располагал никакой реальной властью, «Германский союз» был фиктивным объединением.

Мелкие государи — правители мелких немецких государств, лишённые фактической самостоятельности, подчинившиеся политическому руководству Пруссии и Австрии.

Европейское равновесие — доктрина, созданная на Венском конгрессе Политика «равновесия» должна была сменить политику Наполеона, стремившегося к гегемонии в Европе. Предполагалось

«равновесие» между двумя западными державами — Францией и Англией, и тремя восточными — Россией, Австрией и Пруссией. На деле «равновесие» не устранило противоречий между европейскими государствами. Помимо того, Венский конгресс, насильственно соединяя и раздробляя национальности, создал почву для новых национальных движений и революций, и это было серьезнейшей угрозой для «равновесия», опекаемого им.

Стр. 49. *Конгресс*. — Имеются в виду конгрессы держав, входивших в Священный союз: конгресс в Троппау (1820), конгресс в Лайбахе (1812), конгресс в Вероне (1822), собиравшиеся для подавления революции в Испании, Неаполе, Пьемонте и Португалии.

...нашего непомерно великого друга на Востоке... — Подразумевается царская Россия, через «Священный союз монархов» оказывавшая решающее влияние на европейские дела.

Стр. 50. ...как говорит Сервантес — см. «Дон-Кихот», ч. 1, гл. 2; сказано о трактирщике.

Стр. 51. *Арминий* (Герман) — вождь германского племени херусков; в Тевтобургском лесу разбил римские легионы, над которыми начальствовал римский наместник Вар (9 в. н. э.). Победа Арминия обеспечила германским племенам независимость от Рима.

В. Мюллер, Рюккерт, Уланд — известные поэты 1820-х годов, авторы лирических песен.

Метфессель Альберт (1785—1869) — популярный композитор, сочинявший музыку для песен; друг Гейне.

Арднт Эрнст-Мориц (1769—1860) — поэт, историк, публицист национально-патриотического направления. В период господства Наполеона в Германии был одним из вдохновителей национально-освободительного движения. Песня Арндта «Господь железо сотворил» — популярнейшая из «песен мести», созданных немецкими патриотами в этот период.

«*Вина*» — драма Адольфа Мюллнера, относившаяся к жанру так называемых «драм судьбы». Появилась в 1816 г., долго пользовалась сценическим успехом.

Стр. 52. «*Душа моя скорбит!..*» — пародия на поэзию Оссиана.

Стр. 53. «*Прекрасна ты, дочь неба!..*» — дословный перевод из Оссиана.

Стр. 54. «*К чему будишь ты меня!..*» — дословный перевод из Оссиана, взятый из «Вертера» Гете, где Оссиан цитируется.

«*Falcidia*». — По инициативе народного трибуна Фальцидия в 40 г. до н. э. в Риме был издан закон, разрешающий дарить по завещанию не более $\frac{3}{4}$ имущества.

Стр. 54. *Ганс* Эдуард (1797—1838) — известный юрист, публицист и философ, ученик Гегеля, с 1826 г. профессор Берлинского университета; друг Гейне. Главное исследование Ганса — «Наследственное право в его всемирно-историческом развитии», 4 тома (1824—1835).

Серв. Азиниус Гешенус — пародийная латинизация имени берлинского профессора, юриста Гешена (1777—1837). *Азиниус* — от лат. *asinus* (осел). Гешен был связан с реакционной «исторической школой» в науке права.

Стр. 55. *Маркус Туллий Эльверсус* — пародийная латинизация имени известного ученого юриста Эльверса (1797—1858), тоже примыкавшего к «исторической школе» (ср. Марк Туллий Цицерон); та же шутка позднее по поводу Массмана: Маркус Туллийс Массманус (поэма «Германия», гл. X).

Двенадцать таблиц — древнейший памятник римского права: двенадцать бронзовых таблиц, на которых были записаны законы (450 г. до н. э.).

Стр. 56. *Конгривовы взоры*. — Вильям Конгрив — изобретатель зажигательных ракет (1804).

Дворец принца Паллагонии, находившийся вблизи Палермо, отличался необыкновенными причудами, нарочитой бессмыслицей и нарочитым безвкусием во всем, что относилось к его архитектуре, внутреннему убранству и обстановке. Подробно этот дворец был описан Гете в «Итальянском путешествии» (запись от 9 апреля 1787 г.).

Стр. 57 *Клаурен* (1771—1854) — модный писатель времен Реставрации, автор повестей, драм, стихотворений. В писаниях Клаурена сочетались приторная сентиментальность с довольно открытым эротизмом.

Теофраст Парацельс (1493—1541) — естествоиспытатель, врач и философ, один из своеобразнейших представителей немецкого Возрождения. Романтики в начале XIX в. возродили интерес к его личности и к его учению. К Парацельсовой классификации цветов по запаху Гейне возвращался и в других своих сочинениях.

Стр. 61. *Но, подобно покойному родичу нашему, похороненному в Мельне...* — В Мельне, вблизи Любека, по преданию, похоронен Тиль Эйленшпигель, герой народных легенд XVI в.

Готшалк сообщает... — Гейне приводит не совсем точную цитату из «Путеводителя по Гарцу» Готшалка.

...в «Вечерней газете». — Гейне указывает на стихотворение Теодора Гелль (Вишклера), появившееся в дрезденской «Вечерней газете» за 1824 г. У Теодора Гелль сюжет изложен несколько иначе: возлюбленный принцессы Ильзы — не рыцарь Вестен-

берг, но пастух из долины, которого принцесса призывает в свой замок, чтобы тот избавил ее от домогательств волшебника.

Стр. 61. *Ниман* — автор «Путеводителя для путешественников по Гарцу» (1824).

Стр. 62. «*Люнебургская хроника*». — По всей видимости, Гейне так называет известную «Саксонскую всемирную хронику».

Стр. 63. *Георг Сарториус* (1765—1828) — геттингенский профессор, историк либерального направления, выступавший против полицейского террора, господствовавшего в период Реставрации (сочинение «о бедствиях, угрожающих Германии», 1820). Гейне в Геттингене поддерживал близкие отношения с Сарториусом и обратился к нему с советом (см. Соч., т. 1, стр. 188).

...*последних вздохов погибающих народов...* — указание на книгу Сарториуса «Опыт о формах правления остготов во времена их владычества в Италии» (1811).

Стр. 65. *Нищий на мосту*. — Нищий на Ломбардском мосту был хорошо известной фигурой в тогдашнем Гамбурге.

...*черного, еще не посвященного маклера...* — подразумевается Иозеф Фридлендер (см. введение к комментариям, стр. 445).

Часть вторая

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

ИДЕИ. КНИГА ЛЕ ГРАН

2-я часть «Путевых картин» вышла в 1827 году; в нее входили в качестве добавления «Вольные стихи» «Северного моря», цикл II, и «Письма из Берлина». Собственным ее содержанием, которое сохранилось и в последующих прижизненных изданиях, являлись прозаические фрагменты «Северного моря» и «Книга Ле Гран».

Фрагменты «Северного моря» подсказаны были впечатлениями, полученными Гейне на острове Нордерней, где он провел два летних сезона, 1825 и 1826 года. Во французском издании «Путевых картин» они так и именовались: «Нордерней». Однако описания морского курорта и его гостей занимают в этом сочинении ничтожное место. Заглавие «Нордерней» — едва ли нечто большее, чем указание, где и в какой обстановке фрагменты эти писались. В прозу «Северного моря» Гейне вплетает размышления на любые темы, занимавшие его, будь то судьбы современных народов Европы, будь то роман Вальтер Скотта или история Наполеона. Критик «Иенской литературной газеты» (сентябрь 1827 г.) писал: «Панегирик в честь Гете и защита князя поэтов от его противников могли бы с равным, нет, — с еще большим основанием датироваться ученым кабинетом.

автора или горой Везувий, чем островом Нордерней». Своим друзьям Гейне предлагал посылать ему материал, которым можно было бы заполнить эти страницы. У Мозера он просил высказываний о состоянии наук в Берлине, в Германии или в Европе: «Гегель, санскрит, д-р Ганс, символика, историческая наука» (письмо от 14 октября 1826 г.). Со сходной просьбой Гейне обращался к Фарнгагену. Гейне считал возможным объединить под одним переплетом не только свои, но и чужие сочинения. Это показывает, в каком свободном стиле и жанре оно было задумано. На приглашение Гейне отозвался лишь один Карл Иммерман. Присланные им «Ксении» Гейне поместил позади текста «Северного моря».

Однако же центральным произведением во второй части «Путевых картин» являлись не фрагменты «Северного моря», но «Идси. Книга Ле Гран». Именно «Идеи» произвели чрезвычайный шум; ни прежние, ни последующие выпуски не имели того успеха у публики, как часть вторая, куда включены были «Идеи». На фоне бурных толков, возбужденных повсюду в Германии этой новой книгой, Гейне впервые почувствовал свою писательскую славу.

«Идси. Книга Ле Гран» — произведение большого художественного и философского богатства. Оно автобиографично, лирично и полно размышлений на темы всемирной истории и национальных судеб немецкого народа. Личную лирику Гейне смелыми переходами связывает с философской и политической публицистикой, демонстрируя таким образом, что вопросы политики и исторической жизни являются областью, неотделимой от личных интересов всех и каждого, и обратно — все и каждый в своем интимном сознании могут и должны ощущать себя гражданами, активными лицами в жизни общества и государства. Общая позиция Гейне в «Книге Ле Гран» заключала в себе вызов и серьезнейшую по своему значению полемику. Немецкому народу веками внушали рабское, верноподданническое сознание: дела общества и государства не суть его собственные дела, о них заботятся лица, поставленные законом, долг его — повиноваться и выполнять указанное свыше, быть самим собой человеку народа положено только в замкнутой сфере домашних и узко личных забот. Гейне показывает, с какой личной страстью могут переживаться события и отношения, лежащие далеко за чертой непосредственно личных интересов, как велики могут быть общественно-исторический пафос и гражданская активность у тех, в ком они не только не предполагаются, но кому они прямо воспрещены существующим политическим строем.

Другу своему Меркелю в письме от 1 января 1827 года Гейне писал по поводу «Книги Ле Гран»: «Наполеон и французская рево-

люция изображены в ней во весь рост». Само прикосновение к теме Наполеона и революции было вызовом по адресу Реставрации, официальных ее идеологов и их доктрины. Реставрация предписывала не заглядывать в ближайшее прошлое европейских обществ; события французской революции, а также и Наполеон насильственно вычеркивались из памяти народов. Немало анекдотов было связано с этими официальными ухищрениями, с этими попытками сделать вид, будто старый режим, каким он существовал накануне 1789 года, естественно, без всяких перерывов продолжает свою историю и в настоящие дни. «Книга Ле Гран» восстанавливает в его живых чертах это неприятное для политиков Реставрации наполеоновское время; автор с воодушевлением вспоминает о разгроме, который учинил Наполеон феодальным правителям Германии, о тех минутах, когда Наполеону стоило только разжать губы, свистнуть — «и Пруссии не существовало больше». Разумеется, Гейне вовсе не слагал хвалу Наполеону, как завоевателю Германии, как французскому императору, для которого оккупированные немецкие земли должны были служить всего лишь колониальным придатком к Франции, дополнением к ее экономическим и военно-политическим интересам. На полноту и всесторонность образа Наполеона автор «Книги Ле Гран» несколько не притязает, образ Наполеона у него намеренно стилизованный, условный, что дает ему право выдвигать и подчеркивать лишь одну сторону в немецкой политике Наполеона: каковы бы ни были мотивы действий Наполеона, он приобщил Германию к большой исторической жизни, утвердил в завоеванных немецких провинциях новый общественный порядок, разрушил феодальные учреждения, режим крепостничества, привилегий для одних и бесправия для других. Когда Гейне описывает въезд Наполеона в свой родной город Дюссельдорф, то в этом описании все время происходит смещение масштабов: выясняется, как малы были вещи, обиходные для немцев, казавшиеся им великими и непреложными и получившие свой истинный масштаб, когда они очутились лицом к лицу с таким действительно значительным явлением как Наполеон и традиции французской революции, — а традиции эти, хотя и частично, но все же сохранялись при Наполеоне, и к ним он приобщал Германию. Многие юмористические эпизоды возникают, когда факты немецкой жизни переносятся на всемирно-исторический масштаб: присущие им мелкость, провинциальность, экзотичность и анекдотичность неожиданно вскрываются. Таков, например, рассказ Гейне о том, как Наполеон, пренебрегая установленными полицией пятью талерами штрафа, спокойно ехал по самой середине дворцовой аллеи в Дюссельдорфе, и о том, как ни

один полицейский служитель не оказал сопротивления императору (глава 8).

Не случайно Гейне объявил в письме Меркелю, что тема его нового сочинения — Наполеон и французская революция. О ней нигде прямо не говорится, но она повсюду проглядывает за темой Наполеона. О ней живейшим образом напоминает барабанщик Ле Гран, который у Гейне почти всегда появляется рядом с Наполеоном. Барабанщик Ле Гран умеет исполнять на своем барабанае «красный марш гильотины», и марш этот незаметно сливается с маршами наполеоновских походов и побед над феодальной Европой. Присутствие Ле Грана возле Наполеона постоянно указывает, что Наполеон в его войнах против феодальных государств Европы действовал как продолжатель французской революции; оно указывает также на то, что Наполеон — последний значительный деятель целого периода европейской истории, содержание и смысл которому дала революция и который кончился Наполеоном, уступившим место насилию феодальной реакции. Гейне в «Книге Ле Гран» как бы заклинает дух революции вернуться в Европу. Гейне ведет спор, под каким знаком развивается история его времени — под знаком ли реставрированного старого режима или же под знаком революции, лишь ненадолго оттесненной в глубокий фон эпохи и обладающей прежним обаянием и прежней властью над умами современников.

Назвав свою новую книгу «Идеи», Гейне именно и поставил вопрос, каков знак времени, какие «идеи» управляют им. Хотя имя Гегеля нигде в «Книге Ле Гран» не упоминается, однако же Гейне здесь ведет свои расчеты с Гегелем, тогда господствовавшим в духовной жизни Германии. В Берлинском университете Гейне слушал лекции Гегеля, встречался с ним в гостиных Берлина, был окружен в Берлине ревностными гегельянами. Уже первые отклики Гейне на учение Гегеля показывают, что, высоко ценя пафос развития, присущий этому учению, дух диалектики, пронизывающий его, Гейне все же не был намерен безоговорочно подчиняться гегелевской догме и системе. В «Книге Ле Гран» впервые прозвучало требование Гейне, чтобы из учения Гегеля были сделаны практические революционные выводы, которых избегал сам учитель. По Гегелю, в основе исторического движения человечества лежат «идеи», которые проходят через многообразные формы: каждая большая историческая эпоха осуществляет свои особые «идеи», имеет свою задачу, свое направление, которые входят в общую «идею» всемирной истории в ее целом. Из «Книги Ле Гран» явствует, в чем усматривает Гейне «идеи» своего времени, — это освободительные идеи французской

революции, и они неотделимы от массовой борьбы, от революционного наступления масс, от леграновского барабана. В заглавии нового сочинения: «Идеи. Книга Ле Гран» Гейне сталкивает и объединяет эти две силы — силу философского прозрения в задачи времени с силой массового практического действия во имя их. По Гейне, «идеи» хороши не сами по себе, настоящую цену они получают, когда положены на музыку барабана. Гегель, как известно, до конца дней своих относился сочувственно к французской революции, но для Германии опыт ее Гегель отнюдь не считал обязательным. Согласно Гегелю, немцам предстояло полноту освобождения вкусить в духовной жизни, что, как уверяла его философия, является более почетным и высоким призванием, чем практическая революция, известная по опыту французов. У Гейне французская революция имеет универсальное значение: барабан старого французского якобинца Ле Грана у Гейне гремит и для немцев, положительная роль Наполеона у Гейне — в том, что Наполеон насильственно поворачивает немцев на путь европейского политического прогресса, как бы предлагая им самим продолжить дело, начать которое он их принудил. Много позже в стихотворении 1844 года «Доктрина» Гейне кратчайшим способом выразил содержание своей «Книги Ле Гран»: бей в барабан, не зная страха, подымай людей, в этом смысл науки, в этом смысл Гегеля и его философии. Гейне прямо объединяет в этом стихотворении «идеи» с делом революции, и имя Гегеля, как имя мыслителя, с которым ведется полемика, которого дополняют и преобразовывают революционной практикой, не названное в «Книге Ле Гран», в этом стихотворении названо.

Гейне, заполнив «Книгу Ле Гран» автобиографическими признаниями, усилил стремление комментаторов, и без того склонных к психологическому и биографическому толкованию художественной литературы, искать и находить в этой книге реальные факты, пережитые самим Гейне. Исследователь Гейне Эрнст Эльстер довольно упорно стремился установить, о каких именно женщинах ведется речь в «Книге Ле Гран». По мнению Эльстера, главы I и II посвящены воспоминаниям о любви к Амалии Гейне, гамбургской кузине поэта, главы XVIII—XX выдвигают новую героиню — младшую кузину, Терезу, что же касается «madame», к которой обращается автор со своей исповедью, то, как считает Эльстер, это Фредерика Роберт, берлинская красавица, жена известного писателя, поэта и драматурга Людвиг Роберта. Соображения о кузинах весьма спорны, и к тому же — верны они или не верны, довольно безразлично для понимания художественного текста. Скорее всего Гейне говорит в «Книге Ле Гран» не о трех женщинах, но об одной-

единственной, которую он представляет в разных лицах и под разными именами, — это и тема одной-единственной романтической любви, всегда самой себе верной и равной, это и осторожность, несмелость прямо обращаться с речами о любви к той, кого благоговейно любят. Более ценными являются соображения о Фредерике Роберт, — они несколько углубляют для нас тему «madame». Собеседница автора в «Книге Ле Гран» более уверенно рисует для нас как хозяйка одного из салонов времени Реставрации, мы более уверенно можем судить о социальной дистанции, отделяющей в «Книге Ле Гран» автора от дамы, к которой обращена его исповедь. Конечно, «madame» из «Книги Ле Гран» не является точным портретом Фредерики Роберт. Любопытно, что современные Гейне критики хорошо уловили художественное значение этого диалога с дамой, в формах которого проводилась вся «Книга Ле Гран». Один из них писал: «Посвящение этой книги женщине и постоянно протискающееся через речь автора обращение «madame» придает еще более своеобразную окраску всему этому целому, где любовная история, история мира и народов, дела науки и дела общественные переплелись друг с другом столь причудливо, в таком неистощимом богатстве форм и оттенков» («Gesellschaftler», 1827, № 82). Светский диалог, в тоне которого выдержана «Книга Ле Гран», придает ей особый драматизм: автор произносит свои речи гражданина и революционера перед женщиной, которая ценима им, но вряд ли способна откликнуться на интересы, во имя которых он живет.

Фарнхаген фон Энзе писал Гейне 1 июля 1827 года об успехе его книги, но отметил, что читатели опасаются хвалить ее вслух и что даже друзья автора стараются в разговорах о ней придать себе вид высоко добродетельных граждан и людей науки, стоящих на страже интересов порядка. «Коротко говоря, — заключает Фарнхаген, — из сервильного страха всю книгу передают поношению».

Рецензент берлинской газеты писал, что через книгу Гейне нужно пробираться, приняв меры предосторожности, — иначе замараешься или обдерешься, так много в ней неприятного и колючего материала («Berliner Konversationsblatt», 1827, № 93). Однако другой берлинский критик, уже цитированный у нас, проявил тонкое понимание и замыслов и манеры Гейне и отдавал себе отчет, как значительны идейные масштабы нового сочинения. Он писал об умении Гейне все подводить под большие мысли, даже предметы, казалось бы не поддающиеся этому. Он сравнивал книгу Гейне с картиной природы после морской бури, когда восходит солнце, освещает обломки кораблекрушения и золотит самые ничтожные из них; все перепутано — и ценное и ничего не стоящее, духовное достояние

автора и духовные богатства, принадлежащие всем. Талант автора, по словам этого критика, — талант освещения, иной раз это освещение на лету, иной раз с одной только стороны, но всегда сильное и яркое. В этой книге, говорит критик, заключаются «все содержание жизни европейского человечества», все его пожелания и вздохи, все, что было упущено и не достигнуто им, и все, чем оно обладает и наслаждается, все дела его и все его устремления. Внешность книги, — писал этот критик, — резка и причудлива, но внимательному взгляду открывается, какой глубокой и благородной человечности она полна («Der Gesellschafter», 1827, № 82).

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Стр. 72. «*Избирательное сродство*» — роман Гете (1809). Герои этого романа, Эдуард и Оттилия, испытывают глубокое влечение друг к другу, они как бы связаны тем «избирательным сродством», о котором учила тогдашняя химическая наука. Эдуард и Оттилия не смеют предаться своей любви. У Эдуарда и у жены его, Шарлотты, появляется ребенок, поразительно похожий на Оттилию, — у него глаза Оттилии. Так у Гете наследственность определяется чисто духовными путями, и об этих-то «материалистически-мистических законах» и говорит Гейне.

Стр. 74. *Мориц* Карл-Филипп (1757—1793) — автор романа «Антон Рейзер», который Гейне по ошибке именуется «Филипп Рейзер». При жизни Морица вышли 4 тома этого романа, в 5-м (посмертном) содержался диалог Фауста и Мефистофеля, приводимый Гейне. Мориц был известен своим поклонением Гете. Он познакомился с Гете в 1781 г. в Италии, а позднее бывал у Гете в Веймаре. В романе Морица герой действительно мечтает о том, чтобы стать слугой при Гете, если иначе нельзя приблизиться к великому человеку.

Стихи, цитированные Гейне, входили в первоначальную редакцию «Фауста» Гете (так называемый «Urfaust»), опубликованную полностью только в 1887 г.

...в *кляуреновской улыбке*... — см. о Клаурене примечание к стр. 57.

Вольфганг-Аполлон. — Гейне переименовывает имя Гете — Иоганн-Вольфганг — на античный образец, желая подчеркнуть античную природу поэзии Гете.

Стр. 75. «*Дневник Бертольда*» — роман Освальда «Отрывки из дневника Бертольда» (1826). В этом романе изображалась жизнь студенчества, охваченного господствовавшим тогда в его среде

националистическим движением, — жизнь так называемых «буршен-шафтлеров», культивировавших первозданную грубость нравов и воззрений, в чем, по их мнению, заключалась верность национально-народным традициям.

Стр. 75. *Дендрский зодиак* — знаки зодиака, изображение созвездия в виде зверей на своде древнеегипетского храма в селении Дендра. Храм был посвящен богине любви Гатор.

...наполненный ртутью юноша... — Ртуть — традиционное средство лечения сифилиса. Ирония Гейне: «наполненный ртутью юноша» восхваляет «добродетель и чистоту».

«Достоинство женщины» — известное стихотворение Шиллера (1795), в котором прославляется примирительная роль, выпадающая на долю женщины во всех конфликтах жизни. Гейне улавливал в этом стихотворении филистерский оттенок, и поэтому оно представлено у него в столь неблагоприятном свете.

«Па илла илл алла, самохамед расуль алла» (арабск.) — «Нет бога кроме бога, и Магомет — пророк его».

Стр. 76. *Архенгольц* (1741—1812) — историк и публицист, автор пятигольных путевых записок «Англия и Италия» (1787), наполненных отрицательными суждениями об Италии.

Коринна — героиня романа госпожи де Сталь «Коринна, или Италия» (1807), в котором Италия и итальянцы, природа и культурные богатства Италии описаны восторженно. В письме от 18 ноября 1823 г. Гейне рекомендует своему другу Мозеру читать «Коринну».

«Предметное мышление» — так определил характер мышления Гете доктор Гейнрот в своем «Учебнике антропологии» (1822). Эта формула была сочувственно принята самим Гете, который распространил ее также на свое поэтическое творчество.

Стр. 77. ... *критика Шлегеля*... — Гейне говорит о критических сочинениях Августа-Вильгельма Шлегеля, своего учителя по Боннскому университету, в ту пору еще высоко им ценимого.

Шубарт Карл-Эрнст (1796—1861) — автор опубликованной в 1821 г. книги под названием: «Идеи, относящиеся к Гомеру и его веку. Этико-исторический трактат». В 1820 г. Шубарт выпустил двухтомный труд о Гете.

Стр. 78. *Феликс Мендельсон-Бартольди* (1809—1847) — известный композитор, пианист и дирижер, уже в раннем возрасте проявивший свои музыкальные способности. В «Письмах из Берлина» Гейне говорил о мартовском концерте 1822 г. с участием Мендельсона и передает мнение музыкантов об этом мальчике, «музыкальном чуде», «втором Моцарте, быть может».

Стр. 79. *Светлый мир здесь погребен когда-то...* — Гейне цитирует 5-ю строфу стихотворения Вильгельма Мюллера «Винета» (1826). К Вильгельму Мюллеру Гейне относился с любовью и уважением, считая его в некоторых отношениях своим учителем в поэзии.

Стр. 81. *Григорий VII* — римский папа (1073—1085), домогался светского могущества для римского престола, стремился укрепить католическую церковь, строго следил за соблюдением закона о безбрачии (целибате) в среде духовенства. Этого-то ревнителя христианского аскетизма Гейне и переселяет в султанский гарем.

Антиэллинские кабинеты. — Когда в Греции в 1821—1822 гг. разразилось национально-освободительное восстание против Турции, то европейские державы, входившие в Священный союз, отказали грекам в поддержке на том основании, что они посягают на права своего «законного государя» — турецкого султана. Такова была позиция венского кабинета во главе с Меттернихом, а также и царской России.

Пифагор — греческий философ и математик VI в. до н. э.; вклад его в геометрию — так называемая «пифагорова теорема». Учил о переселении душ.

Стр. 82. *Герта* — правильно Нертус; именно так называет древнюю богиню Тацит в книге о Германии, гл. 40.

Форсете — у Гейне здесь ошибка: Форсети — бог, о котором ничего не говорится у Тацита. Он входит в семью богов древнесверной мифологии: Форсети — сын Бальдра. Неверно у Гейне и написание этого имени.

Стр. 83. *Шлегель* — Август-Вильгельм Шлегель, с 1818 г. до своей смерти в 1845 г. профессор литературы в Боннском университете.

Ардт — см. примечание к стр. 51.

Гюльман — боннский профессор, историк и юрист.

Радлов — боннский профессор, историк.

Как установлено биографами, Гейне весьма точно указывает, какие занятия он посещал в Боннском университете в 1819—1820 гг.

Стр. 84. *...влияние ганноверского дворянства...* — На Венском конгрессе по настоянию Англии границы Ганновера были значительно расширены.

Немецкий легион. — После распада ганноверской армии (1803 г.) английское правительство составило из ее офицеров и унтер-офицеров, влив их в корпус герцога Брауншвейгского, так называемый «немецкий легион», который оно потом заставило сражаться в разных странах Европы.

Стр. 84. «Многих людей города посетил и обычаи видел» — цитата из «Одиссеи» Гомера (песнь I, стих 3, перевод В. А. Жуковского).

Стр. 85. ...родословных деревьев с привязанными к ним лошадыми... — Скачущая лошадь — герб Ганноверского герцогства.

«Турнирная Книга» Рюкснера, впервые изданная в 1566 г. и содержащая сведения о турнирах в немецких землях и об участниках турниров, снискала себе дурную славу малодостоверного источника по вопросам дворянских генеалогий.

Стр. 86. *Лютеция* — латинское наименование Парижа.

.. басню о медведе... — На этот сюжет были написаны басни Геллерта и Лессинга.

Медиатизированные... — мелкие государи Германии, у которых Наполеон отнял власть (1806—1815).

Стр. 88. *Мейтленд* — командир корабля «Беллерофон», в 1826 г. издал книгу, где описывал пребывание Наполеона на этом корабле.

Ласказ, маркиз, добровольно последовавший за Наполеоном на остров св. Елены, записал со слов Наполеона часть его мемуаров. По смерти Наполеона Ласказ издал «Мемуары со Святой Елены» (1823—1824 гг., 8 томов), весьма существенные как исторический источник.

О'Мира — врач Наполеона на острове св. Елены до 1818 г.; опубликовал книгу «Наполеон в изгнании, или голос со Святой Елены», Лондон, 1822 г.

Антомарки, сменивший О'Мира в качестве врача Наполеона, опубликовал книгу «Наполеон в последние годы жизни», Париж, 1823, 2 тома.

Стр. 89. *Г-жа де Сталь* враждебно относилась к Наполеону, изгнавшему ее из Франции.

Кант. — Гейне не совсем точно цитирует высказывание Канта из «Критики способности суждения», ч. 2, § 77. Гейне берет свою цитату не прямо из Канта, но из одного сочинения Гете, где эта цитата приводится (статья «О том какую великую пользу принесло одно остроумное слово», 1820).

Стр. 91. *Беллок* — английский автор, опубликовавший в начале 20-х годов две книги о Мексике по материалам своих путешествий.

Стр. 92. *Алексис Виллибальд* (1797—1871), немецкий писатель, приобретший впоследствии широкую известность как исторический романист, опубликовал в 1823 г. роман «Валладмор», а в 1827 г. роман «Замок Авалон», выдав их за переводы новых романов Вальтер Скотта.

Брониковский — Александр Опельн-Брониковский (1788—1834), немецкий писатель польского происхождения, автор романов из истории Польши.

Стр. 92. *Купер* Фенимор (1789—1851) — знаменитый американский романист.

Сегюр Поль-Филипп (1780—1873) — французский генерал и военный писатель, автор «Истории Наполеона и Великой армии в 1812 году», 1824, 2 тома.

Стр. 93. *Скалы Эллары*. — Эллора — селение в Индии с древними храмами в виде гротов, украшенными многочисленными изображениями на темы эпических поэм «Махабхарата» и «Рамаяна».

Иммерман Карл опубликовал в 1822 г. драму «Ронсевальская долина».

Стр. 94. *Король Неаполитанский* — маршал Мюрат, один из главных сподвижников Наполеона, сделанный им королем Неаполитанского королевства.

Принц Евгений Лейхтенбергский, *Ней*, *Бертье*, *Даву* — французские полководцы, участники похода 1812 г.

Дарю — генерал-интендант в армии Наполеона.

Коленкур — наполеоновский посланник в Петербурге вплоть до войны 1812 г.; после разгрома французской армии сопровождал Наполеона при бегстве его во Францию.

Агамемнон, *Орест*. — Гейне сравнивает Наполеона с Агамемноном, а с Орестом — сына и наследника Наполеона, герцога Рейхштадского (умершего в 1832 г., никогда не царствовавшего, но вошедшего в историю под именем Наполеона II). Античный Орест отомстил за гибель своего отца Агамемнона, герцог Рейхштадский обязан отомстить за Наполеона — такова мысль Гейне.

Петеры Шлемми. — Петер Шлемиль — тип неудачника, несчастливца, герой известной повести Шамиссо того же названия.

Стр. 94—95. *Гильдбурггаузен*, *Мейнинген*, *Альтенбург*. — Между отдельными саксонскими герцогствами после смерти последнего герцога Гота-альтенбургского Фридриха IV, в 1825 г. разгорелся спор о наследстве, закончившийся только к исходу 1826 г. Из Готы и Кобурга было создано новое герцогство; герцог Фридрих Гильдбурггаузенский получил княжество Альтенбург, а Гильдбурггаузен и Заальфельд вошли в герцогство Саксен-мейнингенское.

Стр. 95. «*Ксении*» (греч.) — приношение, подарок гостям. «Ксениями» Гете и Шиллер называли сатирические двустишия, с которыми они выступили в 1797 г. «Ксении» были направлены против отрицательных явлений немецкой литературы. Иммерман написал свои «Ксении» вслед за Шиллером и Гете, заимствуя у них форму заостренного, эпиграмматического двустишия и тоже обращая эти эпиграммы против литературных современников.

Стр. 95. Поэтический литератор. — Эпиграммы под этим названием адресованы Францу Горну (1781—1837), автору четырехтомной истории немецкого красноречия и поэзии (1822—1829), многословной и не отличавшейся богатством мысли.

Векерлин Георг (1584—1653), *Ганс Сакс* (1494—1576) — немецкие поэты; Иммерман требует от Фр. Горна точных исторических сведений вместо излияния чувств и разглагольствований.

Стр. 96. Д р а м а т у р г и.

1 — адресовано известному драматургу Мюллеру, в 20-х годах перешедшему на публицистику, на издание газет, изобиловавших скандальным материалом, взятым из современного литературного быта. Мюллер не замедлил ответить Иммерману в своей газете очень злой собственной «Ксений».

2 — адресовано известному поэту, романисту и драматургу Де Ла Мотт-Фуке (1777—1843), восхвалителю феодально-рыцарских времен и нравов; во время освободительной войны 1813 г. он служил в войсках в качестве ротмистра.

3 — адресовано драматургу Хоувальду (1778—1845), автору «драм судьбы».

4 — адресовано Эрнсту Раупаху (1784—1852), чрезвычайно плодовитому драматургу, автору многочисленных исторических драм, заполнявших немецкий репертуар в 20—40-х годах.

В о с т о ч н ы е п о э т ы. — В 1819 г. появился «Западно-восточный диван» Гете. Он вызвал многочисленные подражания, сложилось особое «восточное» направление в немецкой поэзии. В начале 20-х годов выступил Рюккерт со сборником «Восточные розы», граф Платен публиковал одно за другим собрания своих «газелл». Против Рюккерта и в особенности против Платена и обращены эти эпиграммы Иммермана. Платен, чрезвычайно задетый, отомстил Иммерману, а в особенности Гейне, выпадами против них обоих в своей комедии «Романтический Эдип». Именно эпиграммы Иммермана, помещенные Гейне в «Северном море», положили начало вражде между Гейне и Платеном.

Саади (1184—1291) — один из величайших персидских поэтов.

Филомела, *Буль-буль*. — Иммерман говорит о переходе современных поэтов от античной манеры к восточной, от греческого соловья («филомела») к персидскому соловью («буль-буль»).

Поэт маститый — Гете, автор «Западно-восточного дивана». *Мелкота* — подражатели Гете.

Газеллы. — Газеллами у восточных поэтов называются краткие лирические стихотворения, где первые два стиха связаны рифмой, а в последующих рифма дается через строчку, причем для всего

стихотворения рифма одна и та же. Система рифм в газелле: аа-ба-са-да... Мастером газеллы был знаменитый персидский поэт Гафиз. Среди современников Иммермана и Гейне, помимо Платена, писанием газелл занимался Рюккерт.

Стр. 97. Колокольный звон. — Толстый пастор — Фридрих Штраус (1786—1863), с 1822 г. придворный проповедник в Берлине и профессор университета. С 1815 по 1820 г. публиковалось его сочинение «Колокольный звон, или воспоминания одного юного проповедника».

Orbis pictus — «Мир в картинках»; так назвал свою учебную книгу по родному языку, изданную в 1658 г., знаменитый чешский педагог Ян Коменский, требовавший наглядности в обучении и включивший поэтому в свою книгу разнообразные иллюстрации.

«Как владеет языком он!» — направлено против Платена, прodelьывавшего рискованные эксперименты с немецким стихом.

Много я стерпеть способен... — очевидно, направлено против Платена.

Стр. 98. Ты мне нравился когда-то... — об известном романтическом писателе Фридрихе Шлегеле, авторе вольнодумного романа «Люцинда» (1799), прославляющего свободную любовь; позднее Фридрих Шлегель стал реакционным публицистом и ревностным католиком.

В недрах английской, испанской и потом браминской школы... — об Августе-Вильгельме Шлегеле, старшем брате Фридриха. Как критик и переводчик Август-Вильгельм Шлегель занимался из английских драматургов — Шекспиром, из испанских — Кальдероном, а с 1823 г. стал издавать «Индийскую библиотеку», превратившись в ученого санскритолога.

Этот город полон статуй... — По-видимому, здесь говорится о Дрездене, одном из крупнейших художественных центров Германии.

ИДЕИ. КНИГА ЛЕ ГРАН

Стр. 100. Ягор — известный ресторан в Берлине.

Стр. 102. *Burstah* — улица в Гамбурге.

Bemman (1760—1814) — известная актриса.

La belle Ferronière — женский портрет в галерее Лувра, изображение возлюбленной короля Франциска I; портрет приписывается кисти Леонардо да Винчи.

Стр. 103. Погребок сеньора Унбешейдена — известный в Гамбурге погребок, где отпускались устрицы.

Strada San Giovanni — переделанное на итальянский лад название улицы в Гамбурге *Johannisstraße*.

Стр. 105. *Принц Гомбургский* — герой трагедии Клейста того же названия (1810 г.). Клейст кончил жизнь самоубийством.

Эмонт — герой трагедии Гете «Эмонт» (1787).

Эдвин — герой трагедии Иммермана «Эдвин» (1822).

Майор Дюван, Израэль Лёве — по всей очевидности, вымышленные лица. Фамилия *Лёве* (Löwe—лев) позволяет заключить анекдот каламбуром. «Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом» — изречение царя Соломона («Экклезиаст», гл. IX, 4).

Стр. 107. *Дэсагернаут* (Джаггарнат) — место, куда направлялись паломники в древней Индии; там находились святилища Кришны и других богов, в честь которых весной устраивались особые празднества («празднества колесниц»).

Вальмики — поэт, которому приписывалось сочинение древнеиндийского эпоса «Рамаяна».

Страдания божественного Рамы, ушедшего в многолетнее изгнание по проискам своей матери, а потом надолго расставшегося со своей верной женой, похищенной демоном, составляют сюжет поэмы «Рамаяна».

Калидаса — великий индийский поэт V в. н. э., автор драмы «Сакунтала». ¹ Немецкий перевод «Сакунталы», сделанный известным писателем Георгом Форстером, появился в 1790 г.

Франц Бопп (1791—1867) — выдающийся языковед, один из родоначальников сравнительного языкознания; с 1821 г. профессор в Берлине, где Гейне слушал его лекции. «*Наль*» (изд. в 1819 г.) — опубликованная Боппом часть древнеиндийской поэмы «Махабахарата», за которой последовала публикация и других ее частей. «*Система спряжения санскритского глагола сравнительно с греческой, латинской, персидской и германской*» — труд Боппа, изданный в 1816 г.

Стр. 108. *Анно 1811.*—1811 год был знаменит большим урожаем винограда.

Стр. 109. *Геррес* Иозеф (1776—1848) — немецкий литератор. Сначала энтузиаст французской революции, потом враг ее, в пору наполеоновских войн — яростный агитатор против французского владычества, издатель чрезвычайно влиятельного в среде немецких патриотов «*Рейнского Меркурия*» (1814—1816). Очень долгое время Геррес был связан с Рейнской областью, и после победы над Наполеоном выступал против Пруссии, получившей Рейнскую область по решению Венского конгресса. Однако Геррес постепенно сходил на позиции самого реакционного национализма и одновременно

¹ См. К а л и д а с а, Избранное, Гослитиздат, М., 1956.

менно становился фанатическим пропагандистом католичества. В этой роли он вполне преуспел в католическом Мюнхене, где с 1826 г. состоял профессором университета. В своих мистико-религиозных сочинениях поздней поры провозглашал реальное существование дьявола и т. д. и т. д., стал одним из вождей вопиющего католицизма в Германии. В «Северном море» Гейне еще не пелемизирует с Герресом; в Мюнхене он ближе познакомился с ним и с тех пор относился к нему непримиримо.

Стр. 111. *Маленький Вильгельм.* — В действительности мальчика звали Франц Вицевский. Этому печальному происшествию Гейне позднее посвятил стихотворение «Воспоминание» (см. т. 3, стр. 97).

Стр. 112. *...художник, отливавший статую...* — итальянец Групелло.

Стр. 113. *...когда в одно прекрасное утро...* — Гейне описывает день 21 марта 1806 г.

...отец уехал... — Подразумевается курфюрст баварский Макс Позеф, под властью которого находилось до той поры и княжество Берг, включавшее Дюссельдорф. От княжества Берг курфюрст отказался 15 марта 1806 г.; уже 25 марта состоялся торжественный въезд в Дюссельдорф нового правителя, Мюрата, назначенного Наполеоном.

Стр. 114. *...сумасшедший Алоизий... пьяный хромой Гумперц...* — Оба они были хорошо известны в Дюссельдорфе. Это были своего рода городские знаменитости, имена и приметы которых Гейне в точности сохранил. В популярной местной песенке 1813 г. говорится о том, как пьянствуют Алоизий, хромой Гумперц и Ланасса:

Der krumme Gumperz, das Aloyschen,
Selbst die Lanassa besäuft sich ganz.

Стр. 115. *Великий герцог Иоахим* — Иоахим Мюрат, шурин Наполеона. Присяга Мюрату состоялась 26 марта 1806 г. Мюрат не отличался высоким происхождением, он был сыном трактирщика и военную службу начал солдатом.

Стр. 117. *Нибур* (1776—1831) — немецкий ученый, историк древнего Рима, известный своим строго критическим отношением к источникам. В частности Нибур скептически отнесся к свидетельствам Тита Ливия о древнеримских царях.

Аман — см. историю Эсфири в Библии. Аман, могущественный вельможа, задумал истребить иудеев, живших в персидском царстве, но Эсфирь склонила царя Артаксеркса отправить Амана на виселицу.

Стр. 118. *Вадцек* (1782—1823) — берлинский журналист и издатель, филантроп, «отец 360 детей улицы», как он называл себя.

Стр. 119. *Аделунг* Иоганн-Христоф (1732—1806) — автор известного «грамматико-критического словаря» немецкого языка и грамматических пособий.

Профессор Шрамм, преподававший в Дюссельдорфском лицее, был автором сочинения о «вечном мире» (1815).

...цикорий и сахарная свекла... — Гейне говорит о своеобразных последствиях «континентальной блокады». Она проводилась по требованию Наполеона и в экономическом отношении отрезала Англию от континента Европы, являясь экономической войной против Англии. Позднее сказалась оборотная сторона «блокады», не предусмотренная Наполеоном. В таких странах, как Германия, избежавших от английской конкуренции, стали развиваться новые отрасли хозяйства. Так развилась немецкая культура свеклы и цикория. См. иронические замечания Маркса: «сахар и кофе обнаружили в XIX веке свое всемирно-историческое значение тем, что вызванный наполеоновской континентальной системой недостаток в этих продуктах толкнул немцев на восстание против Наполеона и, таким образом, стал реальной основой славных освободительных войн 1813 года» (Маркс и Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. III, стр. 45, «Немецкая идеология»).

Стр. 122. *Les jours de fête sont passés!* — цитата из оперы Ансома «Говорящая картина».

Марсельеза — гимн французской революции, созданный в 1792 г.

Ça ira, ça ira... — революционная песня, созданная в 1789 г.

Дессауский марш — военный марш итальянского происхождения, привившийся в Германии с начала XVIII в.; этому произведению протезировал известный прусский полководец Леопольд, князь Ангальт-Дессауский («старый Дессауер», *der alte Dessauer*).

Стр. 123. *Тайный советник Шмальц* (1760—1831) — профессор Берлинского университета, юрист; известен был своим ретроградным направлением, доносами на патриотическую молодежь, сделанными в печати.

Павзаний — греческий автор II в. н. э.: в своем «Описании Эллады» Павзаний рассказывает о том, как однажды крик осла выманил из засады войско молоссов и как молоссы были поэтому разбиты своими врагами, амбракиотами; позднее благодарные амбракиоты воздвигли в честь осла бронзовую статую.

Стр. 124. *Профессор Заальфельд* (1775—1834) — историк, автор «Истории Наполеона Бонапарта» (1815), чрезвычайно враждебно относившийся к Наполеону. Еще раньше Заальфельд выпустил

памфлет под названием «Сто с лишним фанфаронад корсиканского авантюриста Буона-Парте» (1814).

Стр. 125. *Это произошло в аллее дворцового сада...* — Наполеон находился в Дюссельдорфе 2—5 ноября 1811 г. У Гейне другое время года, другой пейзаж и другое настроение. Гейне вольно обходится с фактами, так как его рассказ о Наполеоне выдержан в тонах легенды и не притязает на документальность.

Стр. 126. *...достаточно этим губам свистнуть...* — В 1806 г. Наполеон разгромил Пруссию под Иеной и Ауэрштедтом и по мирному договору значительно урезал ее территорию, наложил на нее тяжкую контрибуцию и фактически лишил политической и военной самостоятельности. Пруссия во главе с ее правительством оказалась после 1806 г. вассалом Наполеона. Не менее жестокая расправа постигла еще ранее, после войны 1805 г., Австрию: она потеряла многие свои земли, потеряла всякое влияние в Италии и в Германии, и император австрийский должен был отказаться от традиционного титула «Императора Священной Римской Империи».

Клио — муза истории.

Стр. 127. *Сэр Гудсон Лоу* (1769—1844) — английский генерал, с 1815 г. губернатор острова св. Елены, главный надсмотрщик над Наполеоном после его пленения.

«Беллерофон». — После поражения при Белль-Аллиансе Наполеон направился в порт Рошфор и перешел 15 июля 1815 г. на борт стоявшего там английского линейного корабля «Беллерофон», рассчитывая на английское гостеприимство. Но англичане отнеслись к Наполеону как к военнопленному и заточили его на острове св. Елены.

Евангелие Ласказа, О'Мира, Антомарки — см. примечание к стр. 88.

Лондондерри, маркиз, виконт Каслри (1769—1822) — английский политический деятель, один из мрачнейших реакционеров, предмет особой ненависти Байрона и его гневных сатирических выпадов; одержимый манией преследования, покончил жизнь самоубийством.

Профессор Заальфельд — (см. примечание к стр. 124) кончил жизнь, сойдя с ума, — таким образом, пророчество Гейне сбылось в большей степени, чем он сам того ожидал.

В главе 9 Гейне пользуется высказываниями самого Наполеона, известными через мемуаристов. Слова Наполеона звучат и в проклятии, посланном Англии, и в характеристике Гудсона Лоу. «А он был твоим гостем и сидел у твоего очага» — точное повторение слов, сказанных об Англии самим Наполеоном, в записи Антомарки.

Сравнение о-ва св. Елены с гробом господним впервые появилось у Виктора Гюго, в его стихотворении «Два острова» («Оды и

баллады», 1826). Сравнение Наполеона со Спасителем — общее у тогдашних поэтов.

Стр. 127. ...*прогอดил по аллее дюссельдорфского сада*... — Гейне побывал в родном Дюссельдорфе осенью 1820 г.; он провел там только один день, так как семья Гейне к этому времени уже уехала из города.

Слова Главка. — Гейне цитирует «Илиаду» Гомера, песнь VI, стих. 146 и след. (перев. В. Вересаева).

Стр. 128. ...*слышался теперь прусский говор*... — По решению Венского конгресса с 1815 г. большая часть бывшего графства Берг перешла к Пруссии; в Дюссельдорфе с 1821 г. обосновался двор принца Фридриха Прусского.

Стр. 130. ...*по ночам бродит дама*... — Гейне опирается на рассказы о прекрасной Якобе, жене последнего герцога Бергского. После внезапной смерти ее в 1597 г. сложилась легенда, будто она тайно была обезглавлена и появляется в замке как привидение, с собственной головой под мышкой.

Он барабанил выступление... — Гейне цитирует одну из народных песен, помещенных в известном сборнике «Волшебный рог мальчика» (т. I, 1805).

Стр. 132. *Гете.* — Речь идет о «Фаусте» Гете, написанном по следам народного сказания о докторе Фаусте и ярмарочных кукольных спектаклей, инсценировавших его историю.

Шекспир вкладывает в уста шуту... — Речь идет о шуте в трагедии «Король Лир».

Стр. 134. К г л а в е XIII. Гейне широко пользуется в этой главе забытой старинной книгой, разысканной им. Это обширное сочинение Иоганна-Адама Бернгарди, выпущенное в 1718 г. во Франкфурте (на Майне), под заглавием «Краткие истории, касающиеся ученых, где трактованы их происхождение, воспитание, нравы, судьбы, сочинения и пр.». Эта книга полна вздорной учености, и Гейне, играя в ученость, забавляясь причудливыми цитатами и ссылками, многое заимствовал из нее, как показал исследователь «Путевых картин» Левенталь (См. E r i c h L o e w e n t h a l, Studien zu Heines «Reisebildern», Leipzig, 1922).

Леда. — От Зевса, явившегося к ней в виде лебедя, у Леды родилась дочь Елена, виновница троянской войны.

Мой друг Г. — Эдуард Ганс, ученый и публицист, гегельянец, (см. примечание к стр. 54).

Михаэль Бер (1800—1833) — брат композитора Мейербера, драматург, автор драм «Пария», «Струэнзее».

Понсе де Леон — комедия Клеменса Брентано (1804), написанная в духе романтической импровизации.

Стр. 135. *Ф. Шпитта* (1801—1859) — поэт, с которым Гейне был дружен в Геттингене, в годы их совместного учения; свой «Песенник» Шпитта выпустил еще будучи студентом. Позднее Ф. Шпитта приобрел имя как автор духовных песен (сборник «Псалтырь и арфа», 1833) и совсем отказался от светской поэзии. Естественно, что к этому времени пути Гейне и Шпитта совершенно разошлись.

Штейнвег — улица в Гамбурге, где помещались еврейские рестораны.

...многие берлинские ученые... — Имеется в виду берлинский профессор Рюс (Rühs), выступавший в 1816 г. с сочинениями, направленными против гражданского равноправия евреев. В том же духе выступил тогда же и иенский профессор Фриз.

Тацит в своих «Историях», кн. 5, ссылаясь на александрийского грамматика Апиона, утверждал, что в своем иерусалимском храме иудеи поклоняются золотому ослу.

Стр. 136. *Геснер* Иоганн-Матиас (1691—1761) — филолог, профессор и библиотекарь в Геттингене.

Иаков сравнивает с ослом своего сына Исахара... — см. библия, 1 книга Моисеева, 49, 14.

...*Гомер сравнивает с ним своего героя Аякса*... — см. «Илиада», песнь XI, 558—565.

Абелярдус, Пикус Мирандуланус, Борбониус, Куртезиус, Ангелус Полицианус, Раймундус Лулус, Генрикус Гейнеус. — *Абелярд* (1079—1142) — французский теолог и философ; *Пико да Мирандола* (1463—1494) — итальянский гуманист, философ и ученый; *Николай Бурбон* — под этим именем во французской литературе XVI—XVII вв. известны два поэта, писавшие латинские стихотворения; *Куртезиус* (1550—1618) — итальянский поэт; *Анджело Полициано* (1454—1494) — итальянский поэт и ученый, близкий друг Пико да Мирандола; *Раймунд Луллий* (1234—1315) — испанский ученый и философ, схоластик и фантазер, пытавшийся создать механизм для открытия новых теоретических истин. В тексте Гейне все эти имена приводятся в их латинизированной форме, включая и имя самого Генриха Гейне. Среди всех перечисленных Гейне ученых известен был своей любовной историей один только Абелярд (любовь к Элоизе). «*Генрикус Гейнеус*» назван здесь, очевидно, по той причине, что к этому времени несчастливая история его любви была уже известна по собственной его «Книге песен»; *Гуго Густав* — см. примечание к стр. 13. *Мабильон Жан* (1632—1707) — ученый монах-бenedиктинец; по поручению Кольбера ездил в Германию,

собирал по немецким архивам материалы для истории Франции.

Стр. 136. *Рафаил Торус*, точнее Ториус, — врач и автор латинских стихотворений. Его гимн табаку пользовался в свое время известностью. Впервые был опубликован в Лондоне в 1626 г.

Эльзевир — известные книгопечатники XVI—XVII вв., выпустившие в Лейдене и Амстердаме много изданий, — образцов книгопечатного искусства.

Стр. 137. *Де Киншот* — дворянская семья в Голландии, многие члены которой в XVI—XVII вв. приобрели имя как ученые и писатели. О Людовике Киншоте нет особых сведений.

Гревиус (1632—1703) — филолог, историк, историограф Вильгельма III, короля Англии.

Боксгорниус (1612—1653) — голландский писатель, профессор в Лейдене.

Бейль Пьер (1647—1706) — французский мыслитель, скептик и вольнодумец, автор «Исторического и критического словаря», предшественник французского просветительства.

Иог.-Георг Мартиус (1676—1726) — ученый пастор; трактат его появился в 1706 г.

Лот, о котором рассказывается в библии, бежал из Содома; *Тарквиний Гордый*, последний римский царь, был изгнан народом из Рима; *г-жа де Сталь* бежала от преследований Наполеона в Австрию, а потом в Россию и Англию; *Навуходоносор*, царь вавилонский, по рассказу библии, потеряв свой престол, обратился в дикого зверя. Граф *Вениовский*, международный искатель приключений, бежал в 1779 г. с Камчатки, где находился в ссылке; *Магомет* бежал из Мекки в Медину; *вся прусская армия* бежала, разгромленная Наполеоном в войне 1806 г.; *Григорий VII*, папа римский, укрылся в замке Каносса, опасаясь враждебных действий со стороны Генриха IV, явившегося в Италию; *Ицхак* (Исаак) *Абарбанель*, еврейский ученый, бежал в 1492 г. из Испании, когда евреев изгоняли из этой страны; Жан-Жак *Руссо* вынужден был скрываться от преследований, после того как парижский парламент признал его «Эмиля» безбожным сочинением.

Итак, madame, я говорю... Об идеях вообще... — Гейне со значительным опозданием (только в главе XIII) дает нечто похожее на вступление к своей книге, разъясняет ее заглавие, делает обзор ее содержания и т. д., и все это с притворной серьезностью. Гейне следует примеру Стерна, у которого предисловие к «Сентиментальному путешествию по Франции и Италии» появляется лишь после того, как путешествие уже давно началось: оно пишется в Кале, в старой

коляске, которая выставлена для продажи на почтовом дворе. Подобно Стерну, Гейне играет общепринятым порядком изложения и пародирует классификацию и систематизацию. Классификация «идей» у Гейне перекликается с рубриками, на которые Стерн подразделяет в своем предисловии путешественников: простые путешественники, праздные путешественники, любознательные, лгушье и т. д.

Стр. 138. *Гофрат Герен* — известный историк Арнольд-Герман-Людвиг Герен (1760—1842), геттингенский профессор, автор обширного труда «Идеи, относящиеся к политической жизни, обмену и торговле важнейших народов древнего мира» (1793—1796). В 1824 г. вышло 4-е издание этого сочинения.

Стр. 140. *Губиц* Фридрих-Вильгельм (1786—1870) — литератор, издатель журнала «Der Gesellschafter», в котором печатался и Гейне, а также «Народного календаря».

Горациево „попит pretatur in annis“. — В своей «Поэтике» («De arte poetica») Гораций советует поэтам не выступать перед публикой со своими произведениями, прежде чем те не полежат у них девять лет, подвергаясь всяким поправкам и совершенствуясь. Срок в девять лет Гораций называл, конечно, шутя.

Стр. 141. *Философ Панглосс* — герой романа Вольтера «Кандид, или оптимизм», постоянно повторяющий свой излюбленный тезис: все к лучшему в этом лучшем из миров.

Господин Марр — содержатель одного из лучших ресторанов в Гамбурге; отличался склонностью к литературе, сочинял комедии и трагедии и читал их писателям, посещавшим его заведение. Слушанье трагедий хозяина иногда избавляло гостей от необходимости платить за его дорогие обеды.

Шупп Балтазар (1610—1661) — гамбургский пастор, автор «Назидательных сочинений».

Стр. 143. *Дюстертрассе* — улица в Гамбурге.

Стр. 144. *Величайший обскурант всей страны* — выпад против Иозефа Фридлендера. См. в конце «Путешествия по Гарцу» о «черном, еще не повешенном маклере», стр. 65.

Господин фон Вейс — господин «Белый» — другое обозначение для «черного» Иозефа Фридлендера.

Стр. 145. *Великий филошнапс* — как полагал комментатор Гейне Э. Эльстер, это философ Шеллинг, к позднему направлению мысли которого Гейне относился неприязненно. «Филошнапс» — пародия на слово «философ», по-гречески означающее «любитель мудрости». Немецкое «шнапс» — водка; «филошнапс» — любитель водки. Шеллинг по Гейне — философ-алкоголик; тут Гейне мог иметь в виду характер поздней философии Шеллинга, религиозно-

мистической — «пьяной» — в своих основных тенденциях. Предположение Э. Эльстера, что в «филошнупсе» нужно усматривать Шеллинга, оспаривалось, впрочем, другими комментаторами.

Стр. 145—146. *Жалкий автор жалких трагедий* — Фридрих Юхтритц (1800—1875), трагедия которого «Александр и Дарий» была поставлена в 1826 г. на берлинской сцене. Под *искусной кухаркой* следует разуметь Людвига Тика, написавшего предисловие к трагедии Юхтритца и защитившего его, таким образом, своим авторитетом, весьма высоким тогда и в вопросах театра и в вопросах литературы.

Стр. 146. *Х. Клаурен* — новый и наиболее развернутый выпад против этого писателя (см. о Клаурене примечание к стр. 57); здесь Гейне особенно рельефно подчеркивает литературную манеру Клаурена, в тонах милой невинности преподносящего читателям порнографию. «Ежегодными карманными непотребниками» Гейне называет серию книжек, выпускавшихся Клауреном в 1820—1828 гг. под названием «Scherz und Ernst» («Забава и дело»).

Салат Вилибальда Алексиса — затейливый каламбур: подлинная фамилия Вилибальда Алексиса — Häring, отсюда вместо Heringsalat (селечодный салат) — Wilibald Alexis-Salat (салат Вилибальда Алексиса). По-видимому, Гейне здесь сводит счеты с Алексисом за его недружелюбную критику «Путевых картин», появившуюся в «Венских ежегодниках» осенью 1826 г.

Стр. 147. *5588 лет.* — 1827 год н. э., когда появилась 2-я часть «Путевых картин», по иудейскому летосчислению являлся 5588-м годом от сотворения мира.

Фуше Жозеф (1759—1820) — министр полиции при Наполеоне. Изданные после смерти Фуше «Мемуары» (1824 г., 4 тома) были написаны не им самим, хотя действительный автор их и пользовался оставшимися от Фуше бумагами. Изречение, которое Гейне приписывает Фуше, приписывалось также и Талейрану.

Стр. 148. *«Камень тяжел, песок тоже бремя...»* — Гейне цитирует «Экклезиаст», 27, 3.

Стр. 150. *«Я всех безумнее...»* — цитата из «Экклезиаста», 30, 1—2.

Стр. 153. *Томас Пэн* (1737—1809) — публицист и политический деятель, боролся за независимость Соединенных Штатов, был сторонником французской революции, с 1792 г. был членом Конвента. Автор сочинения «Права человека».

«Le système de la nature» — сочинение Гольбаха (1770), один из главнейших литературных памятников французского материализма XVIII в.,

Стр. 153. «Вестфальский указатель» («Rheinisch-westfälischer Anzeiger») — издание, в котором с 1819 г. довольно часто печатался Гейне.

Шлейермахер (1766—1834) — философ романтического направления, автор «Речей о религии» (1799) и других сочинений на этические и религиозные темы. Шлейермахер в ранний период своей деятельности тяготел к свободомыслию и истолковывал ортодоксальную религию в пантеистическом духе.

Часть третья

ИТАЛИЯ. I. ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ.

ИТАЛИЯ. II. ЛУККСКИЕ ВОДЫ

Третья часть «Путевых картин», содержащая «Путешествие от Мюнхена до Генуи» и «Луккские воды», вышла из печати в декабре 1829 года; отдельные же фрагменты и до этого появлялись в периодических изданиях.

«Путешествие от Мюнхена до Генуи» составляет переход от немецкой темы к итальянской. Бавария с ее столицей Мюнхеном была хорошо известна Гейне. Он перебрался туда в конце 1827 года и прожил там до середины июля 1828-го. В Мюнхене у Гейне установились многочисленные знакомства светского и литературного характера. Особо нужно отметить дружбу Гейне с Ф. И. Тютчевым, который еще с 1822 года служил в Мюнхене при русском посольстве и помог Гейне теснее сблизиться с мюнхенским обществом. Дружественные отношения поддерживал Гейне в Мюнхене с прославленным архитектором Лео фон Кленце, с филологом, известным эллинистом Тиршем, с бароном Котта, известным издателем, связанным по издательским делам еще с Шиллером и Гете, в 20-х годах выпускавшим журналы и газеты прогрессивного направления. У Гейне был замысел обосноваться в баварской столице; он искал профессорского места в Мюнхенском университете, ему были даны обещания, и, уезжая в Италию, Гейне все еще ждал, что это назначение состоится. Однако Мюнхен и Бавария не могли стать ареной деятельности Гейне, и страницы «Путешествия», посвященные Мюнхену, отчетливо говорят, какая пропасть лежала между Гейне и правителями этой страны. В католической Баварии очень сильна была клерикальная иезуитская партия, новый король Людвиг I, вступивший на престол в 1825 году, находился под ее влиянием. После 1830 года оно чрезвычайно возросло, стало всепоглощающим, но и в первые годы царствования Людвиг I, когда ему еще свойственны были либеральные

замашки, влияние церкви было достаточно ощутимым и сказывалось повседневно. Король имел склонность к меценатству, сам сочинял стихи, покровительствовал поэтам и ученым, застраивал свою столицу новыми зданиями, создавал художественные коллекции, тратился на зодчих, скульпторов и живописцев, с помощью которых намерен был превратить Мюнхен в некие «вторые Афины». Гейне брал под подозрение аттический дух Мюнхена. Слишком явным здесь был перевес темных сил, политических и духовных, державших в подчинении многих деятелей культуры, переселившихся тогда в Мюнхен. Среди профессоров открывшегося в 1826 году Мюнхенского университета числились мистический философ Баадер, мистически настроенный исследователь «темных сторон» природы Шуберт, превратившийся к тому времени в законченного мракобеса Геррес, злобный враг свободной светской мысли теолог Деллингер, позднее стяжавший себе громкую известность как вождь так называемого старокатолического движения. Шеллинг прозел в Баварии 35 лет жизни — с 1806 по 1841 год. С 1827 года он стал профессором нового университета в Мюнхене и президентом баварской Академии наук. Несомненно, что философскому развитию Шеллинга непоправимый урон нанесло его баварское окружение, что религиозно-мистические тенденции оказались для Шеллинга фатальными, с той поры как он связал свою судьбу с Баварией и с Мюнхеном. Гейне, который высоко чтит раннее философское творчество Шеллинга, не прощал ему духовного разложения, отметившего его мюнхенский период. С иезуитской партией Гейне имел прямые столкновения, в особенности с Деллингером, яростно и грубо нападавшим на Гейне в своей газете «Эос». Особой причиной вражды к Гейне явилась его деятельность в Мюнхене в качестве редактора либеральных «Политических анналов». Это издание доверил ему барон Котта, и он возглавлял его в течение первого полугодия 1882 года совместно с Линднером. Как Гейне и предвидел, «Политические анналы» сделали его в известном отношении «вожаком либералов в Баварии» (письмо к Меркелю, 1 июня 1827 г.), — при этом следует помнить, что термин «либералы» означал тогда всякую оппозицию, без различия оттенков.

В Мюнхене оказался и тупой националист Массман, проповедник физического воспитания немецкой молодежи и профессор германистики в Мюнхенском университете. Мюнхенские впечатления объясняют нам все сказанное о Мюнхене в начале «Путешествия» и в «Луккских водах» по поводу графа Платена, ибо и Платен был характерным явлением баварской культурной жизни, пользовался в мюнхенских кругах признанием как поэт и получал денежную под-

держку от короля. Мюнхен как культурный центр соперничал с Берлином. Иронические параллели и сопоставления, спор о том, на стороне какой столицы преимущества, спор, который Гейне ведет с берлинским филистером в первых главах «Путешествия», в конце концов клонится к выводу, что Берлин и Мюнхен, каждый по-своему, не те города, где мог бы ощущать себя в родственной среде человек, воспитанный в духе политической свободы, в духе независимой мысли, к каким бы областям эта мысль ни относилась. Автор «Путешествия» не отдает предпочтения ни официальной Пруссии, ни официальной Баварии. Он выбирает Италию, — карбонарскую Италию.

Реальный материал итальянских глав — поездка Гейне в Италию, куда он выехал из Мюнхена и где пробыл с середины июля по конец ноября 1828 года. Маршрут Гейне был таков: Инсбрук, Штейнах, Бриксен, Триент, Ала, Верона, Брешия, Бергамо, Милан, Маренго, Генуя, Ливорно, Лукские воды, Лукка, наконец Флоренция, где он провел более шести недель.

Путешествие в Италию было одной из традиционных тем как в немецкой литературе, так и в других европейских, и издавна сложился тип книг об Италии. Путешествие в Италию принадлежало к образовательным, Италию посещали как своего рода высшую гуманитарную школу, как университет культуры. В Италии прежде всего и более всего искали памятников античности, в новом Риме искали древний, через римские древности стремились войти в соприкосновение и с античной Грецией. Ради такого изучения всего античного мира в целом предпринял свое путешествие в Италию Винкельман, самый прославленный из немецких энтузиастов античности в XVIII веке. Несколько шире интересы Гете, чье «Итальянское путешествие» (1817) Гейне постоянно имел перед собой и неоднократно упоминал в своих итальянских главах. Но и для Гете современная Италия в конце концов только территория, к которой приурочены древние памятники. Если Гете и присматривался к стране, какой она являлась в те дни, то он все же старался обнаружить в современной Италии «вечную Италию», ведущую свою внутреннюю историю от времен древнего Рима; все наиболее характерное для современной Италии оставалось за порогом его внимания. Такова была в отношении Италии традиция писателей классического направления, Винкельмана и Гете. Существовала еще традиция романтиков — Тика, Гофмана, Brentано, Эйхендорфа. Романтики всю свою активность обратили на Италию, историческим началом которой являлся Ренессанс; у Гете итальянский Ренессанс являлся только вторым, дополнительным предметом интереса. В изображении романтиков Италия превратилась в страну эстетики,

в страну людей, всецело поглощенных художественным творчеством и художественными созерцаниями. У романтиков Италия — страна живописцев, поэтов и музыкантов, страна художественной жизни, захватывающей уличную толпу; итальянские празднества, карнавалы, народная «комедия масок» — таков постоянный фон романтических повестей на итальянские темы, причем романтики даже современный реальный быт Италии изображали в духе и в манере старинной импровизированной комедии, чем отменялась граница между действительностью и искусством.

Эстетическая Италия классиков и романтиков у Гейне сохранилась, но отошла на второй план. Все внимание Гейне сосредоточил на Италии, какой он ее увидел летом и осенью 1828 года. У Гейне преобладает пафос итальянской современности, причем политической, а воспоминания и размышления исторические, наблюдения эстетические и искусствоведческие у него подчинены этой главенствующей политической и гражданской теме. В немецкой литературе предшественниками Гейне были среди писателей «бури и натиска» — Гейнзе с его романом «Ардингелло», где раскрыта не Италия древних римлян, но Италия новых итальянцев с бурными ее характерами, с ее страстями личной и гражданской жизни, и более близкий к Гейне по времени писатель реалистического и демократического направления Зейме, автор книги «Прогулка в Сиракузы в 1802 году.»¹ Зейме, писатель политически мыслящий, крайне внимателен к народной жизни Италии, к ее тяготам и нуждам. Любопытно, что книга Зейме упомянута в тексте «Путевых картин». Разумеется, речь может идти лишь о направлении интересов, в известной степени родственном у Гейне с этими писателями. Во всем остальном — в подробностях, в самом замысле, в писательской манере — Гейне с ними расходится.

За пределами немецкой литературы главам Гейне, посвященным Италии, предшествует Италия, какой она изображена в романе г-жи де Сталь «Юринна» (1807). Ближе всего Гейне к Байрону, к Италии, как ее понимал и чувствовал Байрон, к великоленной, но униженной, оскорбленной, страдающей Италии IV песни «Чайльд Гарольда». У г-жи де Сталь только в первых намеках разработана тема политической жизни Италии, у Байрона же эта тема утвердилась на подобающем ей месте.

Гейне застал Италию в состоянии, которое сложилось там после Венского конгресса. Страна вернулась к своей прежней раздроблен-

¹ См. сб. «Немецкие демократы XVIII века», М., 1956, стр. 512—549 (главы из «Прогулки в Сиракузы» Зейме).

ности, распалась на восемь обособленных государств. Ломбардо-венетская область отошла к Австрии, влияние Австрии ощутимо сказывалось и в других государствах Италии, герцогства Парма и Лукка прямо зависели от венского правительства, в королевстве обеих Сицилий реставрированная власть испанских Бурбонов держалась с помощью австрийских штыков. Италия страдала и от собственной национальной разорванности и от владычества иноземцев. Вместе с Реставрацией замедлилось изживание в Италии феодально-крепостнических отношений, господство в социальной и политической жизни вернулось к феодальным синьорам и к католическому духовенству. Тайные общества карбонариев, зародившиеся еще во времена господства Наполеона над Италией, боролись за государственное единство страны и против австрийской тирании. Когда Гейне приехал в Италию, там были сильны национально-патриотические настроения. В недавнем прошлом Италия пережила опыт нескольких восстаний: в Неаполе и в Сицилии — в 1820 году, в Пьемонте — в 1821 году. Движение 1820—1821 годов распространилось и на ломбардо-венетскую область, где возникали карбонарские заговоры. Священный союз подавил итальянскую революцию, погнав против восставших австрийские войска. Италия претерпела жесточайший контрреволюционный террор, но тем не менее восставшие показали пример, что можно и должно бороться с Реставрацией, и национальное движение только усилилось после всех карательных мер, на него обрушенных. Гейне во многих абзацах своих итальянских глав прямо говорит о политических делах Италии, в одном — исключенном из текста «Города Лукки» — отрывке он рассказывает о молодом карбонарии в цепях, под стражей у двух жандармов.

Повсюду и всегда Гейне отмечает австрийцев, рассыпанных по городам Италии, всюду и всегда напоминает, что Италия, собственно, подвергнута режиму оккупации. Описанная у Гейне Италия предстает как бы в рамках неволи, едва ли не везде и всюду итальянцы окружены у Гейне австрийскими солдатами. Мы почти не слышим на страницах Гейне политических речей, Гейне много и увлекательно рассказывает о живописной и праздничной народной жизни Италии, но в глубине итальянских картин Гейне скрывается накопленное годами народное негодование против гонителей и угнетателей, угадывается колоссальная народная энергия, готовая не сегодня-завтра снова выказать себя в революционно-освободительных действиях. Энергия эта ощущается повсюду, она притаилась даже в недрах семейства забавного и плутоватого трактирщика в городишке Ала (см. главу XXII). Эту энергию гнева и сопротивления больше всего Гейне ценит в итальянцах, и ее-то он ставит

в пример немцам, слишком покорно переносящим положение, предписанное их правителями. Немецкий писатель в «Путевых картинах» высказывается против немцев — оккупантов Италии, он всецело на стороне итальянского народа, добивающегося своего освобождения. Это было проявлением подлинного интернационализма. Мало того: Гейне хочет увлечь немцев образцами революционного самосознания и героизма, наблюдаемого им в Италии, он хочет объединить немцев и итальянцев против их общего врага, уже давно сплотившего собственные силы, — против Священного союза. «Чайльдгарольдовская» тема революционного братства народов нигде не звучит так ярко в «Путевых картинах», как в итальянских главах. Интернациональные симпатии Гейне имеют корнем своим национальные немецкие интересы, — Гейне ищет в итальянцах друзей, союзников, учителей в народно-освободительной борьбе. Стендаль с раздражением писал о созерцательном, безразлично-любопытствующем отношении старых немецких авторов к мировой истории и к жизни зарубежных для них народов: «Немец, вместо того чтобы все переносить на себя, целиком переносит все на других. Читая историю Ассирии, он ассириец; он испанец и мексиканец, когда читает приключения Кортеса. Когда он пускается размышлять, весь мир прав в его глазах; вот почему он может грезить двадцать лет сряду и не прийти ни к какому решению» («Рим, Неаполь и Флоренция», запись от 3 декабря 1816 г.). Можно утверждать положительно, что Гейне кладет конец этой дурной традиции немецкой мысли и литературы. Обращаясь к Италии как лицо заинтересованное, он умеет увидеть все существенное в сегодняшнем ее дне. Его восприятие Италии отличается остротой и имеет свой характер, его сочувствие к ней обладает внутренней силой, на стороне Гейне все преимущества осмысленной дружбы и любви. Наконец, защищая Италию против Австрии, немецкий писатель Гейне обретал и моральное право на борьбу за национальные цели немецкого народа. Энгельс писал: «Как могла, например, Германия добиваться единства и свободы, если она в то же время помогала Австрии непосредственно или через своих вассалов держать в порабощении Италию?» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. 1, стр. 154—155, «Какое дело рабочему классу до Польши?»).

В итальянской части «Путевых картин», где никогда не упускается мысль о Германии, где все пронизано прямыми или скрытыми параллелями между Германией и Италией, естественным образом появляются немецкие темы и характерно-немецкие фигуры, и в конце концов в «Луккских водах» они едва ли не вытесняют чужеземный материал. Маркиз Гумпелино и его слуга Гиацинт, возникнув на

итальянском фоне, приносят с собой живейшие напоминания о городе Гамбурге, а вслед за ними, с главы десятой, возникают тени графа Платена, его поэзии и мюнхенского круга аристократов и клерикалов, с которым Гейне сочетает Платена. Гиацинт, Гумпелино, Платен становятся в «Луккских водах» фигурами решающего значения.

Крайне любопытно, что и Гумпелино и Гиацинт писаны с живых моделей. Гумпелино — гамбургский банкир Христиан Гумпель, вскользь и весьма ядовито упомянутый уже в «Путешествии по Гарцу» (стр. 48), а затем подробно, в духе безжалостной сатиры, без названия имени, описанный в «Книге Ле Гран» («толстый миллионер» — см. гл. XIV). Гиацинт — маленький делец и торговый посредник, агент гамбургской лотереи, носивший звучное имя Исаак Рокамора. Гейне распорядился обоими весьма независимо: переселил их в Италию, поставил в неожиданные положения, соединил их друг с другом, тогда как неизвестно, встречались ли они в действительной жизни когда-либо лицом к лицу. «Толстый миллионер» в «Книге Ле Гран», очевидно, ближе к действительному Гумпелю, чем герой «Луккских вод». Сам Гейне представляет нам своего героя в его натуральном виде, и рядом дается другой вариант, со всяческими отклонениями от того, что давали подлинные факты. Он не выдает гротеск за подлинный портрет, но сопоставляет и то и другое.

Гамбургский банкир невыгодно показан на фоне итальянского общества, куда он вхож. Итальянцы Луккских вод беззаботны и даже бесшабашны, они берегут себя для дела нации и поэтому более чем небрежны к собственным повседневным делам. Немецкий бюргер стремится предстать перед ними артистической натурой и не может скрыть, что он до мозга костей прозаичен, ни на минуту не перестает подсчитывать в уме доходы и расходы. Важнее всего то, что итальянцы презирают современный политический порядок, немецкий же бюргер низкопоклонничает перед ним, «нацепил» на себя дворянский титул и старается превзойти в лояльности самых верных слуг режима. Маркиз Гумпелино — мещанин во дворянстве эпохи Реставрации. Эрнст Эльстер с известным основанием напоминал о герое «Сатирикона» Петрония — жирном откупщике Тримальхионе, возмечтавшем о равенстве с римской аристократией. Петрония Гейне знал и ценил.

Маркиз Гумпелино поклоняется поэзии графа Платена по тем же мотивам угодничества перед старинной аристократией, — и сам Платен и стихи Платена кажутся гамбургскому биржевику высочайшим проявлением культуры.

Граф Август фон Платен-Галлермюнде (1796—1835) был поэтом с некоторым дарованием. Но поэзия его, академическая,

формально-изоциренная, не могла притязать на сколько-нибудь живое значение. Платен-стихотворец весь ушел в метрические изыски, он писал античными размерами, он следовал размерам персидских поэтов, подражал Пиндару, подражал Гафизу и никак не мог сделаться поэтом немецким, способным сказать немцам-современникам нужное им слово. Даже позднее, в 30-е годы, когда он сочинял в защиту революционной Польши свои «Польские песни», и тогда он все же был верен обычному направлению своей поэзии, — в «Польских песнях» слишком много заботы о мастерстве стиха и слишком мало гражданской воодушевленности. Немецкие аристократы свои выступления в литературе рассматривали как благодеяние, как милость, оказанную нации. Граф Платен раздражался по поводу равнодушия немецкой публики, не ведающей, кому ей надлежит поклоняться; впрочем, от необыкновенной слеси он нередко переходил к самой малодушной оценке собственных возможностей. Постоянно он вступал в литературную полемику, третируя своих литературных современников, как мелкую рать, которая присвоила и разделила между собой лавры, по закону принадлежащие ему одному. Он сочинял в драматической форме литературные сатиры — «Роковую вилку» (1826), комедию, направленную против авторов «драм судьбы» и, наконец, «Романтического Эдипа», где были задеты Карл Иммерман и Гейне, в возмездие за эпиграммы, приложенные к «Северному морю». Эти эпиграммы привели Платена в бешенство. Он грозился «раздавить» Гейне, посмеявшегося, как он утверждал, оказать неуважение тому, кто «явственно более велик». Платен был столь самонадеян, что пустился в литературную полемику, даже не потрудившись узнать, кто такие его противники. Он чуть-чуть был знаком с произведениями Иммермана, названного в «Эдипе» Ниммерманом, а из Гейне так и не прочел ничего, зная о нем только по слухам. Комедия «Романтический Эдип» была опубликована в 1829 году, как раз когда Гейне был занят писанием «Луккских вод».

В «Луккских водах» Платен получил жестокий и сокрушительный отпор, причем свою полемику Гейне вынес далеко за пределы личных отношений двух литераторов. «Луккские воды» были восприняты в Германии как беспримерный литературный скандал. Из-за полемики с Платеном Гейне разошелся даже с близкими друзьями, отказавшими Гейне в сочувствии. В прессе завывали враждебные голоса. Не желали простить Гейне, зачем он, отвечая Платену, развернул в полную силу свой талант сатирика. Сам Платен провоцировал Гейне на уничтожающую личную сатиру, ибо своего «Эдипа» Платен сочинил по образцу комедий Аристофана,

очень бесцеремонных в отношении реальных личностей и дерзко разоблачающих личные дела и отношения. Однако у Платена ничего, кроме педантического опыта, на этот раз в аристофановском роде, не получилось. Но он вызвал к жизни дух сатиры, его противник владел оружием сатиры превосходно, и Платен был наказан по заслугам. К тому же именно сатира аристофановского стиля была призванием Гейне. Платен хотел аристофановских бичей для Гейне, и получил их сам.

Если не всегда прав Гейне, прямо отождествляя Платена с мюнхенскими ретроgrадами, то он безошибочно определяет социальный характер литературной деятельности Платена. Те или другие либеральные мотивы, позднее появившиеся у Платена, ничего не меняют в оценке, которую Гейне дал его литературному направлению. Гейне убедительно доказал, что Платен — это мертвая культура, враждебная культуре демократической, и что ни в вопросах культуры, ни в вопросах эстетики нельзя с Платеном идти на мировую. Поэзия для Платена — замысловатая ненужность, для Гейне она непосредственный голос, идущий из народной жизни и обращенный к ней. После полемики Гейне неоднократно производились попытки возродить в немецком искусстве и в немецкой культуре направление Платена, в разных обликах появлялись последователи его — «платениды», как уже Гейне их именовал. Настоящий смысл спора Гейне с Платеном — борьба за демократическую культуру, за демократическое слово в поэзии, за живую и полную связь с общественной действительностью, за здоровое отношение к жизни, против моральной и физиологической изломанности Платена, против его эстетства, против его отъединенности и его неспособности проникнуть в реальную жизнь современности, в ее главные дела и в ее драматизм.

Во французском издании 1834 года конец «Луккских вод» (от XI главы и далее) опущен, а граф Платен иносказательно именуется «графом Рамлером младшим» (*le comte Ramler le jeune*).¹ Быть может, Гейне считал, что для французов неинтересно углубляться в его полемику с Платеном; быть может, Гейне сделал здесь некоторую уступку. Как бы то ни было, не в личных счетах с графом Платеном суть этой полемики. От принципов, которые Гейне защищает в «Луккских водах», борясь с графом Платеном, Гейне до конца жизни не отказывался.

¹ О настоящем Рамлере («Рамлере старшем») см. ниже, примечание к стр. 294. «Рамлер младший» — некое подобие имени, которое Дидро дал своему герою, «племяннику Рамо».

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ

Стр. 161. Э п и г р а ф взят из «Западно-восточного дивана» Гете. «Сила обстоятельств» — драма Людвиг Роберта (1819), одного из берлинских друзей Гейне.

Стр. 162. ...*после потери национальной кокарды*... — Лишение права носить национальную кокарду — мера наказания, введенная в Пруссии Фридрихом-Вильгельмом III, означавшая поражение в гражданских правах. «Потерявший кокарду» не мог быть избираем на общественные должности и т. д. Это было одно из правительственных постановлений, решительно осужденных либеральной оппозицией.

Стр. 163. *Лэсепоэт, парабазы* — выпад против графа Платена. В «Романтическом Эдипе» Сфинкс обращался с речью к публике (такое обращение и пазывалось в античной комедии парабазой), где содержались недоброежелательные замечания о Берлине и о берлинских литераторах Фуке и Раупахе.

Стр. 164. *Лютер и Вегенер* — известный кабачок в Берлине, где собирались литераторы и артисты. В 10-х годах там бывали Э.-Т.-А. Гофман, актер Людвиг Девриент, в 20-х годах — Гейне, драматурги Граббе, Юхритц и др.

Стр. 165. *Вердерская церковь* построена в 1824—1830 гг. Шинкелем в несколько модернизированном готическом стиле.

Стр. 166. *Кленце* Лео фон (1784—1864) — знаменитый архитектор, с 1815 г. работавший в Мюнхене и построивший там много новых зданий.

Стр. 168. *Сикофант* (греч.) — профессиональный доносчик. *Фрина* — греческая гетера, возлюбленная ваятеля Праксителя, служившая моделью для его статуи.

Наш поэт — Платен.

«Лев» — Лео (Лов) Кленце (см. примечание к стр. 166).

Великий оратор — Игнац Рудгарт, выступавший с речами в феврале 1823 г. в баварском ландтаге по поводу акциза на солод.

...*фигуру, представшую перед нами*. — Далее описан известный тевтономан Ганс-Фердинанд Массман (1797—1874), против которого и позднее Гейне обращал свою сатиру. С 1826 г. Массман преподавал гимнастику в мюнхенском кадетском корпусе, с 1829 г. стал профессором германской филологии в Мюнхенском университете. Объединение гимнастики с германстикой характерно для Массмана: физическое воспитание он считал существенной частью воспитания в национальном, немецком духе.

Стр. 168. *Шлем Мамбрина*. — Таз цирюльника Дон-Кихот принял за шлем Мамбрина («Дон-Кихот», ч. I, гл. 21 и 44).

Стр. 169. ...прыгает через палку, составляет... списки всевозможных разночтений... — Гейне говорит о Массмане, преподавателе гимнастики и ученом германисте в одном лице. Массман опубликовал разночтения к «Песне о Нибелунгах». Тогда же вышло собрание памятников немецкого языка и литературы VIII—XVI вв., изданное им.

Стр. 170. *Тирш* Фридрих-Вильгельм (1784—1860) — известный мюнхенский профессор, специалист по классической филологии. Греческая грамматика Тирша в 1826 г. вышла третьим изданием. Тирш в вопросах общественных и академических отличался свободомыслием, выделявшим его в мюнхенской среде. См. прочувствованные слова Гейне о нем на стр. 214.

Лихтенштейн Мартин-Генрих-Карл (1780—1857) — известный зоолог, основатель зоологического сада в Берлине.

Стр. 171. *Пританей* — место, где заседали члены государственного совета древних Афин, ведавшие в порядке очереди делами государства, — так называемые «пританы»; граждане особо заслуженные пользовались в Пританее столом за государственный счет.

Стр. 175. «*Трагедия*» — «*Тирольская трагедия*» Карла Иммермана (1828).

Мозер Мозес — служащий одного из берлинских банков, близкий друг Гейне в 20-х годах, отличался ученостью и философской образованностью.

Андреас Гофер (1767—1810) — вождь тирольского восстания 1809 г. против баварцев и их союзников — французов. В 1806 г. Тироль отошел от Австрии к Баварии. Гофер вытеснил из Тироля баварцев, но оказался бессильным бороться против французского владычества. Выданный противнику, Гофер был расстрелян в Мантуе. «*На песке*» — так назывался трактир, хозяином которого был Гофер.

Стр. 176. *Велизарий* — византийский полководец VI в., одержавший для императора Юстиниана множество побед в Африке и в Италии. Под конец жизни подвергся опале; позднее сложилась легенда, будто Велизария ослепили по приказу императора.

Прокопий из Цезареи — византийский историк VI в., сопровождавший Велизария в его походах и описавший их.

Шенк Эдуард фон (1788—1841) — баварский министр вероисповеданий, крайний реакционер, однако благожелательно настроенный к Гейне. Шенк имел литературное имя как автор трагедии «*Велизарий*», изданной в 1829 г. Трагедия Шенка отличается чрезвычайно запутанной интригой, в которую вовлечено все семейство

Велизария. Жена Велизария таит против него злобу, так как считает, будто он вслеп убить их сына Аламира. Она держит руку врагов Велизария, оклеветавших его перед императором Юстинианом. Тот велит его ослепить. Дочь Велизария, Ирена, становится его опорой в несчастье. Аламир, которого числили в мертвых, жив и тоже приходит на помощь отцу. Когда Велизарий все же погибает, жена его, полная раскаяния, кончает жизнь самоубийством.

Стр. 176. *Юм Давид* (1711—1776) — известный английский философ, экономист и историк, автор изданной в 1763 г. «Истории Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 года».

Сарториус Георг — известный историк (см. примечание к стр. 63), подготовил 2-е и 3-е издания книги Шпиттлера «Набросок истории европейских государств» (1-е изд. 1793 г.).

Стр. 177. *Гормайр* Иозеф барон фон (1781—1848) — официальный историк, австрийский, а в более поздние годы — баварский; родом из Инсбрука. Посвятил много сочинений истории Тироля; одно из них — «История Андреаса Гофера» (1811). Гормайр сочувственно отзывался в печати о «Тирольской трагедии» Иммермана. В Мюнхене Гейне встречался с Гормайром.

Яростный Гесслер — австрийский фогт, угнетатель швейцарцев, изображенный в драме Шиллера «Вильгельм Телль».

...очаровательного предания об императоре... — В 1493 г. император Максимилиан, охотившийся в Тироле за сернами, устал с Мартиновой стены, покатился вниз и оказался на краю пропасти, но, как говорит легенда, явился ангел и спас его, прежде чем подоспели люди и священник с дарами, услышавшие его крик. Об этой же легенде говорит г-жа де Сталь в книге «Десять лет изгнания» (ч. II, гл. 6).

Стр. 179. «*Гесперус*» — энциклопедический журнал для просвещенных читателей, выпускался с 1822 г. издательством Котта.

Стр. 180. *Старые иезуиты... со своими... тонкостями, оговорками и ядами...* — Тонкие логические различия (*distinctiones*), оговорки (*reservations*) — приемы, которые были в обиходе у иезуитов, стремившихся подменить мысль софизмами. Особо характерен для иезуитов прием «мысленной оговорки» (*reservatio mentalis*): утверждать одно, а в мыслях держать противоположное.

...деревенского дворянина из шекспировской пьесы — сэра Тоби Белча из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

Стр. 181. *Иоганнес фон Мюллер* (1752—1809) — автор знаменитого в свое время труда по истории Швейцарии.

Бартольди Якоб-Саломо (1779—1825) — прусский дипломат, яростный противник Наполеона и Франции; названная Гейне книга Бартольди появилась в 1814 г.

Стр. 182. *O navis...* — начало оды Горация (кн. I, 14).

Старый учитель — по всей видимости, ректор Шалльмайер.

Саллюстий — римский историк I в., автор сочинений о заговоре Катилины и о югуртинской войне.

Арминий и Туснельда... — *Арминий* (Герман) — герой битвы в Тевтобургском лесу, *Туснельда* — жена его.

Женский союз — организация с патриотически-благотворительными целями, активно действовавшая в период войн 1809—1815 гг.

Лейпцигская битва — так называемая «битва народов», в которой войска Наполеона были разбиты союзными силами русских, прусских, английских войск; происходила 16—19 октября 1813 г.

Стр. 183. ...*Антисфен* *сказал...* — Гейне пересказывает эпизод из Плутарха (Жизнеописание Лукулла, гл. 30). В Италии Гейне часто перечитывал Плутарха.

...*старик умер.* — Шалльмайер; ректор лицея в Дюссельдорфе, где обучался Гейне, скончался 27 декабря 1817 г.

Стр. 185. *Император*, носящий *белый мундир* и *красные штаны*, — австрийский император; *государь в синем мундире* и *белых штанах* — баварский король. По мирному договору 1805 г., заключенному в Пресбурге между Наполеоном и Австрией, Тироль от Австрии отошел к Баварии, союзнице Наполеона в австрийской войне.

Стр. 187. ...*маленькая хозяйка «На песке»*... *красоткой Эльзи*... — напоминание о «Тирольской трагедии» Карла Иммермана. Красотка Эльзи у Иммермана — жена тирольского трактирщика; она становится любовницей французского офицера, и когда тот порывает с ней, она поджигает собственный дом, чтобы в огне погубить и этого человека. Иммерман для издания 1835 г. переработал свою трагедию и дал ей новое название — «Андреас Гофер». В «Андреасе Гофере» любовная история красотки Эльзи опущена.

Стр. 190. ...*толстую торговку фруктами* — см. продолжение в гл. XVI. Весь эпизод очень близок к эпизоду, составляющему завязку повести Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок» (1814) студент Ансельм опрокидывает корзину с яблоками у Черных Ворот в Дрездене и выслушивает брань старухи торговки.

Стр. 194. *Гортологический* — относящийся к науке о садоводстве.

Стр. 195. *Собор* в Триенте — периодические съезды католического духовенства, происходившие в Триенте в 1545—1563 гг., созывавшиеся для борьбы с Реформацией и для укрепления католической церковной догмы.

Стр. 198. *Реллиштаб* Людвиг (1799—1860) — известный музыкальный критик, многолетний сотрудник «Фоссовой газеты», принципиальный противник итальянской музыки.

Стр. 199. *Ромул-Августул II* — последний император Западно-Римской империи, свергнутый в 476 г. Одоакром, вождем племени герулов. Весьма вероятно, что под Ромулом-Августулом Гейше подразумевается король обеих Сицилий Фердинанда I, чей трон тоже был очень шаток, как Ромул-Августул, он принял власть еще ребенком: в 1806 г. был свергнут Наполеоном, вернулся на престол по решению Вепского конгресса и удержался на нем во время революции 1820—1821 гг. только благодаря австрийскому вмешательству. Правление этого короля было бесславным вплоть до самой его смерти, последовавшей в 1825 г.

Эзотерический смысл — внутренний, доступный только посвященным. В противоположность этому *экзотерический* — внешний, видный всем и каждому (*экзотерическая стража*).

Гармодий и Аристокитон — убийцы афинского тирана Гиппарха, одного из наследников Писистрата.

Арлекин, Тарталья, Бригелла, Панталоне, доктор из Болоньи, Коломбина — персонажи итальянской импровизированной «комедии масок».

Стр. 203. *Белль-ланкастерская метода* взаимного обучения состояла в том, что более продвинувшиеся ученики под наблюдением учителя давали уроки младшим.

«Институции» и *«Пандекты»* — главные отделы Юстинианова свода законов.

Стр. 206. *Амфитеатр* в Вероне, построенный еще при римских императорах, вмещал 60 000 зрителей.

Теодорих-Дитрих Бернский — король остготов, с 493 г. владыка Италии. Резиденцией его была по преимуществу Верона, поэтому в немецком героическом эпосе Дитрих воспевался под именем Дитриха Бернского (Берн — Верона).

Альбоин — основатель королевства лангобардов в Северной Италии, которую он завоевал к 572 г.; в 774 г. это королевство было разрушено Карлом Великим.

Варвары, вступившие... в старую гостиницу... — австрийцы.

Стр. 207. *Подеста* — глава города, в данном случае — его дворец.

Стр. 208. *Людовико Ариосто* (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд».

Людовико Тик — Гейне переделывает на итальянский лад имя Людвиг Тика, немецкого романтика, чтобы подчеркнуть родственность поэзии Тика и поэзии Ариосто.

Стр. 208. *Капулетти* — семейство, из которого происходила Джульетта, враждебное семейству Монтекки, к которому принадлежал Ромео, ее возлюбленный (Шекспир, «Ромео и Джульетта»).

...*несчастливая влюбленная пара*... — Ромео и Джульетта; действие старинной итальянской новеллы, героями которой они являются, как и трагедии Шекспира, разыгрывается в Вероне.

Скалигеры — семейство делла Скала, династия тиранов, правивших в Вероне в XIII и XIV вв. Основал династию Мастино I, вначале подеста Вероны, захвативший в 1262 г. тираническую власть над ней.

Кангранде (в переводе «Большой пес») — третий в династии Скалигеров, правивший в Вероне с 1311 по 1329 г. Кангранде, отличавшийся чрезвычайным честолюбием и чрезвычайной энергией, возвысил политическое значение Вероны и был самым преуспевающим из правителей этой династии. Наследовавший Кангранде, племянник его Мастино II (1329—1351), не осуществил своих широких притязаний, навлек на себя неудачную войну с Флоренцией, Венецией и Миланом, после которой роль и влияние Вероны заметно сократились.

Стр. 209. *Фальстафовские страхи*. — Фальстаф прикидывается мертвым, рядом с ним труп Перси, убитого в этом сражении, но Фальстаф опасается, что Перси тоже только хитрит и на самом деле жив (Шекспир, «Генрих IV», ч. I, V акт, 4).

Труффальдино, Смеральдина, как и Бригелла, Тарталья, Панталоне, — маски итальянской народной комедии.

Геркуланум и Помпея — римские города, засыпанные извержением Везувия в 79 г.; раскопки начались еще в 1748 г., и по мере того как они продолжались, стала раскрываться в своем наглядном виде общественная и частная жизнь римлян.

Палимпсест — пергамент, на котором первоначальный текст заменен новым, с целью заново использовать писчий материал.

Стр. 210. *Тиберий Семпроний Гракх* — римский народный трибун, в 133 г. до н. э. предложил закон, предусматривающий справедливое распределение земельной собственности. Целью аграрного закона было возрождение свободного крестьянства. Земельная реформа ограничивала частную собственность — отдельная семья не могла сохранить за собой более 1000 югеров земли, в пользу крестьян отбирались излишки. Реформа Тиберия Гракха вызвала ожесточенное сопротивление римской знати, и он был убит, когда явился на заседание сената. Брат Тиберия, Кай, с энергией продолжал его дело, восстановил аграрный закон и провел другие демократические реформы. Но и Кай Гракх кончил жизнь трагически, раз-

громлненный своими политическими противниками. В социальной истории Рима Гракхи оставили заметный след. В пору французской революции Гракхов чтили, как классических героев демократии, — отсюда, вероятно, и у Гейне преклонение перед Гракхами.

Стр. 210. *Увидел я и Цезаря, он шел рука об руку с Марком Брутом.* — Марк Юний Брут — один из главарей заговора против Юлия Цезаря и один из убийц его. Брут был многим лично обязан Цезарю, но после некоторых колебаний все же примкнул к заговорщикам: он сочувствовал их республиканским принципам, разделяя их приверженность к старым римским традициям, и вместе с ними был врагом единовластия Цезаря. Республиканство Брута и его друзей было весьма своеобразным — оно являлось формой защиты привилегий римской аристократии.

Стр. 211. *Агриппина Младшая (16—59)*—дочь Германика, племянница и жена императора Клавдия, мать императора Нерона, известная своими злодеяниями и своим безмерным властолюбием. Своему сыну Нерону, который приходился Клавдию пасынком, она проложила дорогу к престолу, отравив Клавдия. Так как она хотела играть выдающуюся роль в государстве и была неудобна Нерону, то Нерон решил избавиться от нее и подослал к ней убийцу.

Кангранде... по отношению к поэтам. — Кангранде оказывал покровительство великому поэту Данте, когда тот, изгнанный в 1302 г. из Флоренции, временно искал убежища в Вероне.

Стр. 212. *На этом месте Антонио делла Скала убил своего брата Бартоломео...* — Запятнавший себя братоубийством Антонио был последним в династии Скалигеров. В 1387 г. он был вытеснен из Вероны властителем Милана Джангалеаццо Висконти.

Ты знаешь край? Цветут лимоны в нем... — первая строка песни Миньоны в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Песня Миньоны выражает томление по Италии.

Стр. 213. *Эккерман* Иоганн-Петер (1792—1854) издал в 1823 г. книгу, посвященную вопросам поэзии, преимущественно поэзии Гете («*Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe*»), полную энтузиазма по отношению к Гете, порой наивного. На стр. 46 и след. этой книги находится рассуждение Эккермана о способности Гете в случае надобности заменить господ бога, пересказанное у Гейне почти буквально, хотя и с оттенком иронии. Благодаря своей книге Эккерман приблизился к Гете и стал его личным секретарем. Известность Эккермана основывается на книге «*Разговоры с Гете*», в которой записано все, услышанное им от Гете за годы общения с ним.

Гете... выписав ему из Иены докторскую шляпу... — По случаю 50-летия пребывания Гете в Веймаре, отпразднованного 7 ноября

1825 г., Иенский университет предоставил ему право выдвинуть по своему выбору двух молодых людей в качестве докторов наук, и Гете предложил тогда Эккермана и другого приближенного к нему человека — Римана. Существует мнение, что у Гейне были свои причины враждовать с Эккерманом. Гейне подозревал, что Эккерман р:спространяет неблагоприятные отзывы Гете по его, Гейне, адресу.

Стр. 213. «Италия» г-жи Сидней Морган была издана в 1821 г.

Стр. 214. «Гермес» — ежегодник; в выпусках 1820 и 1821 гг. Вильгельм Мюллер поместил обзор немецкой и иностранной литературы об Италии.

Мориц Карл-Филипп (см. примечание к стр. 74) провел в Италии 1786—1788 гг., издавал с 1789 г. вместе с Хиртом журнал «Германия и Италия», в 1792—1793 гг. опубликовал трехтомное сочинение «Путешествие немца в Италию».

Архенгольц — см. примечание к стр. 76.

Бартельс — автор «Писем о Калабрии и Сицилии», 3 тома (1787—1792).

Славный Зейме — автор «Прогулки в Сиракузы» (1803). «Славным» Гейне называет Зейме, очевидно, из сочувствия демократическим тенденциям, свойственным этому автору.

Ардт Эрнст-Мориц (см. примечание к стр. 51) опубликовал в 1801 г. путевую книгу об Италии.

Мейер Фридрих-Иоганн-Лоренц — соборный настоятель в Гамбурге, автор книги об Италии (1792).

Бенковитц — автор «Путешествия из Глогау в Сорренто», 3 тома (1803—1805).

Рефусс Филипп-Иозеф (1779—1843) — немецкий литератор, проведший 1801—1805 гг. в Италии и на Сицилии и опубликовавший затем 8 томов различных сочинений на итальянские темы.

«*Рим, римляне и римлянки*» — сочинение известного поэта Вильгельма Мюллера, 2 тома (1820).

Кефалидес Август-Вильгельм — автор «Путешествия в Италию и в Сицилию», 2 тома, 1818 (2-е изд. 1822 г.).

Лесман Даниэль — автор книги «Цизальпинские страницы», 2 тома (1822).

«*Путешествие по Италии...*» издано в 1826 г. О *Тирше* — см. примечание к стр. 170. О *Лео фон Кленце* — см. примечание к стр. 166.

Стр. 215. *Нарцисс* — в греческом мифе юноша, влюбившийся в собственное отражение, увиденное им в воде источника.

Стр. 217. ...о *турецкой войне...* — Подразумевается война 1827—1829 гг. Важнейшие события этой войны: Наваринский бой

(29 октября 1827 г.), когда объединенная эскадра России, Англии и Франции уничтожила турецко-египетскую, взятие русскими войсками Эрзерума в 1829 г., выход русских войск к Адрианополю 20 августа 1829 г.

Стр. 218. «*Crociato in Egitto*» — опера Мейербера (1824).

Брера — дворец в Милане, бывшее помещение иезуитской коллегии, с художественным музеем и библиотекой.

Амброзиана — библиотека в Милане.

Ян Стен (1636—1689) — известный голландский художник.

Лунгарно — набережная реки Арно, на которой стоит Флоренция.

Собор в Милане начат постройкой в 1386 г.; долго оставался недостроенным. Наполеон, а после него австрийский император Франц I продолжили строительные работы и значительно продвинули их.

Стр. 220. «*Мы на поле битвы при Маренго*». — 14 июня 1800 г. Наполеон, в то время первый консул, одержал в северной Италии при деревне *Маренго* решающую победу над австрийскими войсками, после чего Австрия вышла из коалиции (Англия, Россия, Турция и другие державы), воевавшей против Франции, и заключила с Наполеоном в 1802 г. Люневильский мир.

Стр. 224. *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) — фельдмаршал, командовал русскими войсками в войне с Турцией. В 1829 г. он взял Силистрию, перешел Балканы и взял Адрианополь. Однако в русском обществе военные таланты Дибича оценивались невысоко и считалось, что в турецкой кампании он действовал недостаточно решительно, ибо, имея возможность занять Константинополь, он не сделал этого. В делах внутренних Дибич проявил себя с самой неприглядной стороны, был одним из гонителей Пушкина, доносил на декабристов. Неудачливый усмиритель польского восстания, он умер в самый разгар его. Лифляндец называет Дибича «земляком»: Дибич принадлежал к старому немецкому роду из Силезии, воспитывался в Германии, но после перехода на русскую службу числился по дворянству прибалтийских губерний.

...на императора *Николая* как на *гонфалоньера* свободы. — *Гонфалоньер* — знаменосец. Здесь и далее Гейне поддается довольно распространенному в тогдашней европейской литературе заблуждению, будто в России царская власть выполняет революционную миссию и стоит ближе к интересам нации, чем к интересам дворянства. Император Николай I снискал себе известную популярность в Европе своим вмешательством в греческие дела, — после битвы при Наварине, где Россия выступала в союзе с Францией и Англией, Турция вынуждена была предоставить грекам независимость. Гейне

приписывает бескорыстные мотивы весьма корыстной и расчетливой, лишенной принципиальной последовательности политике Николая I на Ближнем Востоке. О ложном понимании царской политики, сложившемся в Европе в целую традицию, писал Маркс: «Мысль выставить Россию защитницей либерализма и национальных стремлений не нова. Целая толпа французских и немецких просветителей прославляли Екатерину II как знаменосца прогресса. «Благородный» Александр I... разыгрывал в свое время роль героя либерализма во всей Европе... Николая также прославляли до 1830 г., на всех языках, в стихах и прозе, в качестве героя-освободителя национальностей» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XII, ч. 1, стр. 363, «Господин Фогт»). Очевидно, Гейне попал под влияние всей этой литературы, превратно изображавшей роль и значение русского самодержавия как во внутренних делах России, так и в делах внешнеполитических. После июльской революции 1830 г. и разгрома Николаем I польского восстания эти иллюзии, относящиеся к русскому самодержавию, рассеялись.

Стр. 225. *Джордж Каннинг* (1770—1827) — выдающийся английский государственный деятель, тори, проводивший, однако, прогрессивную политику, противник правых тори, возглавлявшихся Веллингтоном. По смерти Каннинга вскоре главой кабинета министров снова стал Веллингтон.

Даунинг-стрит — улица в Лондоне, где расположены правительственные здания; в переносном смысле Даунинг-стрит — английская политика.

Великий муфтий — глава магометанского духовенства.

Стр. 226. *Великая Хартия* вольностей (*Magna Charta Libertatum*) — закон, который в 1215 г. издал английский король Иоанн Безземельный, вынужденный к тому дворянством. Хартия ограждала привилегии и права господствующего класса от королевского произвола. С Хартии начинается борьба за конституционное ограничение монархической власти.

Стр. 230. *Дориа* — дворянская семья, пользовавшаяся влиянием и властью в Генуе. Особенно известен Андреа Дориа (1468—1560), флотоводец, одержавший множество блестящих побед; был избран дожем Генуи в 1547 г., уничтожил заговор своего противника Фиеско (см. трагедию Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе»).

Паоло Веронезе. — Картина его в 1838 г. перешла из дворца Дураццо в Туринскую академию.

Рубенс. — Во дворце Дураццо Гейне видел «Силена с вакхантом и с вакханкой», портрет Филиппа IV и портрет Амброджо Спинолы работы Рубенса.

Стр. 231. *Петер Корнелиус* (1783—1867) — известный немецкий художник, стремившийся возродить монументальную живопись на религиозные, мифологические и исторические сюжеты.

...характерные свойства их общей родины... — Рубенс провел свою юность в Кельне, Корнелиус, как и Гейне, родился в Дюссельдорфе. И Кельн и Дюссельдорф — города Рейнской области.

Стр. 232. *Семья Караччи* — итальянские художники Лодовико Караччи и родственники его — братья Агостино и Аннибал Караччи, державшиеся общего направления в искусстве и основавшие в 1582 г. Академию живописи в Болонье.

...рука эта вызывала во мне чувство... — Гейне учился рисовать не у самого Петера Корнелиуса, но у брата его.

Стр. 233. *Джорджоне*. — Джорджоне умер не в 1511, а в 1510 г. Во дворце Дураццо, вопреки тому, что говорит Гейне, картины Джорджоне не было, но, весьма вероятно, какие-то картины, из виденных Гейне в 1828 г., приписывались этому художнику.

ЛУККСКИЕ ВОДЫ

Стр. 235. 1-й э п и г р а ф взят из газеллы Платена. 2-й э п и г р а ф взят из текста оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», написанного по комедии Бомарше (акт 1).

Стр. 236. *Нью-Бедлам, Сент-Люк* — лондонские дома умалишенных.

Стр. 240. *Кин*, Эдмунд (1787—1833) — великий английский актер, трагик; *Ричард III* в трагедии Шекспира — одна из лучших ролей Кина.

Коня! Коня! Все царство за коня! — цитата из трагедии Шекспира «Ричард III», акт V, 9.

Когда я на коне, то поклянусь... — слова Перси в драме Шекспира «Генрих IV», ч. 1, акт II, 3.

Стр. 242. *Гольцбежер* Юлия — берлинская актриса 20-х годов.

Стр. 246. *Под покровом сумерек, в молчанье ..* — начальные строки «Элегии» Фридриха Маттисона (1761—1831). Маттисон — поэт сентиментального направления, пользовавшийся в XVIII в. значительной популярностью, к 20-м годам уже вышедший из моды.

Стр. 247. *Вильгельм Нейман* (1784—1834) — чиновник прусского военного министерства, автор рассказов и стихотворений; в 1828 г. в печати отозвался неблагоприятно о Гейне, обвиняя его в «разорванности», в следовании мрачным сторонам поэзии Байрона и ставя при этом Байрона несравненно выше Гейне. Словечко «разорванность» стало тогда входить в моду, и маркиз Гумпелино уже подхватил его.

Стр. 247. *Шелли... утверждает...*— Слова Шелли относятся не к Байроцу, но к поэту Китсу и содержатся в элегии «Адонис», написанной Шелли в 1821 г. на смерть этого поэта.

Стр. 248. *Ярке* Карл-Эрнст (1801—1852) — с 1825 г. доцент Боннского университета, юрист, крайний реакционер в политических и религиозных вопросах. Ярке учился в Бонне одновременно с Гейне. В 30-х годах Ярке перешел на службу в венскую государственную канцелярию, находившуюся под рукой у Меттерниха.

«Аксур» — опера Сальери на текст, написанный Бомарше. Первоначальное название оперы — «Тарар».

Стр. 250. *Меццофантин* Джузеппе (1774—1849) — болонский поллилот, к концу жизни владел 58 языками.

Стр. 252. *Великий Гуго* — Густав Гуго (см. примечание к стр. 13).

Тибо Антон-Фридрих-Юстус (1774—1840) — известный юрист, профессор университета в Гейдельберге.

Ганс и Савиньи — юристы двух враждующих направлений. *Ганс* — гегельянец, *Савиньи* — глава так называемой «исторической школы». Симпатии Гейне принадлежат юристам гегельянского направления; к «исторической школе», охранявшей интересы Реставрации и переживших себя феодальных учреждений, Гейне относился чрезвычайно враждебно.

...сеньор Ганс пригласил... эту даму танцевать... — В 1828 г. Ганс искал примирения с Савиньи, но искания эти были отвергнуты.

Лемьер — балерина в берлинском оперном театре. *Оге* — см. примечание к стр. 49.

Гешен Иоганн-Фридрих-Людвиг (1778—1837) — ученый юрист, соратник Савиньи, с 1822 г. профессор в Геттингене; в 1817 г. посетил Верону, где занимался разысканиями по истории римского права (см. примечание к стр. 54).

Стр. 254. *«Di tanti palpiti»* — ария Танкреды из I акта оперы Россини «Танкред».

Стр. 255. *Примадонна меня полюбила...* — ария из III акта оперы Сальери «Аксур».

Стр. 258. *«Я, сеньора, родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год».* — С 1800 г. считали новый XIX век, отсюда и замечания Гумпелино о Гейне, «одном из первых людей нашего века». На самом же деле дата рождения Гейне 13 декабря 1797 г.

Стр. 259. *... более склонен к философским толкованиям.*— Гегель и его школа искали в мифах не исторической их основы, но общего смысла, образно выраженного мировоззрения.

Стр. 260. *Бетман* Симон-Мориц (1768—1826) — франкфуртский банкир, любитель искусств, велел приобретенную им скульптуру Даннекера «Ариадна на Наксосе» осветить красноватым светом, — ради большего жизнеподобия, как он полагал. В таком виде франкфуртская Ариадна представляла перед зрителями вплоть до 90-х годов прошлого века.

Ротшильд Ансельм (1773—1855) — имеется в виду франкфуртский банкир Ротшильд, один из членов семьи Ротшильдов, ставших уже тогда финансовой силой международного значения.

Пизанская башня — известная «косая» башня в Пизе, производящая впечатление, будто она готова упасть.

Стр. 265. *Натан Ротшильд* (1777—1836) — глава банкирского дома в Лондоне. Гейне встречался с ним в Лондоне в 1827 г.; *Натан Мудрый* — герой драмы Лессинга.

Соломон Ротшильд (1774—1855) — глава банкирского дома в Вене; проживал в разное время в Вене, Франкфурте, Париже.

Стр. 266. ... в белом мундире и красных штанах... — то есть в одежде австрийского императора.

Кузен Михель — король Пруссии.

...толстого ребенка, укутанного в белый атлас с настоящими серебряными лилиями... — Этот ребенок изображает на маскараде французскую монархию, династию Бурбонов. Дети изображают современную европейскую политику — власть банкирского дома Ротшильда над царствующими домами, над современными европейскими правительствами.

Стр. 270. ...чистейшее мозаическое богослужение... — *Мозаическим* Гиацинт называет Моисеево (из *mosaischer Gottesdienst* у него получается *Mosaik-Gottesdienst*). Речь идет о попытках реформировать иудейский культ, приблизив его к потребностям и запросам современности. Такие попытки делались в Гамбурге; они исходили от особой организации — «Храмового союза».

Стр. 271. *И небеса очам открыты*... — цитата из «Песни о колоколе» Шиллера.

Стр. 272. *Крелингер* — Агуста Штих-Крелингер (1795—1865), известная берлинская актриса.

Стр. 273. *Приди, о ночь!* — Гумпелино приспособляет к своему положению стихи Шекспира («Ромео и Джульетта», акт III, 2).

Уходишь ты?.. — цитата из «Ромео и Джульетты», акт III, 5.

Стр. 276. *Мюллер Софи* (1803—1830) — известная актриса венского Бургтеатра.

Мертвячий трепет... Подожди, Тибальдо!.. — цитаты из «Ромео и Джульетты», акт IV, 3.

Стр. 276. *О горе мне, посмешищу судьбы!* — цитата из той же трагедии, акт III, 1.

Стр. 278. *Кфейная улица, Фулентвите* — улицы в Гамбурге.

Стр. 279. *Когда Кандид...* — см. роман Вольтера «Кандид, или Оптимизм», гл. 17.

Стр. 283. *Ты не подпал девическому нраву...* — цитата из сонета Платена «Сонеты Шекспира» (по книге: Платен, Стихотворения, 1828).

Стр. 284. *Со счастьем надежда гибнет вместе...* — полностью цитируется газелла IV из «Новых газелл» Платена (по книге: Платен, Стихотворения, 1828).

Стр. 285. *Знакома мне в других любви преграда...* — из сонета 54 (по книге: Платен, Стихотворения, 1828).

Стр. 289. *Господин тайный советник Шмальц* — см. примечание к стр. 123.

Стр. 290. *Лаутенбахер* Игнац (1799—1833) — публицист, дружественный Гейне, сотрудник «Новых политических анналов», издававшихся Гейне и Лилднером в Мюнхене в 1828 г.; защищал Гейне в печати против мюнхенских клерикалов.

Ты слишком юн и светел, отрок милый... — из сонета 55 (по книге: Платен, Стихотворения, 1828).

Стр. 291. *Генерал Тилли* (1559—1632) — главнокомандующий войсками Католической лиги в Тридцатилетней войне.

Ты юноша воздержанный и скромный — цитата из сонета «Поэзия и Правда», помещенного в памфлете Карла Иммермана против графа Платена «В лабиринте метрики блуждающий кавалер».

Грейтгейзен Франц фон Паула (1774—1852) — астроном и естествоиспытатель, с 1825 г. профессор Мюнхенского университета.

Дон Платен де Коллибрадос Галлермюнде. — Гейне скрещивает фамильное имя графа фон Платена Галлермюнде с именем главного действующего лица комедии датского драматурга Хольберга «Дон Равудо де Коллибрадос». Герой Хольберга — нищий, глухой, но чрезвычайно спесивый дворянин. На немецкой сцене комедия Хольберга была известна в обработке Коцебу, 1804.

«Страницы лирики...» — изданы в Лейпциге в 1821 году.

Стр. 291—292. *...несколько драматических сказок...* — драматические произведения графа фон Платена (Эрланген, 1824).

Стр. 292. *Мюльнер* — см. примечания к стр. 51 и 96. Против Мюльнера Платен написал комедию «Роковая вилка» (1826).

Эриндур — граф Гуго фон Эриндур, герой драмы Мюльнера «Вина», глава знатного рода, обреченного на гибель («Вина» Мюльнера — типическая драма рока).

Стр. 294. *Клаурен*. — О том, что Клаурен наживает богатство на своих сочинениях, как если бы он был великий писатель, подобный Байрону, говорилось в парабазе 1 акта «Романтического Эдипа» Платена.

...разражался пятиактными пасквилями, чуть только чувствовал себя задетым какой-либо эпиграммою... — Гейне считает, что поводом для написания «Романтического Эдипа» были эпиграммы Иммермана в «Северном море». Эти эпиграммы действительно были поводом к выступлению Платена против Иммермана и Гейнс, но «Романтический Эдип» был начат Платеном еще задолго до того, как эпиграммы стали ему известны. Эпизоды, направленные против Иммермана и Гейнс, Платен включил в «Романтического Эдипа», когда работа над этой комедией уже развернулась.

...ни *Клопшток*, ни *Гете*... — О своем притязании занять место подле Гете и Клопштока Платен заявляет в заключительной парабазе «Романтического Эдипа».

Рамлер Карл-Вильгельм (1725—1798) — поэт, принадлежавший к кругу берлинских просветителей, друг Лессинга и Николаи, член берлинской Академии наук. В поэзии был классицистом; особо известны были его оды и кантаты; любил трудные метрические формы. Ко времени Гейне его поэзия была забыта, сохранилось только воспоминание о нем как о литературном педанте, пустом стихослагателе.

А.-В. Шлегель — Гейне имеет здесь в виду только одну сторону деятельности А.-В. Шлегеля, наименее существенную, — стихи, которые тот писал. Более высокую репутацию А.-В. Шлегель имел не как поэт, но как теоретик стиха, в особенности как знаток метрики.

...даже *Лессинг*... — Лессинг считал Рамлера великим знатоком метрических тонкостей и доверял ему редактировать собственные стихи. Он советовался с Рамлером и по поводу стихов, которыми был написан «Натан Мудрый».

Стр. 295. *Корова Васишты*. — В индийском мифе царь Висвамитра домогался коровы, принадлежавшей подвижнику и аскету Васиште, ибо хозяин ее должен был сделаться обладателем всех земных благ. (См. Гейне, Опять на родине, 45, том I настоящего издания.)

Я отношусь даже с неодобрением... — Гейне говорит о статье, написанной его другом, берлинским литератором Людвигом Робертом.

Стр. 296. *Петроний* Гай (I в.) в романе «Сатирикон» изображает крайнее нравственное разложение, овладевшее современным ему римским обществом.

Стр. 297. *Ты любишь молча...* — цитата из сонета 44 Платена (по книге: Платен, Стихотворения, 1828).

Стр. 300. *Из ничего готовый ты возник...* — цитата из сонета в памфлете К. Иммермана «Блуждающий кавалер» (см. примечание к стр. 291).

Стр. 302. *Кольб* Густав — редактор аугсбургской «Всеобщей газеты».

Стр. 303. *Фосс* Иоганн-Генрих (1751—1826) — поэт, филолог, переводчик Гомера, Аристофана, Шекспира, публицист буржуазно-демократического направления. Гейне посвятил Фоссу несколько хвалебных страниц в позднейшем своем сочинении «Романтическая школа».

Стр. 305. *Песец Фрауэнлоб* — Генрих фон Мейссен, по прозвищу «Фрауэнлоб» («Хвалитель женщин»), незначительный немецкий поэт XIII в., обременявший свои произведения грузом ученых аллегорий.

Раунах Эрнст — см. примечание к стр. 96.

Стр. 306. *Иффланд* (1759—1814) — немецкий актер и плодовитый драматург, сочинитель многочисленных «мещанских драм» в сентиментальном духе, наряду с драмами Коцебу долго продержавшихся на немецкой сцене. В тексте у Гейне намеки на то, что Иффланд и упоминаемый далее берлинский актер *Вурм* отличались теми же противоестественными склонностями, о которых пишет Гейне по поводу графа Платена.

Стр. 307. *...Волчью долину и музыку Самизля...* — напоминания о знаменитой народно-романтической опере Вебера «Фрейшюц» («Волшебный стрелок»), впервые поставленной в 1821 г. *Самизль* — злой дух, одно из действующих лиц оперы. *Волчья долина* — место действия важнейшей сцены в опере, выдержанной в мрачном, «демоническом» колорите.

Стр. 308. *Король Родриго*. — Романс о короле Родриго был известен Гейне по «Дон-Кихоту» Сервантеса (ч. II, гл. 33).

Часть четвертая ИТАЛИЯ. III. ГОРОД ЛУККА АНГЛИЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Первое издание четвертой части «Путевых картин» под названием «Добавления к Путевым картинам» появилось в печати в самом начале 1831 года.

«Город Лукка», начатый в 1829 году и законченный в 1830 году, составляет продолжение «Луккских вод». Здесь автора сопровож-

дают те же приятельницы его, леди Матильда и синьора Франческа, а в дошедших до нас черновиках некоторое место уделялось обоим героям «Луккских вод» — Гиацинту и маркизу Гумпелино. Однако связи эти довольно формальные по своему характеру, по сути своей содержание «Города Лукки» мало зависит от того, какими персонажами окружен автор и даже от самого места действия, — сказанное на этих страницах лишь отчасти приурочено к впечатлениям от этого города. Присутствие Франчески и Матильды лишь помогает Гейне придавать своим размышлениям непринужденность, записывая их как речи, обращенные к двум прекрасным дамам, из которых одна отличается просвещенностью, саркастичностью и в остроумии успешно соперничает с самим автором, а другая наивна, по-детски любопытна и забавляет общество неожиданностью своих вопросов. Свои серьезные мысли Гейне преподносит в несерьезных речах, дает им время от времени уклон салонной импровизации, как к этому его обязывают собеседницы, не допускающие ни догматизма, ни поучительности, разве что синьора Франческа, танцовщица, по своей глубокой неосведомленности в делах политики и философии, заставляет его иногда впадать в чересчур популярные и вследствие того иронические объяснения.

Гейне в предисловии называет «Город Лукку» «заключительным моментом целого жизненного периода, совпадающим с заключительным моментом целой эпохи мировой истории». Гейне разумеет июльскую революцию 1830 года, — именно вслед за нею писалась четвертая часть «Путевых картин». С «Путешествия по Гарцу» Гейне как бы готовил читателя к этому событию, и в «Городе Лукке» он подводит итоги. С большей откровенностью, чем где-либо в «Путевых картинах», Гейне в «Городе Лукке» говорит о своем политическом замысле, о направленности «Путевых картин» против старого режима в Европе, против режима привилегий и сословной регламентации. Более специальная тема подневольной и бунтующей Италии тоже выражена в «Городе Лукке» откровеннее и резче, нежели на других итальянских страницах «Путевых картин». Революции 20-х годов были первым симптомом нестойкости режима Реставрации. Революция, которая произошла в Париже в июле 1830 года, наносила политике Священного союза непоправимый удар. По мере того как само реальное развитие становится более явственным, меняется и язык автора «Путевых картин», от намеков переходящий к отчетливым политическим формулам. Вместе с тем автор более полно выражает и некоторые свои заблуждения. В главе XIV «Города Лукки» проповедуется «эмансипация королей»; еще и до того в «Путевых картинах» высказывались сходные идеи, будто возможна монархи-

ческая власть, обращенная к интересам народа, «эмансипированная» от влияния привилегированных классов. Это — слабость Гейне. свидетельство незавершенности его демократизма. Гейне не вышел из той эпохи демократической мысли, когда еще допускалось, что не сам народ осуществит собственные цели и что государственная власть способна сверху оказать ему содействие, переродившись в некое «народное королевство». Ведь современник Гейне, великий английский утопист Роберт Оуэн, обращался с проектами социальных преобразований по самому фантастическому адресу — к государям Священного союза.

Ощущение, что надвигается время глубоких перемен в человеческом обществе, по-своему сказывается в размышлениях Гейне на религиозно-исторические темы. «Город Лукка» — сочинение, где особое внимание уделяется католицизму и христианству вообще, при этом христианство трактуется как исчерпавшая себя историческая сила. Гейне рассматривает христианство как необходимое подспорье для страдающего человечества, как особый способ для него примириться с собственным несовершенством. «Жизнь — болезнь, и весь мир — больница», — такова, по Гейне, основная истина христианской религии (глава V). Исследователи Гейне давно указывали, что на страницах «Города Лукки» почти созрела концепция «эллинства» и «назарейства», которую Гейне станет широко проповедовать в 30-х годах. «Назарейство» — это мир современных лишений и несчастий, и он нуждается в утешениях христианства. «Эллинство» — мир будущего, который даст людям красоту, здоровое развитие, уверенность в собственных силах. Земное совершенство станет для человечества возможным, оно будет достигнуто, и в предчувствии его ослабевают авторитет и влияние христианского мирозерцания. В главе VI «Города Лукки» очень явственно противопоставляются по-земному прекрасный античный мир, античный идеал, которым суждено новое возрождение, и мир христианства, аскетический, лишенный земной надежды. Античные боги, как говорит Гейне, были носителями радости, христианство — религия мучений и утрат. Приближается пора, когда человечество не будет больше нуждаться в утешениях — кончатся скорби и болезни. Тема отмирающего христианства и тема возвращающегося эллинства относятся к тому «заключительному моменту целой эпохи мировой истории», под знаком которого стоит «Город Лукка».

Вошедшие в четвертую часть «Путевых картин» «Английские фрагменты» не были новым сочинением. Они были итогом поездки Гейне в Англию от середины апреля до 8 августа 1827 года. Впервые «Английские фрагменты» печатались в мюнхенских «Новых

всеобщих политических анналах» 1828 года, вышедших под редакцией Гейне.

Англия, которую описывает Гейне, еще связана с наполеоновской эпохой, с наполеоновскими войнами, прямым последствием которых оказался огромный государственный долг, обогащавший английских финансистов и разорявший английский народ. С другой же стороны в «Английских фрагментах» предстают государство и общество, где назревает борьба за парламентскую реформу; впервые проведенная только в 1832 году в крайне недостаточном виде, реформа эта и далее не сходит с повестки дня, новая борьба за нее с середины 30-х годов превращается в чартистское движение. Англия, изображенная Гейне, еще не распрощалась с делами наполеоновского времени, и она же вступает в свой предчартистский период.

Гейне застал Англию, охваченную порывом либеральной политики. Героем Гейне стал Джордж Каннинг, с 1822 по 1827 год бывший министром иностранных дел. Каннинг стремился оторвать Англию от политики Священного союза. Он оказывал помощь греческому восстанию, он не поддержал в 1823 году французскую интервенцию против революционной Испании и он же стоял за свободу стран Латинской Америки, поднявшихся против испанского господства. Гейне уехал из Англии в день смерти Каннинга, — он оставил Англию, когда власть в стране снова переходила к политическим реакционерам.

Гейне умел увидеть в Англии не только борьбу между реакционными и прогрессивными силами внутри господствующих классов. В «Английских фрагментах» весьма ощутима другая, более глубокая и значительная коллизия — между трудовым народом и капиталистической системой. Не называя ее по имени, не умя постигнуть ее теоретическими понятиями, Гейне прочувствовал эту систему как художник и передал в «Английских фрагментах» весь ее мрак и тяжкий гнет, весь трагический колорит, который она сообщает народной жизни. Коллизия между трудящимися классами и классом эксплуататоров, возникшая позднее в чартистском движении, у Гейне скрывается в более глубоком фоне его картины Лондона, еще не развернувшаяся полностью, еще не обретшая вполне внятного языка, но и в этом своем виде значительная и грозная. По поводу «Английских фрагментов» Гейне писал Фарнхагену в письме от 19 ноября 1830 года: «Книга моя преднамеренно отличается такой односторонностью. Я превосходно знаю, что революция обнимает все социальные интересы и что дворянство и церковь не единственные ее враги... Но удобопонятности ради я изобразил и тех и других как единственных наших, действующих сообща, врагов, желая чтобы борьба кон-

солидировалась. Что же касается меня, то я еще больше ненавижу буржуазную аристократию (*aristocratie bourgeoise*). Это признание многое объясняет. Магистраль «Путевых картин» — борьба Гейне против остатков феодализма в Германии и Европе, против Реставрации. Изображая Англию, он с умыслом, чтобы сосредоточить революционные усилия, и здесь, в этой далеко ушедшей в своем буржуазном развитии стране, более всего подчеркивает борьбу против право-торишской политики, против характерных для Реставрации деятелей типа герцога Веллингтона. Но в «Английских фрагментах» проглядывают и другие социальные силы, которые уже не удовлетворить ни мероприятиями Джорджа Каннинга, ни другими реформами, оставляющими в неприкосновенности капиталистический строй.

«Город Лукка» — первое окончание «Путевых картин», следующие за ним «Английские фрагменты» — второе, более полное, ибо оно не только являет собой «заключительный момент целого жизненного периода», но еще и пророчит, какой новой борьбой будет закончена история европейского общества, когда со сцены сойдут и Реставрация и искусственно поддерживаемый ею феодально-аристократический порядок.

ГОРОД ЛУККА

Стр. 311. *Вилибальд Алексис*. — Гейне имеет в виду роман Алексиса «Валладмор», в свое время преподнесенный Алексисом немецкой публике как перевод романа Вальтер Скотта.

Стр. 312. *Аргенгольц* (см. примечание к стр. 76) был автором многочисленных сочинений об Англии, выходявших между 1785 и 1805 гг.

Гедде — автор пятитомного сочинения «Англия, Уэльс, Ирландия и Шотландия» (1803—1805).

«*Письма умершего*» — сочинение Пюклера-Мускау. Гейне здесь хвалит книгу Пюклера, доверившись отзыву Фарнхагена. Позднее он сам прочитал ее и остался ею доволен.

Стр. 314. *Фидо Саван*. — По всей вероятности, здесь содержится намек на вражду двух ученых юристов Берлинского университета, Ганса и Савиньи, причем Фидо Саван, несмотря на созвучие с фамилией Савиньи, это Ганс, ибо именно младшему из них, Гансу, пришлось тогда добиваться того привилегированного положения в ученом мире, которое Савиньи уже занимал.

Ящерица в греческой мифологии — символ сна и смерти; как солнцепоклонница, она связана с Аполлоном и обладает даром прорицания.

Стр. 314. *Атлантида* — таинственный остров в Атлантическом океане, о котором рассказывает философ Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критон».

Стр. 315. *Немало я узнал и других тайн от моего натурфилософа...* — очевидно, намек на таинственность, которой окружал Шеллинг свой новый труд «Философия откровения», не печатая его и только частично знакомя с ним через устное изложение.

Стр. 316. *Философия тождества* — философия тождества человеческого духа и материальной природы, сознания и бытия. Философия Гегеля отличалась от философии Шеллинга, вопреки тому, что говорит Гейне, не только способом изложения, но и внутренним методом. Диалектика у Шеллинга осталась в зачаточном состоянии, так как уже в ранний свой период Шеллинг тяготел к интуитивизму и иррационализму. Гегель же стремился создать строго научную систему, охватить диалектически развивающимися понятиями жизнь общества и природы. И Шеллинг и Гегель исходили из ошибочной философии тождества, но последовательная разработка диалектического метода составляет чрезвычайно важное преимущество Гегеля.

Новые афиняне — жители Мюнхена, «новых Афин». Шеллинг тогда преподавал в Мюнхене.

«Брейган» — род светлого пива.

Шехнер-Вааген Нанетта (1806—1860) — певица, являвшаяся в 20-х годах предметом постоянных толков и восхвалений в немецкой публике и в среде немецких литераторов.

Стр. 317. *Лионне* Пьер (1707—1789) — естествоиспытатель, энтомолог.

Стр. 321. *«Сакунтала»* — трагедия Калидасы.

«Васантасена». — Гейне имеет в виду древнеиндийскую драму «Глиняная повозка», созданную в середине 1 тысячелетия н. э., героиней которой является баядера *Васантасена*, влюбленная в брамина и любимая им. Автором драмы считался Шудрака.¹ Немецкий перевод появился в Веймаре в 1828 г.

Грациозо — комический персонаж в испанской комедии, слуга или доверенное лицо.

Круз Вильгельм-Трауготт (1770—1842) — лейпцигский профессор; писатель, философ, автор многочисленных брошюр, направленных против католицизма.

...презисний генерал-интендант королевских театров... — граф фон Брюль, сторонник исторической точности в костюмах и сценической обстановке.

¹ См. Шудрака, Глиняная повозка, Гослитиздат, М., 1956.

Стр. 322. *«Церковная газета»* — «Евангелическая церковная газета», издававшаяся ревнителем строгой протестантской ортодоксии, берлинским профессором Генгстенбергом. Берлинские ортодоксы выступали против театра, как против одного из мирских соблазнов.

Гезениус Вильгельм (1781—1842) — профессор богословия в Галле, известный востоковед, подвергался преследованию со стороны газеты Генгстенберга.

Стр. 325. *Денон* Доминик (1747—1825) — французский художник и искусствовед; сопровождал Наполеона в его египетском походе, после чего издал свою книгу «Путешествие в Италию и Верхний Египет», богато иллюстрированную (3 тома, 1802).

«Волшебная флейта» — опера Моцарта (1791), аллегорическая по сюжету, не приуроченная к реальным условиям места и времени. Однако в некоторые сцены вводится древнеегипетский колорит: пирамиды в царстве мудреца Зороастра, упоминания о египетских божествах Изиде и Озирисе.

Бельцони Джанбатиста (1778—1823) — исследователь египетских древностей.

Стр. 328. *Вслед за тем и прочих богов обошел он с напитком...* — цитата из «Илиады» Гомера, песнь I, 597—604 (перевод Н. И. Гнедича).

Стр. 331. *...французский закон о святотатстве...* — Изданный Карлом X закон карал смертной казнью обвиненных в оскорблении церковных святынь.

Стр. 332. *Месса Палестрины* — «Месса папы Марцелла» (см. примечание к стр. 46).

...призывавшего... в собор. — Гейне описывает здесь Луккский собор св. Мартина, построенный в XI в.

Стр. 333. *Каталани* Анжелика (1782—1849) — знаменитая итальянская оперная певица, славившаяся также своей красотой и своим актерским искусством.

...героической эпохи города Лукки... — В XIII веке в Лукке происходила ожесточенная борьба между гвельфами и гибеллинами, в XIV в. утвердилась демократическая республика.

...в исторических трудах Макиавелли — здесь имеется в виду его «История Флоренции», 1532.

Стр. 334. *Андреа дель Сарто* (1488—1534) — известный художник флорентинской школы.

...Мария взяла фунт елея... — Рассказывая этот эпизод, Гейне почти дословно следует евангелию от Иоанна, гл. XII.

Стр. 339. *...рассказ о женищине, которая ходила по улицам Александрии...* — Как установил еще старый комментатор Гейне Густав Карпелес, у Плутарха нет этого рассказа. Гейне взял его из «Исто-

рии Людовика Святого», написанной Жуанвилем, где с теми же словами старая женщина в Дамаске обращается к страстующему монаху-проповеднику.

Стр. 340. *«Дем цефардеим кинним»*, точнее: «дам тсефардеи кинним» — древнееврейские слова, названия египетских казней, ниспосланных на египтян перед исходом иудеев из Египта: кровь (вода, обращенная в кровь), лягушки, вши (библия, 2-я книга Моисеева, гл. VIII). По иудейскому обычаю, в пасхальный вечер при упоминании о казнях египетских палец опускают в вино и затем винную каплю стряхивают прочь: египетские казни как бы отводятся таким образом. Матильда пародирует магические приемы, предписанные иудейским культом.

...множество солдат, почти сплошь в австрийской форме. — Герцогство Лукка на Венском конгрессе было отдано дочери испанского короля Карла IV Марии Луизе, по смерти ее в 1824 г. оно перешло к ее наследнику Карлу II Людовику, однако же герцогство охранялось австрийскими войсками, и Австрия являлась здесь, как и повсюду в Италии, верховной военно-политической властью, стоящей на страже Реставрации.

Стр. 341. *«Политические анналы»* — «Новые всеобщие политические анналы», 26-й и 27-й томы которых в 1828 г. вышли под редакцией Гейне и Линднера.

...это хорошо заметно в Пьемонте и Неаполе — указание на революции в Пьемонте и в Неаполе, разыгравшиеся в марте 1821 г. при участии деятелей гайных патриотических обществ — карбонариев.

Стр. 342. *Рокселана* — героиня одноименной пантомимы Венцеля Мюллера (1785).

Стр. 345. ...Фридрих Великий... в итальянских театрах... — Гейне мог иметь в виду оперу Моска «Федерико Второй, король Пруссии», 1817.

Стр. 347. *«Медведь и паша»* — одноактная пьеса с пением по фарсу Скриба, написанная Карлом Блюмом и пользовавшаяся успехом на берлинской сцене 20-х годов.

...медведи... пишут... трагедии и сочиняют... музыку. — Подразумеваются родные братья: драматург Михаэль Бер и композитор Джакомо Мейербер, из обеих фамилий создается каламбур — Веер, Meyerbeer — Bär (медведь).

Стр. 348. ...пользуются рвением бедных евреев... — С 1823 г. в Берлине существовал «Союз для обращения евреев».

...евреи... вошли во вкус христианства... — По всей вероятности, Гейне здесь и далее намекает на крещеного еврея Неандера (1789—1850), профессора церковной истории в Берлине.

Стр. 350. *«Хула на человека»* — выражение, взятое из драмы Лессинга «Натан Мудрый» (акт II, 5), где храмовник обвиняет иудейскую религию в «хуле на человека».

Стр. 351. *«Честолюбие в соединении с праздностью...»* — цитата из сочинения Монтескье «Дух законов», III, 5.

Стр. 352. *Mel in ore...* — старинная эпиграмма на иезуитов.

«Церковная газета» — см. примечание к стр. 322.

Стр. 353. *...походят на солдат, вербовавшихся Фальстафом...* — см. Шекспир, «Генрих IV», ч. 1, акт 4, 2, где Фальстаф рекомендует своих новобранцев: «Это слуги без места, с волчьими билетами, безнаследные представители младших ветвей в роду, беглые трактирные слуги, прогоревшие трактирщики и прочие отребья мирного времени, более потрепанные, чем старое полковое знамя. «Пушечное мясо, пушечное мясо. Могилу они наполнят не хуже других» (перев. Б. Пастернака).

Стр. 355. *«Гамбургский беспартийный корреспондент»* — одна из самых распространенных газет в Германии, в этом отношении стоявшая почти наравне с «Аугсбургской всеобщей газетой».

Стр. 356. *...мы... переживаем расцвет философии, которая признает за всяким энтузиазмом лишь относительное значение...* — И здесь и ниже перед нами чрезвычайно важные философские высказывания Гейне, направленные, несомненно, против неприемлемых для Гейне черт философии Гегеля. Объективизм, ничтожное значение, которое Гегель придает субъективным человеческим устремлениям в историческом процессе, тезис, по которому «все действительное разумно» и, следовательно, должно быть принято человеческой личностью как оно есть, — таковы особенности философии Гегеля, вызывающие протест со стороны Гейне. Далее Гейне развивает своеобразную апологию Дон-Кихота и донкихотства, — Гейне защищает права людей ставить себе цели в истории, добиваться осуществления в истории и через историю своих интересов и идеалов, даже если на первых порах они и представляются несбыточными, «донкихотскими». Имя Гегеля здесь не названо, и это в известной мере объясняет нам, почему эти высказывания не отмечались истолкователями философских позиций Гейне и его отношений к Гегелю.

Стр. 357—359. Глава XVI.— Эти страницы Гейне через восемь лет снова воспроизвел и ими начал свою статью «Введение к Дон-Кихоту», появившуюся в качестве предисловия к немецкому изданию романа Сервантеса (1837).

Стр. 359. *Царь Агис Спартанский.* — Агис IV, в 244 г. ставший царем Спарты, стремился провести важные социальные реформы, оздоравливающие государство, хотел восстановить законы Ликурга,

устроить новый передел земли, расширить круг полноправных граждан. Сначала его предложения имели успех, но вскоре враги земельной реформы, плутократы и ростовщики, получили перевес, схватили Агиса и предали его суду. По судебному приговору Агис был повешен. Агису IV посвящено одно из красноречивейших «жизнеописаний» Плутарха.

Стр. 359. *Кай и Тиберий Гракхи* — см. примечание к стр. 210.

Агис Спартанский, Кай и Тиберий Гракхи Римские, Иисус Иерусалимский, Робеспьер и Сен-Жюст Парижские. — Этот список «святых героев свободы», как Гейне их называет, составлен, разумеется, с вызовом верующему читателю, привыкшему в Христе и Робеспьере видеть не братьев по духу, но исключаящих друг друга антагонистов. С умыслом рядом с Христом поставлены язычники Агис и Гракхи, — следовательно, по Гейне, главное в Христе вовсе не христианство. Список свой Гейне заключает именем Сен-Жюста, якобинца, сподвижника Робеспьера. В этом ряду имя Saint Just звучит в буквальном смысле: святой Юст. Деятели античной аграрной реформы и французских якобинцев Гейне объявляет святыми, но и Христос у Гейне тоже уподобляется законодателям из французского Конвента. В раннем христианстве Гейне подчеркивает поставленную им социальную проблему, но не его способ решения этой проблемы вне земных практических путей. См. замечания Гейне о социальном смысле раннего христианства на стр. 334, 353.

Стр. 360. *...но потом примирились с этой стеной, ибо она...* — продолжение полемики с Гегелем, начатой на стр. 356. Гейне пародирует язык Гегеля, характерную для Гегеля терминологию («положение», «в себе и для себя сущее» и т. д.), придавая ей чересчур материально-обыденный смысл, самим Гегелем не предусмотренный. Здесь, как и на стр. 356, Гейне протестует против объективизма Гегеля, выраженного в тезисе его «Философии права»: все действительное разумно. Пародия Гейне указывает на то, какие реальные интересы берет под свою защиту Гегель — объективист, сам считающий свою позицию отрешенной от них. Гейне намеренно смешивает «абсолют», верховное понятие в философском мировоззрении Гегеля, с политическим абсолютизмом, желая внушить читателю, что Гегель стоит не на точке зрения «абсолюта», бытия в его целостной природе и в его сущности, как на то сам Гегель притязает, но на точке зрения современных абсолютных монархий, их более чем относительных интересов и целей. По Гейне, объективизм Гегеля является намерением обосновать неизбежность современного политического общественного строя, как он существует в Германии, в частности в прусском государстве.

Стр. 360. ...*тех презренных, что, защищая деспотизм, не бегают даже...* — Направлено против так называемой «исторической школы» в изучении права, во главе которой стоял Савиньи. Полемика с «исторической школой» и ее деятелями рассеяна на всем протяжении «Путевых картин». Здесь Гейне дает сжатую и очень точную характеристику «исторической школы», старавшейся ссылкой на традиционность оправдать любое правовое учреждение и сделать таким образом неуязвимым для критики весь общественный строй периода Реставрации. Знаменательно, что Гейне противопоставляет Гегеля «исторической школе», невзирая на известное совпадение политических позиций, занятых обеими сторонами. «Историческая школа», как говорит Гейне, даже не прибегает к «разумным доводам разума», — как это делает Гегель. В данном случае Гейне выдвигает метод Гегеля, заключающий в себе идею исторического развития и исторической критики, что тем самым позволяет обратиться метод против политических выводов, на которых хочет успокоиться сам творец его.

Ах! Я не хочу, как Хам... — неточность сравнительно с тем, что рассказано в библии (1 книга Моисеева, гл. 9). Ной упился вином и заснул. Сын его Хам указал братьям, что отец их спит голый. Покрова, как об этом говорится у Гейне, Хам не приподнимал.

Честь раба — в молчании. — Эта цитата исследователями Гейне в сочинениях Тацита не была обнаружена.

Амадис Гальский — герой известного рыцарского романа «Амадис», написанного в 1370 г., но всей вероятности португальцем Васко де Лобейра, в 1500 г. переведенного на испанский и после того с испанского на другие европейские языки. «Амадис» — сочинение, которым восхищается Дон-Кихот, ставящий его во главе всех рыцарских романов.

Роланд и Аграмант — вожди сарацинского войска, герои поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

Стр. 361. *Прекрасная Мариторна* — ирония: персонаж Сервантеса, Мариторна, астурианка, прислужница на постоялом дворе, описана так: «Широколицая, курносая, с плоским затылком, с одним глазом кривым, да и другим не совсем благополучным» («Дон-Кихот», ч. 1, 16).

Стр. 363. *Третья бурбонская хеджира* — бегство в Англию Карла X, последнего короля из династии Бурбонов, низвергнутого в результате июльской революции 1830 г. Первой «хеджирой» Бурбонов, очевидно, Гейне считает попытку Людовика XVI бежать с семейством из революционной Франции в июне 1791 г., — попытку неудачную, ибо в Варенне король был задержан народом. Вторая «хеджира» —

бегство Людовика XVIII за границу в 1815 г., после возвращения Наполеона с острова Эльбы. *Хеджира* (хеджра) в прямом смысле — бегство Магомета из Мекки в Медину в 622 г. (с этого года и ведется магометанское летосчисление).

Стр. 363. *Готфрид Бассе* — немецкий издатель лубочных рыцарских романов и другой литературы, рассчитанной на невзыскательные вкусы. Издал также фальшивые, ложно приписанные Гете «Годы странствований Вильгельма Мейстера», действительным автором которых был пастор Пусткухен.

Стр. 364. *Барбару Шарль* (1767—1794) — родом из Марселя, деятель французской революции, жирондист, кончивший жизнь на гильотине. «Марсельезу» сложил в 1792 г. Руже де Лиль под впечатлением войны, объявленной Францией Австрии. Сперва песня Руже де Лили называлась «Военной песнью рейнской армии». Название «Марсельеза» утвердилось за ней, когда в июле 1792 г. ее принесли в Париж батальоны марсельских добровольцев, вызванных туда Барбару. 10 августа 1792 г. народ штурмовал королевский дворец Тюильри под пение «Марсельезы».

...*прелестная Сатира, дочь праведной Фемиды и козлоногого Пана...* — В античной мифологии отсутствует олицетворение сатиры. Гейне ведет происхождение сатиры от Фемиды, богини правосудия, и от Пана, безобразного и веселого бога, не опираясь на какие-либо традиции античного мира. Это собственная концепция Гейне, весьма характерная для его эстетики.

АНГЛИЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Стр. 366. «*Честные люди*» — рассказ Вилибальда Алексиса (1825).

Стр. 369. *Hoppy soit qui mal y pense* — девиз английского ордена Подвязки, учрежденного королем Эдуардом III (1312—1372). Существует рассказ о происхождении этого ордена: король Эдуард III нашел на балу подвязку, потерянную графиней Сольсбери, и, обвинив ее вокруг своего левого колена, произнес эти слова.

Стр. 370. *Смисфилд* — площадь в Лондоне, где прежде торговали лошадьми и скотом.

Стр. 371. *Чипсайд* — одна из оживленнейших улиц лондонского Сити, ведет от биржи к Даунинг-стрит.

Стр. 372. *Стрэнд* — главная улица Сити. Лондонская квартира Гейне находилась на этой улице.

Стр. 374. *Астральная лампа* — усовершенствованная лампа, с круглым фитилем и кольцеобразным вместилищем для осветительного масла.

Стр. 374. *Франц Мурис* (1635—1681) — голландский художник, мастер жанровой живописи.

Стр. 377. «*Almalks*», точнее «*Almacks*» («Олмэкс») — анонимно изданный в 1827 г. роман, названный так по месту, где в Лондоне устраивались балы по подписке, — *Almacks' Hotel*. «*Vivian Grey*» («Вивиан Грей») — роман Дизраэли, 1826—1827. «*Tremaine*» («Тримэйн») — роман Роб Уорда, 1825. «*The Guards*» («Стражи») — анонимный роман, 1827. «*Flirtation*» («Флирт») — роман леди Бэри, 1828. Среди этих романов литературное значение сохранил только роман Дизраэли «Вивиан Грей».

Стр. 378. ...император воспользовался досугом своего плена... — В 1822—1825 гг. вышли в 8 томах «Мемуары, способствующие познанию истории Франции при Наполеоне, им самим продиктованные и записанные на острове св. Елены».

Стр. 379. *Уэкфильд* выманил из школы Эллен Тэрнер, дочь богатого купца, увез ее в Гретна-Грин и там с нею обвенчался. Но уже во Франции, в Кале, родственники вырвали девочку из рук похитителя. Уэкфильд вернулся в Англию, чтобы разделить судьбу брата, арестованного за участие в этом деле. Братья Уэкфильды были приговорены к 10 годам тюрьмы каждый. Особым парламентским актом брак Уэкфильда с Эллен был расторгнут.

Гретна-Грин — деревня в Шотландии, куда ездили заключать браки, если в Англии встречались к тому препятствия. По шотландскому праву, для заключения брака достаточно было, чтобы обе стороны сделали объявление перед лицом мирового судьи. В Гретна-Грине обязанности мирового судьи долгое время исполнял местный кузнец; выражение «кузнец из Гретна-Грина» превратилось в поговорку. Парламентским актом 1869 г. шотландские браки были признаны недействительными.

Королевская скамья (Kings Bench) — один из трех верховных судов тогдашней Англии.

Стр. 381. *Бедный Вальтер Скотт!* — Здесь и далее говорится о тяжелой неудаче, постигшей Вальтера Скотта в конце его жизни. В 1825 г. потерпел крах банкирский дом Констэбля, с которым Вальтер Скотт был связан, а затем и его издатели. На писателя лег огромный долг, в 117 000 фунтов стерлингов, который он стал уплачивать литературными гонорарами. Вальтер Скотт начал выпускать одно за другим исторические сочинения, романы, статьи, детские книги, зачастую переходя на труд компилятивного и ремесленного характера. К концу 1830 г. он успел покрыть более половины своего долга, но напряженная деятельность подорвала его силы и ускорила смерть.

Стр. 382. *Лаэры «великого незнакомца»*. — До своего финансового краха Вальтер Скотт выпускал свои романы анонимно. Дело о банкротстве заставило Вальтер Скотта раскрыть свою авторскую тайну. Он записал в своем дневнике: «Великий Неизвестный стал — увы! — слишком хорошо известным».

Стр. 383. «*Литературный листок*» поместил рецензию Линднера, написанную в духе мнений Гейне о книге Вальтер Скотта. «*Ежегодник научной критики*» поместил рецензию Фарихагена фон Энзе.

Стр. 385. *Нейзби*. — После битвы при Нейзби в 1645 г., когда королевская армия была разбита армией парламента под командованием Ферфакса и Кромвеля, король Карл I бежал в шотландский лагерь. Но ввиду разногласий по религиозным вопросам между ними и королем шотландцы выдали его в 1647 г. англичанам; религиозные споры в английской революции являлись выражением весьма существенных политических и социальных конфликтов.

Сэр Гудсон Лоу — губернатор острова св. Елены, жестоко обращавшийся с Наполеоном.

Мирмидонцы — один из ахейских народов, осаждавших Трои; мирмидонцами в «Илиаде» именуется войско, которым предводительствовал царь Мирмидона Ахилл.

Гурго Гаспар — французский генерал, последовавший за Наполеоном на остров св. Елены, где он пробыл до 1818 г. Впоследствии Гурго активно выступил в защиту Наполеона и на Ахенском конгрессе требовал его освобождения. Гурго резко выступал против книги Вальтер Скотта о Наполеоне, полемика между ними едва не привела к дуэли. Во французском издании «Путевых картин» Гейне удалил место, относящееся к генералу Гурго.

Стр. 386. *Барон Штюрмер* — австрийский комиссар, два года находившийся при Наполеоне на острове св. Елены. Попытки Штюрмера встретиться с Наполеоном были безуспешны: он уехал, не повидав его. Комиссаров содержали также правительства России и Франции, желавшие подтвердить и свои права на Наполеона, которого Англия рассматривала как свою добычу.

...он начал видеть в цивилизованных англичанах персидских варваров... — указание на историю Фемистокла, победителя персов при Саламине: позднее, после изгнания из Афин, Фемистокл получил убежище у своего бывшего противника, персидского царя Артаксеркса. В письме, poslanном с корабля «Беллерофон» английскому принцу-регенту, Наполеон писал: «Подобно Фемистоклу, я ищу гостеприимства у народа Британии». О том, что ему не дали

укрыться у «очага британского народа», Наполеон писал в более позднем письме, где протестовал против своего пленения англичанами.

Стр. 386. *Мемюары О'Мира и повествование капитана Мейтленда* — книги, посвященные пребыванию Наполеона на острове св. Елены (см. примечание к стр. 88).

Олд Бэйли (Old Bailey) — улица в лондонском Сити; этим именем назывались также находившиеся на этой улице Ньюгэтская тюрьма и центральный уголовный суд.

Стр. 389. *Кин* — см. примечание к стр. 240.

Стр. 390. *Ботани-Бей* — колония для преступников на побережье Нового Южного Уэльса (Австралия).

Ломбард-стрит, *Сент-Сюзансинс-Лэн* — лондонские улицы, где расположены банки.

Стр. 392. *Самизль* — в немецких сказаниях один из семерых владык мира, возмущившийся против бога и за это низвергнутый с престола.

Вицлипуцли — бог войны в древней Мексике. См. позднейшую поэму Гейне «Вицлипуцли» (сборник «Романсеро», т. III настоящего издания).

Каннинг — см. примечание к стр. 225.

Стр. 393. *Коббет* Вильям (1762—1835) — английский политический деятель и публицист радикально-демократического направления, обладавший большим писательским талантом, остротой и силой убеждения.

Ричард Мартин провел в 1822 г. закон в защиту животных и был основателем «Королевского общества предупредительных мер против жестокого обращения с животными».

Стр. 394. *Доктор Шрейбер* приобрел известность своей многолетней и бесплодной тяжбой с курфюрстом Гессенским. При владычестве Наполеона в 1807 г. Шрейбер законным образом купил одно из гессенских государственных имений. Курфюрст, вернувшийся к власти после падения Наполеона, объявил эту покупку, как и другие подобные ей, недействительной.

Стр. 395. *Питт* младший, Вильям (1759—1806) — английский министр, враг французской революции. *Фокс* Чарльз (1749—1806) — друг и защитник революции, противник Питта, скончавшийся через несколько месяцев после него. *Персиваль* Спенсер (1762—1812) — последователь Питта, консерватор, был убит выстрелом из пистолета; убийца действовал по мотивам личной мести. *Каслри*, маркиз Лодондерри, — см. примечание к стр. 127. *Ливерпуль* (1770—1828) — глава торийского министерства, в которое входил Каннинг; раз-

битый в 1827 г. параличом, он все еще некоторое время сохранял за собой министерский портфель.

Стр. 396. *«Регистр»* — «Еженедельный политический регистр» («Weekly Political Register»), выходил с 1803 до 1835 г., когда умер Коббет.

Стр. 397. *Схватка с турками* — битва при Наварине 17 сентября 1827 г.

Стр. 398. *Миссис Тизл* — персонаж из комедии Шеридана «Школа злословия».

Стр. 402. *Кохун* Патрик (Colquhoun, 1745—1820) — писатель по экономическим вопросам. Специально занимался борьбой с воровством. Написанный им «Трактат о коммерции и об охране порядка на реке Темзе» (1800) действительно дал повод к особым мероприятиям против краж на судах, плавающих по этой реке. Сочинение, осмеянное Коббетом, называлось «Трактат о населении, богатстве, могуществе и ресурсах Британской империи во всех частях света» (1814). Университет в Глазго в 1797 г. удостоил Кохуна докторской степени.

Стр. 404. *Протестантская династия*. — Имеются в виду события 1688 г., когда в Англии был отстранен от престола Яков II из династии Стюартов и власть перешла к штатгальтеру Нидерландов Вильгельму Оранскому, вызванному в Англию вождями заговора. Существенной частью реакционной политики Якова II являлась его попытка восстановить в качестве государственной религии католицизм. Это и дало основание заменить Якова II протестантом Вильгельмом Оранским.

Виги и тори к концу XVII в. обозначились как две враждующие партии, *виги* — как более прогрессивная, представляющая интересы буржуазии и дворянства, примыкающего к ней, *тори* — как партия консервативных землевладельцев. Это не исключало возможности временных сближений и сделок между вигами и тори. В заговоре 1688 г. инициаторами были виги, но и тори в известной своей части поддерживали заговор. События 1688 г. буржуазия назвала «славной», «бескровной революцией», удовлетворенная тем, что удалось выйти из политического кризиса собственными средствами, избежав вмешательства народных масс.

Стр. 405. *Союз гезов* — возникший в XVI в. союз борцов за независимость Нидерландов, находившихся тогда под испанским владычеством.

Санкюлоты — люди, носящие длинные штаны, а не штаны до колен («кюлот»), как это было принято у высших классов. Сан-

кюлотами окрестили себя во время французской революции революционные плебеи и пролетарии.

Стр. 406. *Френсис Бердетт* (1770—1844) — английский политический деятель радикального направления, сторонник независимости Ирландии.

Томас Лесбриджс — представитель партии тори, из группы крайне правых.

Стр. 407. *Хант Ли* (1784—1859) — публицист, приверженец радикальных идей в области политической и религиозной, с 1803 г. издатель еженедельника «Исследователь». Пользовался известностью как поэт.

Стр. 408. *Брум* Генри (1778—1868) — английский государственный деятель, один из знаменитейших ораторов английского парламента.

Стр. 410. *Капелла св. Стефана* в здании английского парламента была долгое время местом, где происходили заседания палаты общин.

Стр. 414. «*Edinburgh Review*» — журнал, который в 1802 г. основали Брум, Смит и Джеффри.

Процесс королевы. — Король Георг IV, вступивший на престол в 1820 г., начал бракоразводный процесс против своей жены Каролины, с которой он фактически расстался еще 24 года тому назад. Дело разбиралось без успеха для короля в верхней палате парламента; чрезвычайно умелым защитником Каролины проявил себя Брум. Георг IV отстранил, однако, Каролину от участия в коронационных торжествах, вскоре после которых, 7 августа 1821 г., Каролина скончалась.

Стр. 415. *Эмансипация* — движение за политическое равноправие католиков, собственно ирландцев, так как Ирландия оставалась страной католицизма. По существовавшему в Англии закону, католики не могли занимать государственных должностей и их нельзя было выбирать в парламента. Это не давало ирландцам возможности принимать участие в политической жизни. «Билль об эмансипации» после долгой борьбы в 1829 г. был принят парламентом.

Вестминстер — подразумевается парламента, находившийся в той части Лондона, которая называется Вестминстер.

Оранисты (англ. orangemen) — протестантские организации, боровшиеся с ирландскими католиками. Называли себя так в честь Вильгельма Оранского, который в 1690 г. жестоко покарал Ирландию за поддержку Стюартов.

Пленкетт (1765—1854) — английский политический деятель, поборник эмансипации ирландских католиков.

Роберт Пильт (1788—1850) — известный английский государ-

ственный деятель; вопреки программе партии тори, к которой он принадлежал, провел в парламенте эмансипацию католиков.

Стр. 415. *Бёрк* Эдмунд (1729—1797) — политический деятель и публицист, автор «Размышлений о французской революции» (1790), направленных против нее.

Стр. 417. *Смисфилдские костры*. — На рыночной площади Смисфилд в Лондоне в прошлом совершались публичные казни. В царствование Марии Кровавой (1553—1558), восстановившей в Англии католицизм, Смисфилдская площадь покрылась кострами, на которых жгли протестантов.

Гай Фокс — один из участников так называемого «порохового заговора», католического заговора 1605 г. против короля и членов парламента, которых предполагалось уничтожить пороховым взрывом.

...геттингенского ректора, занимающего в Лондоне должность английского короля... — шутка Гейне. Каждый из многочисленных тогда немецких государей считался также ректором университетов своего государства; в силу личной унии английский король был и государем Ганновера, следовательно геттингенским ректором. Гейне обращает это положение: на первом месте ректорство в Геттингене, а уж оно как бы влечет за собой английскую корону.

Стр. 419. *...султан велел позвать великого визиря...* — иносказание: *султан* — король Георг IV, *великий визирь* — Ливерпуль, в период 1812—1827 г. глава кабинета министров. Такие же иносказания и в дальнейшем.

Рейс Эфпенди — в старой Турции титул министра иностранных дел, в ведении которого находились также дела «райи», турецких христиан. Здесь подразумевается Джордж Каннинг, занимавший в кабинете Ливерпуля пост министра иностранных дел.

Киайя-бей — подразумевается Роберт Пиль, с 1821 г. министр внутренних дел.

Капитан-паша (кануцап-паша) — в Турции главнокомандующий военным флотом. Здесь подразумевается Мельвиль, с 1812 г. занимавший пост лорда адмиралтейства в кабинете Ливерпуля.

Первый муфтий. — Здесь подразумевается архиепископ Кентерберийский.

Стр. 420. *...некоторое число греков...* — Здесь опять-таки иносказание: *греки* — ирландцы.

Стр. 422. *Полиньяк* — с 1829 г. министр французского короля Карла X, сочинитель новых реакционных законов, «ордонансов», послуживших прямым поводом для июльской революции 1830 г.

Стр. 424. ...в то время он отправлял их в Россию... — Гейне мог видеть Наполеона в Дюссельдорфе между 2 и 5 ноября 1811 г., за несколько месяцев до русского похода.

Стр. 427. *Гельфенштейновский дудочник*. — Намек на один из эпизодов Великой крестьянской войны в Германии. Весною 1525 года крестьянские отряды взяли город Вейнсберг. Многие рыцари попали в плен, и в их числе граф Людвиг-Гельфрех фон Гельфенштейн, руководивший обороной города. Молодой граф Гельфенштейн был известен своей наглостью, жестокостью и вероломством. Ведя переговоры с крестьянами, он одновременно тайком продолжал против них военные действия. Крестьяне прогнали Гельфенштейна сквозь строй, — до сей поры это был род казни, предназначавшийся только для людей низкого звания. Бывший графский музыкант, уволенный графом, оказался тут же. Он сорвал с головы графа шляпу с перьями, надел ее на себя и стал наигрывать для графа на дудочке плясовую песню. Графа втокнули в строй, на третьем шагу с ним было покончено (см. В. Ц и м е р м а н, История крестьянской войны в Германии, т. I, М., 1937, стр. 382). Гейне мог знать сочинение известного романтика Юстина Кернера о взятии Вейнсберга, написанное по документальным материалам, опубликованное в 1820 г. в периодической печати и в 1822 г. изданное отдельно.

Дружественный им бард — Вальтер Скотт.

Стр. 429. ...с «горы» Конвента... — Партия «горы» — монтаньяры, крайне левая революционная партия во французском законодательном собрании, занимавшая в зале, где оно заседало, самые верхние места — «гору». Вожди монтаньяров — Марат, Робеспьер, Сен-Жюст. Монтаньяры защищали интересы плебеев города и села, малоимущего крестьянства, мелкой буржуазии. После падения жирондистов, в мае 1793 г., власть перешла в руки монтаньяров. Это было временем, когда буржуазно-демократическая революция находилась в своем зените.

Стр. 430. *Храм Женевьевы* — парижский Пантеон, со времени революции место погребения великих людей Франции, до 1793 г. являлся церковью святой Женевьевы, покровительницы города Парижа.

Стр. 432. *Лакло* Шодерло де (1741—1803) — французский писатель, автор известного романа «Опасные связи» (1782), разоблачавшего нравы аристократии времен старого режима. После революции стал ее сторонником, генералом революционной армии.

Луве де Кувер (1760—1797) — французский писатель, автор романа «Похождения кавалера Фоблаза» (1787—1790). Герой

романа — легкомысленный аристократ, переходящий от одной любовной интриги к другой. Во время революции Луве де Кувре находился в рядах партии жирондистов.

Стр. 433. *...много олова.* — Гейне подразумевает «Письма из Берлина», входившие во вторую часть «Путевых картин», издавшую в 1827 г.

...дух свободы, которым повеяло... в Германию... — Июльская революция 1830 г. отозвалась волнениями в немецких государствах, и некоторые из них — Брауншвейг, Саксония, Гессен и Ганновер — принуждены были допустить у себя представительные учреждения, несколько сграничив самодержавную власть.

Стр. 434. *...история из жизни Карла V.* — На самом деле Гейне пересказывает историю пленения в Брюгге в 1482 г. императора Максимилиана, известную ему по роману Арнима «Хранители короны». Во французском издании «Путевых картин» Гейне исправил ошибку и отнес к Максимилиану то, что ранее приписывалось им Карлу V.

Стр. 435. *Tel est notre plaisir* — формула, принятая в королевских указах еще со времен короля Людовика XI и снова применявшаяся во времена Реставрации.

Н Берковский

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Путешествие по Гарцу	7
--------------------------------	---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Северное море	69
Идеи. Книга Ле Гран	99

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Италия. I. Путешествие от Мюнхена до Генуи	161
Италия. II. Луккские воды.	235

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Предисловие	311
Италия. III. Город Лукка	313
Позднейшее добавление	363
Английские фрагменты	
I. Разговор на Тезе	366
II. Лондон	371
III. Англичане	376
IV. The life of Napoleon Buonaparte by Walter Scott. .	381
V. Олд Бэйли	388
VI. Новый кабинет	391

VII. Долг	393
VIII. Оппозиционные партии	403
IX. Эмансипация	415
X. Веллингтон	421
XI. Освобождение	425
Заключение	432
Дополнение	
Предисловие к французскому изданию 1834 года	437
Комментарии <i>Н. Берковского</i>	443

Генрих Гейне
Собрание сочинений, т. 4

Редактор Б. Б. Томашевский
Художник Л. С. Хизинский
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. А. Чалова
Корректор И. Ф. Кузнецова

Сдано в набор 28/V 1957 г.
Подписано к печати 18/X 1957.
Тираж 85000 экз. Бумага
84 × 108 ¹/₃₂ — 16,375 печ. л. —
26,85 усл. печ. л. Учет-
но-изд. л. 26,67. Заказ № 537.
Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат

Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., д. 28
Министерство культуры
СССР

Главное управление поли-
графической промышленно-
сти, 2-я типография «Печат-
ный Двор» имени А. М. Горь-
кого. Ленинград, Гатчин-
ская, д. 26.